

Вениамин Колыхалов

ТЫЛОВИКИ

ПОСТИЖЕНИЕ.

Грани биографии

Среди множества российских сел и деревень есть для моего сердца особенно дорогие и любимые: Нарым, Сосновка, Усть-Чижалка. Они на томской северной земле, где проложены и прокладываются среди Васюганского глухоманья стальные магистрали.

Названные села не просто точки на карте Родины — это отправные точки в моей судьбе. Суровая, но милая нарымская земля по-прежнему тревожит душу, потому что неусыпная память часто возвращает туда, на берега Оби и Васюгана, где родился, где прошли годы трудного детства. За месяц до начала Великой Отечественной умер отец от ран и контузий, полученных на гражданской войне. Не прожила и года после победного дня мать, подорвавшая и без того слабое здоровье от тяжелой жизни в нарымском тылу.

На семь лет моим коллективным родителем стали воспитатели Усть-Чижалского детского дома, а врачевательницей души и сердца — северная природа. Она пробудила чувство восторга к тайге, раздольным лугам, радостному, быстро сгораемому лету. Окружающие меня бойкие на язык нарымчане научили чутко прислушиваться к родниковой протонародной речи. До сих пор не перестаю удивляться богатству народного языка, предельной емкости и выразительности поговорок, частушек, пословиц.

По истечении времени особенно начинаю понимать, какими внимательными и заботливыми были к нам, безотцовщине, учителя и воспитатели. Кажется, они вернее и быстрее пролагали путь к мальчишеским сердцам, чем современные педагоги, вооруженные новейшими воззрениями по части воспитания и формирования вверенных им юных душ. К педагогам макаренковской школы отношу директора Усть-Чижалского детского дома Виктора Александровича Сухушина. Фронтвик-разведчик, он успешно вел и разведку детских сердец. Ребята любили его, шли за добрым словом, как к отцу, на попечение которого досталась семейка в сто пятьдесят мальчишек и девчонок.

На правом берегу темноводного Васюгана находилось наше подсобное хозяйство. Местечко называлось Успенка. Будто само слово поторапливало маленьких работников: успеете побольше заготовить сена для многочисленных коров, лошадей, овец, успеете вырастить урожай картофеля, капусты, свеклы, огурцов. И дети успевали. Трудовое воспитание в детдоме было поставлено высоко, честь и заслуга в этом педагога В. А. Сухушина.

Строжил он нас за провинности не назидательным многословьем, не грозной силой голосовых связок. Посмотрит, бывало, пристально и пытливо сквозь блестящие линзы очков и произнесет спокойно, вразумительно, делая меж слов долгие паузы: «Как тебе не стыдно?! И как тебе не совестно?!» И все. Гипнотическая сила пронизывающего взгляда, спокойный отцовский тон заставляли воспитанников осознать свой проступок, не попадаться больше под обстрел всепонимающих директорских глаз.

В его домашней библиотеке были стихи Некрасова, Пушкина, Есенина, Никитина, Фета, других поэтов. Так как я был дружен с детьми Виктора Александровича и его жены, учительницы младших классов Елены Ефимовны, — Геной, Володей, Эльвирой, то пользовался правом брать книги из их личной библиотеки. Таким образом впервые приоткрылся перед мальчишкой необъятный мир русской поэзии. И словно воочию видел слезы на глазах многострадальных крестьянских женщин, разделяя горе и скорбь Арины — солдатской матери, слышал стоны волжских бурлаков, улавливал свист и вой разыгравшейся выюги, когда вчитывался в колдовские слова: «Буря мглою небо кроет...»

Школа в Усть-Чижалке была деревянная, двухэтажная, крепко сработанная нарымскими плотниками-умельцами. Когда думаю об этой школе, где закончил семь классов, то благоговейно вспоминаю любимую учительницу Зою Алексеевну Избышеву, талантливого преподавателя русского языка и литературы. Всегда собранная, нарядная Зоя Алексеевна грациозной походкой входила в класс, теплым светлым взглядом одаривала учеников: самые гомонливые ребята не могли теперь раскрыть рта, пошептать друг с другом. Думается, что учительница сначала покорила нас своей чистой русской красотой, потом приворожила мастерским чтением стихов — их она знала множество помимо школьной программы. Под ее руководством всегда интересно проводились вечера поэзии, ставились пьесы, устраивались походы. В пути, на привалах, Зоя Алексеевна раскрывала перед ребятами богатство и новизну щедрой нарымской природы.

Обаятельная личность педагога оказала на многие ребячьи души огромное влияние. Не потому ли так часто память, словно яркая зарница, высвечивает то далекое, по-своему счастливое время?! В школе потянуло к сочинительству. Пробовал писать стихи, сказки: их на сон грядущий рассказывал в многоместных детдомовских спальнях ребятишкам и они засыпали под страшные выдумки новоиспеченного сказочника.

Подробно останавливаюсь на учителях не случайно: они заслуживают благодарности, потому что щедро тратили на безотцовщину жар молодых сердец, знания и неиссякаемое богатство души.

После окончания семилетки директор детдома устроил меня в старейшее учебное заведение Сибири — Томское горнопромышленное училище. «Слесарем будешь, — сказал на прощание Виктор Александрович, — считай, что... доктором по станкам...» Позже «ставил диагнозы и лечил» токарные, шлифовальные, строгальные и другие станки. В училище испытал муки первой любви. Решив, что для покорения сердца девушки — она училась на токаря — надо избавиться от веснушек, усиленно сводил я их ядовитой ртутной мазью. После подобного химического вмешательства лицо походило на красно-медный чайник.

Овладевал специальностью слесаря-ремонтника. Одновременно посещал школу рабочей молодежи, занимался в аэроклубе парашютным спортом. Раздобыв где-то словарь русского языка, пристрастился к составлению кроссвордов. Настойчиво относил их в областную молодежную газету, но их так же настойчиво не печатали. Продолжал писать стихи. Первым слушателем и критиком был товарищ по училищу Володя Кашаев — тоже бывший детдомовец. С этим мировым парнем мы ходили по вечерам в школу, прыгали с парашютами с юрких «кукурузников», вместе работали до ухода на армейскую службу на строительстве третьей очереди Томской ГРЭС-2, он — электриком, я — монтажником-верхолазом. Несколько месяцев на потеху опытных монтажников ползал по балкам на четвереньках. Боязно было ходить на пятидесятиметровой высоте по узким балочным перекрытиям, ощущая под собой пропасть. Внизу шли бетонные и сварочные работы, ползли по эстакадам груженные самосвалы, торчала арматура будущих фундаментов. Занятия в аэроклубе помогли быстрее преодолеть высотобоязнь. Вскоре коренастый бригадир говорил тоном приказа: «Полезай на верхотуру, снимешь с гака и фермы строп». Эту опасную операцию после установления очередной многометровой фермы доверяли только опытным монтажникам. Позже выяснилось — на высоту посылали по другой причине. Узнав, что у меня нет родителей, монтажники с рабочей прямоотой и бесцеремонностью выпалили однажды: «У нас семьи, дети... отцы, матери... ты башку свернешь — некому будет оплакивать...» — «Брат есть», — возражал им. — «Брат — не отец... шуруй давай на небо...» Карабкался, перебирал ногами и руками стальные укосины, стараясь поменьше смотреть вниз... приходила в голову грустно-смешная мысль: как замечательно, что наши далекие предки были цепколапыми обезьянами...

В моих книгах главной является тема труда. Побывал на многих ударных стройках — Братской, Красноярской, Зейской, Саяно-Шушенской, Бурейской гидроэлектростанциях, на стройках по освоению Томского Приобья. Отношусь к рабочему человеку с симпатией.

После службы в армии внештатно сотрудничал в дальневосточных газетах, на радио. Потом восемь лет работал штатным корреспондентом различных газет.

Закончил отделение поэзии Литературного института им. Горького. Занимался в творческом семинаре известного советского поэта Александра Алексеевича Жарова. Это была интересная поэтическая студия, руководимая человеком, в котором писательской и душевной энергии, задора, молодости хватило бы на десятерых. Таков А. А. Жаров был в жизни, таковы его полные свежести, романтики и оптимизма поэтические творения.

Журналистика — главная, крепкая ступенька на пути к литературе. Сотрудничал в газетах Сибири и Дальнего Востока, был первым редактором многотиражки на строительстве Зейской ГЭС. Создал серию художественных очерков: два из них были напечатаны в 1973 году в журнале «Молодая гвардия» — их отметили премией. Получил одобрение и поддержку одного из своих любимых писателей — Анатолия Степановича Иванова, редактора журнала «Молодая гвардия». Он дал мне рекомендацию в Союз писателей. Два года спустя после журнальных публикаций в столичном молодежном издательстве вышла книга «У подножия солнца». За этот труд еще по рукописи был удостоен звания лауреата литературной премии имени Николая Островского. Из восемнадцати выпущенных книг семь вышло в столице. Печатался во многих центральных газетах и журналах, которые принято называть «солидными».

Был участником Всесоюзного совещания молодых поэтов России, участником 6 Всесоюзного совещания молодых писателей, делегатом 4 съезда писателей РСФСР.

Заносил в свои блокноты, записные книжки сотни и тысячи фамилий, цифр, фактов, никогда не ленился записывать все интересное — разные житейские случаи, прибаутки, откровенные рассказы из многоликой жизни современников. Постоянно держу в памяти слова из дневника Жюлья Ренара: «...Записывай, записывай и побольше — будет жвачка на зиму...» Приходилось в полном смысле загребать идущий в руки словесный

материал, чтобы потом откалибровать, проверить, разделить по фракциям: это пойдет для газеты, это надо оставить, авось, захочется «пожевать» летом или зимой, переселить в стихи, рассказы, повести.

Не терял надежды сбросить когда-нибудь нелегкую газетную ношу, отвоевать время для более глубокого творческого осмысления действительности. Если многогранную жизнь принять за гору, под которой таятся полезные ископаемые, то газетчики выполняют трудные вскрышные работы. Каждый может копать глубже, чтобы дойти до залежей каких-то руд. Считаю, что пока не дошел до своей главной рудной жилы, но не сомневаюсь, что веду раскопки в нужном направлении.

Моя «методика поисков» человеческих судеб, характеров такова: подолгу живу, иногда работаю с людьми, о которых собираюсь написать. Большое видится не только на расстоянии, но и во времени. Работал грузчиком, сучкорубом в амурской тайге, ходил с поисковыми отрядами геологов, заготавливал орехи, ягоду для коопзверопромхозов. Бок о бок жил с гидростроителями, лэповцами, мелиораторами, речниками, нефтяниками. На поездах, пароходах, оленьих упряжках, самолетах, вездеходах, вертолетах, лошадях, аэросанях намотал астрономическое число километров, но по-прежнему испытываю «вечный зов» новых дорог.

Современная литература мне видится как покрытое лесом предгорье, над которым высятся Толстой, Горький, Пушкин, Чехов, Достоевский, Бунин, Некрасов и другие заоблачные вершины. Но и предгорье не бывает, как говорится, под одну гребенку. Среди современных литераторов идет невиданный не так по силе, как по объему процесс плавки. В писательские тигли бросаются вроде бы и те же русские слова, но иногда получаются произведения, стоящие по шкале прочности высоко, другие же книги время отбрасывает в шлак. Так было и так будет во все времена.

Коллективные летописцы века создают биографию своего поколения. Возможно, огромные скорости передвижения, чрезмерная перегруженность информацией мешают отдельным современным литераторам попристальнее вглядываться в жизнь, в природу, как это умел делать любитель неторопкой ходьбы М. М. Пришвин. В его «магическое поле» зрения попадала и капелька росы на ромашке, и лучик солнца, падающий на муравья. Сквозь призму своего всепоглощающего сердца он пропускал любые явления природы и воспринимал человеческие взаимоотношения.

Время — строгий, непримиримый судья. Оно выносит тягостный, молчаливый приговор, не подлежащий ни оспору, ни обжалованию. И в литературе время сумеет отнести в разряд забвения все то, что посчитает нужным.

По мере сил и возможностей стремлюсь постигать сложные жизненные явления, постоянно помня о том, что вечной школой для любого писателя является народ. Веду также постижение самого себя: собственное сердце — самый близкий, хотя и нелегкий объект для изучения...

Когда-нибудь человек откроет планету, не знавшую войн. На нашей Земле должна продолжаться неостановимая борьба за красоту человеческой души, за раскрытие тайн, возможностей общей нашей праматери — Природы.

На службе, на вооружении всего человечества призвано стоять только Слово — единственное орудие, которое никогда не должно умолкнуть...

Вен. Колыхалов

ДОЛГ ПЕРЕД НАРЫМЧАНАМИ

С глубоким убеждением и уважением к автору могу сказать, что Вениамин Анисимович Колыхалов написал хорошую, правдивую и очень нужную книгу. Она не выдумана им, он сам, будучи ребенком, подростком, пережил трудные военные годы с героями своего романа. Это простые, искренние, честные, трудолюбивые люди. Их высшей нравственной оценкой человека является совесть. В это понятие входит очень многое, но главное — доброта, порядочность, справедливость.

Через образ ослепшей колхозной лошади Пурги, через отношение к ней наиболее выпукло проявляются характеры людей, их нравственный облик.

Судьба всех персонажей романа неразрывно связана с землей, на которой они живут, которая составляет основу их бытия.

Родной, близкой предстает перед читателем семья Запрудиных. Мудрые дед Платон и бабушка Зиновия воспитывали внуков и крепили в них веру в нескучеющую людскую доброту. Их сын, Яков Запрудин, — бригадир-стахановец, искалеченный войной, — отдает все силы, мобилизуя людей на помощь фронту. Его сын Захар трудится также истово и совестливо, как отец. С большой любовью выписан образ мальчика Павлуни, вывезенного из блокадного Ленинграда, усыновленного этой семьей.

Выразительны портреты староверов — братьев Куцейкиных, их драматичные и сложные судьбы, динамика мировоззрения в сторону переоценки мирской жизни и обычаев затворничества в скитах.

Достоверно изображены женщины, острые на слово, стойкие, несмотря на тяжелую бабью долю.

С особой симпатией автор пишет о нравственной чистоте, большой любви Марии и Григория Заугаровых.

Война и тыл умело переплетены сюжетом романа. Везде сибиряки ведут себя достойно.

Роман написан ярким, образным языком, читается легко, без сопротивления втягивая читателя в происходящие события.

Можно много добрых слов сказать о художественных достоинствах произведения, сочных диалогах с их незлобивыми *приколами* (выражаясь современной терминологией).

Все содержание романа пронизано верой в нравственное здоровье, жизнестойкость, непобедимость народного духа.

Эту книгу надо читать медленно, с доверием к автору. И тогда повествование воспринимается более вдумчиво, раскрывается философия авторского видения жизни, земного бытия.

Считаю, что Вениамин Анисимович свой писательский долг перед нарымчанами выполнил.

*А. Липская,
член президиума областного совета ветеранов*

Книга I.

ПУРГА

Ночь была бесконечной. Окошко старой конюшни напротив жеребой Пурги не загоралось матовым свечением зимней зари. Стояла тонули в долгом мраке. Темень прибавляла смелости и нахальства мышам. Из кормушек слышалась их тихая пискотня. С потолка, покрытого узорчатой изморозью, срывалась легковесная навесь, падала на спины коней, на грубые перегородки и длинный скользкий проход, разделяющий надвое лошадиное жильё.

Пурга чувствовала себя плохо, ее знобило. Бесовская вьюга за бревенчатой стеной заставляла сжиматься и часто вздрагивать. Кобыла пробовала ложиться, поджимала к тугому животу ноги, но, ощущая в нем резкие толчки, нехотя расслаблялась в холодных струях протекающего над полом воздуха.

Никак в эту ночь не удавалось удержать тепло в хилом теле. Оно улетучивалось с выдыхаемым паром, с каждым ознобным вздрогом. Встав, принялась доедать сено. В других стойлах тоже слышалось мерное похрустывание. Иногда доносился натужный кашель, раздавались мягкие шлепки об пол и гортанный переговор неспокойных обитателей конюшни.

Ломило ноги, ложбинчатую спину. Натруженная шея постоянно ощущала присутствие хомута, хотя уже две недели не надевали его на кобылу. Две недели не елозила по костлявым бокам шлея, не давила подпруга, не мозолила седелка. Однако всю предназначенную для себя упряжь чувствовала Пурга, как въедливый отпечаток многотрудной лошадиной доли.

Ей не было и трех лет, когда властно и грубо напялили великоватый хомут, впихнули обточенные зубами других лошадей удила. Не хотела их принимать, стискивала челюсти, пыталась укусить конюха, но он дьявольски ловко водворил сталь в непослушный рот. Пурга лягалась, бодала обузданной головой, грызла новую оглоблину. Конюх пытался уговорить кобылу тпруканьем, сильными рывками узды — послушания не было. Сбросив плевок в растопыренную ладонь, мужик принялся прививать покорность онемелым кулачищем. Хлестал по храпу с оттягом, с чувством злорадства и безнаказанности. Чем злее наносились удары, тем свирепее делалась молодая мученица. Пурга знала, чего от нее хотят, и вся восставала против готовящейся кабалы. Приходил конец короткой воле, беззаботному житью.

Запрягали ее возле конюховки. Там висели по стенам вожжи, хомуты, чересседельники, лежали выгорбленные войлочные потники под седла для верховой езды. Здесь чинилась колхозная упряжь, шились новые уздечки, делались хомуты. В конюховке стоял невыветриваемый запах дегтя, кожи и лошадиного пота.

Нерастраченную силу уросливой кобылы пытались отдать в услужение вместительным саням с листовой сталью подрезов. Кобыла давно получила твердую рабочую кличку Пурга. Будучи маленькой резвуньей, она слышала ласковые нотки в голосе окружающих людей, позволяла погладить себя, почесать за ушами. По мере взросления лошади исчезала умильность в мужичьих разговорах. Оценивающе заглядывали в зубы, теребили загривок, прогибали спину, ощупывали мышечные узлы. Особых изъяснов не находилось. Знатоки предрекали добрые упряжно-тягловые качества. Гадали — будет ли ходить коренником, или пойдет в пристяжные, дышельные. Иные колхозники доказывали: выйдет хорошая беговая лошадка... ничего, что спотыкается по молодости часто, ведь и опытного коня спотычка берет: ноги-то у него четыре, да дорог тыщи, им одно занятие — врасстилку лежать.

Конюха Пурга невзлюбила сразу. Неприязнь к нему передалась с рождения. То, что Дементий Басалаев по тупой эгоистичности принимал за лошадиную дурь, было неуступчивым характером животного. Кобыла откликалась на ласку, бунтовала против злобного насилия. Мужик измахрил не один кнут, лущуя строптивых, непокорных, не могущих сдвинуть перегруженный воз. Он бил с тем грубым мужичьим сладострастием, которое рождается от сознания полной власти над животным и от тягостного ощущения житейской грузной тоски. Лицо становилось желчно-кирпичным, расширенные глаза взблескивали цветом недавно затвердевшего олова. Некоторые смиренные, услужливые коняги из страха побоев послушно заходили в оглобли, но и для них Дементий отыскивал повод шлепнуть по ушам, пнуть коленом при затягивании подпруги, ударить торцом ладони по круглой жиле.

В запойно-праздничные дни при кормежке коней, при уборке стойл, у водопойной проруби был особенно зубаст и мстителен. При колхозниках сдерживался, не ворчал, не разлиновывал пегие, карие, гнедые, соловые спины и бока кусучей плетью. Наедине с табуном отводил душе райский час. Не однажды Басалаева пытались лягнуть, укусить наиболее отчаянные страдалицы, но берег случай и обезьянья увертливость. Раз Пурга вскользь

задела копытом по жирной ляжке. Неделю ходил с прихромом, обзаведясь фиолетово-темным с ладонь синяком, который позже обрел противную желтизну.

Лошади не долго пришлось ждать мстительного остервенения. В назидание другим конюх обломал о серую хребтину деревянную лопату. Привязанная к воротному столбу, Пурга металась по истоптанному пятаку денника, выбрасывая из-под широких копыт грязные ошметки. При избиении кобылы испуганно носились по деннику жеребята. Их вызывающе громкий заступнический крик-плач действовал на других животных: всполошенные, они, как в присутствии опасного зверя, били копытами утрамбованный снег, вставляли на дыбы и насакивали друг на друга.

Вечером Дементий сунул Пурге ломоть ржаного хлеба, но кобыла не приняла подачку, кося на конюха прищуренные непримиримые глаза. Басалаев не без опаски схватил ее за ноздри, попробовал раскрыть рот, впихнуть кусок. Он даже просунул клиновидный срез ломтя под верхнюю губу, но неуступчивая лошадь недовольно фыркнула и выплюнула крошки на пол стойла.

— Сожрешь, поганая утроба!

Конюх швырнул хлеб в кормушку на охапку занесенного сена. И после ухода грозного властелина Пурга не притронулась к ломтю. Она хрумстела сеном, стараясь придержать дыхание, не впускать в себя манящий хлебный дух.

Утром, не обнаружив на прежнем месте каравайную долю, Дементий примирительно хмыкнул: «давно бы так», не зная, что угощением поживились вечно голодные мыши.

Лукавомудрый Басалаев холил и сытно кормил председательского верхового Гнедка. Расчесывал, подстригал густую гриву, чистил гладкое откормленное тело, срезал наросты с копыт. Уздечка и новое скрипучее седло были в узорчье медных бляшек и звездочек. Под ним подпрыгивали, болтались при езде красиво сплетенные кисточки. Сколько раз видел Дементий себя в таком нарядном седельном убранстве... Чем он хуже председателя Тютюнникова? По грамоте побьет его, да, видно, начальству виднее, кого приставить к людям и колхозной земле. Завидев в подслеповатое окошко хомутовки идущего председателя, Басалаев скоренько выходил на улицу к привязанному Гнедку, хватал приготовленную скребницу и усердно начинал расчесывать и без того чистую, прилизанную шерсть. Хитрый лис знал: надо угождать руководителю, почитать его, даже если внутренне не любишь человека, завидуешь его положению. Маскировать чувства научился давно, лесть держал расчехленной, подобострастие проявлял по обстоятельствам. И Гнедку перепали затрешины, но поддавал всегда с оглядкой по сторонам.

Пургу он относил к разряду колхозной черни. Нечего с ней церемониться. Еще ни одна упрямыца, отбившая положенную волю-вольную, не миновала оглобель и хомута. Не таких усмирлял кнутом, ударами сапога. Напрасно Пурга взвивалась на дыбы, крутила горячей головушкой, пытаясь отсрочить уготованную долю. Ее лошадиная сила давно внесена в список, влита в общее колхозное тягло, где числятся также быки, ступающие неторопливой развалочкой. Кобыла не раз встречала их на колхозных дорогах, в поле, в лесу — широкомордых, покорных, с пузырчатой пеной на толстых шершавых губах. Научиться бы у них терпению, бычачьему упорству. С виду ленивые, они метр за метром тянут большую кладь дров на санях, гору мешков на телегах, связку бревен по крутому подъему от Васюгана-реки. Пашут не хуже коней, давно уяснив грубую речь кнута и нарымский матерщинный говор разудалых пахарей, от усердия забывающих выплюнуть потухший, сгоревший до самых губ окурок... Смирись, Пурга, будь такой же тихо-хитрой при своем повелителе, каким бывает он при колхозном председателе. Не будет с тобою цацкаться меднолобый конюх. Не перепадет тебе, как Гнедку, лишняя торба овса, большая, не порционная охапка сена.

Мудрость придет к кобыле позже. Будет сама забредать в оглобельное пространство, реагировать на малейший толчок конюха, помогать проснуться головой в хомут и глядеть на человека боязливо-преданными, понимающими глазами.

Пока же лошадиная сила буйствовала, не подчинялась воле мужика. Из расширенных ноздрей со слизью вытекала кровь: Пурга в горячах стукнулась о загиб санных полозьев, вырывала узду из рук Дементия. Неуклюжий от ватной одежды конюх еле держался на земле, топоча серыми подшитыми пимами.

— Запорю, зверюга!.. разьетит-т-твою мать!..

Когда избитая, урезоненная бежала по накатанной луговой дороге, чувствуя от удил жгучую резь, то и тут пыталась не подчиняться насильственной власти дергающих вожжей. На раскатах нарочно прижималась к кромке дороги, чтобы сани с возницей стукнулись о спрессованный снежный уступ, за что получала нестерпимые ожоги кнута.

Сперва было нетрудно везти забастриченный воз. С середины пути его тяжесть увеличилась, словно кто дорогой подкладывал лишние пласты сена. Для лучшего упора копыта приходилось ставить врасклин: делает вмятину острой гранью и сразу же печатает на твердом снегу полный оттиск следа. Хомут, шлея, чересседельник, подпруга, узда с давящими удилами образовали тугой панцирь. Кобыла была закована в него, с каждой верстой ощущая адскую сжимающую силу.

«Так вот она какая наша доля», — размышляла потная кобыла, с трудом переставляя дрожащие ноги. Тугие слежалые пласты сена Басалаев уложил плотно. По виду возок как возок. По тяжести впопугу откормленному овсом Гнедку — крепкононому жеребцу-шестилетке.

— Тяни! — взбадривал конюх лошадку кнутом и криком. — Всю урость из тебя выколочу... она у тебя с потом выйдет, с г.. Хватит, наотдыхалась, сено жрать задарма не будешь. Н-но, падаль, шевелись!

Нарочно поехал к дальним стогам, пробирался по глубокому, рыхлому снегу. Знала бы Пурга, не спалила столько энергии при запряжке. Зачем летела порожняком? Зачем на раскатах выкручивали ее из оглобелей окованные подрезами сани? Приходило первое позднее раскаяние...

Прошло время. Пурга готовилась подарить колхозу одноплеменника. Озабоченная предстоящим, мерзла в тесном стойле, вспоминая все нанесенные ей когда-то обиды. Не было на пепельной шкуре местечка, не затронутого кнутами, кулаками и кровососами. Поддавали пятками в бока мальчишки-копновозы. Охаживали гибкими лозинами. Всаживали пальцы в загривок, боясь свалиться с костистой спины. Вырывали из хвоста длинные волосинки на силки для поимки бурундуков и околобережных вертких шурят. Мужики в бражном подгуле потехи ради запускали в ноздри клубы едкого махорочного дыма. Мазали под репицей проскипидаренной тряпицей, привязанной к граблевищу.

Зимой, накрытая попоной метельного снега, надсажается, тащит из лесу перегруженные дровами сани. На них восседает возница, погаркивает, нашлепывает вожжами. От напряжения готовы лопнуть жилы. Не слезет до самой деревни мужик с перехваченных веревками полениц. Он бережет свои силы, они нужны ему всегда, как плугу лемех, бороне зуб. Никто не вычислил, сколько в одной кобыле мужицких сил, все измеряется на силушку извечную — лошадиную...

В стойле под санными огрызками шуршали мыши. Они шныряли по кормушкам в надежде поживиться овсом, но колхозным заморенным лошадям его давно не перепало. Давно миновал тихий церковный праздник Аксиньи-полузимницы. Зима успела прожить свой долгий нарымский век, прихватила полвека весны, но была по-прежнему такой же молодой, ядреной и злой.

Пурга боялась мышей, при возможности давила их широкими трещиноватыми копытами. Погружая храп в осошное сено, громко и зло фыркала, выпуская из ноздрей тугие струи воздуха. Шорох под сеном затихал, но кобыла, зная все уловки четырехлапых нахлебников, ворошила шуршащую осоку оттопыренными губами, не переставая выпускать из вздрагивающих влажных ноздрей терпкий лошадиный дух.

В ее косматую гриву забивались погреться воробьи и синицы. Иногда на бугристом крупе воробушки по забывчивости справляли свои птичьи надобности. По веснам придавались любовным утехам, задорным чириканьем улаживая слух усталой лошади. Пурга радовалась всякому случаю, когда залетные птички выщипывали на гнезда старую шерсть.

Осошное сено покалывало влажные губы. Иногда среди грубых осочин попадались стебельки вязеля и кровохлебки. Разжевав, лошадь не спешила проглотить клейкое месиво, наслаждаясь его вкусом и ароматом, вспоминая вольнотравное житье летом, луга, испятнанные туповерхими копнами и стогами.

Колхозная конюшня была плохенькой, кривостенной. Мох, который не успели растащить птицы, иструхлявел, рассыпался под пальцами порохом. Крыша, крытая досками-драницами, сгорбилась, обомшела. Из слоя наносной ветрами земли торчали метелки лебеды, крапивы и узкостебельных трав. Даже зима, принарядив крышу, присыпав сугробами чуть ли не половину осинового венцов, не могла скрыть убожества лошадиного жилища. К нему был пригорожен просторный денник — ископыченный, утрамбованный снег был сплошь покрыт темными котьями. Резко задетые лошадиными ногами, они глухо стучались друг о друга, издавая звук бильярдных шаров.

Изнутри конюшненные бревна одолевал грибок, разъедала липкая плесень. Почти посередине одну из стен подпирала березовая избочина, соединенная сверху самоковочной грубой скобой. Снизу подпорка упиралась в ямку, выдолбленную в полу, коричнево-желтым от конской мочи.

Напротив стойла, где помещалась Пурга, в стене меж бревен зияла щель. Из нее тянуло сквозняком, дуло лошади в правое ухо. Недогадливый конюх не заделывал щелевину, хотя умная Пурга не раз касалась губами его плеча и показывала глазами на отверстие, куда бы неплохо забить клочок пакли или моха. Одним ухом кобыла стала слышать хуже, будто произносимые слова, окрики отдувало быстрым ветром.

Была на исходе холодная апрельская ночь. В выбитую стеклинку узкого оконца конюшни заглядывали крупные чистые звезды. Одну из них — красноватую зорницу — Пурга заметила давно. Звезда не сходила с неба до самой рассветной поры, предвещая новую порцию сена и легкую пробежку на водопой.

Звезда сияла на том же отведенном ей месте, но вздрагивающая телом кобыла не видела сейчас ни ее, ни темно-синего прямоугольника неба. Было страшно и непонятно: что же произошло?! Зарождающееся утро вдруг сменилось непроглядной тьмой. Лошадь широко, до боли раскрыла глаза, но и тогда не увидела ни бревенчатой стены конюшни, ни жердей узкого стойла. С тревожным жалобным ржанием замотала головой, желая избавиться от черной бархатистой пелены, застилающей глаза. Пелена мрака не спадала.

Случалось, кусали летом ядовитые мошки, отемнялось зрение. Но вскоре матовость исчезала. Пурга с прежней четкостью видела траву, отдаленные кусты и колхозный табун.

Однажды была напугана солнечным затмением. Среди ясного дня наступили гнетущие сумерки. По-волчьи выли в деревне собаки, ошалело носились по дворам и улицам куры, елозили на хребтинах всполошенные кони. Взбрыкивая полусогнутыми ногами, поднимали отвислыми гривами дорожную пыль. Под бременем нахлынувшей тайны притихла, насторожилась природа. Люди, задрав головы, смотрели на тусклое светило в закопченные стекла. Пурга била копытами землю, раскатисто ржала, пока солнце вновь не польхнуло ливнем неостановимого света.

Для Пурги наступило вечное затмение. Так в приречном колхозе «Васюганский пахарь» от непосильных трудов ослепла жеребая кобыла. Она качнулась в одну сторону стойла, в другую, желая убедиться — на месте ли перегородки, отделяющие ее от других лошадей.

Удостоверившись в целостности личной маленькой территории, кобыла издала глубокий протяжный вздох.

Пришел невеселый рассвет. Из полумрака стали выплывать столбы, подпирающие потолок, заиндевелые стены и разномастные спины коней. В конюшне находилась треть колхозных лошадиных сил — большие, охромелые, жеребые, предназначенные для хозяйственных нужд. Остальные кони вместе с быками выполняли изнурительную работу на лесозаготовках, вывозя по дороге-ледянке к сплавной реке гладкобокие бревна. В двух километрах от берега колхозники прореживали густой бор, подсекая лучковыми и двуручными пилами звонкие корабельные сосны.

На ржавых петлях заскрипела дверь. Вошел угрюмый конюх, трубно высморкался, зажимая поочередно ноздри тугой подушкой большого пальца. Мужик был в серых самокатных пимах, втиснутых в старенькие высокобортные калоши, в ватных, настолько залосненных штанах, что они походили на кожаные. На правом рукаве телогрейки была наложена заплатка величиной с носовой платок.

Кони торопливо шли в денник к приготовленному сену. Пурга замешкалась в стойле. Дементий зло толкнул ее черенком куцей метлы. Лошадь шарахнулась в проходе, медленно, по памяти побрела к двустворчатой двери. Ночь, отведенная природой, и ночь, уготованная судьбой, слились сегодня в одну долгую непроглядную темень, затмив все: светлый дверной проем, щелястый, пропитанный въедливой мочой пол, мутные окошки конюшни, куда настойчиво вползали плотные неломкие лучи. Из черноты помещения кобыла шагнула в черноту денника, остановилась в нерешительности и обуявшем страхе. Слышала: смачно хрустели сеном лошади, стрекотали сороки. Маленькими шагами несчастная приближалась к брошенному посередине денника сену, вбирая трепещущими ноздрями морозный воздух.

Не попав в узкое пространство между саврасым меринком и гнедой костлявой кобылой, она ткнулась мордой в ляжку кастрированного коня и получила хлесткий удар копытом. В другой раз она отплатила бы нахалу, куснула или лягнула, но теперь жалкая и посрамленная, отпрянула назад, болезненно ощущая тяжесть распертого живота.

— Чего, курва, не жрешь?! — Конюх замахнулся над лошадиным храпом веским кулаком с бугристыми, лопнувшими ногтями. Странно — кобыла не шарахнулась от него, как всегда, а безбоязненно тарасила влажные, будто клейкие глаза.

Желая проверить догадку, Басалаев еще несколько раз тыкал наотмашь левым и правым кулаком. Замершая четырехногая сила не реагировала на взмахи рук.

— Вот те на-а! Никак ослепла... — пробубнил испуганно Дементий, раскрывая в удивлении большой рот с плотными грязными зубами.

Он принес из конюховки кнут, встал перед слепой конягой, размахнулся. Но и тогда с тупым равнодушием смотрела на него Пурга, не стронувшись с места, не мотнув испуганно головой.

Конюх подошел вплотную, для пущей достоверности пристально заглянул в фиолетовые пузыри глаз. Когда увидел мокрые дорожки под ними, скопившуюся на донышках влагу, мужик попросил у кобылы прощение за частые побои и нелюбовь к ней.

Дементий щедро насыпал в глубокую кормушку овса и не подпускал к слепой других лошадей.

2

В колхозе гадали — какого жеребенка принесет Пурга: зрячего или слепого. Кладовщик Яков Запрудин даже поспорил с конюхом на бутылку самогонки. Дементий, не выпуская изо рта самокрутки, выбрасывал вместе с едким густым дымом шепелявые слова:

— От слепой слепец родится... двойной убыток хозяйству.

— Убы-ы-ток! — басил Запрудин, унимая мизинцем зуд в правом ухе. — Кто его, убыточек этот, на блюдец колхозу поднес? Ты! — Яков, как пистолетным стволом, тыкал указательным пальцем в крутое басалаевское

брюхо. — Гад ты, Демешка, не конюх! Такие матерые вozy на кобыле таскал — бастрики лопались. Донял лошадь натугой. Лучше бы тебе шары отемнило.

— Ты, Яков, хай не поднимай! Травы дурной Пурга объелась, потому и слепота наступила.

— Ничего, мы тебя на колхозном собрании попросим горькую траву показать.

Чем больше в словесной перестрелке попадало в Дементия литых матерных пуль, тем сильнее багровела его тесаная шея, чаще подскакивал выпирающий кадык, точно под кожей металась вверх-вниз окатанная галька. От слов до кулаков дело не доходило, но четыре руки месили воздух основательно. Далеко не мирная жестикуляция красноречиво говорила о нешуточной давнишней вражде мужиков.

Запрудин считал конюха колхозным прихлебателем: тайгу под пашню не корчевал, избу себе не построил — готовую купил. Когда-то донимал Басалаев мужиков налогами. Не было у него жалости ни к многодетным семьям, ни к доживающим свой век старцам. До рубля, до каждого литра молока добирался он, угрожая пухлой книжкой квитанций и острым, как шило, химическим карандашом. В оправдание втолковывал мужикам:

— Налог — закон. Не я его состряпал.

— Состряпал не ты, а допекаешь зачем? — наседали колхозники, добиваясь отсрочки платежей, обременительных поставок мяса, масла, шерсти и шкур.

Потирая жирные лоснящиеся щеки, Басалаев стыдил, увещевал, упрекал жителей деревни Большие Броды, используя в выбивании налогов лисью хитрость, нахальство, дерзость и запугивание.

Торопливо жевала овес Пурга, роняя с губ капли клейкой слюны. Сегодня лакомый корм не был вкусен. Сильнее ощущалось покалывание острых овсинок. Требовалось наскоро перемолоть зубами щедрую подачку конюха, насытить брюхо, где уместился в мокром тепле беспокойный жеребенок. Он часто дрыгался в тесной утробе. С каждым днем толчки становились резче, сильнее. Его будущая колхозная земля лежала всего лишь в метре от затекших согнутых ног. До барабанной упругости натянутый живот, словно в люльке, держал и баюкал существо, которое звала земля, ждала появления на свет.

За ночь продолговатая прорубь на Васюгане подернулась нетолстым ледком. Нарымская зима еще не начала бурного отступления, науськивала, особенно по ночам, мороз. Днем солнце незаметно подтачивало ледяные мосты, оплавляло на буграх снега. На пригревах источали слезы радости хрустальные сосульки. На лесных полянах, на пнях и древесных стволах скоро начнут разгораться бурундуковые битвы. Подняв трубой распущенные хвосты, самцы станут вступать в дерзкие схватки за полосатых подруг. Везде будет слышен призывно-любовный поклик неугомонных зверьков.

Лед в водопойной проруби пробивался совковой лопатой. Дементий вычерпал стеклянный скол широким сачком, и пока, отойдя в сторонку, журчал в снег желтой струей, лошади подошли к темной воде, принялись пить с шумным чмокающим прихлебом. Слепая стояла в стороне от табунка, облизывая языком опущенные губы. Конюх, ласково похлопывая по холке, подвел Пургу к краю проруби, отпихнув бесцеремонно игреневого жеребца. Лошадь чуяла близость воды, но не наклоняла голову. Раздалось протяжное посвистывание конюха. Слепая оттопырила губы, копытом потрогала лед перед собой, желая убедиться, где кромка очищенной проруби. Найдя ее, жадно припала к медленно текущей воде. С мясистых губ смывалась овсяная шелуха.

Запоздалое раскаяние Дементия не принесло душе облегчения. Он вспомнил, как истязал кобылу на крутых дорожных подъемах, пытаясь резью кнута влить в лошадь добавную силу для продвижения тяжеленного воза с сеном, большой поклажи мешков, дров, привозимых с дальних делян. Перекашивался от натуги хомут, кренило дугу, врезалась в лошадиное тело сбруя. Обручную твердость приобретала подпруга, сжимающая кобылу до скрипа ребер. Закованная в удила, хомутину, чересседельник, другую ременную амуницию, Пурга ухитрялась отыскать в себе еще треть, бог весть у кого заимствованной, лошадиной силы. Бесконечной лентой мучения тянулся впереди санный путь, ложилась под тележные колеса тугая грязь дорог, простиралось невспаханное поле, усыплял наплывный шум тяжелой сенокосилки. Молчаливая работница не имела права на усталость и бессилие. Но они являлись, обрушивались опустошительным валом. Тогда ни кнут, ни пинки, ни обломанная в гневе о спину палка не могли вразумить обессиленную вконец лошадь. Часто полное изнурение принималось за хитрость и притворство. Приходилось мучительно сносить тупое надругательство возницы, не желающего сбросить с воза ни навильника сена, ни охапку дров.

Судьба не наделила лошадь-смирнницу большой силой. Другие кони могли вымчать кошевку или сани на крутой угор, тащить ладный воз сена, без задышки нести седока на несколько километров. Пурга не могла удивить ни крепостью ног, ни мощью фигуры, ни тягловой силой. Искусный шорник дед Платон, занимающийся по старости лет и болезни всякой домодельщиной, осматривая неказистую кобылу, говорил:

— Бывают и от тяти разные дитяти. Конь коню — тоже рознь. Иной на работах вмиг истлевет, вся силенка с испариной выходит. Другой и вял и сух, но за троих тащит.

Для вспашки личного огорода дед Платон старался взять Пургу. Он никогда не изнурял ее, отваливая лемехом тонкие пласты унавоженной земли. Редко приходилось покрикивать: «в борозду!» — работница шла хоть и тихо, но ровнехонько, не выходя из прорезанной неглубокой дорожки. Когда прицепляли борону, на

смирную кобылу взбирался шустрый внук Платона — Захарка, предварительно скормив ей посоленный ломоть хлеба. Вдавливая в мякиш крупитчатую соль, Захарка искоса наблюдал за нетерпеливой Пургой: она тянулась оттопыренными губами к куску, теребила бахромчатый рукав сильно изношенного пиджака.

— Да погоди ты! — ласково отмахивался юный бороновальщик, показывая в улыбке щербатые зубы.

Захарка подавал на ладони нашпигованный солью ломоть и сразу подставлял под лошадиную морду подол ситцевой рубашки, не позволяя ни одной крошке упасть на черные пласти.

Зигзагообразно тащилась по огороду тяжелая борона, зубья рыхлили землю. Сильными вздохами паренек вбирал в себя ее сладковато-бражный дух.

Запуганная бранчливым, скорым на расправу конюхом, Пурга была предельно внимательна к каждому подергиванию поводьев. От деда Платона, от Захарки она не слышала резких понуканий, никогда не испытывала ожогов прута или бича. Она давно выделила Захарку из всего колхозного люда за ласковость, доброту и снисходительное отношение. Была жеребенком, подпускала к себе, позволяя чесать за ушами, в паху, запускать пальцы в густую гривенку, прихлопывать ладошкой скопище гнуса на шее, возле глаз. Захарка безбоязненно пролазил под животом жеребенка, играл с ним на какой-нибудь прогретой солнцем лужайке, бодал его на траве, прижимая острые трубчатые уши.

Став взрослой лошадью, Пурга не изменила своей привязанности к пареньку. Никто кроме него так охотно и тщательно не вычесывал во время линек старую шерсть. Приятное, щекочущее прикосновение скребницы заставляло кобылу тихо всхрапывать от удовольствия, словно она особым лошадиным мурлыканьем благодарила за важную услугу, платила за труд нехитрой песней.

Узнав от отца, Якова Запрудина, что любимица ослепла по вине конюха, Захар кусками льда высадил три оконных стекла в басалаевской избе. Когда с крыльца громыхнул среди ночи ружейный выстрел, мститель отлеживался за плотным сугробом, нанесенным вровень с огородными кольями. На всякий случай он прихватил с собой чугунный кругляш, снятый с печной конфорки. Захар горел мальчишеским гневом. Дойдет дело до схватки, — размышлял он на снегу — пробью конюху башку чугуниной. Таяла, мокрела под горячей щекой снежная корка.

Качнулся у избы желтоватый свет фонаря: «летучая мышь» осветила сперва полупустую раму, заметалась низко над землей. Хозяин искал следы. Возле него крутился сын-старшак Никитка, держа наперевес двустволку. Захар скривил в ухмылке губы, прошептал:

— Дураки! Мои наброды ищут. Буду я вам вблизи хлестать стекла. Чай, на школьных соревнованиях всех дальше кидаю гранату.

Сказал и пополз по гладкому насту к тропе.

Тихо шагнув в избяное тепло, полуночник сбросил валенки у дверей.

— Что долго на двор ходишь?! — спросила мать, разбуженная выстрелом.

— Живот... скрутило...

— В какой стороне стреляли?

— В низовской. Наверно, у Чеботаревых. К ним лиса повадилась в стайку лазить, двух кур утащила. Поди, подкараулили.

3

Ломались санные дороги. С хрустом лопались на солнцелюбных пригревах глянцевитые сугробы. Из-под них выныривали лопотливые ручейки. Ослепленные густым светом, натыкались на пригнутую прошлогоднюю траву, сухие стволы репейника и комки волглой земли.

По проторенным природой путям шла холодная весна тысяча девятьсот сорок первого года. Там, где с крутых яров прыгали в снежные завалы ребятишки, теперь резво сигналы мутные потоки, сгоняя со склонов до обрезной черты реки разжиженную глину.

Оттаивали макушки муравейников. По насту, делая первые пробные вылазки, ползли еще полусонные муравьи, часто останавливаясь и трогая друг друга усиками.

В деревне Большие Броды для ребят было три особенно притягательных места: кузница, конный двор и мельница. Захара Запрудина влекло к себе все конюшенное хозяйство: пропитанная запахами дегтя и кож конюховка, длинное помещение для лошадей, пригороженный к нему просторный денник. Часто, присев на толстую жердину изгороди, мальчик завороченно наблюдал за конями. В многоногом разношерстном табуне царила интересная жизнь. Заботливо опекались жеребята. Наказывались ретивые нахалы и задиры. Чесали друг друга зубами и храпами. Лизали валуны соли. Дрались и мирились. Смеялись тем особенным лошадиным смехом, который можно принять за угрозу вцепиться в соперника оскаленными на всю длину резцами. Лохматые, короткошерстные, большегривые, худые, плотнотелые — все покоряли Захару интересной табунной

жизнью. Каких мастей тут только не было! От мелового до войлочного цвета, от песочного до кирпичного, от пепельного до землистого. Мальчик жалел жеребят-изморышей, в ненасытном рвении терзающих таких же худых, плоскобоких матерей. Несильными ударами коленей матки отстраняли надоедливых сосунят. Они, встряхнув головами, с еще большей настырностью лезли под отвислые животы.

Однажды Захар впервые дотронулся до теплого храпика саврасого жеребенка. Тихонько, боясь вспугнуть, погладил его. Резвоногий неожиданно фыркнул почти в самое лицо мальчишки, обдав мелкими каплями слюны. Принимая это за доверительную игру, Захарка громко рассмеялся и погрозил запачканным чернилами пальцем.

Конюха невзлюбил сразу. Завидев его, соскакивал с изгороди, прятался за конюшню. Сюда доносились матерки, испуганное ржание и топот лошадей по деннику.

Как-то на улице к кладовщику Запрудину подошел конюх. Взяв его за медную пуговицу зеленого бушлата, предложил:

— Отпускай, Яков, своего парня ко мне в ученики. Все равно день-деньской на конюшне пропадает.

— Чему ты его можешь научить?! — Запрудин дерзко посмотрел в бысролетные басалаевские глаза. — Матеркам? Жестокости к лошадям? Зернокрадству? Не-ет! Упаси бог от такого учителя. Ты свою душу черту по найму отдал.

— Черту ли, богу — живу не тужу.

— Ну и живи. И отхлынь от сына.

Захар тайком от отца стал помогать конюху. Чистил стойла. Разносил по кормушкам сено. Взяв скребницу, обихаживал коней до ломоты своих хватких рук.

С Дементием почти не разговаривал.

— Молчи, немтыренко, да дело делай, — с ехидцей бубнил мужик, радуясь усердию Захара.

Никита, басалаевский старшак, тоже льнул к лошадям. Характер он имел горячий, срывистый. Без конца дерзил отцу, вырывал из его губ недокуренную самокрутку.

— Добалуешься, чертенок! Когда-нибудь ссело нос с рожи!

— Из чего дым выпускать стану?! — хохотал в лицо отцу смельчак, выдавливая из крупных ноздрей густые струи.

Упитанный, крепкощекий Никита не раз нарочно задевал плечом Захара, наступал на ноги, стучал черенком вил. Недолго парень скрепя сердце терпел издевки. Однажды, схватив забяку за грудки, стукнул его спиной о стену конюшни. У Никиты зашло дыхание. Драка не завязалась: вошел Дементий, послал Захара съездить за овсом.

Отец, забросив на сани мешок, упрекнул:

— Нанялся что ли к конюху?! — Поняв опрометчивость вопроса, извинительным тоном добавил: Впрочем, помогай, учись. Турнут Басалая с должности — его место займешь.

Никак не хотелось верить Захару в то, что Пурга ослепла.

— Может, временно... может, пройдет, — успокаивал он себя и страдальцу, поглаживая ложбинку под ее нижней губой.

Он заглядывал в слезящиеся глаза лошади, видел в них свою крошечную голову. Оттиск был упрятан в самую глубину зеркальных холмиков, словно вплавлен в них. Не хотел Захар пробовать на вкус горечь правды. Не желал верить, что задумчиво-пристальный взгляд Пурги перехвачен сейчас плотной тьмой. Эта молчаливо-коварная разлучница стеной стала между ними, напрочь отсекала весь нехитрый мир видений, поглотила ископыченную землю денника, жердяную изгородь, облитое солнцем небо.

Захар тихонько вытащил из-за пазухи кусок калача, поднес к левому глазу кобылы, к правому. Она не отреагировала на проверку ни отраженной в глазах радостью, ни поворотом головы. Почувяв хлебный запах, расширила и прижала ноздри. Скармливая теплую дольку мягкого пористого калача, паренек стиснутыми зубами, полным наклоном головы к груди пытался заглушить в себе неостановимо бегущие надрывные звуки. Не удалось. Они выплеснулись наружу, спугнув с долбленной кормушки стайку резвокрылых воробьев. Не перехваченные губами слезы картечинами бились о руку, о поджаристую корочку сдобы. Захар крепко обхватил голову несчастной лошади и, пока она дожевывала калач, терся щеками, носом, подбородком о ее серый, с желтоватой подпалинкой лоб.

Ведя за уздечку на водопой одну, без табуна слепую Пургу, Захар размышлял о ее дальнейшей судьбе. Принесет скоро жеребенка и что же — на забой? Не-е-т. Председатель не позволит. Защитим ее. В колхозе мало лошадей... Под суд надо конюха отдать. Говорит: трава виновата. От ядовитого вежа не слепота — смерть наступает. Сам видел — подыхала на лугу колхозная корова, съевшая зеленую отраву. Высачивалась из открытого рта, пузырилась желто-зеленая пена, выпирало из орбит просящие о помощи глаза. Луг оглашался смертельным ревом. Приходилось жмуриться и затыкать уши.

— Вот и поводыр у ослепшей нашелся, — нежным, воркующим голосом говорил дед Платон, встречая внука у конюшни.

— Дедушка, неужели убьют ее?

— Колхозному правлению решать. Лошадка смиренная, безотказная. Жалко такой подсобы лишаться.

Старик неуклюже переступил с ноги на ногу. Подошел вплотную, пылливо посмотрел внуку в глаза.

— Стекла у конюха ты выхлестал?

Захарка хотел в этот миг проглотить скопившуюся слюну, но она застряла на полпути в окаменевшей гортани. Прозорливый дед метко нацелил блекло-карие магнитики глаз. Невозможно было увильнуть от ответа, солгать, провести умудренного жизнью человека. Никого не посвящал в свою тайну юноша — ни друга Ваську Тютюнникова, председательского сына, ни его сестру Вареньку. Сказать деду «нет», и все кончено. Никто не видел. Никто не сможет указать на него пальцем.

— Не пытайся врать, — окончательно разрушил сомнения Платон. — У лжи все равно нос наружу торчать будет. Говори.

— А чё Басалай над лошадьми изгаляется?! Я сперва хотел в трубу его избы полбутылки пороха на веревочке опустить. Печку пожалел... и порох тоже.

— Во, мудрец! Во, мудрец! — Платон захлопал ладонями по отвислым штанам. — А если бы ружейный заряд решето из твоей задницы сделал? Ведь Дементий холостыми патронами не палит. У него картечных хватает. Картечь-то не рубленая из гвоздей — заводская.

— Обошлось.

— По-ранешнему вздуть бы тебя надо, да ты уже лавку перерос. Запомни, Захарушка: на всякую месть отместье имеется. Зло — семя шибко сорное. Вам, молодым, иная сила дана — словами и поступками оживлять правду, гасить злобу. Вчера твоя душа взгомонила — окно вышиб, завтра избу вздумашь спалить.

— За Пургу отомстить хотелось, — виновато, тихоголосо изрек внук, поглаживая покатошь над верхней губой лошади.

Долго держались в тайговниках дороги-ледянки, но и они не могли устоять под натиском ручьев, творящих многочисленные проточины. Все обрушительнее была сила прибывающего тепла и света. Хлюпала под полозьями саней снежная жижа. Скользили копыта быков и лошадей на оплавленных льдистых буграх. С трудом передвигались по изломанной колее груженые соснами сани. За ними скрипуче ползли короткополозные подсанки, стачивая подрезами без того истонщенную, криво ползущую к Васюгану дорогу.

Понуро тащились по ледянке покорные сухожилые быки. От их упрямой, в раскачку походки скрипели громоздкие березовые ярма. На пологих длинных подъемах быки останавливались передохнуть. Слышались частые хриплые вздохи. Дрожали вспененные подушки губ.

Оставалось вывезти из урмана последние полтораста кубометров древесины, и дожидаться часа, когда сплавщики пустят бревна по извивам темноводной реки.

На делянах дожигали кучи соснового обрубья. Под хвойным пологом растекались горьковатые дымы. Книгу жизни каждого дерева время писало волнистыми годовыми кольцами. Они явственно читались на желтых срезах пней. Сосняки здесь были многосемейные, росли неугнетенно: кольцевые дорожки бежали от центра довольно ровными полнокругими линиями.

Опустеет скоро второй урман. Уйдут на короткий отдых люди, быки и кони. Оставив теплые лежанки потайных берлог, разбредутся вялые от многомесячной спячки медведи. Какой-нибудь набредет на таежный барак, будет принюхиваться к углам, чесаться об открытую банную дверь. Кровеня язык, станет вылизывать консервные банки и теревить увесистыми лапами ключья оброненного сена.

В середине апреля двинулись из тайги в Большие Броды обозы со скарбом, с дровами, с клепкой, заготовками для топорищ, граблей и вил. Ни одни сани не тащились порожняком. В трех вместительных, плетенных из ивовых прутьев коробах везли чурочку для газогенераторного трактора. Его обещали колхозу второй год, вот и готовили впрок «корма» для стального савраски. В складе у Якова Запрудина вырос чуть ли не под потолок чурочный террикон. Некому было пока скармливать высушенные, гулко стучающиеся друг о друга баклушки. Район говорил: ждите. У страны колхозов тьма и каждый желает обзавестись колесной конягой.

Чурочку сушили в бараке над печкой почти до полного удаления влаги. С прогнутых вольерных сеток днем и ночью доносилось легкое потрескивание: лопались от сушки древесные волокна.

Боясь, что колхоз, получив трактор, останется без тракториста, председатель Тютюнников выписал из Томска справочники, пособия по газогенераторам. Смороенный лесными работами колхозный люд, сопя и всхрапывая, засыпал на барачных нарах. Василий Сергеевич брал тогда керосиновую лампу-семилинейку, уходил в баню. Полок, пропитанный запахом березовых и пихтовых веников, служил ему широкой партой. Далеко за полночь, намертво сваленный усталостью, успев только дунуть в горловину лампового стекла, быстро погружался в пучину сна. И возникали перед ним прекрасные картины обманного сновидения: целая вереница пашущих тракторов. Земля простиралась черной жирной равниной до самого горизонта. Тракторы шли в

зыбучем мареве и над бесконечно бегущими пластами великого поля вспархивало огромное скопище грачей и скворцов...

Даже не наметанным глазом можно было сразу отличить в табунах коней-тягловиков, прибывших с лесозаготовок. Какой бы не была колхозная разноработица, оставленным при конном дворе лошадям больше перепало часов отдыха. Зимние ночи они коротали в стойлах. В тайге конюшню заменял крытый досками сарай, огороженный неошкуренным горбыльником. На крышу набрасывали несколько навильников сена. Сенные валки тянулись вместо завалинок понизу лошадиного обиталища. Ежегодные заготовки прямослойной сосны для авиационной промышленности выматывали людей и животных. Это была тяжелая, запланированная васюганским земледельцам страда. Она начиналась с первыми белыми мухами и заканчивалась за две-три недели до посевной. Лесная кампания по продолжительности побивала все полевые и луговые работы. Кони, успевшие откормиться за лето и осень на даровых харчах лугов, вертались из тайги поджарыми, как гончие, попусту пробегавшие весь день за зайцами. Метелочные хвосты лошадей, сцепленные и укороченные неотлипчивым семенем репейника, в тайге дополнительно склеивались от смолы стволов, задеваемых при трелевке и отвозке бревен по ледово-снежной дороге.

Возвращение из тайги омрачилось для председателя печальным известием об ослепшей кобыле. Прежде чем сообщить плохую весть, счетовод Гаврилин с минуту открякивался в кулак, заводил под потолок глаза, избегал вопрошающего взгляда Тютюнникова, точно сам был повинен в случившейся беде. Он оставался за председателя и теперь должен дать отчет о всех пробуксовках механизма невеликой артели.

— Выговор меня не пугает, не полиняю от него. Лошадь жалко... забить придется, как думаешь? — Василий Сергеевич машинально покачивал по столу ладонью пресс-папье: маленькая деревянная качалка была покрыта снизу толстым слоем промокательной бумаги, успевшей впитать черно-синий ядовитый цвет.

Гаврилин пальцем ткнул вверх дужку очков, поскреб переносье.

— Принесет Пурга жеребенка, выкормит его, там видно будет. Может, и слепая сгодится в хозяйстве. Захар Запрудин от нее ни на шаг.

— Конюх что говорит?

На траву сваливает. Водится, дескать, по мочажинникам шелковистая тонкостебельная трава, конским слепуном называется. Поела несколько раз и вот...

— Ела летом, ослепла весной. Не вяжется что-то.

— Врет Басалаев. — Счетовод поднес Василию Сергеевичу стопку бумаг, где требовалась только его, председательская подпись. — Старики такой травы не знают. Дементию слукавить, что высморкаться. Турни его с конюхов.

Тютюнников обмакивал широкое перо в чернильницу, подписывал документы. Счетовод прихлопывал подпись мягким пузцом пресс-папье.

— В тайге совсем разучился ручку держать. Не подпись — лисий след.

— Сойдет. Не на сотенных фамилию ставишь.

— Гнать, говоришь, конюха надо?

— С треском.

— В районном земельном отделе басалаевский родственник затесался.

— Ничего. Правление решит и райзо не крякнет. Не велика шишка. Переводи его смело в разнорабочие.

Сейчас самое время седло из-под него выбить.

— Может, и впрямь трава повинна?

Счетовод сдернул очки, шумно, как после выпитого стакана вина дохнул на стеклышки, протер их полкой суконной гимнастерки с большими накладными карманами.

— Свалим на траву — молву дурную наживем, Василь Сергеевич. И от слов крапивный зуд по телу пойти может. Лично меня словесная чесотка не устраивает...

Вода настойчиво отторгала от берега посинелый лед. По продолговатым лыжинам заберегов влажный порывистый ветер гонял мелкую рябь. Предледоломная пора редко проходила без сильных ветробоев, поднимающих в воздух ярный песок. Весенним неостановимым набатом гудели матерые хвойные колокола.

На берегу Васюгана дед Платон смолил широкодонную лодку. В котле клокотала, всплескивалась густыми каплями смолы. Из-под черного брюха посуды вместе с теплом вырывалось тонкое ломаное пламя. Оно с гулом обволакивало чугунный бок и походило на багровый лепесток диковинного цветка.

Загородив плоской спиной котел от ветра, Платон погружал привязанную к палке паклю в аспидную гущу. Подождя, пока сбежит с такого большущего помазка смолы, быстро подносил его к лодочному пазу, затирая трещины, щели, ямки возле гвоздей.

Набежные с реки ветры ударялись о береговую кручу, кудлатили сухую траву у кромки яра, трепали обнаженные корни мать-и-мачехи. Платон широким носком чирка набросал на огонь песок, приглушил жар.

Старик не принадлежал к породе скородумов, говорящих наспех первые пришедшие на ум слова. Он неторопливо укладывал их в памяти, как дровяное колотье в поленницу — торец к торцу. Так же плотно ложились и мысли, приходящие за тягучей повседневностью дел. Чем больше жизнь урывала у тихого времени дней для земного существования, тем сильнее хотелось отдалить неминуемый час прощания со всем, что много лет вторгалось в душу, сердце, глаза, радовало, бодрило и угнетало. Ни о райских куцах, ни о чертовщине ада не размышлял Платон. Детство, отрочество, зрелость были повергнуты наземь, как повергаются наземь косой созрелые травы. За первый укус кем-то снято детство. За второй и третий подкошены другие годы. Подступила старость, бродит нищенкой, вымаливая дни и недели для праведных трудов. Иных и не было у Платона Запрудина. Огрубели мастеровитые руки. Кривыми рытвинами расплзлись по шее, лицу морщины, улетучилась былая сила. До сих пор осталась неутоленной одна жажда жизни. Отпустят тебе скоро последний глоток из чистоструйного родника и не дадут даже капельной добавки...

Черны, липучи сегодня мысли в голове, точно густая смолушка в котле. Лодка представляется Платону большой домовиной.

— Тьфу! — сплевывает старик, задирает голову и глядит на самое надъярье.

Там стоит Захарка, размахивает руками, что-то кричит деду. Ветер рвет, членит слова. Долетает — «ёёно...ви...раа». Внук подпрыгивает, машет кепчонкой, резким выбросом вскидывает руки. Платон догадывается: не беда пригнала парня на берег. В короткую затишь гудящих порывов долетает ликующее:

— Дееда, жеребеенок виидиит! Урраа!

— Слава те господи! — крестится неверующий Платон. — Пурга зрячего принесла.

Разом отхлынули, улетучились свинцовые мысли. Над полураздетым Васюганом, его изломистыми берегами, плоскоберегой заречиной ворохами подсиненной марли лежала дымка. Потопленные этой недвижимой синевой тальники, санные наследы с вытаянными котьями, ключья оброненного с возов сена составляли общую картину весеннего утра. В человеке продолжала жить возвращенная радость.

Захара подмывало сигануть с яра на песчаную осыпь. Он понесся прыжками к спуску, разбрызгивая мутную воду лужиц и ручьев.

— В котел не угоди! — крикнул Платон подлетающему внуку.

Через несколько минут, выложив важную новость, Захар стал помогать деду досмаливать лодку.

Сейчас особенно пытливо, изучающе смотрел старик на помощника, ревностно отыскивая в лице внука черты, хотя бы отдаленно схожие со своими. Ничего не находя, злился, сам не зная на кого. Отцовского и материнского было много в цвете серовато-синих глаз, небольшой приплюснутости носа, скуластом подбородке, чуть раздвоенном ямочкой. От отца достались порывистость движений тонких рук, пунцовые пухлые губы, округлость нешироких, но крепких плеч.

Совсем упустил из вида Платон, что Захаркин характер — волевой, необидчивый, неотступный — точный слепок с его, стариковского характера. Такими качествами наградил сына. Они же, словно по родственному завещанию перешли к послушному, исполнительному внуку. Старик, как бесценной находке, обрадовался пришедшей мысли: время может стереть с лица схожие с кем-то черты, изменить походку, обесцветить глаза. Но сгусток переданной воли, решительность поступков, вложенное в руки трудолюбие, болезненно-острое отношение к правде не поддадутся разрушению, перейдут в наследство правнукам... «Значит, мое будет жить в них... Значит, мне удалось заложить в сыне и внуке что-то неподдающееся тлену, не уходящее на погост вместе со мной».

Смола капала на чирки, на измятую куртку, сшитую из шинельного сукна. Погруженный в раздумья Платон не замечал прилипчивые кляксы.

4

Пурга ожеребилась под утро на теплой сенной подстилке.

В первые минуты появления на свет жеребенок потягивался, разминал затекшее в утробе тело. Из ноздрей вместе с лопающимися пузырями курился легкий парок. Одолела зевота. Он жадно хватал терпкий воздух конюшни, показывая ровные молочные зубы.

Пурга вылизывала покатым лобиком возле прищуренных глаз, гладкошерстную ложбинку за челюстью, гуттаперчево-податливую округлость над ноздрями. Усталая и счастливая, чистила и чистила языком клейкую шерсть.

Из двух красноватых, с прожилками сосков, близко поднесенных к открытому рту жеребенка, выжались нетугие струйки, обрызгали язык, откляченные губешки с мелкой порослью волосков. Малыш поперхнулся, издал всхлипывающий звук, принялся слизывать густоватое молоко. Потом боднул мордашкой в пах, жадно, с чмоканием припал к соску, роняя с губ плотные капли.

Слепая мать лежала на влажной подстилке, тяжело и мучительно вздымая крутым боком. Не раз жеребенок пытался встать на ноги. Пурга придерживала его головой и продолжала заботливо вылизывать покрытую слизью шерсть.

— Растелилась, корова! — буркнул утром конюх, пытаясь смятой мешковиной протереть досуха жеребенка.

Мать, каким-то чутьем угадав его намерение, показала плотные зубы.

— Ишь ты! Заступница серая!

Дементий медленно подводил к глазам рожденьша прокуренные, сложенные в фигу пальцы. Жеребенок так же медленно отстранял от него симпатичную мордашку.

— Видишь, шельмец! То-то!

Вспомнив о проспоренной самогонке, шелкнул малыша по мягкому уху и полез за кисетом.

Если сначала мать не позволяла сосунку подняться на ноги, то теперь, накормив его, сама подталкивала под живот, легонько покусывала суставы, передвигала по сену.

Солнце светило вволюшку. Мутные продолговатые оконца конюшни не могли сдерживать стремительного напора. Световой столб упирался в пухлый живот жеребенка. Уловив его тепло и ласковость, он с новой решимостью сделал попытку посмотреть — откуда начинается затейливый мир света. На длинных шатких ногах поднялась новоявленная сила колхоза. Скользкие копытца ощутили что-то твердое под собой. Пол конюшни стал уползать. Сосунок попытался удержать его дрожащими ногами, испуганно глядя на большую добрую мать. Когда малыш шумно грохнулся на колени, слепая вздрогнула и вытянула голову.

Свет из окошка манил и тревожил. В зыбких упрямых лучах купалась сенная пыль.

Собравшись с духом, жеребенок резво вскочил на кривые ноги. Заскользил, зашатался, но не упал, удерживая в раскачке худое, неуклюжее тело. Весь безудержный свет весеннего дня достался ему в награду. Он зажмурился от обилия белого огня.

Снова подошел к стойлу конюх, довольно хмыкнул, закурил. Жеребенок глядел на человека с подозрительным любопытством. Маленький хвост делал первые неуверенные колебания, но когда ниже крупа села разбухшая теплом муха, волосаяная метелка резко прихлопнула ее.

С высоты своего жеребеночного роста человек показался не таким громадным, каким виделся вначале. Чтобы еще уменьшить конюха, сосунок задрал голову насколько мог.

Не торопясь, валко поднялась мать, шумно стряхнула с себя прилипшее сено. Он удивился огромности стоящего рядом родного существа, невольно прихлынул к теплomu покатоному боку. Губы сами собой отыскивали под жилистым брюхом набухшие сосцы. Моментально забылся крутоплечий конюх с аршинной самокруткой, золотой ливень света и что-то живое, сбитое первым ударом мягкого хвоста.

Вывели в денник. Прибавилось страха и любопытства. В глазах запестрело от обилия разномастных, разновозрастных коней. Рыжие, соловые, гнедые, карие, пегие. Белогривые, черноногие, худые, сытые, однолетки, стригуны. Стояли понуро замороженные клячи. Были чересчур бойкие упитанные жеребцы, проказливо ведущие себя кобылы. Лизали валуны соли. Грызли осиновою жердину пригона, обнажая источенные плоские зубы. Долбили копытами вязкую холодную землю. Фыркали, ржали, лягались, чесали ошеренными зубами шеи и спины. Игрений жеребец пытался опрокинуть широким храпом пустую колоду. Рудо-желтый мерин жадно дожевывал клочок сена. Молодая нахальная кобылка бесцеремонно вырвала осошный пай, уменьшающийся с каждым жевком. Мерин не отбил последний корм. Стоял понуро, уставив отрешенный взгляд на выведенную из конюшни серую кобылу с пугливым сосунком.

Грязнобокое, худоспинное царство кровных собратьев поразило жеребенка. Он притирался к материнскому боку, мешая ступать по деннику ровным, спокойным шагом. Мать легонько отбивала его задом, он настойчиво прилипал к ней, сливая мягкую шерстку с серой грубоватой шерстью. С минуту почти весь табун вопросительно и удивленно оглядывал новичка, путающегося под ногами настороженной кобылы.

Бледно-соломенный жеребец подошел к ней неторопливо, лизнул шею, а над жеребенком издал веселое короткое фыркание. Странно, но малыш даже не вздрогнул, не шарахнулся в сторону. Наоборот, смело уставился на близко подошедшего великана, не отторгнутого матерью, и даже пытался показывать зубы, отчего нарочито медленно оттопырил надутые губешки. Жеребец снова издал над ним победное фыркание. Дважды посрамленный малыш боднул головой в бок насмешника и сильно зашиб хрящеватый храпик о выпирающее ребро.

Проходили майские дни. Лошади паслись на молодой сочной траве, жадно обрезаая ее до корней. Жеребенок проявлял назойливость и требовательность в добывании материнского молока. Увлечшись, он порой до боли прикусывал сосцы, получал сильный шлепок хвоста или легкий удар согнутого колена.

Чем упитаннее становился жеребенок, тем легче и увереннее чувствовал себя на земле, точно у него вместе с округлым сытеньким брюшком отрастали крепкие крылья. Летал, не ощущая под собой разбитой тележными колесами дороги, изумрудных лужаек и полей: там землю резали плуги, расчесывали бороны. Туда скоро должны были лечь прибереженные, проверенные на всхожесть семена.

Нехватка в колхозе лошадей принудила и слепую Пургу включиться в посевную кампанию. Председатель вызвал в контору конюха.

— Ты колхозной беде ворота отворил... погоди, погоди траву винить. Ветеринар говорит: нет в практике животноводства случая, чтобы слепота от корма наступала... Говорят, у тебя в земельном отделе туз завелся?

— Есть туз, да не знаю какой масти, — с гордецей ответил конюх, поерзывая на широкой устойчивой табуретке.

— Не радуйся: любую масть козырь прихлопнет. Он сейчас в моих руках. Без особого труда вину твою докажу.

Басалаев пугливо передернул плечами, стиснул зубы, промолчал.

— До особого распоряжения останешься пока в конюхах. В посевную займешься подвозкой семян на Пурге. Поводырем у лошади будешь. Води под уздцы и не смей даже пальцем трогать. Пусть слепая будет для тебя вечным укором.

Подошло время сева. В честь важного дела сменили на конторе слегка обесцвеченный флаг, развешали лозунги. Деревня обрела торжественно-праздничный вид.

Дементий набросил на Пургу старую узду, с привычным злорадством впихнул в рот звякнувшие удила, с окриком завел в оглобли. Настороженно и диковато смотрел на мужика жеребенок: что же он вытворяет с матерью?! Зачем эти длинные палки вдоль боков? К чему какой-то круг на шее, подшитый изнутри лоснящимся войлоком. Дуга, вожжи, телега, чересседельник — все было ново и незнакомо для прыгунка. Пока Дементий, отплеываясь табачной слюной, запрягал слепую работницу, жеребенок недоуменно носился вокруг телеги: она слилась с матерью в одно целое, безобразное существо. Он еще не знал, что четыре круглых ноги этого существа не способны сделать и шаг без четырех прямых ног его охомутанной матери.

— Отвыкла, стерва! — гаркнул мужик, подтягивая подпругу. — Нажрала требуху, дырку нужную не поймает.

Блесткий язычок пряжки наконец вошел в продольное расширенное отверстие широкого ремня. Конюх для острастки ткнул кулаком в темное яблоко возле лопатки. Жеребенок издал визгливое ржание, словно удар сильного кулака пришелся по нему.

— Чё, запёрдыш, жалко, небось?! Погоди, и тебе перепадет скоро.

Басалаев взял Пургу под уздцы, дернул. Телега покатила по деревенской подсохшей улице. Серенький шел возле левой оглобли, наткнулся на гладкое дерево, отскакивал от него, как от огня. «Не перетянуть ли чертенка кнутом, — подумал конюх. Решил: мал еще, не созрел для побоев».

Подъехали к просторному амбару, где хранилось семенное зерно. Открылась широкая, почти квадратная дверь, показался узкогрудый кладовщик, упрекнул:

— Рано кобылу захомутал. Дал бы еще денька три отдохнуть, вот какого славного сорванца принесла.

— На себе что ли семена возить?!

— Мало ли коней?

— Коней-то не мало — оголодки одни. К сенокосу только отъедятся.

— Личную кобылу пожалел бы.

— О единоличном говорить нечего! Давно чирей свели... Отпускай семена.

Пока Дементий, крича и охая, таскал плотные кули, сосунок жалостливо смотрел в потускневшие глаза матери. Она мотала головой, сдавленной хомутом.

Конюх укладывал мешки поперек тележных грядок, успевая бросать в рот высыпавшиеся зернинки.

— Будя! Ехай! — сказал кладовщик, когда Дементий сбросил с плеча пятый куль.

— Толкуй мне! — огрызнулся конюх. — Отпускай еще три мешка. Кобыла дважды не ослепнет. Пусть дитя смотрит, глаза занозит посколь мать груза таскает. Мне две ходки делать не с руки. После обеда дров надо домой привезти.

— Нет в тебе жалости к лошадям...

— Жалость я с киселем выхлебал, — ехидно напирал на свое Басалаев. — Вы меня много жалели, когда я налоговым инспектором служил. Всех чертей и собак на меня навешали. Разве я побои придумал? Придешь требовать деньги в государственную казну — вы рот нараспашку. Я еще душеньку-то свою как следоват не отогрел. Если и обლობызаю какого конька-супротивца кнутом — шерсть с него не облезет... Чирки за зиму и те ссыхаются, еле дегтем по весне расправишь. Людишки душу мою сушили не один год... Вот за тобой, Запрудин, должок есть — пуд мяса не доставил.

— Сдохла же свинья.

— Ложь в пороках давно ходит...

Запрудин никак не мог поймать летучий взгляд мужика, посмотреть в щелки бесстыжих глаз. Хорошо научился конюх ослеплять их на время, напускать туманчик: все предметы и лица тогда кажутся сдвоенными, расплывчатыми. В такие минуты умышленного невидения Дементию легче приходили в голову нужные слова.

По надобности он мог уколоть собеседника взглядом, пригвоздить двумя отточенными шильями. Тяжелым, страшным был всепроникающий взгляд бывшего стража по налогам. Такой взгляд выворачивал карманы, открывал крышки полупустых сундуков, шнырял по хлевам, устремлялся в подполья. Бралась на учет каждая выращенная на огороде репа, каждая копна сена, каждый килограмм муки в сусеках у колхозников.

Чудом избежав раскулачивания, Басалаев был пригрет в районе дальним родственничком-начальничком. Грамотный, умножающий в уме двухзначные цифры, умеющий шустро перебрасывать костяшки на счетах, он был скоренько замечен финорганами. Его посылали в организованные колхозы проводить ревизию инвентаря, скота, производить вычисление приблизительной урожайности хлебов и корнеплодов. Подобострастно выполняя возложенные на него обязанности, присматривался к колхозникам, изучал их материальную обеспеченность, интересовался излишками хлеба, мяса, яиц. Наученный горьким опытом жизни нарымский крестьянин не спешил раскрывать перед каждым встречным-поперечным стайки и амбары. Басалаев обладал льстивой силой внушения, отменным нюхом и непреклонным желанием знать все обо всех. Его холодной стали глаза бесцеремонно срывали с мужиков покровы немудрящих тайн. Испепеляюще проникали в глубь доверчивых сердец, страшили разведывающей неостановимой силой. Дементий при посещении какой-нибудь избы не забывал сделать должное внушение хозяйину:

— Иконке-то место в красном углу нашлось... нет, чтобы портрет вождя ныне здравствующего повесить. Все норовите бога во спасители призвать. Что он дал колхозу — землю? ситец? хлебушко?

Говорил спокойно, нравоучительно, вежливо, наблюдая за лицом человека, какое действие оказывают внушаемые слова. Голос тихий, вкрадчивый, с небольшим присвистом, словно на манок собеседника подзывает. Чугунная грубота в голосе появится значительно позже, когда пошатнется под ним почва, когда не спасут знание счетной науки, опыт провидца-инспектора, обезоруживающе-властный взгляд, вызывающий у крестьян сердцебиение и страх.

С потертым вместительным портфелем метался Басалаев по деревням отводком огнистой молнии. Утром его могли видеть в колхозе «Бедняк». Считал возле кузницы отремонтированные бороны. В обед он уже в соседнем хозяйстве «Майское утро» учитывал народившихся поросят. Вечером обмеривал саженью личные огороды колхозников в деревне Большие Броды. В кожаной сизо-черной куртке, в галифе из толстого голубого сукна, в длиннополой шляпе с низкой тульей, в хромовых сапогах, вдетых в глянцевые галоши, инспектор выглядел начальственно строго и внушительно. Его робели старики и дети, не говоря о степенных мужиках, обложенных тяжелой данью «подворно», «поамбарно», «поогородно». Иной колхозник, начав говорить с инспектором нормальным просительным-певучим языком, вскоре принимался заикаться, картавить, в запальчивости не договаривая, обкусывая слова. Зная о быстролетности, внезапности появления, неуступчивости Басалаева, о нем говорили в деревнях: «Бешеному псу сорок верет — не крику».

Нет, не поймать кладовщику Запрудину ртутноподвижное выражение хитромудрых глаз. Он быстро подходит к конюху, ловит его за руки, затягивающие слабую вязку мешка, повторяет:

— Сдохла же, говорю, свинья. Бумага была. Свидетели беде есть. Какое на дохлятину обложение может быть?

— Заступался валенок за пим, да сопрел скоренько.

— Ты в инспекторах отточил язычок, острее косы стал. Не один год хайло на чужое добро разевал. Все знают — лишку драл с мужиков, оттого и турнули. Подцепи-ка на безмен свою совесть, взвесь... то-то...

Серенького не касалась перепалка мужиков. Он уткнулся в шею матери и дышал на нее теплой стружкой.

Конюх все же забросил на телегу еще куль. Звучно хлопнул вожжами. Лопатки Пурги напряглись, вздулись, колеса сдвинулись с места.

Неширокая улица делила деревню на два неровных порядка. Не у всех изб были палисадники, ворота, тротуары. Некоторые избенки своей хилостью напоминали больной расшатанный зуб среди крепких здоровых собратьев. Двумя волнами шли тесовые, редко железные крыши. Над крышами, сараями вздымались скворечники. Голосистые птицы, не уставая, славили новый день новой весны.

Поля начинались почти сразу за деревней. Серенький жадно втягивал запахи свежеспаханной земли. Местами пласты не успели проборошить. Они лежали широкими всплесками. Солнце торопливо выпаривало дорогу для полей влагу. От трещиноватых пластов курилось живое марево, точно кто высверливал из земли еле различимые столбики воздуха.

На пахоте Пурга сильно убавила шаг. Дементий наотмашь перетянул ее ременным кнутом. Кобыла нервно дернула головой, напряглась. Подался назад перекошенный хомут, заскрипела некрашенная дуга.

Хлесткий щелк туго свитого кнута заставил жеребенка вздрогнуть, подпрыгнуть. Он ненавистно посмотрел на возчика. Помимо простой лошадиной строптивости мужик уловил зарождающуюся ненависть к себе. Природный инстинкт подсказал Серенькому: лучше бежать рядом с матерью возле левого бока — по нему почти не гуляет плеть, вложенная в руку краснорозевого мужика.

Жалость к матери начала просыпаться в жеребенке с момента, когда конюх грубо завел ее между березовых оглобелей, напялил хомут, впихнул брякучие удила. Покорная Пурга пожевала их немного, поудобнее устраивая во рту. Связанная волей человека, она ничему не противилась, униженно наклоняла голову, переступала с ноги на ногу. Такое тихое услужливое поведение вызывало в Сереньком досаду. Пирамидка мешков на телеге, грубые окрики, частые высвисты кнута, натуга, с какой мать тащила груз, — вызывали обиду и раздражение. Думалось: «Почему мать не лягнет мужика? Не цапнет крикуна за плечо крепкими зубами?» К первому проявлению жалости примешивалась ревность: малыш почти не сводил с матери влюбленных глаз, а та лишь несколько раз повернула к нему голову. Недовольный таким слабым вниманием жеребенок забегал вперед, маячил, напоминая: вот же я, вот... никуда не убегу... мне нравится быть рядом...

Колеса утопали в рыхлой земле. Лошадь чувствовала сильную резь подпруги и давящий войлок напружиненного хомута.

— Шевелись, кляча!

И раньше Пурга не отличалась стеснительностью, устраивала от перегрузки задорную канонаду. Теперь началась такая пальба, что даже Серенький наострил уши, бестолково уставился на потную работницу. С концов удил на уголки дрожащих губ выбивалась пузырчатая пена. Лоснились влагой тяжело вздымающиеся бока. Скрипели гужи, оглобли, наклоненная дуга. Туго натянулся чересседельный ремень. Земля хватала колеса тяжелыми широкими ладонями отваленных пластов.

Услышав непрерывную кобылью стрельбу, Басалаев бросил вожжи на тяжелые мешки, отстал от телеги.

— Душная, тварь! Отожралась в стойле!

Серенький пригарцовывал слева от хомута, приятно ощущая утопающими копытцами внутреннее тепло подсыхающей земли. На вольном просторе колхозного поля его неожиданно обуяло озорство. Забегая вперед матери, он резко стегнул ее хвостом по морде, помчался вскачь по полю. Землю проборошили, сняли с ее груди тяжесть литых пластов. Она задышала спокойнее, всплескивая волнышки живучего марева. Месяца через три здесь заиграет золотая зыбь. Ветер станет гонять непокорные валы между березово-осиновых перелесков. В огнистой глуби хлебов станут скрываться неторопливые перепелки, заманно призывать проезжих и прохожих ко сну, будто есть у колхозников в такое время лишний час для отдыха.

Сосунок-резвун так разбежался от телеги, что остановился только неподалеку от полевого стана. Встал как вкопанный, уставился с любопытством на людей, зачмокал губами. Оглянулся на мать-мытарку и залился неокрепшим, похожим на хохот ржанием.

— Здравствуй, златоглазик! — весело поздоровалась девушка в простеньком платье из цветастого ситца. Ни старые кирзовые сапоги с дыркой на голенище, ни поношенная, заштопанная на рукавах кофта, ни мятая выгоревшая косынка не могли затмить юной прелести лица, стройной фигуры. Глаза сияли непотухающей улыбкой. Каждая веснушка на прямом носу, на крутых крепких щеках излучала по яркому лучику.

Жеребенок, прищурясь от бьющего в глаза солнца, настороженно смотрел на девушку, протягивающую к нему руку ладонью вверх.

— Тпсё! Тпсё! — подзывала она упрямаца.

Это была Варя, дочка колхозного председателя Тютюнникова. Отец поставил ее звеньевою на севе, отвечающей за работу сеялок и подвозку семян.

Неподалеку от стана, заметив длинную, слегка сгорбленную фигуру председателя, конюх стал подталкивать сзади телегу. Старался вовсю. На красноватой шее вспучились жилы. Лицо от прихлынувшей крови сделалось отечно-багровым. Дементий хотел заслужить председательскую похвалу, но, подъехав, услышал упрек:

— Ушлый мужик, а сообразить не мог: с дороги к сеялкам повернуть бы надо. Триста метров лишку лошадь сделала...

Басалаев притворно внимательно слушал устный выговор, счищая кнутовищем с сапог прилипшую землю. Когда-то он вот так же назидательно отчитывал мужиков, находя в начальственной власти, в заискивающем взгляде крестьян много приятных минут. Тютюнников тогда работал полеводом. Его бригада вела раскорчевку на буревале. Двухдневный ураган в километре от Больших Бродов наделал широкие прокосы в тайге. Даже чертям не сподобиться на такое буйство. Сейчас на тех полях получали богатый хлеб.

Первая встреча с Василием Тютюнниковым произошла возле конного двора. Он стоял с мужиками, разговаривал о предстоящем сенокосе. Басалаев подошел в тот момент, когда бригадир отрывал на закрутку клочок от газетной книжицы. На сгибах бумага рвалась легко, с тихим шуршанием. Василий расшнуровал кисет, сунул щепоть за табачком самосадам. Послюнил край газетного прямоугольничка, не замечая, что на нем портрет военного с трубкой. Насыпал ровеньким валочком табак, стал скручивать сигарку.

— Не надо вождя на раскурку пускать, — приказным тоном вразумил Басалаев и ткнул пальцем в полуготовую папироску.

— Чего? — не понял бригадир.

— Сталина курить собираешься, вот чего. Он к народу не для того поставлен вождем, чтобы каждый слюной брызгал и сжигал с махрой. — Басалаев одернул зеленый френч с глубокими накладными карманами, оглядел толпу. — Прочитал хоть эту газету бригаде? Обстановку в мировом масштабе знаешь?

Растерянный полевод хлопал глазами, смотрел то на надменное лицо инспектора, то на скрученный клишированный портрет. Со сгиба на Тютюнникова было нацелено, как живое, немного прищуренное зоркое око. Бригадир поспешно прикрыл его концом пальца в никотиновой пропитке.

— Смотреть надо, товарищ Тю-нников — инспектор умышленно сократил в фамилии второе тю, — что в руках держишь... Этак мы и по туалетам разнесем дорогой нам образ... Учти и сделай вывод...

Пахари зашикали на нежданного законника. Под одобрительное заступничество бригадир засмолил папиросу. С каждой новой затяжкой Василию приходилось пропихивать дым в глотку. Впервые он не ощутил удовольствия от курения.

Не мог предположить налоговщик, что Тютюнникова выдвинут в Больших Бродах в председатели. Не переехал бы он в эту деревню, где ему дали должность учетчика. Учитывать он любил и умел. Доказывая: цифры любят правду, он тем не менее ухитрился обвести вокруг пальца прежнего председателя-простофилю. В результате цифровых маневров, благодаря недюжинному опыту и привычной изворотливости, он «приходовал» для личного хозяйства трех колхозных ягнят, мешок отборной ржи, дюжину сосновых плах на перестилку пола в избе. Попавшись, вымолил отпущение грехов. Его приставили к лошадям.

5

За председателем, кладовщиком Запрудиним конюх вел постоянную слежку. О искупленном портрете донес одному знакомцу в НКВД, однако не получил от него ни одобрения, ни упрека за пустячный случай. Но в тяжелом молчании острым чутьем-нюхом уловил лаконичные, жесткие слова: «слушай, смотри, доноси».

Конюх, очищая сапоги кнутовищем, не огрызнулся на председателя. Но раскованным поведением подчеркивал: «Плевать мне на твои замечания. Привез семена — будь доволен. Прогнать кобылу лишних полверсты — экая беда?»

Председатель собрал на ладонь с телеги просыпанные за тряскую дорогу зерна. Он не раз пересыпал их с руки на руку в амбаре зимой и в предпосевную пору, ожидая трудного, но желанного часа сева. На шершавой ладони лежало будущее их небольшого колхоза. Всхолмленные участки полей успели засеять выборочно. К массовому севу приступали сегодня. Еще утром председатель привез на самое большое поле деда Платона, отца кладовщика Запрудина. Старый севарь, сгорбленный от годов, от плужных наклонов, от лукошка, из которого многие весны поливал зерном парную землю, прежде чем ступить на поле, троекратно помолился солнцу, небу и суглинистой кормилице: от нее исходил здоровый ржаной дух. Ступал по бороньбе осторожно, уважительно, выискивая из-под ладоночного козырька нужную делянку.

Тихоречный, раздумчивый Платон предсказывал погоду по кривому еловому сучку, прибитому к венцу на солнечной стороне, по жесткой пояснице: она напоминала о себе за денек до непогоды. Перед ненастьем у старика ломило грудь, ноги, постукивало в висках. Старый барометр в председателем кабинете-закутке допускал простительную погрешность. Платон мог почти безошибочно предсказать осадки.

Перед севом его приглашали «разнюхать землю». По-видимому, Тютюнников больше уважал старую традицию, чем прислушивался к советам предельно сосредоточенного вещуна. Погружая ладонь в рыхлый суглинок, дедушка держал ее там с минуту, проверял «дых земли». Оставшиеся на ладонях комочки подносил близко к слезящимся глазам, с прищуром разглядывая их, принохивался, растирал в пальцах, пробовал на язык. Никогда не сплевывал перемешанную с землей слюну. Выжимал все изо рта на тыльную сторону ладони, вытирал о штаны. Долго ходил по дремотному полю, поглядывал на подошвы чирков, проверяя землю на «льнучесть». Потом изрекал спокойно-таинственным голосом: «Сподобил господь — поспела».

Иногда, не уверенный в «спелости» земли, пророчески замечал: «Не неволь семена, Василь Сергеич, погоду денька два, дай лишней сыри выйти».

Председателю хочется внять дедовскому совету, да район каждый раз посылает на сев уполномоченного, который нудит свое: «Старик наговорит — слушай его. Ему бы еще три века чирком поле проверять. Начинай сев. «Красный пахарь» уже два дня сводку в район передает».

Василий Сергеевич размышляет: «Пусть хоть что утверждает Платон — сев начну сегодня, вот сейчас». Видя решимость в председателем взоре, настороженных перед тяжелой работой лошадей, Платон, скоренько проверив землю на «спелость», дал благословенное «добро». По резвому мареву, сыпучести комков и жаркому

дыханию поля дедок определил: землячка слегка перестояла, но не стал перед торжественной минутой огорчать председателя, хмуролицего представителя райкома, который на три стариковских поклона полно буркнул: «Попа с кадилом только не хватает».

Развернутым фронтом, поднимая легкую пыль, двинулись к перелеску шесть сеялок. В святой момент Василий Сергеевич сам чуть не поднес пальцы ко лбу. Дышлины медленно движущихся сеялок смотрелись орудийными стволами. Тютюнников наблюдал за колхозной «артиллерией». Подошедший срок хлебной страды горячил кровь. Хотелось побежать за дочерью, бодро вышагивающей за первой сеялкой. Так же нагибаться, проверять заделку семян, их равномерное медленное течение из конусообразных бункеров. Но надо было ехать на поля поздней раскорчевки, чтобы и там дать короткую властную команду: «Пора!»

Чуть поодаль от Вариной сеялки двигался запряженный парой гнедых коней агрегат Захара Запрудина. Платон горделиво наблюдал за внуком, за подпрыгивающей сеялкой. Правая рука дедушки машинально ходила возле бедра и груди, словно он хватал семена из подвешенного лукошка, рассеивал их по ожившему полю. Шевелились корявые, с наростами на сгибах пальцы. Покачивались согнутые плечи. Юркие, еще не выплеснувшие синеву глаза, хмельно обозревали спокойную землю, упорных лошадей, стайки скворцов и ворон на засеянных участках.

В просторной навыпуск рубаше, в легких, с брезентовыми голяшками сапогах Захар, полный важности и значительности совершаемого дела, вышагивал легким важным шагом. За ним наблюдали и дед, и обрадованное севом солнце, и Варя, и сеятели, идущие сзади. Захару хотелось выделить, задержать на себе Варин взгляд. Изредка он ловил ее мимолетные улыбки. Тогда расплывалась перед ним земля и тихо пелось под шуршание колес сеялки.

Варя была на год старше Захара. Молодыми людьми владело странное томительное чувство: пугаясь оставаться вдвоем, они тяготились одиночества. Тускнели часы и минуты, когда Захар не видел девушку. Предрасположенный к мечтательности, он распял душу прелестью неожиданных свиданий, еще не догадываясь о страшном подвохе, который обречет его при встречах на долгое тягостное молчание.

Не отпущенный председателем за дровами конюх поехал к амбару, чтобы подвезти еще семян. Пурга, названная так не за силу и резвость, за тускло-сугробный цвет даже пустую телегу тащила медленно, натужно. Возница не понукал ее, не опоясывал кнутом. Куда спешить, если сорвалась поездка за дровами.

Жеребенок все чаще отлучался от матери, проявляя в вольном беге резвость и прыть. Частые отлучки доставляли Пурге беспокойство. Разносилось тревожно-подзывное ржание. Сперва Серенький спешил на взволнованный зов. Подбежав к матери, старался коснуться лопатки, головы, приветливо махнуть распущенным хвостом.

В придорожных канавах и ложбинках блестела вода. Ярко-зеркальная поверхность приманивала жеребенка. Подлетев к луже, вместе с солнцем заглядывал в нее. Поймав отражение, крутил головой, пытаясь отыскать вторую маленькую лошадку. В новом мире земли, в приволье открытых километров его забавляло все. По рассеянности он однажды забежал с правой стороны телеги и напоролся на резкий удар сапога. Басалаев не хотел бить, нога сама примагнитилась к самодовольному шельмецу. Жеребенок отпрянул в сторону, мокрые ноги дважды лягнули воздух.

— Бес! Соплей перешибить можно, он копыта показывает... доставит мне мороки.

Молча загрузил мешки с семенами. Молча отвез к сеялкам, повернув к ним с дороги.

Сеяли дотемна, пока наступающая ночь не сделала коней одной масти. Распрягая, Захар дружелюбно похлопал гнедых по шее, ощутив под ладонью совсем мокрую шерсть. Лошадям дали отдохнуть, напоили, накормили овсом. Отвели к займищу, спутали. С большого закустаренного болота потянуло сыростью. Звезды успели достигнуть полной яркости, сверкали их алмазные грани.

В Больших Бродах запоздало прокричал петух, быстро оборвав самое длинное третье колено.

Спутанная Пурга передвигалась маленькими шажками. Лишь изредка, опершись на задние ноги, поднимала передние, делая небольшой скачок. Жеребенка забавлял такой способ передвижения. Жидконогий, он мял копытцами молодую травку, ни на шаг не отходя от матери. Дневное тепло, чрезмерная резвость утомили Серенького. Пурга не ложилась на холодную землю, торопливо щипала траву. Зимнее существование истощило ее тело, постоянно хотелось есть. Она знала — упряму не хватает молока. Он дерзко становился на пути матери, стучался головой в ее упругую шею, торкался в живот, терзая онемевшие сосцы.

Данный конюхом овес только растравил аппетит. Не полную мерку всыпал он Пурге, утаил пригоршни три. Известно, какая пригоршня у мужика, когда он радуется себе. В такой момент две басалаевские лапищи растягивались, словно резиновые. Ухитрялся и меж пальцев удерживать зерно, не ощущая боль от острых овсинок, что шипами впивались в мякоть грабастых рук.

Когда ходил Дементий в начальниках — грудь колесом держал. Да, видно, сломалась ось, выпали спицы. Заметнее обозначилась крутая горбинка спины. Тяжелые заграбистые руки были по-прежнему сильно разогнуты, будто он собрался бить кого-то наотмашь, бить без пощады и сожаления.

Если его глаза в редких сивых ресницах наблюдали за человеком, за тяжелым ползунком на амбарных весах, они расширялись, вбирали светотени, были изучающе-вдумчивыми и выразительными. Когда на Дементия кто-то смотрел в упор или ждал ответа на неприятный для мужика вопрос, глаза по-кошачьи сужались, смаргивали и челочно бегали. Басалаев не торопил момент вызревания мысли. Пальцы теребили уздечку, застегивали металлическую пуговицу на бушлате, крытом грубым сукном, чесали литой, зашестинный подбородок. Мужик по лоскуточкам выкраивал время для ответа. Иногда же почти без пауз так быстро чеканил слова, точно осыпал собеседника с ног до головы сухими бобами.

В нем не было живучей угодливости. Наоборот все говорило в конюхе: я не ровня мужику, во мне есть то, чего не займет вам за годы и годы вашего пахарского житья.

— Сермяжники тощебрюхие! — ворчал при жене и детях на колхозников Дементий. — Повернула страна дышло на артельные хозяйства — возрадовались. Чему?! Драла с вас, единоличников, подати. Теперь с коллективного двора дерут. С колхоза легче разом недоимку взять, чем подворно ходить. Шибко-то и брать нечего. Выгребут все зерно из склада, как пасечник медок из улья, кукарекайте, колхознички, как хотите зимушку живите... Одумаетесь, да поздновато будет...

Смелые речи высказывал только дома. Жене, сынкам настрого приказал: язык не распускать. Нынче каждый слушок пушком летает.

Басалаевские глаза и рот при людях были пропитаны затаенным молчанием. Глаза ведь тоже могут с головой выдать. Взгляд взгляду — рознь. Можно овцой посмотреть, можно волком зыркнуть. Без буковок прочтешь по глазам, чем душа жива, каким штабельком мыслишки уложены.

Учил сыновей: я в малолетстве тятя никогда не перечил. Для меня его полслова приказом были.

У матушки рос мальчонок подлизой, при случае объедал младшего братеньку. Вытаскивает мать из русской печи противень с пышущими творожными или ягодными шаньгами — Демешка тут как тут. Старается младшенького Луканьку боком в сторону оттереть, кулак показывает. Мучную пыльцу с подбородка сотрет, ухват, сковородник услужливо подаст. Полученную шаньгу съест по-волчоночьи быстро, почти не прожеывая. Успеет и от Луканькиного подношения отломить лакомый кусочек. Разделяет мать на холодец после долгой варки свиные, говяжьи ноги — старшак ни на секунду от стола не отходит. Хватает из рук матушки горячую клейкую кость, набрасывается на нее. Скусывает оставшиеся кусочки мяса, волокнистых хрящей, азартно выбивает о скамейку костные мозги, захлебисто высасывает их из трубчатых гладких мослов. Обглоданную кость отдает Луканьке, уверяя, что с нее еще можно погрызть мяса и шилом доковыряться до засевших внутри мозгов.

Все бабки — маленькие свиные и крупные говяжьи — Демешка забирал себе. Обгладывал, обсасывал до блеска. После зубной шлифовки расставлял бабки по полу, отбирал крепко стоящие. Кособокие относил к точилу, заставлял Луканьку крутить ручку, выравнивал основание. Тут же, на макушке точила, проверял бабки на устойчивость: пробовал сбить их шелчком, дул на костяшки. Удостоверившись, что стоят крепко, многозначительно говорил братцу: «Годятся для кона».

В игре Демешка готов рассыпаться от азарта. Нервничал, если бабка-литок валила замертво его костяных крепышей. Смеялся, подпрыгивал при удаче, не забывая незаметно стянуть с кона нескольких молодцов, что еще недавно скрипели в ногах ревматических бычков и кругоспинных свиней.

Луканька утонул восьмилетним. Умея плохо плавать, перебредал широкий ручей у устья. Сбило течением, потащило в протоку. Демешка, идя следом, не успел ойкнуть, как скрылась в струях пепельная головенка братеньки и лопнули над местом беды три больших пузыря. Демеша нырнул, широко под водой раскрыл глаза. Выносимый из ручья песок с илом мешал что-либо разглядеть даже вблизи. Растекались взмученные потоки и где-то в одном из них беспомощно бултыхался последние секунды жизни послушный Луканька.

Запоздало вспомнил старший брат про утопленников, про их мертвую хватку, заторопился на берег. Долго и неотвязчиво колотила дрожь испуга. Не догадался закричать, позвать на помощь. Исступленно смотрел на молчаливое злое устье ручья, судорожно сжимал и разжимал грязные кулачки.

Домой прибрел понурым вместе со стадом коров и овец, которые ходили вольнопасом по травянистым чистинкам.

— Что с тобой, сынок? На тебе лица нет. — Мать пытливо посмотрела на Демешу.

— Змея чуть не укусила.

— Луканя где?

— Поди, придет скоро. Он с ребятами ходил стрижей ловить.

Луканька не появлялся. Посланный матерью «скричать» Демеша оглашенно звал младшего. Обливаясь слезами, кричал полоумно за поскотиной, у припольной дороги, страшась появляться возле злосчастливого ручья.

Утопленника вытащили неводом на другой день. Увидев раздутое, багрово-синее тельце, пивавку, успевшую заползти в ухо, Демеша припадочно забился на берегу, ударяясь лбом в мокрый песок, царапая себе грудь и плечи.

До пятнадцати лет не раскрывал жгучую тайну, терпеливо и мучительно носил в сердце тяжкий груз, пока случайно не проговорился отцу на покосе.

Послушного, угодливого сынка отец не бил. Сообразительный Демеша к одиннадцати годкам ловко отшелкивал на счетах килограммы, литры, рубли, сливая их в одну статью семейного дохода. Отец не мог нарадоваться, видя сосредоточенный, углубленный взгляд парнишки, непостижимо быстро освоившего счетоводческую науку. Он умел производить на счетах только вычитание и сложение. Но и этой выучки было вполне достаточно, потому что делить свое басалаевское добро отец ни с кем не собирался, а умножить можно было простым прибавлением одних костяшек к другим. Много раз отец пытался проверить Демешкину бухгалтерию, выходило всегда все точненько. Ни одна цифра не могла обидеться на того, кто произвел ее на свет божий, вписал в учетную амбарную книгу, проткнутую у корешков шилом и окольцованную двойной дратвой.

Тугая хозяйственная струнка звенела в мальчишке постоянно. Иногда строго упрекал отца:

— Тятя, почему ты топор под дождем оставил?.. Зачем сегодня корове лишний навильник сена дал?.. Много вара на дратву тратишь — весь на пальцах остается... Давай купим нового петуха, нашего куры не любят...

— Молодец, сынок, - похвалит, бывало, отец. — Настоящим хозяином растешь. Сколотим капиталец — сам черт не будет страшен. Не зря торговые люди капитал истинником зовут. Правильное имя дали. Вернее, истиннее денег ничего нет. Не играй в жалейку, старайся копейку с копейкой сбить. Ленивые и от господ упрек получили. Лень-то ласковой матушкой прикинется, после голодуха мачехой закричит. Не ленись, сынок. Будут досветки твои — сусек не опустеет. Солнце одних лодырей будит. А ты встань раненько, да сам прихвати его спящим.

— Я-то прихвачу, — серьезно отвечал Демеша и ласково терся о суконную тяткину штанину.

Повзрослев, обихаживая свою землю, изматывая силенку на личном дворе, Дементий часто прихватывал солнышко спящим. Работник любил носить просторные рубахи, сшитые из ткани-суровья. Измокреет от пота грубо тканая одежда, высохнет, можно колоколом поставить ее на лавку. Захочешь сжать — похрустывает от тельной соли. Быстрее всего ткань протиралась на лопатках и плечах. Поворочает вилами, намахается топором, походит за конным плугом — без огня горит рубаха, заплат новых просит.

Крепко запомнил Дементий внушение отца: кто рано встает, тому не бог дает — руки. Они — спасители жизни. Нет большего позора, чем разора по лености, по мотовству. Богатство — власти сродни.

На личном подворье горела у Басалаева душа, на колхозном тлела.

— Много тягла, а бедность кругом, — упрекнул он как-то председателя колхоза. — Трудодень опять грошовый будет.

— Смотри, с голоду не опухни! — с еле скрытым озлоблением ответил Тютюнников, пристально разглядывая холеное сытое лицо колхозничка. — Смотришь на колхоз, как на сироту. Помогать ему надо, силы отдавать. Ты пинком норовишь захватить в артельное дело.

...Бродила по деревне полоумная побирушка Фросюшка. Сухорукая, сгорбленная, остроплечая женщина почти всегда была одета в фуфайчонку, длиннополую юбку, сшитую из бумазеи. Хлябали на ее худеньких ногах растоптанные чирки: собранные в складки голенища шевелились мехами затасканной гармошки. Фросюшка, по-уличному Подайте Ниточку, никогда нигде не лечилась, в колхозе работала от случая к случаю. Помогала людям подворно — побелить избу, окучить картошку, вымыть к празднику полы дресвой. Редко просила у людей съестное. Ей и так перепалили остатки от обеда, горстка муки, связка луковиц, иногда и целый хлебушко. Уставив на кого-нибудь детски-простодушное, прыщавое лицо, Фросюшка блеющим голосом просила:

— Подайте ниточку.

Она в прямом смысле собирала с миру по нитке, по лоскуточку. Соединяла их в маленькие половички-коврики. В ее осевшей набок избенке их было множество — нитяных, лоскутных, сыромятных.

Если в конюховке не было Дементия, Фросюшка долго, неотрывно смотрела на пучки тонко нарезанных сыромятных ремешков, не решаясь без спроса даже прикоснуться к ним. Все нитяное, матерчатое, вязаное, сотканное, сшитое привораживало побирушку. Она могла подолгу ласкать, как котенка, мохнатую шерстяную варежку, перебирать в сухих пальцах поданный клубочек запутанных разноцветных ниток.

У Басалаева была особенная привязанность к этой женщине. Он видел в ней страдающую божью мать. Отсыпал ей в сумку овса, давал куски жмыха, приносил из дома сальца, постоянно ссужал нитками, веревочками, сыромятными ленточками, обрезками кожи.

Посинелыми губами Фросюшка тихо-тихо шептала что-то в знак благодарности. Непонятный таинственный шепот больше всего завораживал конюха. Казалось, убогая женщина переговаривается с кем-то находящимся

рядом. По разумению Дементия, это должен быть один из архангелов божьих. Ведь они всегда терпимы, благосклонны к калекам, старикам, таким вот блаженненьким, как тощегрудая, охраняемая богом Фросюшка.

— За доброту да воздастся, — приговаривал Басалаев, подавая своей любимице хлебную краюшку, несколько пригоршней гороха.

Он с нетерпением ждал гипнотического шепота. Когда тот начинался, стремился уловить в нем слова, но напрасно. То ослабевающий, то нарастающий благодарственный монолог походил на бульбуканье, клекот косача на токовище. С тонких губ словно срывались одни междометия.

— Ефросиньюшка, что ты говоришь? — несколько раз ласково спрашивал конюх.

Женщина сразу строжела лицом, скоренько покидала конюховку.

И несмотря на это, не было в Больших Бродах человека, к кому Басалаев испытывал истинное христиански-дружеское расположение и доверие, как межеумка Подайте Ниточку. Он нутром чуял: Фросюшка та отдушина, тот желобок, по которому можно спускать житейские прегрешения. Общение с побирушкой, скромные подаяния очищали совесть Дементия, успокаивали душу.

Принимая подачки от конюха, Фросюшка старалась не смотреть на него. Может, ее отпугивал взгляд линючих глаз, настораживала постоянная приговорка: «За доброту да воздастся». Принимая из рук мужика кусок хлеба, молчаливая женщина пугливо сжималась и глядела неотрывно в чумазый дырчатый пол конюховки.

Ее просторная — с торбу — сумка редко пустовала. Вместе с хлебом, картофелинами, головками чеснока и лука лежали поданные обмылки, клубочки пряжи, разная тряпичная обрезь. Фросюшку охотно зывали к себе сердобольные старушки. У кого отогреется на русской печке, где просто посидит на лавке, повздыхает. Разговаривала тихим умильным голоском. Накопленную в уголках слюну ловко вытирала пальцами или промокала концом серенького платка.

Гадала на потрепанных картах. На них червонного валета нельзя было отличить от пиковой дамы. Тузы давно обесцветились, потому что Фросюшка любила тыкать в них пальцами и заговорщески произносить единственную фразу: «Через него тебе, матушка, счастье выпадет». Боясь насмешек, мужикам не гадала. Бабы с неоскорбительной ухмылкой разрешали побирушке разбросить карты, тем более, что по ним всегда выходило счастье.

Ее сумка, пропитанная хлебным духом, привлекала собак и овец. Фросюшка отщипывала им по кусочку, гладила животных. Они доверчиво тыкались в подол широкой юбки. Иногда с прискоком подбежит игривый жеребенок — угостит и его. Держит ладонь до тех пор, пока теплые мягкие губы не соберут все крошки.

Какая из зим засыпала порошей ее память? В детстве была резвуней, пробовала на вкус разные травы. Отведала, наверное, дурман-травы или кто-то напугал нешуточно, когда ходила в ночь под Ивана Купалу искать в лесу заветный жаркий цветок папоротника...

Петухи торопили утреннюю зарю. Заря торопила крестьян.

Отсеялись. Земля, вобравшая теперь тайну будущего урожая, несла на себе бремя ответственности и нелегких забот.

6

— Какую лошадь возьмешь пахать огород?

— Пургу, — не задумываясь ответил председателю Яков Запрудин.

— Да... но ведь она...

— Ничего, Василий Сергеевич, кобыла слепая — сила зрячая. Коням судьба дала вожжи да удила. Для них они, как третий лошадиный глаз. Пообвыкнет — нюхом будет чують путь-дорогу. Натаскаем ее на пахоте огородов, колхозные поля плужить станет. Она уже команды моего сына понимает: влево, вправо, вперед, назад. И жеребенок-шельмец, умник великий! Бежит впереди матери, концом хвоста ее храпа касается, дорогу указывает.

— Неужели догадался, что мать слепая?

— Наверняка. Остановится, начинает облизывать ей глаза. Таким ржанием-плачем заливается — душу выворачивает.

Запрудинский большой огород упирался в мелкий кустарник. За ним начиналась деревенская поскотина. Поодаль тянулись березнячки, кусты бузины, шиповника, боярки и заросли метельчатой таволги. Ровные березки успели посрубить на бастрики, оглобли, топорища, оставив кривоствольные, чахлые и старые деревья. С них брали дань вениками, берестой на растопку.

Заведя Пургу в огород, Захар провел ее из конца в конец без плуга: пусть узнает границы, места разворотов. Он взял горсть волглой земли, поднес к лошадиным ноздрям.

— Помнишь?!

Пурга прижала ноздри, шумно выдохнула теплую струю воздуха. С ладони скатилось несколько комочков земли.

— Ну вот и узнала! — обрадованно вскрикнул пахарь, поверив в крепкую память слепой лошади. — Да и как не узнать — тебе каждый огород в деревне знаком. Этот тем более.

Отец стоял за баней, слушая нежногосый монолог сына.

Плуг за зиму потерял зеркальность. По лемеху крупными конопатинами разбежались пятна легкой ржавчины. Яков подтянул ключом болт предплужника, широким драчевым напильником сточил заусеницы с землерезной грани.

Нетерпеливый жеребенок носился по слежалой земле огорода, распугивая суетливых кур.

Поплевав на ладони, кивнув солнышку, Яков налег на плужные ручки. Захар держал Пургу под уздцы. После короткого отцовского — «трогай!» причмокнул губами, повел слепую прокладывать первую борозду. Все шагали неторопливо. Главный отвальный рез надо было сделать ровным, да и лошадь требовала привычки. Она с напряжением переставляла ноги. Опустив голову, принохивалась к подсыхающей, щедро унавоженной земле.

Поводырь шел слева, успевая одобрительно поглаживать лошадь по лоснящейся шее. Уши работницы ходили взад-вперед, вбирая малейшие шумы, майскую разноголосицу птиц и деревни, слова пахарей, произносимые не окриком — доверительным голосом просьбы.

Сделали три полных круга. Ведя Пургу по плотному срезу борозды, Захар на миг-другой закрывал глаза и сразу ощущал одеревенелость непослушных ног, перинную мягкость окружающей темноты. Он-то мог в любую секунду превратить ночь в день, выпустить из засады солнце, вдоволь насладиться его ласковым светом. Каково Пурге — затворнице в вечный пещерный мрак?! Холодным током озноба пронзило Захара от этой мысли.

Отец не успевал вытирать со лба, щек обильный пот. Это был уже пресный пот труда, соли вышли на первых десятках борозд, проложенных от стены бани до крепкой изгороди длинного огорода.

С гарцующим прискоком жеребенок-резвунук утапывал мягкую пахоту. Пробегая мимо матери, успевал ткнуться мордашкой в бок, задеть резвым хвостом. Приготовленную борону Захар развернул зубьями к осинovým венцам баньки из опасения, что непоседливый жеребенок может на них напороться.

Из жирных пластов выползали кольчатые черви. Зоркие куры следили за их появлением. Слегка тряхнув в воздухе, жадно проглатывали с торопливой оглядкой на бесцеремонного петуха: он при случае вырывал добычу из клюва какой-нибудь удачливой хохлатки.

У калитки, ведущей в огород, стоял Платон. Со светлой стариковской улыбкой наблюдал за красивым разбегом ровных борозд. Возле стайки сноха Ксения соорудила из навоза высокую грядку под огурцы. Рядом копошились дочурки. Большенькая Маруся неотлучно находилась при проказнице Стешеньке. Она еще не перестала косолапить и шепелявить слова.

Платон держал в руках недотесанное топориче, давая понять всему запрудинскому семейству: и он не бездельничает в щедрый майский день. Разве помнит старик, сколько он распустил на такие вот борозды полей и огородов. Без счета они, эти земные полотнины. Он с одинаковым усердием пахал свою и колхозную землю, ведь ни та ни другая земля не терпит раздвоенности, половинчатой любви к себе. На всякую ложь она отвечает молчанием хилых колосьев.

День светился и переливался гибкими струями марева. Сегодня многие в Больших Бродах пахали, бороили огороды. С усадеб доносились повелительные команды: «В борозду!» «Н-но пошла!» «Тпру!» Несколько раз убирал Захар с уздечки руку. Пурга замедляла шаги, продолжая идти верным несбивчивым ходом. Отваленная, повернутая брюшком к солнцу полоска земли служила для передней правой ноги лошади ориентиром. Переступая в борозде, она задевала кромку пласта, ссылая с него черные комья. Может быть, Пурга быстро обрела особое внутреннее зрение, помогающее различать в море сплошной черноты некрутые волны подсыхающих борозд, изгородь из тонкомерного осинника, резвоногого жеребенка, поминутно подбегающего к матери? Возможно, все ранее виденное, запечатленное в памяти, сейчас мерцающим светом вспыхивало и выплывало из мрака?

На поворотах чутко реагировала на малейшее подергивание вожжей. Пахарь прямил их не резко, словно посылал от рук по кожаным ремням короткие весточки.

Подчиняясь требованию проголодавшегося жеребенка, Яков останавливал лошадь. Умиленно смотрели отец с сыном на чмокающего сосунка. Широко расставив ноги, он усердно помахивал взблескивающим на солнце хвостом.

— Хороший доильщик! — Яков слегка щелкнул жеребенка по тугому брюшку.

Захару становилось не по себе при виде постоянно мокрых глаз Пурги.

— Отец, что она все плачет и плачет?

- Не только, сынок, люди горе переносят.
- Хорошо ли мы поступаем, работая на слепой?
- Иначе пристрелят. Выкормит жеребенка и каюк. Мы ее только работой спасем.
- Уши наострила. Понимает наш разговор.
- Понима-а-ет.. умная...

Подцепив борону, Захар до вечера рыхлил землю. Пурга шла в поводу легко. Никто со стороны не подумал бы, что она слепая...

Небеса, напитанные дневным светом, долго не подпускали к себе звездную россыпь. Зимой над Васюганом ночи падают на землю шустрыми воронихами. Быстро прячутся под черными крыльями болота урманы, засыпанная снегом деревня. Незаметно синеющие снега оборачиваются чернотой — глубокой и молчаливо пугающей. Две бездны открываются миру: идущая ввысь, куда совершили восхождение звезды и вспученная у ног непроглядь.

Даже по майским ночам витает дух зимы, ищет потерянные владения. Их упрятал вглуби раздобривший Васюган, сокрыли от глаз моховые топи.

Холодное предночь. Не хочет сегодня тосковать гармошка на яру, где собираются деревенские вечерки. Задыхливо бегает меха, басы торопливо выбалтывают что-то озорное и зажигательно-смелое. На миг обрывается огненный вихрь звуков и тут же оживает в бешеном взлете.

Трещит беседка над крутояром: парни и девахи сидят в приятной тесноте. Удальцы посмелее держат своих подруг на коленях, обхватив за теплые талии, касаясь ненароком гуттаперчево-тугих грудей. Кое-кому за подвиги перепадают затрещины. Лузгают подсолнуховые семечки. Ядрят кедровые орехи, ухарски выстреливая языком скорлупу.

Приковылявшая на вечерку бабушка Серафима наводит на внучку Вареньку то одно подслеповатое око, то другое. Бросит с ладони в почти беззубый рот плоское тыквенное семечко, мусолит его, мусолит, да так и выплюнет, не справившись с ним.

Старуха сидит на принесенной из дома табуретке, опершись на сухой посошок. Руки у Серафимы длинные, худы, имеют цвет сосновой коры. Спать бы надо давно Серафиме, отшептав заученные молитвы, да внучка-молoduха пригляда требует. Кличет ее кровь на гармошковые звуки, на яр, в шумоту вечеров. И так и сяк отговаривала от них Варюшу, но разве оставишь, запакуешь юность в четырех избяных стенах?

Не подходит Варя близко к гармонисту Захару, боится заплыть пожаром налитых щек. Рядом Никитка Басалаев, как звездочет, задрал башку к небу, а сам режет взглядом картинно подбоченившуюся Варю, облизывается, точно хореk, сожравший курицу. Не он один вскипает кровью при виде ядреной златоустой девчонки. Как бы терпеливо не искали чужие глаза изъяны, некрасивости на ее опрысканном веснушками лице, плавно текучей фигуре — они не находились. Девушка казалась сошедшей с гончарного круга, на котором великий мастер, долго лаская пальцами податливую глину, вложил в нее всю красоту и завершенность форм. Обряды Варюшу в лохмотья, они сошли бы на ней за ниспадающие складки шелка.

Истинная красота не нуждается в подсветке улыбки, но, озаренная ею, обретает колдовскую силу приворотного зелья.

Воспитанная в старозаветной строгости, Серафима рьяно оберегала рискованное девичество внучки. Молодость — сухой порох. Не знаешь, кто и когда поднесет спичку. Займется мгновенным огнем, растает дымкой неухороненная честь. Пеняй тогда на судьбу, допустившую горькую промашку. Можно бы Варюшку оставить под братнин пригляд, да где этот шалопай Васька уследит за сестрицей.

Заветы старины тверды и незыблемы. Вся жизнь выцеживает Серафима мудрость из церковных брюхастых книг. Разбуди среди глухой полночи, скажет на каких страницах уложены столбцами притчи Соломоновы, где собраны в церковнославянскую вязь слов учения Марка и Луки. Шельмуют книги бесчестие. Призывают к посту, сохранению в чистоте и святости людской плоти. Отрешится старокнижница от земной юдоли, успеет помолиться благодарно за то, что ее сподобили принять светлую кару на исходе отпущенных дней.

Задремала над посохом правдолюбца. Вскинула напуганные неожиданной дремой узкие глаза, видит простыл Варин след, гармошка в другие руки вложена. Тихие басы разносят над яром усыпляющую колыбельную мелодию. Течет она сладким изморным наплывом, заставляя покачиваться легкую голову на сухих старушечьих плечах.

— Усыпили, окаянные! — сокрушенно вышептывает Серафима, ерзя на тонконогой табуретке. — Погоди, задам я тебе встрепку! — грозит она кому-то в темноту вскинутым посохом.

Старухе хочется крикнуть в наступившую ночь: «Варька, вертайся домой!» Холодит стыд. Да и куда направишь сейчас свой хриплый отчаянный глас?

На беседке остались две парочки и ангелоподобный гармонист — Иванка, отпрыск счетовода Гаврилина. После пробуждения Серафимы он всколыхнул гармошковую душу разбойным гвалтом басов. Сигнал Захару и Варе: проснулась разведчица, засобиралась домой.

Редко взблеснет на речной излучке сильная по весне вода: звезда ли скатилась пологим катом, задела отсветом погибшего луча? Булькнул ли в струи последний слиток давно угасшей зари?..

Деревню Большие Броды возвели мужики на престол земли с помощью топоров и огня. Почти каждое сельбище по Васюгану пропитано дымом огнищ. Брали на пожег деревья, пни, глубоко пустившие корневые отвилки. Удобрляли золой нешевеленную землицу, удивляясь по осени тому, какая крупная картошка притаилась в первородных гнездах. Посека за посекой, костер за костром. Отливали свечами янтарно-ствольные сосны. Каждая новая рощесть сводила на убыль прибрежный лес — защитную броню любой речки. Мужичье, хватившее тяжелой острожной сибирщины, крупнородные раскольники, ищущие спасения от лютой царской гоньбы, переселенцы из тесных земель находили в нарымском краю желанный приют: селились в широкостенные избы, в которых любая лиственничная матица с крюком для зыбки могла при случае удержать многопудовый колокол.

В далекое время ярный берег был несypуч, крепок от корней всякой древесной разнопородицы, кустарников и трав. Сперва начало лысеть подгорье. Вода слизывала осыпную землю, отколупывала от яра глыбу за глыбой. Донной силой хотя и спокойный Васюган протачивал лазейки под самой подошвой крути. Вслед за первыми небольшими оползнями последовали многотонные, со страшными шумными сколами земли. Васюган отторгал у суши незаконную территорию, ошеломлял внезапностью обвалов, последовательностью молчаливой мести.

Платону Запрудину с сыном пришлось первым убирать избу от оврага: за несколько многоводных весен он пошел в смелый надвиг на деревню, угрожая домам, баням и огородам.

Помеченные зарубками венцы разобрали, поставили на новые стояки, просмоленные, обернутые берестой от гнили. Через три года перетащили баню, стайку, оставив только на произвол судьбы туалет, сделанный из прямослойных колотых досок.

Не раз Ксения стыдила мужиков, просила выкопать новую яму, перенести туалет.

— Подожди, Платон, — пугала сноха, — рухнет яр, панталоны не успеешь поддернуть. Так вместе с килой и загремишь.

— Она не гремучая, — отшучивался старик.

Овраг распахивался все шире. Перетопленная из сугробов снеговица неслась по дну дивным нахлывом, водопадно гудела на крутых уступах. Теперь поток заметно обессилел. Захар и Варюша остановились у кромки оврага, прислушиваясь к лopotанию воды. Темнота была не столько густой, чтобы не различать овражные стесы.

Захар умел сделать разговорчивой гармошку, но разговориться самому в присутствии Вари было невыносимо трудно. В его голове теснились невысказанные ласковые слова, готовые вот-вот сорваться с языка, но молчаливая злодейка-робость перехватывала их у самых губ. Долгие паузы молчания заполнялись веселым щебетанием Вари. Она успевала выболтать секреты подружек, попенять на глупую слежку богомольной Серафимы, наговориться о вышивках, погоде и приготовлении ягодных сиропов. Слова сыпались изо рта, точно дробь-бекасинник из порванного мешочка. Захар был благодарен такому спасительному неумолку. Вскоре сам, захваченный задорными рассказами, смеялся, вышучивал, делился впечатлениями дня. Много говорил о слепой Пурге.

В их возрасте опасными становились молчание, протяжные вздохи. Варюша первой поняла значение спасительной словесной трескотни. Старалась избегать похожих на ожог прикосновений пальцев Захара. Пока не догадываясь о тайном сговоре сердец, ревниво перехватывала мимолетно брошенные на гармониста взгляды подружек. Страшилась мыслей о соперницах. Наделенная безгрешным эгоизмом юности, хотела неразделенной власти над ролеющим паренком. Однажды царственным, зовущим за собой поворотом головы увела его с вечерки. Вверив гармонию Ивану Гаврилину, лунатично побрел за дивной колдуньей. Облитая лунной глазурью, она мелькала среди березовых стволов. Потом деревья куда-то надежно упрятали ее, растворили в безмолвии леса. Умолкла у яра гармошка. Явственно слышалось поблизости падение капель березового сока. Напрасно Захар выдыхал из горячего горла ее имя — Варя не вышла. Бродил по полянам, искал обманщицу за кустами, деревьями. Высоко, словно за звездами, ухал и, кажется, насмеялся полуночник-филин.

Стыдно было одному возвращаться к беседке. Там по-прежнему подбадривала кого-то гармонь. Чувствуя изнуренность от пережитого волнения, шагал Захар по тропинке домой, нисколько не сердясь на затеряху.

Не сказал Варе упречного слова на другой день, увидев ее идущей к колодцу. Вышагивала красивой, мягко пружинящей походкой. Чуть подплясывали под дужками пустые ведра. Встретился, поздоровался, разминулся. С какой-то необъяснимой виноватостью отвел глаза. Снова томительной хворью отозвалась в парне вчерашняя

грусть-тоска. Оказывается, сон не отвел ее за пределы юной души. Значит, было короткое обманное исцеление, если при новой мимолетной встрече с девушкой сердце обуял горячий страх.

Через два дня пекли картошку за водяной мельницей. Погуживал в кронах ветер. Тускнело от ряби зеркало глубокого омута. Прислушиваясь к лопотанию огня, Захар пошевелил палкой сушняк в костре. Варя отцовским охотничьим ножом резала хлеб. Раскладывала на белой тряпице морковные пирожки, соленые пупырчатые огурцы, сало. Стоял дивный воскресный день. Точно радуясь мощному сплошному слиянию солнца и неба, весело погромыхивали в отдалении безустальные жернова.

— Захар, расскажи о Пурге. Чему ты ее научил?

— Пока немногому. На мой свист идет. Повороты по голосу выполняет. Скажу: стой, как вкопанная замирает. Она страсть какая умная. Долго я голову ломал, какую работу слепой придумать, чтобы на колхоз трудилась и в поводе не нуждалась.

— Придумал?

— Ага. Но пока секрет.

— Заха-а-рушка, скажи, не проболтаюсь.

Варя с милой наивностью посмотрела на паренька. Отказать было невозможно.

— Помнишь, твой отец говорил на собрании, что со временем колхоз наладит свое небольшое кирпичное производство? Так вот, лучшего глиномеса, чем Пурга, не найти. Выкопаем для нее кольцевую траншею, и ходи она по ней хоть весь день, уминай глину.

— Скажу папе, пусть начисляет тебе за прекрасную идею сто трудовней.

— Запрашивай тысячу. — Захар расплылся в щедрой улыбке. Присутствие Вари, жар костра выкраснили его тугие щеки до цвета раскаленных поковок. — Кирпича надо много, — продолжал Захар, — на фермах старенькие печи. В конюховке тоже развалюха. В избах мой дедушка может глинобитные делать... Пургу надо спасать трудом, — рассуждал по-отцовски Запрудин младший. — Ей никак нельзя безработной оставаться.

— Это так, — поддакнула Варя, выкатывая из огня прутком картошину. Подбрасывая ее с ладони на ладонь, слегка остудив, отколупнула податливую кожуру. — Испеклась, можно пировать.

Для пира хорошо сгодились простая крестьянская еда, запиваемая квасом.

— Захар, правда, твой дедушка в плену у немцев был?

— Правда. Рассказывает про германскую войну — и страшно, и интересно. Он побег совершил.

— Пытали его?

— Какой-то деревянной вертушкой руки выкручивали.

— Изверги!

— ... Сколько, спрашивают, орудий в роте? Платон дурачком прикинулся. В роте, говорит, в моем было всего тридцать два зуба, да офицер на первом допросе сразу четыре вышиб...

— Ну-ка, Захарка, крутни мне руку.

— Да что ты, Варя?! Зачем?!

— Крути! Кому говорят!

— Не буду.

Насупилась, недовольно посмотрела на парня. Тем же прутком, которым доставала картошку, отделила от груды раскаленных углей два крупных.

— Берем их в руки одновременно, — заговорила Варя тоном приказа. — Не ронять, пока не сойдет краснота. Чур, не трусить. Раз. Два. Три.

Понял Захар: не простое сумасбродство движет сейчас упрямой девчонкой. Ее горячее воображение нарисовало картину дедушкиной пытки.

От прикосновения к кускам огня пылали ладони. Из глаз выжимались слезы. Варюша прогоняла с лица испуг, напустив на него натянутую, чуть перекошенную болью улыбку. По мере угасания углей загорались на руках ожоги. Желанным испытанием была для Захара предложенная игра. Что там уголь! Готов подбросить руками весь костер, вытерпеть и не такие ужалы огня. Ему хотелось подниматься, не падать в глазах Вари.

Угли, напитанные недавно жаром, заметно потемнели, оставляя на ладонях следы сажи.

— Мы ведь сможем вытерпеть, как дедушка, правда? — Варюша бросила остывший уголь в костер.

Захар согласно кивнул головой, нежно взял ее покрытые волдырями руки, принялся студить их сбивчивым порывистым дыханием.

— Опустит в воду — пройдет боль.

— Русалка схватит.

Набравшись храбрости, парень спросил:

— Ты чего меня недавно обманула? Вызвала с вечерки и деру домой задала?

— А вот и не задала. Плохо искал... Зачем ты за мной, как бурундук на манок пошел? Поманит другая — тоже гармошку забудешь?!

— За другой не пойду. — Слова сорвались комом снега с горы.

Варюша отдернула руки. Отгопырила губы, уставилась на растерянного паренька.

От мельницы доносился монотонный шум падающей воды и усыпляющий говор жерновов. У берега омота шныряли водомерки, передвигаясь резкими толчками тонюсеньких ножек.

Друзья молча жевали картошку, присыпая солью, просеянной сквозь двойную марлю. На разломленный морковный пирог заполз муравей. Захар стряхнул его в траву, и тот утонул в своих огромных зеленых джунглях.

7

После бурной полноводицы входили в берега озера, протоки. Изумрудным краешком показался левый низинный берег Васюгана. Охмеленная водопольем река тащила мимо Больших Бродов пущенный в россыпь лес. В ловушках-запаях сосны перехватят, погрузят с помощью лебедек на лесовозные баржи.

Выходили мужики на ветродуйное место. Приставив к глазам козырьками мозолистые ладони, глядели на свой артельный зимний труд. Его сейчас итожила живая река. Вызолоченные солнцем бревна торопились, толкали друг друга. Их кружило на водобое. Некоторые сосны перехватывались потопленными кустами. Сплавщики на шустрых двухвесельных лодках караулили задремавшую древесину, шпыняли ее под бока острозубыми баграми, выталкивали на быстрину.

Тютюнников стоял около куривших колхозников, тоже с интересом рассматривая широкополотную картину массового сплава. Лес шел почти впритык к берегам. Под ним, нисколько не обессилев от груза, ступала раскачку крепкоспинная река.

— Не сосны — струны! — восхищенно промолвил председатель, одергивая подол когда-то зеленой гимнастерки, разгоняя к спине складки под широким кожаным ремнем.

Гордо выпятив грудь, он принимал тихий парад сплавливаемой древесины. Яков Запрудин, сделав две последние сильные затяжки, потушил окурок о голенище чирка, ссыпал оставшиеся табачины в глубокий шелковый кисет.

— Да, Василь Сергеич, — вздохнул кладовщик, — сосны и впрямь струны, да не на колхозную балалайку натянут их. Так и выходит: в нашем бору не нам деревья поют.

— Стране поют, — не теряя приподнятого настроения, успокоил председатель. — Авиация — орлиные крылья Родины. Гордись, Запрудин: на оборону робим. Для авиационной промышленности постарались. Гляди, каких красавиц природа откатала — одна к одной.

— Ладный лесок, — поддержал Платон, щурясь от нахлыва прямых лучей. — Ты, Яша, не тужи, что Васюган его на просторье уносит. Где надо — поймают. Куда надо отправят. Есть дела мужицкого ума, есть заботы высокие, государственные. Вишь, чё фашисты вытворяют! Наплавили пушек и танков, думают теперь, что им сам черт — брат. Попирают земли чужие, поруху творят... Мы живем не у Христа за пазухой — у тайги, без леса не останемся.

— Нашим пильщикам хватит работенки, — вставил Василий Сергеевич. — Не успеют на доски и плахи распустить прошлогодние сосновые бревна.

— Брус будем пилить? — поинтересовался Яков.

— Обязательно. Строить предстоит много.

— О кирпичном деле не забыл?

— Забуду — молодежь напомним. Твой Захар успел живую глиномешалку найти — Пургу. Молодчина! Глину надо сильно промешивать, кирпич хилым не будет. Заходил в райцентре на заводик, не понравилась продукция: много пустот, трещин. Об колено ломается. А ведь цену за сотню кирпичей лупят приличную. Мы на своем кирпиче много рублей сбережем.

Дед Платон открыл редкозубый рот, держал его наизготовке, собираясь перехватить паузу в разговоре.

— Супротив старинного наш кирпич — пшиковый.

— Какой, какой? — переспросил председатель.

— Пшиковый. Верно говорю. Складешь из него печь — пшик, и прогорит быстро. Особенно по дымоходам его огонь ест... Помню, в германскую дело было. Стояли мы биваком в церкви русской. Раненых требовалось перевязать. Силов новых набраться. Иконостас золотом горел, лампадки у икон зажжены. Чистота, блеск, благолепие. Мы хоть и солдаты, грубый по войне народец, но не курили, не матюкались в храме. Спертость живота до улицы удерживали. Думали: падет грех на душу, коли богохульство под церковным куполом допустим... По моему стариковскому разумению — лучше раз пощупать, чем пять раз увидеть. Хожу вокруг церкви, кладкой каменной люблюсь. И ногтем попробую кирпичину, и шилом — носил всегда с собой в походном ранце драгту, большую самодельную иглу и шило, — раз даже штыком ткнул стенку. На кирпиче царапина осталась, конец штыка долго пришлось затачивать... Мастеровой люд был на Руси!

— Он и теперь не вывелся,- сказал Яков и полез за кисетом.

— Смоли пореже, — упрекнул отец, потирая ноющую поясницу. — В заядлого табашника превратился. Недолго стояли на яру мужики. Упрямая молчаливая работа реки заставила их задуматься о своих, оставленных на время делах.

Захар и Васек Тютюнников размечали глиномесную траншею. По договоренности с председателем ее решили копать неподалеку от конюшни. Вбили кол, привязали к нему тонкую веревку. Ко второму ее концу прикрепили заостренный колышек. Простой циркуль был готов. Прочертили сперва малый круг. Удлинив веревку на метр, обозначили внешнюю границу будущей траншеи.

Согнувшись, идя по кругу, Захар вспарывал колышком крепкую дернину. Васек штыковой лопатой вырезал разметочную канавку.

— Пургу как заводить будем?

— По лестнице, — дробным смехом зашелся дружок. — Неужели, Васька, не догадываешься?

— Не-а.

— Сделаем отводной пологий прокоп. Вот тебе вход и выход. Чтобы голова у лошади не закружилась, через каждые полчаса будем менять направление.

— Башка! Инженер! — восхитился Васек, пораженный простым техническим решением и предусмотрительностью напарника.

— Это не все. Я вчера чертежник дедушке сделал. Он сказал, что пресс получится. Будем формовать и одновременно уплотнять глину. Платон рассказывал мне о томском купце-богаче Кухтерине. Заводской кирпич для своей стройки он проверял так: швырнет с четвертого этажа на булыжную мостовую, не раскололся — хорош. Можно подрядчикам поставлять. Вот бы нам такой прочности добиться.

Утро следующего дня выдалось туманным. Задевая скворечники и коньки крыш, нависала дымчато-белая, медленно текущая пелена.

— Черти! Нашли где копать! — ворчал конюх, заводя в оглобли телеги игреневого мерина.

На работающих парней смотрел с нескрываемым озлоблением. Вчера пробовал отговорить председателя.

— Василий Сергеевич, разве другого места не нашлось для траншеи?

— Чем это плохо? Глина рядом. Старый сарай под сушилку оборудуем, установим там пресс.

— Лошади ноги поломают... слепая кобыла оступится...

— Не печалься, хлопцы огородят раскопы. Лучше бы раньше о Пурге заботился, не насиловал чрезмерным грузом. Ты, говорят, по районным инстанциям ходишь, грех замаливаешь? Запомни, самая высокая инстанция — совесть. Перед ней надо ответ держать.

Дементий напряг скулы, промолчал. Можно было острым словом отбрить председателя, но конюх разумел — лучшей самозащитой для него теперь молчание: это золото мужику давалось нелегко. Он долго промывал в голове породу дерзких слов. Часто самообладание брало верх.

Земля из-под лопат летела черная, сыпучая. Попадалось много всякой ползающей живности, любящей селиться на конных дворах: гусениц, червей, крутоспинных навозных жуков с переливчатым светом крыльев. Побывавший в лошадиной утробе, выброшенный с пометом непереваренный овес произрастал тут дикоросом вместе с настырной коноплей и живучей крапивой. К изгороди денника жался широколистный лопушник. Под ним в жаркие дни отсиживались разморенные курицы. Вырезая заступом дернину, Захар холмиком складывал ее по внешнему кругу траншеи. Васёк копал, изредка проверяя метровой рейкой глубину выбранной земли.

— Ты делай не прямой срез. Старайся сводить его на конус: осыпи не будет.

— Добро!

Басалаев стоял в деннике возле неторопливо жующей Пурги. Громко, чтобы слышали землекопы, говорил:

— Камеру тюремную тебе готовят. Как заводная по ней будешь ходить.

Ваське не терпелось огрызнуться, острым словом отбрить конюха. Чего разошелся, Демешка?! Мы честно трудодни зарабатываем, чтобы дома, за столами, каждой хлебной краюшке не стыдно было в глаза смотреть.

— Не связывайся! — шепнул друг, громким свистом отманывая лошадь от конюха. Пурга медленно пошла на голос, остановилась у изгороди. Захар сорвал пучок молодой травы, протянул к губам слепой.

— Хлебца нет. Весь утром скормил.

— Не сюсюкай с кобылой, не девка тебе! — Басалаев резко дернул за гриву.

— Привык руки распускать! Гнать тебя надо от коней метлой поганой!

— Замолчи, сопляк!

Подскочил с лопатой Васёк, стал в драчливую позу.

— Чё молчи?! — обрушился он. — Жаль, что ни одна лошадь башку тебе копытом не проломила...

Для конюха и парней изгородь служила баррикадой. По ту сторону стоял озлобленный жизнью человек. По эту — наделенные отвагой и волей ребята. Не они затеяли спор, не им отвечать. Сегодня чем-то явно озабоченный Дементий вел себя нервно, подолгу торчал у конюшни.

— Ну не гад ли?! — не унимался Васек, продолжая прерванную работу. — Первый на рожон полез.
— Сознаться тебе, Васёк? Окна в басалаевской избе я вышиб.
— Герой-одиночка! Давно стал от друга тайничать? Зря меня не позвал. Мы бы вдвоем ого-го сколько стекла надробили!

Через три дня работа подходила к концу. Оставалось прокопать со стороны конюшни вход для лошади. Неотступные комары роем кружились над парнями. Кусали потные шеи и лица, залезали и заползали под мокрые от пота рубахи. От обилия гнуса черные кучерявые волосы Васьки казались посыпанными шевелящимся пеплом. Некоторые комары успевали до одури насосаться крови, еле-еле отлипали от тела. Не сумев подняться с грузной ношей, падали неподалеку в траву.

Захар с силой налегал ногой на уступчик штыковой лопаты, отбрасывая большие комья земли. Неожиданно острое стукнулось о что-то каменно-твердое. Сразу мелькнула мысль о кладе, закопанном деревенским богатеем Пахомовым, сбежавшим из Больших Бродов вскоре после революции. С лихорадочной быстротой откопали большой сверток. Еще не развернув пропитанную чем-то клейким рогожину, по глухому бряканью стали догадаться: там оружие. За всю жизнь Васька Тютюнников не раскрывал так широко карие пронизательные глаза, как при виде двух короткоствольных обрезов.

— Вот так кла-а-ад! — присвистнул Захар, пробуя отвести тугой затвор обреза.
— Стодятся для самодеятельности. Стыдно — деревянными винтовками пользуемся.
— Знаешь, Васёк, они не для сцены были предназначены. Покажем твоему отцу.
— Кто-то из раскулаченных затырил. Факт! Место хорошее: овраг близко. Откопал — скрылся... Где же патроны?

— Для патронов, наверное, посуше место нашлось.

— Может, рядом закопаны?

Поиски ничего не дали, хотя пришлось выкопать большую яму.

Вечером, узнав о находке, Василий Сергеевич строго-настрого приказал хранить тайну.

— То, что обрезы столько лет молчали, забив свои пасти смазкой, говорит, ребятки, о многом. Сейчас, конечно, трудно дознаться — чьи пташки в рогожку залетели. Сообщу в район. Пришлют следователя... Вы молодцы. Быстро с траншеей справились. Каждому по пять трудодней обеспечено. Время до сенокоса есть, можно глину подвозить, первую замеску делать.

— Дедушка пресс мастерит, — польщенный похвалой председателя, сообщил Захар.

— Заходил к нему. Стружкой осыпан, как Черномор пеной морской. Дал ему кузнеца на помощь. Несколько деталей надо отковать по твоему чертежу. Ты раньше, Захар, нигде не видел такой пресс?

— Он мне приснился... только формы вместо глины тестом заполняли и в огромную русскую печь для выпечки вталкивали. Крышку для уплотнения глины пришлось самому домысливать. Пурга будет крутить винтовое воротило. Кирпич-сырец начнет выползать из форм. Мы его тонко гитарной струной подрежем.

— Кулибин! — Васёк, не скрывая восторга, похлопал друга по плечу.

— Зато ты у меня недорослем растешь.

— Па-па...

— Вот тебе и па-па! В книгах мудрость поколений хранится, тебе читать их лень. В нашем роду увальней не было. Придут в колхоз трактора — кого на них посажу? кому доверю?..

Год назад, копая яму для коновязного столба, дедушка Платон наткнулся на плотную липкую глину. Поддев лопатой большой комок, запеленал в лист лопуха, принес домой. С горящими глазами алхимика положил глину в чугунную ступку, плеснул туда воды. Уминая массу тяжелым пестом, заглядывая в нутро чавкающей ступки, приговаривал с захлебистой радостью:

— Вот так этак! Вот так-так! Масло — не глина.

Отформованный кирпич сушил и обжигал в русской печке. Подвесив на дратве, старик подставил к изделию глухаватое сморщенное ухо, стукнул фунтовой гирькой: остался доволен гулким звуком.

Прежде чем передать в руки председателя, Платон смачно понюхал кирпич, изрек:

— Доходом пахнет. Лады производство.

Место под коновязь перенесли.

Захар на глинище раскопал широкую яму, везде под слоем крепкого дерна заступ упирался в тугую цепкую массу.

С телеги Васёк скидывал глину в траншею. За неторопливым Захаром лошадь шла легко и спокойно, добродушно тыкаясь храпом в правое плечо.

Слепая по-прежнему вздрагивала при появлении конюха. Когда он вел ее за узду, она пугливо трясла и мотала головой.

— Умное животное за версту зверя чует, — объяснил подобное поведение дедушка Платон.

Он посоветовал внуку взять для замеса глины не васюганскую торфянистую воду, а чистую, колодезную. Говорил убежденно: кирпич будет прочнее, без пустот и трещин.

По боковому прокопу слепую завели в траншею. Насыпанная ровным слоем глина успела нагреться, под копытами крошились комки. Захар несколько раз провел Пургу по кругу, сказал ласково и повелительно:

— Н-но, милая, меси!

Поняв, что от нее хотят, она пошла по траншее без помощи человека и понуканий. Постепенно мелкий, чуть сбивчивый шаг переходил в крупный, уверенный. Впереди тянулась бесконечная круговая дорога, без выбоин, узловатых корневищ и бугров. Жеребенок попытался войти за матерью в прокопанный отвал траншеи, его отпугнули. Отбежал за земляной вал и несколько кругов с легким прискоком сопровождал работницу.

Васек собрался плеснуть под копыта лошади ведро воды, остановил друг.

— Этак мы нашего глиномеса без ног оставим. Вода ледяная, пусть греется. Я Пургу для пробы завел, надо же привыкнуть. Мы водой будем бочку с вечера наполнять. Сообщаешь зачем?

— Не башка у тебя, Захар — сельсовет.

— Придется тебя председателем приставить к ней.

Васька заголил испачканную глиной рубашку, щелкнул над пупом.

— Пузо маленькое, не по мне должность.

Васюган лежал под хмарной заволочью. С реки наносило вечерней прохладой. Смутно проступали очертания левого, низинного берега.

Пришел Платон, в старом ведре развел дымокур. От тлеющих гнилушек потянуло терпким дымком.

— Комарное будет летечко, — предсказал старик. — Мокроты кругом много.

Он окурил дымокурными струями Пургу. Серенький резвун сам приблизился к голубому потоку, заводил ноздрями.

— Привыкай, красавчик, к цыганским духам. — Платон поставил ведро на землю, затажно вздохнул. — Воли отпущено тебе три годочка, трудни колхозной — без меры. Матери не век вековать, нагуливай силу, крепи жилы.

Старик долго, оценивающе смотрел в нутро глинодельни, провожая взглядом шагающую без поводыря лошадь.

— Толковитые вы, хлопцы! — похвалил работников.

— Мы такие! — раскрыл в улыбке рот Васёк и поперхнулся попавшим в горло комаром.

Чавкала под широкими копытами сдобренная водой глина. Платон присел на траву возле дымокура.

— Знавал я на войне мастера-кирпичника. Он и печекладом был. Курской земли мужичок. Крепенький такой, ладный весь из себя. Что из деревни солдатик, я сразу заметил: он винтовочный штык на манер косы затачивал. Сидим, бывало, в окопе, от холода зубогоном занимаемся. Везде однозвонец мой окопную землю на пошуп брал. Разминает, нюхает, подносит к близоруким глазам. Спрашиваю: «Что, Гаврилушка, годится ли на кирпич?» — «Нет, — отвечает, — клей не тот». Носил он вместе с медным крестиком на шее ладанку. Хранилась в ней щепотка печной перегорелой глины. Иногда поверья людские живучее веры оказываются: заговоренная, мол, она матушкой родной. От погибели должна хранить, от плененья вражьего... Убит был Гаврила в небольшой перестрелке. Пули-то дуры, да умных секут. Хоть золотишко рассыпное зашей в ладанку, не будет спасения, коли на роду судьба закорючину поставила. Смерть, ребятки, да жена богом суждена...

Кружит и кружит по вязкому месиву усердная лошадка. Резкими встряхами головы отгоняет наседающих комаров. Проходя сквозь дымную полосу, замедляет шаги.

Слушать дедушку Захар привык не перебивая. После рассказа стоял в задумчивости, дорисовывал картину наступления бойцов. Виделись оставленные ими сырые окопы.

Васёк сменил направление Пурги. Попив из ведра, равномерно расплескивал воду, оседающую в лошадиных наступках.

Платон рассуждал тихо:

— Нашел председатель наказание конюху: заставил водить слепую. Плевое наказание. Его твердокаменную совесть этим не прошибешь... Из жил ты вся состоишь, Пурга. Сохранился ли в тебе хоть кусок мяса? От седелки загорбок полысел. Шишки на ногах от натуги. У тебя и кровь-то, наверное, наполовину с потом... Сколько ты плетей за короткий век отведала?! Да все с правого бока бита, все с правого. Мужик наш артельный ежли с похмелья, на нужду да на бабу зол — скор на расправу.

Захар предложил другу:

— Васька, крикни Пурге: стой! Послушается тебя?

— Сто-о-ой! — Кобыла от блажного голоса вздрогнула, сильнее зашлепала по глине. — Хитрый, Захар, приучил к себе.

— По медвежьей рывкнул и хочешь лошадь остопорить?! — упрекнул Платон. — Надо не громко, властно приказывать. Можно, внук, я попробую?

— Остановившай. Все равно пора.

Старик поднялся с травы, отряхнулся в кулак. Лошадь поравнялась с ним. Платон вытянул по-солдатски руки по швам и, проходя вдоль траншеи, требовательно приказал не то кобыле, не то себе: «Стой!»

Слепая шевельнула правым ухом, продолжая размеренную ходьбу.

Внук улыбнулся. Васька расхохотался лешачьим смехом.

— Н-да-а! — огорченно вздохнул Платон.

Захар без труда, коротким выдохом нужного слова прекратил кружение усталой лошади.

— Откуда в тебя, Захарка, кровь цыганская подмешалась? Вырастишь, внук, в конокрады не уйди.

Завели Пургу в реку, смыли глину с ног. У воды, под береговой крутью, темнота была плотнее: совсем не различались на ярном срезе гнезда ласточек-береговушек...

Время сливало ночи и дни в глубокий темный омут. Он начинался сразу над головой лошади, уходил в жуткую, непромеренную пучину. Невозможно было примириться с неожиданным исчезновением света, появлением непроходящего мрака. Пурга ждала возвращения былой жизни, наполненной рассветами, видом травы, привычных дорог, небольшого колхозного табуна. О смене дня и ночи догадывалась по птичьему неумолку, по воле, данной для пастьбы, по пригреву встающего над урманом солнца. Петушьи крики, исчезновение росы на травах, гудение шмелей, усиленные атаки гнуса, говорок молота в колхозной кузнице — все служило для определения размытых границ времени.

Знала сейчас Пурга — наступила ночь. Из деревни доносился редкий перелай собак. Заполотно фубукнул филин. Серенький задрал голову, прислушался к слетевшему со звезд звуку. Раз, напуганный прыгнувшей под ноги жабой, жеребенок шарахнулся к матери, ударив ее костистым задом. Шумно втянув ноздрями сырой воздух, желая убедиться — нет ли поблизости зверя, — кобыла не учуяла иного запаха, кроме сладковатого, долетающего от густого смородинника и смоляного, источающего недавно охвоёнными лиственницами.

Торопливо пощипывая короткую траву, вспоминала сегодняшний день, бесконечно бегущую вязкую дорогу, прикосновение рук Захара. Малоподвижное существование за последние недели вливалось в тело, особенно в ноги, свинцовую онемелость. Услышав новое для себя слово «меси», приступив к необычной работе, Пурга вскоре ощутила пользу от долгого движения по нескончаемому круговому пути. Она любила пробежки на водопой, веселый бег скачью с ночного под лихое взвизгиванье юного седока. От скорости расплывалось очертание дороги, густела масса травы по сторонам. Чуть поодаль с бодрым высивстом бежал ветер, пузырил рубашки счастливых наездников, заслуживших право влететь в деревню на крепких, отдохнувших за ночь крыльях... Слепота подрезала крылья Пурге. Не опереться на них, не взмахнуть над медовыми травами...

Ей опять захотелось ступить на удачно придуманную дорогу, будто залитую холодной осенней грязью. Месить и месить эту хватающую за копыта грязь. И когда после второй переключки петухов, слепую ввели в земной выкоп, она, не дожидаясь команды, разминая затекшие ноги, заторопилась вдоль неровных траншейных срезов.

8

Деревня Большие Броды тихо вознеслась над сплавной рекой: в яроводье она бесшабашно транжирила буйную силушку. Обрывистый берег Васюгана — в стрижиных проточинах, в неглубоких и глубоких оврагах, прорезанных водой-галицей. После многоснежных зим напористые ручьи пресекали по яру конусные вымоины: срезы покрывались низкостелющимся подъярником — мать-и-мачехой, рано оживающей на солнцепёчных местах. Не успеет весна обесснежить землю — по всей панораме откоса дружно и торопливо распускаются желтые с плотными тычинками цветы. К ночи они боязливо сморщиваются, сохраняя тепло и жизнь. Поймав золотыми окулярчиками первые утренние лучи, оживают в покорном, трепетном порыве. Их дружный массовый расплод превращал яр в самотканое полотно.

За нешироким Васюганом по низинному берегу тянулся густой подростовый осинник вперемежку с кривоствольным черемушником и раскидистым боярышником. Крепкие и острые шипы боярки иногда использовали вместо патефонных иголок.

В июне зацветала обильная в этих местах черемуха и даже ветер пропитывался сладковатым запахом.

На луговом, затопляемом в большую воду пространстве, разбрелись многочисленные озерушки и петлястые ручьи. Тянулись коварно-топки болота с окнами неизмеренных трясин, покрытых пленчатой ржавью. Оттуда с глухим бульканьем вырывались изредка большие пузыри. В этих синеватых циклопных глазах отражалось на миг-другой нарымское небо, его пугающая высь. Пузыри лопались, осыпая брызгами прыгучих водомерок.

Топь пространных болот незаметно переходила в невысокий кочкарник. Среди него начинали проглядываться тропинки покосников, охотников и рыбаков.

Лугов, болот и тайги было вокруг Больших Бродов столько же, сколько неба над деревней. С весны до поздней осени слышался здесь неугомонный переключок уток, кукушек, гусей, косачей на токовищах, малых птах, куликов-плакальщиков, семенящих на ходульных ножках по илистым береговым отлогостям. На коньки крыш, скворечники, на близко стоящие возле деревни кедровые садились глухари, взирая на бродящих коров, лежащих возле заплотов расчумазых свиней, на редких прохожих. Бессрочный призыв колхозной страды делал деревню летом почти пустой. Покосники жили в балаганах за Васюганом, заранее переправив туда на вместительных четырех-шестигранных неводниках сенокосилки, конные грабли, продукты, лошадей. В широкодонных, толстобортных лодках они стояли смирно, предвкушая сытую жизнь на обильных травах.

Таких поселений, как Большие Броды, было много на тайговой изворотливой реке. В семи лесных — на глазок — верстах стояло несколько изб староверов. Тайга в той сторонке была такой же дремучей, как матерые кудлатые бороды мужиков, занимающихся сбором орехов, грибов, ягоды, выжигающих древесный уголь для нарымских кузниц. Не жили они без охоты и рыбалки. По избам лесных отшельников хранились иконы древнего письма, в богатых чеканных окладах, сияющих нетускнеющей позолотой. Литые массивные распятия, начищенные бронзовые подсвечники, мерцающие лампадки с кружевными сетчато-ажурными металлическими наголовниками, полупудовые церковные книги с золотым тиснением на толстой коричневой коже, с рисунчатymi, мягко защелкивающимися застежками. Личная, боящаяся мирских рук и губ посуда, утварь — все было пропитано там духом древнего обрядничества, прилипчивой веры христоролюбивых старозаконников.

Приверженцы невозвратимой старины жили обособленным мирком, были молчаливо угрюмы и недоверчивы к властям. Тяжелые тайны думы делали их буреломные лица замкнутыми и отчужденными. На берегу малоподвижной Пельсы — дальней родственницы Васюгана — колхозники построили барак, баню по-черному: копать одолела не только ее нутро. Махристая сажа покрывала снаружи мох между бревен, верхние венцы и узкую на скрипучих петлях дверь. В предбаннике валялись обтрепанные веники, клочки моха, пихтовые лапки — на них любили стоять разгоряченные паром кубатурники — так называли колхозников-лесорубов, прорезывающих второй урман.

Сначала староверы жили в деревне, воздвигнутой на яру, и она будто бы называлась Большие Бороды. Неизвестно кто умыкнул из слова букву, проредил его. В двадцатые годы бороды подались выше по Пельсе. Деревня незаметно превратилась в Большие Броды, хотя ни люди, ни скот не могли перебрести реку даже в межень.

Рубленая «в лапу» изба Дементия Басалаева стояла на самом конце левого порядка. Дальше начиналось сухое болото с приземистыми сосенками, мелколиственными березами и частым кустарником, покрытом, как вуалью, паучьими тенетами. Стволики сосен были уродливо-кривы, походили на охвоенные коленчатые валы. Ухоженное подворье под сплошной непромокаемой крышей, длинные поленницы дров с козырьками тесовых навесов, стоящие по углам заготовки для вил, граблей, лопат, высокое крашеное крыльцо — все говорило в пользу радивого хозяина. На гвоздях, деревянных штырях, зубьях от бороны висели уздечки, вожжи, обручи, связки толстых и тонких веревок: копнозных, бастричных, сетевых. Чернели мотки заготовленной дратвы. Полотна лучковых пил, стамески, ножовки, разнокалиберные центровки поблескивали от смазки. Все здесь было на своем, отведенном заранее месте. Если бы исчезла вдруг с гвоздя массивная киянка с дырочкой на ручке, то пустующий гвоздь глядел бы на вас с немым непрощающим укором. Вошедший сюда хозяин мог бы сразу узреть: чего-то недостает на полотне желтеющей сосновой стены, исчез какой-то мазок с завершенной картины, рожденной хозяйским трудом и рвением.

К тридцать седьмому году поутихли разговоры о колхозах. Артельные хозяйства стали такой же очевидностью, как всполошенный золотой звон солнца, разливающийся широко над сонными урманами. Колхозы будили землю новыми большими раскорчевками.

Басалаев попробовал пойти в откол от колхозной жизни — не вышло. Много надежд возлагал на инспекторский портфель, да недолго покормили бумаги. Стоило ли в четырнадцатом году умножать на грифельной доске трехзначные цифры, учиться письму и закону божьему, чтобы теперь конюшить, слушать председательские окрики?!

За обучение тятя платил учителю два пуда муки. Понятливый Демешка быстро овладел тайной чисел. Не просто вызубрил таблицу умножения. Он понимал силу цифрового наслоения и слития. Под кусочком мела разбухали столбцы. Эти, как на опаре поднимавшиеся величины пудов муки, головок сахара, мешков овса, литров молока приводили одиннадцатилетнего парнишонка в возбужденно-радостное состояние. Выводил в тетрадке задачу: «У купца в амбаре было сто семьдесят восемь мешков пшеницы...» Воображение рисовало вместительный купеческий амбар, горы зерна, из которого богач получит на мельнице баснословное количество пудов белой, измельченной в пыль муки. Его тятяка весь исскрипелся в упреках, что тратит за учебу сына два пуда муки, а тут, в задачке их тысячи. И не только муки — листового железа, рыбы, говядины, соли, чая и пряников. Тут и всевозможные ткани, кафтаны, сапоги, телеги, бутылки вина. И виделась мальчику своя лавка,

где всего вдоволь. Приходят нарядные дамы, источающие запах дорогих духов, приводят красивых дочек, пухлощеких сынков... товар расходится хорошо... торг идет бойкий... у лавочника куча ассигнаций, свой счет в банке...

«Демешка, ворон ловишь?!» — строжится учитель. Пустить в ход линейку не решается — ученик способный, отец не из бедных мужиков.

Из четырех «на выучке» мальчишек, трех нанятый учитель причисляет в разряд оболтусов. Сидят, выпучив глаза, словно и ими хотят услышать. На лицах написаны муки тугодумства и бестолковости.

На перемене Демешка незаметно от товарищей виляющей собачьей походкой приближается к молодому, узкобородому человеку, шепчет подобострастно: «Господин учитель, Гераська вам фигу показывал, когда вы на доске задачку писали». Учителю, не терпящему фискальства, хочется прочесть ябеднику нравоучение, но он ограничивается хмыканьем и коротким: «Ладно... ступай...» На следующем уроке по Гераськиному лбу и затылку дважды прошлась увесистая указка учителя.

Не вышел купец из Басалаева. Не получился инспектор по налогам, даже учетчик. Нет своей лавки с товарами, но кладовая, два сундука, комод не пусты.

Свой двор — крепость. Тут каждая щепка, отлетевшая от бревна — твоя. Хочешь сожги, хочешь выброси. Размышлял Басалаев: «Колхозы — недолгие жильцы на белом свете... покряхтит партия с ними да отступится, как от нэпа... сколько неразберихи натворили, сколько гнезд крестьянских порушили...»

В Больших Бродах комсомольская ячейка состояла из шести человек. Басалаев воспрепятствовал своим сыновьям вступать в нее, строго отчитав Никиту и Олега: «Не были в пионерах и в эту дьявольщину не пушу... ляды точить на собраниях — время сжигать попусту».

Мужикам говорил другое: «Гоню своих щенков в комсомол — упрямятся. Несговорчивые черти растут». За два дня до праздников вывешивал над крепкими воротами добрый лоскут кумача, втолковывал прохожим колхозникам: «Советская власть нам всласть. Без нее до сих пор бы нас богат по сопаткам бил».

На людях не высказывал затаенных мыслей. Был осторожен в выборе собеседника и тем для разговора. Трудно было понять и раскусить его двоедуши. Проявляя недоверие к колхозу, работая спустя рукава, конюх не забывал подвезти себе в первую очередь дров, вспахать, проборонить огород, взять «взаимообразно» тележную ось, чересседельник. Председатель колхоза однажды устыдил:

— Ты, Дементий, пользуешься колхозным не взаимобразно — взаимобезобразно. После пахоты огорода плуг почему не вернул?

— Так он у меня смазанный стоит. У тебя бы ржавел возле кузницы.

«У тебя», «у меня» обидели Василия Сергеевича.

— Знаешь, Басалаев, одни земные соки питают колхозные поля и твой огород. Ты нашему колхозному строю напересечку бежишь. Не пытайся — сомнем. Коней как содержишь?! У нас пока нет трактора, но будет. Все лошадиные силы — в нашей конюшне. Береги их. У тебя и у меня одно хозяйство. Кроме моего и твоего брюха есть еще страна, ждущая от нас зерно и мясо, молоко и овощи.

Слушает Дементий председателя в пол-уха. В глазах вспыхивает злорадство: «Пока трактор дожدهшься — дважды сгорбатишься. На трудодни что даешь? Весь хлебец трудоденный тараканья упряжка вывезет...»

Вспоминает конюх гулянку, на которой кладовщик Яков Запрудин под парами самогонки пел с хрипловатым подвывом:

Шла корова из колхоза,
Слезы капали на нос.
— Отрубите хвост по горло —
Не пойду теперь в колхоз.

«Побегут, побегут из колхозов не только коровы. Очухаются мужики, поймут, какие хомуты натянули на их глупые головы, не возрадуются... Дед Платон ватные штаны называет килогрейкой. Килу на личной пашне нажил, при колхозе сыну в наследство передаст...Надо бы о запрудинской частушке сказать кому следует...»

В сороковом году кладовщика Якова Запрудина по доносу Дементия обвинили в умышленном поджоге скирды снопов. Припомнили антиколхозные частушки. Исчез он быстро, как брошенный камень в реку. Захара — сына врага народа — исключили из комсомола. Терзалась семья Запрудиных неизвестностью о Якове. Его сына мучило страшное положение исключенного из комсомола. Разве мог тятя поджечь скирду хлеба? Он, сметающий со стола каждую крошку, знал истинную цену колоску, возвращенному на раскорчеванной земле. Не было за Большими Бродами ни одной рощести, не окропленной потом отца. Он хорошо умел справляться на огнище с цепкими пнями. Березовая вага рвала кожу на ладонях, трещала рубаха, пропитанная солью и дымом. Мужики, завидуя игривой силе, говорили: «На тебе, Яша, и кольчуга от натуги лопнет...»

В колхоз входил без печали на сердце: артельно да брательно что не жить. Тайги кругом вволю. Под тайгой-то земляца, не океан кипучий. Где топор да пила, где огонь подсобит. Вырывали сотки из лесной глуши. Слыханное ли дело — спалить хлеб, призвать в соучастники злодейства варварскую силу огня?! Есть, конечно, вина Запрудина — не усторожил срезанные снопы. Послал в охранение школьников, те убежали на берег Васюгана. Разожгли костер, пекли картошку. Председатель колхоза защищал кладовщика, называл его активистом, ярым врагом большебродских богатеев, на которых и ему, Якову Запрудину, пришлось гнуть спину, исполнять изнурительную тяготу батрачной работы по найму. Богатею чужой силы не жаль. У работников пусть хоть пупы развязываются, костолом по телу идет — ему наплевать. Падал от усталости в прокосах Яша. Еле таскал ноги по борозде. Бывало, обопрется всем телом на широкие ручки плуга, повиснет на них и сытая кулацкая лошадь тащит измотанного трудом работника. За такие невинные проделки в зубы получал от хозяина и ужим при расчете. Вот те бы, пропитанные своим потом суслоны, Яков Запрудин в отместку мог спалить. Слишком жирной и ненавистой была рожа его работодателя. Кормил солониной. Рассчитывал — мякины подсыпал в зерно.

Говорят: хлеб на корню — не хлеб. Нет, неверно. Он становится хлебом с нетерпеливых зерен, просыпавшихся золотым дождем в волглую землю. С робкой зелени всходов. С налива колосьев. Он всегда хлеб. Даже если не попал в мешках на склад, кладовщик вместе с председателем, агрономом, колхозниками несет за него ответственность в поле, на току, независимо как расфасован он после жнитва — поснопно, посуслонно или поскирдно.

Захар, выкладывая комсомольский билет, не склонял виновато голову. Обвинение отца было недоказуемо. Сын верил в его правоту.

Их было в комсомоле шестеро. Ровно столько, сколько имело каждое звеньшко медового сота. Уход Захара размыкал цепь в этом важном звене. Парня выставили на позор. Отдавая билет, Запрудин-младший дрожащим голосом сказал:

— Я сейчас чувствую себя бойцом, у которого отнимают винтовку.

Первой мыслью было пойти и вверить молодую жизнь Васюгану. Он промолчит, не выдаст тайну... Мать ли спросит реку, Варя ли — не раскроет уста. Наученные водой берега тоже будут немые...

Долго ходил по краю обрыва. Мысли плавали в туманном заволочье... Откуда-то взялся прыгучий воробышек, уселся поодаль и принялся быстро-быстро чистить клювик. Перья торчали на воробье в разные стороны. Видно, недавно дрался из-за зернышка или хлебной крошки. Вид у взъерошенной птички был бойцовский. Захар подумал: она не выпустила победы из лапок. Геройский вид терпеливой сибирской птахи, для которой любая застреха — дворец, заставил изменить течение взмученных бедами мыслей. Семья осталась без главного кормильца — отца, значит, надо жить и работать вдвойне. Надо помогать больной матери воспитывать, поднимать на ноги сестренки. Малы еще, проказницы. Поставишь их рядом, они, как ступенечки крыльцовые.

За Васюганом открывался знакомый с детства луговой простор. Чем дальше убежала равнинная земля, тем сильнее обволакивала ее синева, размывая ломаную сопредельную грань. Захар жмурился: прятал небесно-земное видение в себе. Открыв глаза, выпускал его в огромную, неохватную взором даль. Сегодня степенный Васюган, низинное левобережье, все дымчатое заречье в наплывах кустов и редкого топольника предстали как будто внове. Страдающая душа, прозревая, начинала различать оттенки природы. Захар запечатлевал в памяти ее переменчивый лик. Вода уже не могла заманить в свою беспросветную глубину. Она утратила власть над разумным сердцем.

Неслышно подошла Варя, положила руку на плечо. В этом переменчивом мире Захар был не одинок. Долго не начинали разговор. Смотрели на блики отдаленных озер, на стайки перелетающих уток. В чьем-то дворе залиvisto горланил петух, долго и чисто выводя последнее распевное колено.

— В деревне никто кроме конюха не верит во вредительство твоего отца. Верно говорят: посея семя лжи, не жди ржи. Беду пожнешь. Какой черт послал нам в деревню басалаевскую семейку? Ты не отчаивайся — кривда без правды не живет. Когда-нибудь вернут билет, извинятся...

Долго говорили о колхозе, о будущем деревни.

По «делу» Якова Запрудина было проведено скоротечное следствие. Подтвердил: частушки, действительно, пел о плачущей корове, хватившей колхозной житухи. Ну и что?! Люди и то ревели, вступая в колхоз. Как вступили да принялись выколачивать трудодни, пахать на коровах, изматывать на работах быков и лошадей, — животные взвыли. Жадные до земли большебродские мужики сильно потеснили тайгу, раскорчевали много в надежде получить трактор. Страна пока не могла обеспечить живой сталью тысячи недавно рожденных колхозов... Можно ли за какие-то частушки лишать свободы?!

Когда арестованный не явился в деревню спустя месяц, Басалаев потер руки и злорадно прошептал: «Зацепило». Да, крюк-донос сработал на диво беспривычно. Скоро радость содеянного улетучилась. Всплыла тревога: рано или поздно все будет узнано. Не посвященная в тайну жена нашла перемену в облике мужа. Увидев на лбу, возле глаз червячки морщин, заметив на лице крупные бледно-бескровные пятна, спросила:

— Дементий, не болезнь ли сухотка прицепилась к тебе?

Знала бы Августина, какая окаянная сухотка опалела его сердце. В голове не прекращалась сутолочь пугливых мыслей, вызывая тупую боль и нервозность. Пытался отделаться от них разговорами с женой, сыновьями, брался за домашние дела, но какие-то живучие, плодильные пиявки расплозились по мозговым извилинам, отравляли существование.

Ловил тяжелые укорные взгляды колхозников. Постоянный неотступный конвой сопровождал конюха всюду — на улице, у конюховки, в магазине, на артельной сходке. Мерещилось, что и кони знают о ядовитой наговорщине, о страшной пропасти, через которую перешагнул их присмотрщик.

Супротив бурного течения мыслей выставил шаткий частокор оправдательных доводов: поделом тебе, Запрудин... этак каждый будет против колхозного строя частушки распевать... погостуй на тюремных перинах, там найдется время подумать о спаленном хлебе... Басалаев так вжился в роль «очевидного свидетеля» поджога, что начинал верить вымыслу.

Осень сорокового года долго не переходила в зиму. Зайцы успели сменить наряд, пугливо хоронились за коряжником, зарывались в омертвелую листву. Выгнанные на чистину, опрометью носились от собак по опасному чернотропью. Конюх со старшим сыном Никитой шли с ружьями мимополевой дорогой. Она огибала овсянице и густые березняки. Захар возвращался с удачной охоты: связанный за лапы заяц покачивался возле бедра.

— Не нашего ли косоного подбил? — ухмыльнулся спросил Дементий, не уступая дороги, покрытой палым листом.

— Походи за своим. Может, выследишь...

Парень шагал размашисто, напролом, не желая сворачивать с сухой узины, пролеглай меж колесных следов. Прошел вплотную с конюхом. Задев друг друга, брякнули ружейные стволы. Гневно произнесенные Захаром слова, короткий удар вороненой стали о сталь, бесшумный залп наполненных ненавистью глаз, вызывающая лихость парня вышибли из головы приготовленную реплику. Дементию хотелось надерзить, расхохотаться в лицо встреченного охотника, но он только через несколько шагов пробубнил вполголоса: «Запрудинский выродок!.. Ты у меня попляшешь...» И вдруг подумал, точно ожегся о раскаленную плиту: «А ведь он за отца мстить будет. Из комсомола выперли, новой злобы подлили... ничего, при надобности рога обломаю такому мстителю...» В ушах отчетливо слышался глухой удар скрещенных стволов.

Никита молча курил, ловко перемещая самокрутку из угла в угол мясистых вывернутых губ. Впервые отец прихватил его с папироской, когда Никита учился в пятом классе. Дементий заметил: убывает самосад из кисета. Прихватил сына — отсыпал в ладонь искрошенное зелье.

«Ну и как это называется?» — желая устыдить воришку, спросил отец. Руки заученными движениями расстегивали широкий ремень с тяжелой медной пряжкой.

«Так называется, тятя: от много немножко, не кража, а дележка». Сказал, ухмыльнулся, положил на кровать отполовиненный кисет и в дверь.

Два раза отлупцевал сына. Он стал курить в открытую. В шестом классе подходил к отцу вразвалочку, просил требовательно:

«Дай-ка табачку, мой кончился».

Отец насупленно протягивал кисет. Жена ворчала: «Еще один смолильщик в избе объявился. Никитке кулаком по зубам надо. Уступчивый тятенька козью ножку в зубы сует».

«Пусть на виду курит, чем на сеновале. Обронит искру ненароком — спалит все к чертям. Тогда и зубы не понадобятся — на полку их можно положить...»

Никита никак не мог приучить к курению младшего брата. Он совал Олегу папироску в рот, окуривал едким дымом, подсыпал табачную пыльцу в овсяную кашу. Олег в отместку топтал грядки с табаком. Их в огороде стало три вместо двух, предназначенных главе семейства.

Докурив, Никита потушил окурочок о ружейную ложу.

— Не будет нам удачи, отец. Без зайцев вернемся.

— Почему?

— Поп или черт встретятся в пути — вертайся.

— До полного черта ему далеко. — Басалаев оглянулся на Захара. — Так... чертенок по мелким поручениям. Пьески ему играть, с дочкой председательской щупаться. Ты бы попробовал охмурить Варьку.

— Ее охмуришь! Заладила свое: почему в ячейку не вливаешься? — Говорю ей вежливенько: Варвара Васильевна, я признаю только сетевые ячейки: в них хоть рыба путается...

— Смотри в оба! Они тебя могут в свою липкую сеть запутать. И в словах будь поосторожней Сам знаешь, какое время: у забора — уши, у калитки — глаза. Варька — девка-воструха. Напичкана лозунгами, как апрельская дорога талой водой.

— Если бы мы в единоличниках жили, лучше было бы?

— Лучше и вольнее. Сейчас каждому столбу честь отдавать надо. Приличный капитал — истинник — сам по себе шишка. Общая земля, сынок, обезличена. Мужичий пот — не лучшее удобрение для нее. Что такое колхоз? Огромная упряжка. В ней разномастные лошади — сильные, слабые, горячие. Одна бежит рысцой, другая трусцой. Тютюнников у них за коренника. Хотя райкомовская плеть перепадает по его шее больше, зато движется шатко и валко. Посулов сначала много было: трактора получите, машины придут. Пока у нас один гараж — конюшня. Я — механик по копытам... Эх, дали бы мне полномочия! Поручили учредить налоги с мужиков да не совали бы нос разные финорганы. А лучше, Никитушка, было бы все по-старому. Какой класс — кулачество? Высший класс! До колхоза мы масло невпроед ели. По бочке солонины готовили на лето. Бедняк в переводе на человеческий язык — лодырь. Средняк полулодырь. Кулак — истинный работник земли. Давно чуял, куда партия вожжину тянет. Знал — не даст разжиться крестьянину, приберет к ногтю зажиточных. Не усердствовал сильно на пашне, потому и крылышки не подрезали в тридцатом. Об этом, Никита, молчок. Считай, что пробой на губах и замочек навешен фунтовый.

— Зачем в колхоз вошли? В город могли податься. С твоим умом, отец, люди портфели толстые имеют.

— Земля — самый надежный портфель. У начальника будь портфельчик из простой или крокодиловой кожи — отобрать могут в любой момент. Начальник — та же пешка. Я больше в поддавки играть не хочу. Мужики земля властью навечно дадена. Поживем — увидим: пустят ли колхозы глубокие корни. Возможно, крестьяне останутся при своих интересах — при личных десятинах. На четыре-то басалаевских души ухватим землицы порядком. Займемся скотоводством. Луга тут, сам знаешь, густотравные. Заведем сенокосилки, конные грабли. Начнем разживаться. Хлеб здесь труден, пот проливать надо. Зато травушка саморосом прет, успевай только стричь васюганскую овцу. Наладим торговлю мясом. Окрока коптить будем, колбасу делать. Меня этому искусству обучил немец, живущий под Томском. Рыбу мы коптим осиновыми, таловыми гнилушками. Сало, мяско черемуховый дымок любят. Коптильню большую сделаем... Как сейчас ее вижу. Заходим с тобой, а на крючьях окорока висят, колбасы. Купим крепкую лодку, мотор-шестисилку. Начнем к Оби ходить, пароходным командам товар наш мясной сбывать. До Томска добираться далеко. Ближе покупателей сыщем. Главное — марку торговую не уронить. «Басалаев и сыновья». Звучит?

— Зву-у-чит...

— То-то. В инспекторах мне горько жилось. Ездил, лаялся с мужичьем. Вразумлял твердолобых аккуратно налоги платить. Пропади она пропадом песья должность. Пусть у этой конуры другой посидит. Конюшить тоже нелегко. Но здесь я царь-бог, правлю основными рабочими силами. Надо сенца подвезти, дровишек подбросить, огород вспахать, проборошить — лишний раз не ломаю шапку перед Тютюнниковым. Ты, Никитушка, не дерзи Варьке-то. Сегодня печать колхозная у отца, завтра может к дочке перейти. Всегда старайся поступать предусмотрительно, с оглядкой. Осторожность ни зверю, ни человеку не мешает. С начальством простачка из себя разыгрывай. Мол, ум у меня короткий. Молчание — замочек золотой, не всяк отмычку подберет. Сказанные слова — шура, снятая с мыслей. Не дай ободрать себя.

Давно собирался предостеречь: перестань верховодить уличной ватагой. Убьют кого в драке — главарю отвечать. Не хочу ни сына, ни работника лишаться. Разве вышибить вам дух из комсомольцев и безбожников? За несуществующего Христа вы готовы колями головы расколотить. Глупцы! Наместники бога на земле — большевики. Вот кому служить надо. Служить тонко, с понятием. Нам не политикой — землей надо заниматься. Делать ставку на землю — значит играть беспроигрышно... Дед твой дурак был — за белых головушку сложил. Мы по его милости в подозрительных ходим. Это про нас, Басалаевых, частушку в клубе пели:

Недобитки Колчака
На заметке у ЧК...

Белым был отец мой, а тень оставил черную. Когда работает молотилка — нечего башку в барабан совать. Отец сунул — в полову ушел. Неужто не мог допетрить, что красные их размякинят, развеют белых по белу свету?!

— Отец, нам в школе директор говорил: колхозы — сила необоримая. Я так смекаю — навсегда они...

— Смекалистый больно! — грубо прервал Дементий. — Колхоз — многопружинный капкан. Ослабнет когда-нибудь пружина, заржавеет. Директору школьному что? Не сеет, не пашет. Тычет указкой в глобус, реки, страны показывает. Сегодня он за колхозы ругает. Завтра призовут развивать хуторские хозяйства, единоличные — за них проголосует. Всегда, Никита, смекай по-отцовски. Плохому не научу. Русский мужик в указчиках

никогда не нуждался. Над землей небо владычит. Оно и крестьянином правит. Доброе даст нужный дождь. Злое засухой опалит. Ему карать, ему миловать.

Дорога давно сузилась, пошла петлять по мелколесью. Влажная жухлая листва прилипла к чиркам, смазанным пахучим паровым дегтем. Никита вполслуха внимал отцовским поучениям, всматриваясь в пежины отдаленных опушек, куда убежала их рыжая, резвоногая лайка. Часто сын сомневался в правоте отца, за что-то озлобленного на жизнь, на колхозные порядки. Дементий стал ворчлив, покрикивал на жену, цыкал на сыновей, припечатывал сапог толстозадым свиньям. Раньше Никита брал на веру каждое отцовское слово. Повзрослев, все осторожнее и отчужденнее воспринимал его кликушество, высказываемые обиды, рожденные подозрения. Басалаев-старший жил на положении человека, которому судьба насулила много, подала мизерное счастье, отобрала удачу.

Перегонял точеные кругляшки на счетах, бубнил цифры, осыпая перхоть из склоненной головы на пухлую амбарную книгу. Сыновья и жена Августина старались соблюдать полнейшую тишину. Стукнет нечаянно хозяйка печной дверцей, нападет кашель на простудливого Олега, домашний счетовод бабахнет кулаком по столу: деревянные бублики разбегаются в беспорядке по гнутым, блестящим дужкам. Дементий приподнимает счеты. Крутым наклоном сгоняет гремучую арифметику в правый ряд.

— Не дом — ад крошечный! Цифру с цифрой сбить не дадут. Для кого стараюсь?! Для кого пекусь!? Черти доморощенные!

Августина кивком головы выпроваживает младшего сына на улицу. Связываться с мужем в такую минуту опасно. Молчание — защита надежная, проверенная.

В дороге Никита тоже пользуется материнской тактикой — отмалчивается при грубых замечаниях отца.

Второй час бродят по перелескам, по краям полей — ни рябчиков, ни зайцев. Лайка не подает голоса, бегаёт где-то по своим собачьим тропам. Хозяин кормит ее плохо, она поджара, с вечно голодными, гноющимися глазами. Никита думает о ней верно: найдет зайца, не выгонит его к охотникам. Настигнет и сожрет косога с шерстью неостановимо-жадно и быстро, по-волчьи заглатывая большие куски парного мяса.

Лес поздней осени безнадежно печален и строг. Дожди и ветры сбили не все листья. Испуганное трепетание оставленных листьев особенно бросается в глаза на фоне переплетения оголенных веток. По светло-зеленым стволам осин бегают неяркие солнечные пятна. По стволам ползают полусонные муравьи, усталые от бессрочной работы. Никита замечает их. Отец на такие тонкости не обращает внимания. Он охватывает лес разом. Глаза высматривают только белый цвет зайца среди обилия потускневших красок.

Охотники разошлись в разные стороны. Никита стал углубляться в тайгу. Отец отправился краем опушки, по мягкой отаве. Лайка выбежала на Никиту из-за мохнатой ели. Сначала оторопела от неожиданности, но тут же бесстыже-презрительно уставилась на парня, не забывая, однако, помахивать тугим калачом хвоста. Красивая узкая мордашка хитрой лайки была в кровавых пятнах. Охотник долго не ломал голову — знал, чем полакомилась худобокая Дайна.

— Иди-ка сюда, красавица!

Виновато-почтительно завиляла хвостом и задом. Сделала несколько шагов на длинных ногах и легла брюхом на брусничник.

— Иди-иди, не бойся. Благодарю своего собачьего бога, что не на отца нарвалась: он бы тебе разгладил ребра. Дайна, ко мне! — Никита хлопнул по твердой голяшке чирка.

Виновница поползла на согнутых лапах, поскуливая и запоздало очищая мордочку о мох и примятую траву. Остановилась в двух шагах, уставилась на Никиту большими глазами. Покорный хвост сшибал с брусничника переспелые ягоды.

— И не стыдно?!

«Стыдно, — сказали добрые собачьи глаза. — Но я ничего не могла с собой поделать. Голод оказался сильнее моего песьего долга... Я обнаружила косога в густом осиннике. Прежде чем подумала, что его полагается выгнать к вам на поляну, задушила добычу и дала волю зубам. Заяц попался молодой. Я так и не поняла — были ли у него кости... Конечно, ты можешь сейчас меня избить, как это делает твой гадкий отец... бей, стерплю. На сытое брюхо битье легче переносится...»

Молодой охотник подошел к лайке, приподнял на ладони виновато опущенную мордашку. Дайна вся приготовилась к побоям — плотно прижала уши, почти совсем закрыла глаза, уцепилась лапами в мох. С ноздрей, с сургучного носа успела слизнуть кровь, но бурое околonoсье было еще в сырых красных пятнах. Из левой ноздрины торчали прилипшие заячьи шерстинки. Никита поплевал на ладонь, стер явные улики. Пощупал живот — не сильно тугой. Его с голодухи мог выправить глухарь или ягненок, но не какой-то зазевавшийся в осиннике зайчишка.

Быстро смекнув — выволочки не будет — Дайна вскочила, запрыгала обрадованно. Никита разговаривал с ней:

— Конечно, по чернотропу тебе трудно выслеживать зайцев. Подожди, скоро зима выбелит лес и поля. Каждый следок на снегу отпечатывается. От нас им тогда не уйти. У зайца тепла шуба и сшита надежно, не меняет ее, модник, каждый год. От морозов она все равно не спасает: пробежками греется косою, стежит белые пуховики. По стежкам и сыщем. Правда, Дайна?

— Гав, — согласилась лайка.

Шли по направлению к деревне. Вдалеке, за полосой припольных кустов виднелись шестины со скворечниками, трубы и скосы серых крыш. На поле Дайна усердно раскапывала норы, жадно внюхиваясь в мягкую землю под колкой стерней. Дождаясь отца, Никита, не теряя времени, собирал колоски. Сшитая матерью сумка из домотканины висела на боку. Она служила ягдташем для дичи. Иногда приходилось собирать в нее выкопанные коренья, целебные травы, кедровые шишки-опадыши или уцелевшие от жатвы колоски. Их попадалось мало: птицы, полевые мыши, кроты тоже не зевали. Хлеб в Больших Бродах убирали чисто, с крестьянским усердием и аккуратностью. Ему не давали переспеть на корню. Не передерживали в суслонах. Не позволяли зерну пойти в осып раньше того дня, когда о нем позаботится молотилка. Перевоза хлеб на сноповозках, стелили меж высоких тележных грядок холстины. Снопы укладывались срезами наружу, поэтому полевые дороги, ведущие к овину, не усыпались зерном на радость прожорливой птичьей братии.

Редко оставались на стеблях колосья. В низко опущенных головках будто чувствовалась виноватость за пахаря, бросившего их на произвол судьбы. Никита торопливо срывал пружинящие в ладони колоски, приятно ощущая выпуклость многочисленных зерновых гнезд. Зернинки из них вышелушивались легко. Стоило покатать в ладонях золотой пенальчик, подуть на россыпь, проветять ее — можно засыпать в рот. Маленькая мельница не только перемелет тугие зерна, она приготовит вкусную жидкую кашу. Никита медлит глотать ее, наслаждаясь разбухшей ароматной массой. Вот ее уже полный рот, она начинает пузыриться на губах. Пора. По горлу прокатывается медовый ручеек. Аппетит раздражился. Рука невольно опускается в сумку: извлекаются, обмолачиваются другие колоски...

Дайна завистливо смотрит на человека, ужежевывающего пшеничные зерна. Громко чихает, прочищая забитые землей ноздри.

— Будь здорова, сударыня! — Никита щурит в улыбке отцовские всевидящие глаза.

Два раза спасал парень сударыню от смерти. Отец собирался пристрелить ее на рукавицы-мохнашки, выдвигая веские доводы о лени и бестолковости Дайны.

— Жратву на нее зря переводим... Пока белка на нос не сядет — не учует.

— Молодая сука, подрастет, опыту наберется, — заступался сын и уводил лайку за баню, в дикий конопляник, подальше от глаз грозного отца.

Защищал Никита и многострадальную Пургу. Увидит ее взмыленной от гоньбы, чрезмерно перегруженных саней, телег, не выдержит:

— На тебя бы, тятя, столько взвалить...

— Заткнись! Не позволю отцу перечить!

— Смотри — омослатилась кобыла, — не смущался оскорбленный старшак. — Тебе лень лишний раз за дровами съездить, давай я ходку сделаю.

— По сопатке захотел? Живо получишь!

— У меня тоже два кулака на сдачу есть...

Лет с двенадцати стал твердохарактерный Никита перечить отцу. Получал затрещины, но после каждой смотрел зверенышем на Дементия. Часто занесенная над сыном рука ослабно опускалась, не исполнив задуманного приговора. В такие минуты мать молилась про себя: «Слава те, господи, защита растет».

Младший сынок против куражливого отца не выступал. Видя его преданно-испуганные глаза, Дементий срывал на мальчонке злость:

— На кой хрен мне такой тихоня?! Ну, ткни тятю в рыло, ткни! С Никитки бери пример. Гляди — озверился на меня.

— Подойди, я ткну! — обещал старшак.

Встревала мать:

— Не смей так с отцом разговаривать! Моду взяли лаяться каждый день.

В иные минуты Августина проявляла неожиданную решительность, могла образумить разбуянившегося мужа. Схватив серп, поднимала над раскосмаченной головой. Осветленная короткой храбростью, блажила:

— Подойдешь — башку отсеку!

— Ведьма! — бросал напоследок Дементий, тараша глаза и быстро трезвея.

Никита насобирав полсумки колосков; на краю поля показался отец. Дайна не побежала навстречу. Взглянула и продолжила раскоп норы.

Отец был злой.

— Пуцу на мохнашки лентяйку! За два часа не найти зайца?!

— Они сейчас хитры и осторожны. Днем отлеживаются, прячутся.

— Ты, сынок, молодец. Зря времени не теряешь. На каравай колосьев собрал. Мать лишний раз сусек в покое оставит.

Редкая похвала отца окрыляла парня.

С некоторых пор Басалаев стал держать двустволку не в горнице, на лосиных рогах — в спальне, над прибитой к стене клеенкой. Ружье было заряжено картечью. Ночами мужик часто просыпался, вставал с постели, курил, заглядывал в дегтярную темень окна. Луны и звезд не было. На улице набатно гудел сырой ветер. Чудилось хозяину — кто-то осторожно ходит у завалинки... вот-вот вспыхнет трепетный огонек, взьерошит яростное жаркое пламя.

Рано поутру выходил за ворота, в огород. Не обнаружив следов возле окон, направлялся к стожку сена, очесанного граблями. Присматривался к голой земле, вздыхал.

Долго стояло в тот год тягостное предзимье. По замерзшим комьям грязи громыхали телеги. Кони разбивали копыта. Все ждали мягкого санного пути...

Председатель колхоза добился повторного расследования «дела» кладовщика Запрудина. Якова освободили после ледостава. В заречье по Васюгану успели накатать санями крепкую дорогу. Она побратала два берега до новых весенних водин.

Захара восстановили в комсомоле тихо, без извинений.

10

Через три двора от конторы мужики доделывали колодезный сруб. Рядом лежал окованный с торцов березовый ворот, насаженный на толстый металлический прут. Изогнутый буквой Г для ручки, прут был пока шершав от ржавчины. Скоро его отшлифуют руки и варежки. К этому колодцу потянутся люди с низовской стороны деревни. Да и верховские будут похаживать. Их сруб обветшал. Вода, особенно в субботние, банные дни, вычерпывается быстро. Бадейка захватывает взмученную, как бражная гуща, воду, годную только для поливки огородов.

Место для нового колодца нашел Платон. После третьих, особенно оглашенных, петухов выходил «пытать росу». Давно услышал от кого-то: мудрые колодезники отыскивали водяные жилы по обильной росе. «Роса подземную воду выдаст», - говорил Платон председателю. Ходил по деревне, смотрел «скрозь землю». Росные капли везде лежали литые, крупные. Тяжелели траву, листья лопушника и крапивы. Отыщи, попробуй, по этой прозрачной картечи, где упрятана жила. Где он, коренной росный след? Иногда трава подсказывала отгадку: где вода залегает неглубоко, там травушка гуще, зеленее. Трудно теперь в Больших Бродах, разделенных на огороды, подворья, заставленных банями, хлевушками, амбарами, избами, найти нужное место для колодца. Ходил старик по переулкам, осматривал траву-подзаборницу — не выдавала молчаливая роса подземной тайны.

С вечера опрокидывал в разных местах сковородки, противни, алюминиевые чашки. Утречком по дыханию земли определял степень отпотелости. Для распознавания жилы «по мокру матерьяла» раскладывал даже лоскутья сукна, обрезки овчины. Однажды положил рукавицы, сшитые из собачьей шкуры. Почти новые лохмашки утащили псы или кто-то другой. Деревенский провидец перестал оставлять собачину «для опыту».

Колодец выкопали глубокий. Вода в нем была кристально-чиста и вкусна.

После ареста сына Платон терзался неведением о его судьбе. Ходил по двору, по избе снулый, тяжело, неуклюже переставляя ноги, обутые в глубокие тупоносые калоши. Знал — безвинно страдает Яков. Людская несправедливость угнетала еще сильнее. Прибавляла сердцу горечи, лицу морщин. Сноха Ксения, крутобедрая красивая женщина, с крестьянским молчаливым упорством управлялась по хозяйству, ездила с доярками за Васюган к колхозному стаду. Ее неотступно преследовал надрывный кашель. Выжимал из глаз слезы, наполнял голову тупой непроходящей болью. Даже настой корней болотного аира мало помогал от терзаемого недуга.

Нередко перевозить молоко из-за реки помогал Захар. Перетаскивал с матерью тяжелые фляги. Устанавливал в просторной лодке. После исчезновения Якова мать стала особенно раздражительной. Не переносила криков, дверного стука, скрипа уключин. Поэтому сын смачивал водой выработанные ложбинки на гребях и березовые залосненные колышки, вделанные в дощатые борта просмоленной дедушкой вместительной лодки.

Платон, видя удрученное состояние внука, успокаивал:

— Чует сердце: вернут власти Яшу. Запрудинская порода никогда Отечеству во вред не жила. Мой старший брат отличился в русско-японскую кампанию. И на турок Запрудины ходили. Два Георгиевских креста на наш род досталось. Их за просто так не давали... Ничего, Захарушка, перебудем. Жизнь умеет накрепко узлы завязывать — ты развязывать учись...

И верно: развязала судьба узелок. Вернулся Яков к оставленной земле. Платон заставил старушку-жену отшептать тридцать три молитвы — по возрасту Христа.

В третью декаду июня сорок первого года Платон переехал с доярками за Васюган посмотреть — подтянулись ли травы на сенокосных угодьях, скоро ли можно начинать страду. Прошедшей весной долгое время тешилась, разгуливала по лугам матерая вода. Напотчевали Васюган талые снега, грузная Пельса, многочисленные ручьи. Летела река — неумная, дикосилая, натыкалась сослепу на осокори, давила густое тальниковье. Утиными перышками плыли по хваткой воде коряжины, бревна. Крутило в сильных водоворотах луговой сор, слежалое сено, клочья желтовато-белой пористой пены.

У мельницы, на сухой гриве, припасали мужики мешки с песком, сваи, хворост, топоры и пилы. Залатают одну брешь, кто-то воде приказывает: новую режь. Так и стерегли плотину весь паводок, пропускали взмученную воду в нужном месте. В водополе сорок первого года плотину прорвало. Старики не помнили такой лютой воды.

Ковылял Платон по сырым лугам, печально осматривал хилые травы. Не было в них темно-зеленого сочного налива. Ветер легко клонил жидкие пряди. В деревне Запрудин говорил утвердительно мужикам: — Раньше середины июля покосничать не начнем.

Сильным прострелом обнесло в тот день у старика поясницу. Холодило ноги и грудь. Давно перестала спасать от телесной стужи грелка. Немного выручали полук, парок да березовые веники. Их азартно обколачивал Платон о костлявое тело. Не дожидаясь с обеденной дойки сноху, сам затопил баню.

Часто парил дедушку Захар. Старался не попадать веником по глубокому пулевому шраму на правом плече. — Ты, Захарка, везде лупцуй, — покряхтывая просил старик, — Вся стынь собирается там, где Вильгельмова пуля гнездышко себе свила.

Платон подкладывал в печурку дровишки, когда в баню влетел напуганный внук.

— Деда! Война!!

Хотел старик ругнуться на Захарку, сказать: «чего брешешь!» Но по бледному лицу, растерянному виду, по сказанным словам, от которых пахнуло горькой правдой, на мгновение замер с березовым полешком в руке.

Из печки выпал крупный уголь. Старик машинально взял его в пальцы, медленно бросил в квадратный зев. Он не ощутил ожога, хотя на пальцах вспухли волдыри. Сообщение опалило сердце. Внутренний огонь, пламя обретенной боли были сильнее, чувствительнее для него, чем жжение пальцев. Огонь страшного известия заглушил, поборол, пересилил. Растекся по телу нестерпимым жаром: от него вдруг сделалось тепло даже пояснице и вечно холодным ногам.

— С кем? — сухим хриповатым голосом спросил Платон.

— Германия напала. У конторы народ собрался. Митинг будет.

— Опять Германия!.. Сука неумная... а договор о ненападении что — псу под хвост?!

— Как думаешь, дедушка, долго она продлится? Ведь ты бил немца.

— Трудно сказать. Они для войны ушлые. Ничем не брезговали. Свинцом нас давили, душили газами...

Видишь ли, Захар, русского солдата надо месяца три злить, после его ничем не удержишь. Так полагаю — до зимы кончится заваруха.

После митинга, после знойной парной Платон сделал на нижнем венце бани зарубку топором: первый день войны. Зарубка легла почти посередине осинового бревна. Катились по русской земле неостановимые дни военного невзгодья. Затески топора успели добежать до правого угла, понадвинуться вплотную к левому. Раз начав, Платон не хотел бросать календарь большой беды. На втором венце старик отсчитывал продолжающееся бедствие понедельно. Пришла зима. Занесла снегом дедову лютую арифметику. Теперь он поднимал топор над пятым венцом раз в месяц. Озлобленно, молчаливо всаживал лезвие в сухое звонкое бревно, сплевывал в посеревший у предбанника снег.

Не думал, не гадал старый вояка, что ему придется вести отсчет войны на года.

Июль-сенозарник проходил в перебранке частых громов. Сыпались теплые дожди. Они нужны были грибам, огородам, хлебам и травам.

Давно ли луга за Васюганом зеленели глянцевито-изумрудным пушком перинно-мягкой травы? В спешке жить и расти они, казалось, как по подпоркам, взбирались по струям частых дождей, обвивая их с цепкостью хмеля.

Кони были сыты и резвы. Спасаясь от гнуса, забредали в воду, подолгу смотрели на большебродский яр, на снующих стрижей.

Нахлынула жара. От обильных испарений воздух сделался густым и пахучим. Его напористые струи текли над лугами, озерами, кустами, все млело в земных потоках. Месяц-грозник обошелся без ярких нарымских гроз, убивающих людей и животных, расщепляющих матерые деревья, как нож лучину.

Пурга и бледно-соломенный жеребчик, запряженные в сенокосилку, двигались на редкость споро. Над ними носились неотступные пауты. Сиделись, до крови прожигали кожу. Им помогали проворные полосатые слепни.

Отыскивали на теле уязвимые места, впивались мертвой хваткой. Летающего, сидящего и ползающего гнуса было такое множество, что Захару, ведущему слепую под уздцы, лоснящаяся шкура Пурги представлялась не белой — войлочной. Ушлые кровососы, отточившие жала на беспомощных животных, знали все незащищенные места, где не достанет их верткий, ни секунды не отдыхающий хвост. Они облепляли глаза. Заползали за уши и в ушные раковины. Просекали кожу под лопатками, на животе. Лошадям просто нельзя было ходить медленно, чтобы окончательно не отдаться на волю живых шильев. Быстролетные вампиры жаждали крови и только крови, чтобы потом, в тиши топких болот выплодить миллионы себе подобных существ, передать им отчаянность, беспримерное нахальство и прыть.

Хвост Пурги хлестко охаживал постоянно вздрагивающие бока. До самой репицы он являл собой грозное оружие, но поле обстрела было невеликим. В радиусе оборотов гибкого пропеллера тело оставалось сравнительно чистым от кровососов. Зато на шее, храпе, вымени, на отдаленных от хвоста местах их сидело и ползало много множество.

Сенокосчику Ваське легче: на голове большой клочок мелкаячейной сети, пропитанный дегтем. Кончик носа просовывается в ячейку защитной сетки. Наиболее нахальные комары умудряются и его укусить.

Захар отказался от дегтярной сетки: дурманит голову.

— Чертовы бекасы! — ругается он на комаров и делает остановку.

Пора кормить жеребенка. Серенький с нетерпением лезет к матери, пробегает близко от сенокосилки. Ребята боятся одного: не угодил бы под машинный нож. Искусанный гнусом жеребенок вприскок носится по травам, по ежистой стерне. Нет в его укорном взгляде прежней веселости. Удушливая жара, однообразный стрекот сенокосилки, сжирающие живьем крылатые разбойники доводят его до иступления. Часто ложится на землю, елзит боками, хребтом по травяным срезам, унимая зуд, давя прожорливых тварей. Вскочив, опроретью несется по кошенине, оглашая луг окрепшим ржанием.

Увидав остановленную, распряженную на время Пургу, он с наслаждением опускает голову под гладкий, натужно дышащий живот. Комары и пауты облепили вымя. Прежде чем коснуться губами сосков, Серенький беспощадно давит их храпом, не забывая одновременно чесать его. От ударов по вымени мать испытывает боль, но терпеливо носит ее. Захар достает из сумки бутылку с дегтем, смазывает у лошадей сильно разбеденные гнусом места.

Никита Басалаев косит без остановок. Отец выделил ему крепких каурых жеребцов не без умысла: на них сынок больше свалит травы. Захару совсем не охота уступать гордому парню. Он бросает беспокойные взгляды на Серенького — когда же отлепится от вымени.

И снова монотонно стрекочет сенокосилка. На металлическом седле косилки парни сидят попеременно. В начале сенокосной страды седло было покрыто тонкой пленкой ржавчины. Теперь вышаркалось штанами, стало лосниться. Оно в крупных дырках и напоминает разрезанное голенище серого валенка, из которого выбили кругляшки на пыжи.

Взять в работницы Пургу Захару предложил отец.

— Угробит конюх кобылу. Спаси ее, сынок. В твоих руках лошади умны и послушны. В нас, Запрудиных, что-то от цыган есть.

Киластый Платон тяжело заерзал на табуретке.

— Скажешь тоже, Яков, — от цыган. Мы — русичи. Лошадь всегда считалась у нас членом семьи. Баба заболает, не так жаль берет...

Заводя за ухо седую прядь, Зиновия, бабушка Захара, перебила:

— Возьмет тебя жаль! Ты к охромелой кобыле нашей напроведку по сто раз выходил, меня забывал. Тут брюхо на нос ползет, а он: терпи, раз ремесло такое заимела. Даже припугивал: роди только девку — в лукошко и за окошко... Испугалась — Яшеньку принесла...

Косит Захар, думает о скором обеде. На стане увидит бригадную повариху Варю. Впереди — ровный, наполовину выкошенный луг. Длинные валки обдувает, подсушивает ветер. Он перегоняет кипенно-белые облака: по глянцу склоняющихся трав ходят их неторопливые бледные тени. Постукивает дергач сенокосилки. Скрежещет, подрезает низко траву сверкающее полотно с треугольничками острых ножей. Тот же дремотный шум в ушах. Тот же неослабевающий зной полдня. Те же полчища гнуса.

Лошади стали ходить сбойно, ступать мелкими, не рабочими шагами. Серенький тычется в шею матери, становится поперек ее хода. Захар догадывается: жалеет усталую работницу, хочет разжалобить косарей.

— Глупыш! Мы бы рады остановиться, да Никита обойдет нас по норме.

Давно хочется есть. Периодами острота голода пропадает. Начинает мучать жажда: острая, иссушающая язык, небо, горло. Трудно теперь понять, что же хочется организму в первую очередь — еды или воды. Прокос за прокосом. Валок за валком. Уже не хочется ни есть, ни пить. Зудит от укусов тело. Мокрую рубаху просекают пауты. Гибкие хоботки комаров выискивают в прелой ткани лазейки, уходят в них с головой.

В ящике сенокосилки побрякивают напильники, гаечные ключи, молоток. Лоб и затылок напекло. Захару кажется, что в них отдаются мерные глухие удары... О чем бы веселом подумать? Косец вспоминает рассказ отца. Потешно он застольничал с Платоном. Дед Захара слыл мужиком твердосердечным, с крутым, «откосным» характером. Свинопас был на кулак, жаден на брюхо. Не любил за столом подавать ложкой сигнал к вылавливанию мяса. Первый поддевал деревяшкой кусок говядины или свинины и приговорочку вворачивал: «Бог сцепил — бог расцепит». Рот загодя открыт во всю ширь. Жернова наготове. Видит Яков перемальвающий кусок волокнистой говядины, сам запускает ложку в чугунок. Бродит она по стенкам, по дну. В неуверенной руке ложка трясется, мясо убегает. Платон молча лягает сына под столом, попадает в колено.

Много раз терпел Яша пинки, подзатыльники, удары ложкой по лбу. Жаловался матери: «Чё тятка объедает нас? Работаю не меньше его. Мне надо мясом силы подкреплять. Он натрескается, нам — одонки...» — «Не перечь ему, Яшенька. Отец есть отец. Выше власти дома нет».

Однажды, застольничая, провожал Яков печальным взглядом уплывающий в отцовский рот кусок мяса. Разозленный сын запустил пальцы в шевелюру Платона.

— Бог сцепил — бог расцепит, — повторял он с ехидной отвагой отцовскую приговорочку.

Отчетливо представляет Захар картину схватки. Неслышанная дерзость — поднять на отца руку. Но и Платон хорош! Себе — мясо, другим — гуцу квасную. Говорят, он и сливки спивал втихаря. На хоряка сваливал. Хорош хорека!..

Над косарями, лошадыми проносятся стрекозы. Даже Серенький начинает догадываться о пользе прозрачнокрылых истребителей гнуса.

У балагана на осиновой жердине развеивается флаг, поднятый в начале страды. Басалаев говорил по такому случаю:

— Знаешь, Василий Сергеевич, в этой красной материи какая-то дьявольская сила имеется. Особенно теперь, в военное время. Гляжу на флаг и кровь огнилась... мобилизующая мощь в этом огне... он тебе лишнюю бригаду косарей заменит...

Говорит конюх бойко, громко, точно стену словами конопатит. Давно не верит Тютюнников тяготящимся речам скользкого мужика. Нет согревающего тепла в словах. Они жестки, отпугивающи. Не костяной ли язык их произносит?

Неподалеку от входа-лаза в балаган расположился на березовом чурбаке Платон, отбивает косу. В другой чурбак вбита наковаленка. По ее бойку медленно ползет острое литовки. Уверенный перестук молотка не надоедлив для поварахи Вареньки. Суется у артельного котла, она почти не слышит долбежных ударов. Варя называет старика ласково — Платоша. Ведь Захар — его внук. Отбойщик кос увлечен важной работой. Комары впиваются в шею, лицо — он спокоен, невозмутим. Даже не отгоняет их. Для музыкальности Платоша сдваивает молоточные удары, делая небольшую паузу между слитыми «тук-тук». Молоток-клепец играет на литовке длинную гамму. Пробует отбойщик лезвие подушечкой большого пальца, остается доволен: бритвенно-остра.

В отдалении на окоренной снизу березе тоже что-то кует кукушка. Схожи по наигранности песни птицы и молотка. Варя пробует на вкус суп с домашней лапшой, вслушивается в «ку-ку» и в «тук-тук», произносит:

— Спелись!

Сивенькая бороденка Платоши впроредь. На ее неглубоком дне можно разглядеть красные прыщи. Дед медлителен, важен, услужлив. Аппетит с годами не пропал у него. Зубы «с переулками», но остры и крепки. Глаза зорко-вьедливы. Если бы не проклятая гиря в отвислых штанах. Несколько раз грыжу уменьшала бабка Анфея из староверческого затаежья, но свести «привесок» на нет лекарства и нашептывания не могли.

У Платоши походка кавалериста, долго сидящего в седле. Сутул, косолап. На лице морщины жгутами. Граблевидные руки уверенно держат топор, тесло, литовку, выстригающую в высокой траве чистую проплешину. Про него говорят: чужой век заедает. Старик безобидно отшучивается: «Свой еще не дохрумкал».

Варе старается угодить, помочь. За водой скосолапит к озеру. Картошку начистит. К обеду у него наготове своя ложка. Торчит из-за голенища ее широкий лоб, если боднет им да сцепит «по-божьи» кусман мяса из артельной посуды — расцепки не будет. Председатель заметил как-то:

— Платон, надо замерить кубатуру твоей ложки-единоличницы.

Перед обедом старик выпивает полкружки травяного взвара. На посинелых губах остаются густые капли. Горячая похлебка разлита по глубоким чашкам. Сбитые паром комары падают в них. Кто вычерпывает, кто отдувает «дичь» к бортам. Басалаев лукаво наблюдает за шевелящимся кадыком Платона, заглядывает в рыбацкий котелок, откуда торчат разваренные стебли «пользительных» трав.

— От чего снадобье, Платон?

— От смерти, — буркнул старик и отвернулся от конюха.

Противен старшему Запрудину назойливый мужик. Не хочется разговаривать с доносчиком, пускаться в объяснения. Сыну и внуку приказал: не вздумайте душу выворачивать наизнанку перед Демешкой. Он гадюку за пазухой держит.

Конюх помешивает, студит ложкой суп-лапшевник. Обиден ему дерзкий ответ Платона.

— Хитер, дед! Зелье от смерти отыскал. От такой кумы не спасешься. Ты еще первые лапты в своей Курской губернии добывал, она знала — где настигнет тебя. На вороных от нее не удерешь. Не то, что с твоим довеском.

— Возьми его себе — даром отдам.

— Якову оставь. В сохранности будет.

— Ел бы ты суп, Налог! Лапша расползется.

Смирный Платон редко прибегал к басалаевскому прозвищу. Сегодня сам вынудил. Раз так — получай словесную оплеуху... О смерти заговорил. Я-то верой-правдой земле служил. Повоевал за Рассеюшку, покормил окопных вшей, напoлучал офицерских затрещин... Умереть не боюсь. Сподобит господь — тихо, по христиански уйду... приму смертоньку... давно на стреме, жду ее... отбиваю сегодня косу, думаю: не ей ли, костлявой, готовлю в руки вложить?..

Захару и Никите не терпится вмешаться в спор. Одному поддержать сторону деда, другому — отца. Никитке тоже хочется уесть Платона. Юркие глазенки вонзились в его нарывчатое лицо. На красном лбу испарина. Набрякла, прокатилась капля пота. Сорвалась в чашку, где желтоватыми пистонами разбежались тяжелые капли жира.

Услышав едкое — Налог, Басалаев осекся, опустил голову. Сыну жаль посрамленного отца. Так бы вцепился в скудную бороденку киластого косоправщика. Никита перехватывает осуждающий взгляд Захара, видит зажатую намертво, остановленную возле рта ложку. Не торопится глотать хлѐбово. Вдруг сию минуту потребуется язык для словесного отражения.

С минуту на стане слышен стукоток деревяшек о чашки. Раздается размеренное чавканье, кашляние, сопение. Едят с жорким аппетитом проголодавшихся работников. Такой аппетит рождается в поле, в лугах, вообще — на свежем воздухе. Варю хвалят не потому, что она дочь председателя. Похвала поварихе не льстивая, честная.

Лошадей тянет к дымку.

Председатель предложил сенокосчикам менять коней через три часа работы. Таким способом можно достичь большей производительности. У Басалаевых даже после трехчасового кошения лошади взмылены, измотаны, запалены. Спины, бока в бичевых исхлестах. Под седелками натертости. На удилах с пеной капли крови. За полторы нормы — двойное начисление трудодней. Басалаевские сенокосилки летают по лугам. Такие вальщики травы и металл до пота доведут. Яков пытался усовестить конюха:

— Не на чертях ведь косишь. Куда гонишь так?! Не знал, что и таким способом колхозу можно вредить.

Ухом не повел Басалаев, сплюнул в траву.

Запрудин подбежал, остановил коней.

— Отхлынь! — взвизгнул Дементий, занося руку с бичом. Резко ударил по лошадиной спине. Хотел снова занести руку, плеть зацепилась за дышло.

Обрадованные остановкой кони подняли головы. Из ноздрей шел горячий пар. Одна струя ударялась в тылицу правой руки Якова, колебала светлые шерстинки.

— Уйди, Запрудин! Уйди от греха! — истерично кричал Басалаев.

— Распрягай! — упорствовал кладовщик. Он потянул за сыромятную супонь, стягивающую клещевину хомута, тот желанно раздался в стороны.

Конюху, разгневанному самоуправством Запрудина, казалось, что дергач сенокосилки переместился в него: ходит ходуном в груди, ворошит сердце. Еле сдержался. Еле пережег гнев. Крепко сжал кнутовище, взмахнул рукой, но она, точно надломленная, повисла вдоль бедра.

Дементий соскочил с седла сенокосилки, хотел отпихнуть мужика-заступника. Увидав расслабленный хомут, ослабил и волю.

— Коси сам... твою мать!.. Еще секунда и окропил бы тебя...

— Откуда в тебе столько зла? Если не по чину конюшня — оставь ее. Колхоз оставь. Без тебя его создали. Без тебя поднимем.

— Поднимала нашелся! Раненько тебя органы выпустили. Выкрутился.

— С тобой расчет впереди. За все ответишь: за подлость, за клевету... Тебя опасно на войну брать — за табачную понюшку Родину продашь.

Хорошуха Варенька смотрела на обедающих взором расцветающей юности. Лицо — бутон — налито искрометной улыбкой. Огонь костра и солнца разурмянил пухлые щеки, прямой, немного расширенный у

ноздрей нос с порошинками веселых веснушек. Головки роз на ее тесном ситцевом платье крупные, с лепестками, готовыми вот-вот отпасть. Осыпана она бледно-красными розами с плеч до колен.

Смотрит Василий Сергеевич на хлопотунью дочку, недоумеает: когда успела вымахать! Давно ли тлеет уголек в зыбке, а нынче — смотри ты: разгорелся целый костерок...

Росла Варенька неуросливой, смышленной. С семи лет дралась с мальчишками. Не хватало силенки в руках — пускала в ход зубы, острые коленки. От защиты на удивление скоро переходила в нападение. Вцепится в обидчика сухим осенним репьем, висит на нем и головенкой стучает, ногами лягает, локотками волгузит. На Вареньке даже веснушки обретали колючесть ежа. Мальчишки вскоре стали бояться неспустиху, искать с ней дружбы. Природа допустила просчет, сотворив ее девчонкой.

Не раз дралась она с Захаркой — рискованной парнишкой. Он чаще других обзывал ее «рыжей». Веснушки Варенька не считала бедой: есть так есть. Не сама их налепила. По носу, подбородку с ямочкой, щекам они разбежались резвыми табунками. Наверно, сюда переселялся на дневное время весь Млечный путь. Мальчишки обычно издали кричали ей: «рыжая». Дистанция соблюдалась почтительная. Обзовут и пустятся наутек. В зависимости от настроения девчонка бежала за ними или для острастки показывала кулак. Захарка из всей уличной мальчишны был самым дерзким и нахальным.

Потом между ними установился долгий, прочный мир. Теперь Захарке приходилось драться с большебродской ребятней за честь длинноногой девчонки. Один край растянутой деревни — по направлению бега Васюгана — назывался низовским, другой — верховским. Колхозная контора стояла почти посередине Больших Бродов и служила водоразделом двух воюющих групп. Низовские выходили на уличные бои под предводительством Захара. Верховских сперва булгачил сын начальника лесоучастка Гошка Чеботарев. Приезд семьи Басалаевых внес поправку: выборным главарем вместо Гошки стал Никита. Власть перешла не в миг — после долгой драки на яру.

Затеял драку Никита. Вожак верховских назвал приезжего задавалой из-за начищенных хромовых сапог, в которых паренек вышел на берег покрасоваться. Вокруг дерущихся собрались все верховские. С долговязым сынком начальника лесоучастка один на один мог выходить только Захар. Гошка был старше его на два года, но быстро терял в схватке силу.

Напуганные страшным шумом драчунов, вылетели из гнезд стрижи, оставив недавно оперившихся птенцов. Если они, затаясь, сидели в глубине длинных норок, то двуногие птенцы в драчливом азарте взмахивали руками, как крыльями. Волгузили друг друга нешуточно. Вокруг них кружком стояла толпа, подбадривая заводилу-Гошку. Кулаки дерущихся попадали в скулы, в глазницы, поддых, в бока. По смазливой рожице Никиты размазалась сукровица, глаза блестели застывшими слезами.

Драка шла близко от обрыва. Боясь сорваться, ребята вели близкий, не разбежный бой. Гошка пытался потихоньку удалиться от кромки яра. Никита нарочно подталкивал его к обрезной черте, цепко ухватившись за грудки: трещала сатиновая рубашка. Вдруг он присел, набычил стриженную наголо башку и резким ударом в подбородок чуть не сбил Гошку с ног. Прием был злой, недозволенный, ранее не применяемый большебродскими ребятами. Многие пытались вступить за своего испытанного вожака. Поняв это, Никита окатил их кипятком озверелых глаз, осадил волевым взглядом.

От неожиданного удара «на калган» Гоша прикусил язык. Во рту стало горячо и солко от крови. Хотел крикнуть: «Братва! Лупцуй гада!» Но боевого зова не последовало. Стоял в коротком раздумье: продолжать драку или кончить ее. Напуганный хищным приемом, чувствуя жгучую боль скулы, размышлял: «Вдруг приезжий знает другие выпады... сволочь, к яру тащит... спихнет, пожалуй...» Обида, ненависть, боязнь, стыд перед толпой мальчишек перемешались в голове. Она гудела, кружилась массивным жерновом.

— У нас так не дерутся. — Произнес достойно Гоша, чеканя каждое слово.

— Научу! — ехидно бросил Никита.

— Сапоги хромовые сними, обсерешь ненароком.

— Ты вычистишь.

— Чё-ё?!

И снова закипела драка. Гошка старался плевками угодить на блестящий хром. У пареньков чесались руки. Они прыгали по дерновине яра, судейски выкрикивая:

— Гош, дай, дай ему!..

— Угоди промеж глаз!..

— Долбани коленкой по..., раз он тебя башкой в санки!..

Всех гипнотизировала смелость новичка. Не смелость схватки — насмотрелись всяких побоищ — охватывала жуткая, щемящая оторопь от близости обрыва. Приезжий дрался в двух шагах от него, ни разу не оглянувшись на ломаную кромку земли, что козырьком нависла над стрижиными гнездами, над степенно-медлительным Васюганом...

Красиво смотрелась река с крутовьясья. Отшлифованная за века темноватая сталь текла в зеленых извилах берегов плавно и величаво. Некуда было торопиться Васюгану: в его подчинении находилась вечность. Ревностно следя за гнездами, за многоствольной песчаной крутью, суетились ласточки-береговушки.

С разлома льда до крупных белых мух Васюган был для взрослых и ребят театром и кино, бесплатным приложением к тягучей, одноликой жизни. Выходили на берег семьями, ватагами, поодиночке. Ковыляли серебрябородые старцы, семенили сухилицы бабушки. Для остроты зрения запикивали непослушными пальцами в ноздри измельченный в муку табак. Иную старушку-вековицу так начинали забивать чихи, что она была готова переломиться над своим залосненным посохом. Остановится лицом к яру, вскинет угольник сморщенного подбородка, ухватит протабаченной ноздрей весенний луч и опустит в страдальческом броске голову. Прочихается, поднимет для взмолки ко лбу согнутые пальцы, заметит: «Ноздрит весенний табачок».

Подходит бабушка Серафима к берегу, видит Васюган таким же спокойным и сильным, как в пору своей дальновестной молодости. В какую топь ухнули годики?! Кто подпил ствол жизни, готовый вот-вот рухнуть и сгнить на огороженном погосте?! Не вчера ли плескался над Васюганом разливистый девчоночий смех? Жизнь перемахнула одним броском отведенный путь. Кто приневолил тебя, Серафимушка, сухо и натужно кашлять, прикрывая провалившийся рот от бойкого сквозняка... Проскочили зимы и лета. Изопрела память. Иссушило тело, хоть тетиву натягивай от головы до ног.

Вон собралось стайкой шумливое мальчуганье: пустила жизнь гибкие отводки. Они прикипят к могучему вечному стволу древа жизни. Вовек не нарушится единство непреложного закона...

Невесть сколько длилась бы еще драка, не появиись Варина бабка. Она двигалась медленно и важно, отрывая посох от земли, грозя драчунам. Вмиг рассыпалась ватага.

За Варю приходилось лупить Захарке и низовских и верховских. С годами конторская изба с высоким порогом утратила пограничную значимость. Все мальчишечье воинство перемешалось, перессорилось, нарушая условное географическое деление. Происходили потасовки иного рода. Отпрыски бедняков восставали против «кулацкого отродья». Пионеры дрались с «безгалстучными». Религиозно настроенная молодежь хваталась за колья, шла стеной на комсомольцев.

Мужики в основном выясняли «классовые разногласия» в поле, на покосе или перед своими избами, взбодлив себя несколькими стаканами змий-вина. Пропущенное через змеевик, через ружейные стволы, винцо вливалось в людей яд, разжигало пыл мщения. Не просто мерились силой — перекрещивались колья и взгляды для выяснения жизненной правды. Рвались рубахи. Вышибались рамы и зубы. Трещали ребра в неразберихе текущих дней.

Маленькая Варя верила каждому слову богострастной, боговдохновенной бабушки Серафимы. Девочка не сомневалась: бабуся тайно общается с богом, давно выпросила злачное местечко в раю. Варенька с одинаковым интересом слушала сказки и молитвы, замирая под одеялом от шепелявого шепота старушки.

Однажды, в вербное воскресенье, когда были прочитаны богомолкой все утренние молитвы, подошла внучка, уткнулась головой в подол.

— Бабусенька, ты пришлешь мне из раю гостинца — сладкого пряничка да леденцов вот столенько? — внучка показала неглубокую пригоршню.

— Свят, свят, свят! — зашептала Серафима и пальцы вычертили в воздухе прямой крест.

— При-и-ишле-е-ешь, а-а-а?! — не отступала девочка, теребя за темный складчатый подол.

— Пришлю, Варюшенька, пришлю обязательно... если господь рай ответит.

Серафима жила в постах, в божбе. Чем сильнее сгибала старость, тем несогбеннее была ее выстрадавшая икон вера. Она гладила внучку по кудряшкам, а сухая жилистая рука упорно пригибала голову для поклона большой створчатой иконе под расшитым полотенцем. Ручонка невольно поднялась ко лбу, опустилась к левому предплечью. Старуха ухватила маленькую щепоть в свою, большую, молча поднесла ее снова к лобу внучки и трижды повторила чертеж моленья.

Молитвы запоминались туго, не то что «у лукоморья дуб зеленый...» Благозвучные на слух молитвы отягощали память сумбуром труднопонятных слов. Девочка стала придумывать свои. Вперит глазенки в золоченый нимб, в клинобородое лицо святого, зашепчет страстно:

— Господи! Когда ты отправишь в рай мою любимую бабусеньку? Страсть как гостинца хочется. Я бы не ела в день больше пяти леденцов... Возьми ее скорее, боженка, чего тебе стоит...

Когда Варя исполнилось пятнадцать, Серафима «отлучила» от себя внучку. Не подкладывала ей за столом сладеньких творожных шанег, морковных пирожков, рассыпающихся во рту песочников. Изменились и некоторые молитвы старухи.

— Господи! Вразуми скорее дуру доморощенную. Сбила ее с толку непутевая комсомоль... безбожники они, бескрестники. Почитают верховода — Ленина, на груди его носят, а истинный-то бог в груди человеческой... Варька-Варька, овца заблудшая! Нет пастыря в вашем стаде... Проклинаю!

Старуха стала терять память, заговариваться. Шамкая глубоким беззубым ртом, похожим на воронку, путала годы владычества царей. Утверждала, что жила при Петре I, видела его лично, когда находилась в няньках у помещика Тульской губернии. Если вопрос касался молитв, библейских притчей, божественных заповедей, то память Серафимы была на редкость ясной и четкой. Кого родил Авраам, что случилось на Сионской горе, когда надо оскоромиться, какие заговорные слова произносятся от зубной боли, угара, коликов в животе — все знала наизусть, обо всем судила здраво, с последним жаром остывающего сердца.

Ее засаленные лестовки, обтянутые кожей кирпичины книг, оберегаемые от пыли и копоти иконы, смертное — давно приготовленное одеяние, хранимое в сундуке, источали тяжелый запах тлена, как и сама их владелица. Глядя на нее, думалось: Серафима из чистого упрямства не хочет переселяться в рай, откуда Варенька по детскому наитию ждала пряников и леденцов.

12

Прокатилась по Нарымскому краю крутая волна всеобщей мобилизации. Потом плескались волны поменьше. Колхозникам из Больших Бродов дали возможность поставить на зиму сено. Отлив колхозной силы — по одному-два человека — продолжался вплоть до осени сорок второго года.

Деревня готовилась к горьким проводинам мужиков на фронт.

Захар следовал неотступно от деда.

— Иди, попроси председателя, пусть он за нас с Васькой словечко замолвит. Нам ведь по шестнадцать... воевать пойдем!

Платон, видя удрученное состояние внука, успокаивал:

— Не рвись, соколик, вперед батьки в пекло. Уйдет Яша, кто дома останется? Я скоро вверю душу богу. Мать больная. Сестренки только недавно кадушку переросли. Ты и в избе нужен, и колхозу. Кто-то же должен хлебушко растить, солдатиков кормить. С сытым брюхом и окоп — дворец. Война, Захарушка, не только там, где боец насмерть бьется. Кровью и потом окропляют поле войны. Вот тебя звеньевым собираются поставить. Гордись. Даст твое звено по сто пудов хлебушка с гектара — и нанесешь по фрицу славный удар. Мужики наши будут немца свинцом понужать, а мы мужиков хлебом потчевать. Еще посмотрим, чья сила возьмет...

Постучав в дверь, бочком вошла в избу Фросюшка. Сделала по привычке поясной поклон.

— Подайте ниточку.

Одежонка на просительнице истрепалась. Одна пола длиннорукавного пиджака порвана, концы засаленных лацканов стоят торчком. Косынка, сшитая из многоцветных лоскутков, завязана под подбородком в тугой узел. Под ним виднеется красная сморщенная шея.

Фросюшку усаживают за стол, кормят картофельными оладьями с простоквашей. Женщина не испытывает стеснения, сидит на лавке полноправным членом семьи. Ест неторопливо, с наслаждением, успевая схватывать на лету крошки, оброненные с куска хлеба. Упавшие на стол крошки придавливает недоеденной корочкой. Примагнитив их, отправляет огрызок в крепкозубый рот.

Ксения открывает сундук, роется в невеликом тряпичном добре. Достает старенькую кофтенку

— Надень-ка, Ефросиньюшка... она полушерстяная... тепло еще может беречь.

Вся деревня провожала на берегу Васюгана хмельных от беды и вина первобранцев. К разукрашенной лозунгами и флагами барже прибежала Фросюшка, заголосила воплиницей. Давненько нарымская река не видела такого людского сходища, не слышала столько надрывных причитаний, песен и матерщины. Разудало ревели задышливые гармошки. Наяривали, выплескивали струнную удаль балалайки.

Никто не спешил заходить по крутому трапу на черную баржу. Колхозный председатель ходил как потерянный, мля сапогами прибрежный песок, говорил, словно виновато: «Мужички... пора... Время». У людей в этот час был свой тягучий отсчет минут прощания.

Напрасно чумазый катерок с лесосплава вышвыривал в ясное небо из узкой трубы крендели голубых дымков. Они расползались, таяли. Труба выпекала новые кругляши. Берег кипел от людского водоворота. Низко над головами, над водой носились стремглав шустрые стрижи.

Между первобранцев ходила неприкаянная Фросюшка, одаривая их небольшими, величиной с носовой платок, самотканинками. Брали, машинально засовывали подарочки в карманы, за пазуху. Гошка Чеботарев свернул радужную поделку трубочкой, заткнул бутылку с самогонкой. Исполненная важности, переставшая голосить женщина раздала все свое рукоделье, приняла от кого-то наполненный стаканчик. Не поморщившись выпила, опустив по забывчивости стеклянную посудинку в свою бездонную сумку.

Заводила и драчун Гошка, прищурился правый синеватый глаз, устыдил полоумку:

— Фрось, имей совесть! Ты лучше голову мою в сумку брось, а стаканчик вертай.

Заполучив его, вырвал из бутылки тряпичную пробку, наплескал через край. Шумно выдохнул еще вчерашний перегар. Прежде чем поднести к полным красным губам, проорал на весь честной народ:

— Дай бог не последнюю, но последнюю — не дай бог...

В одной кучке собравшихся слышались глубокие вздохи. В другой с визгливым подвывом плакали. В третьей кто-то густым басом напоминал:

— Дарья, яму перед засыпкой картошки хорошенько просуши.

Наособицу сидели в сторонке на сосновой коряге большебродские староверы. Обменивались изредка друг с другом тихими скупыми словами. У одного раскосого мужика спадала с лица такая роскошная кудель, что, казалось, под эту ухоженную бородищу можно спрятать петуха. Другой, пониже ростом, изредка запуская в свою кудрявую смоль широкую пятерню, чесал подбородок, пропуская волосы сквозь землистые скрюченные пальцы. Самый молодой смуглолицый парень пришивал суровой ниткой пуговицу к поношенной телогрейке. Пришив, снял серую смятую кепку, воткнул иголку сверху, у основания козырька, старательно намотал на нее восьмеркой остаток нитки.

Лесные люди с Пельсы сидели так, что дым мужицких самокруток относил ветерком в сторону. Изрядно захмелевший Гошка Чеботарев подошел к ним с узкогорлой полуведерной бутылкой своегоночки. Расплылся в улыбке, желая согнать угрюмость с бородачей. Их непроницаемые лица оставались насупленными и отчужденными.

— Ну-кась, деды! Опрокиньте по граненому за отплытие и за Христа.

Никто не протянул руки. Августовское солнце, вставшее высоко над яром, сияло в крепкой влаге: дробились, отражались ломкие яркие лучи.

— Эх вы, таежные затворники! — В голосе Гошки слышалась затаенная обида. — За землю ведь пьем свою. Может, последний нынешний денечек берега эти видите... Ничего, раскольнички, война вас расколется не так...

— Иди, бритоус, иди. Гуляй с мирянами.

— Я ведь серп прихватил. Бороды ваши чиркну на барже. Хотя хрен с ними! Пусть растут. Все, глядишь, осколок какой-нибудь в них запутается.

Дымя самокруткой, подошел к виночерпию Никита, протянул миролюбиво руку.

— Гош, прости меня за все... за драки, за удар тот паскудный...

— О чем речь?! Кто старое помянет.. Клюкнешь?

— Я ему клюкну! — Басалаев отдернул сына. — Затыкай пасть бутылки! До Томска в парах винных плавать будешь.

Председатель колхоза, не взятый с первым набором, выделил большебродскому воинству флягу молока, полмешка свежеепеченного хлеба. Наварили баранины, картошки. Ешьте на здоровье, мужички, пока на фронтовой харч не перешли. Припасы подвезли на телеге. Пурга давно улавливала чуткими ноздрями дразнящий хлебный дух. Хотя он перемешался с запахами табака-самосада, потных рубах, браги и свежих огурцов, слепая выделила из всего этого смешения теплые пахучие струйки, идущие от мешка.

Гошка успел перецеловаться с родней, с Захаром, Никитой, Фросюшкой. Облобызал Пургу, напуганную хмельным обхождением. Дав ей понюхать нутро липкого пропахшего самогонкой стаканчика, совал кобыле картофельную шаньгу. У него отобрали бутылку. Еле-еле завели по трапу. Неожиданно протрезвев, встав в воинскую позу, удадо прокричал:

— Гвардия, загрузайсь!

Разом смолкли гармошки, голоса. Оборвалась балалаечная звень. Призывно пылал на крутобокой барже прибитый самоковочными гвоздями лозунг: НА ФРОНТ ЗА ПОБЕДОЙ! Над шкиперской каюткой пошевевливался на слабом ветру отутюженный флаг.

Поредела толпа на берегу. Жались к плачущим матерям встревоженные ребятишки, уткнув в подола черные, русые, каштановые головенки. Возле Августины Басалаевой стояли крепенькие сыновья. Младший Олег вцепился в плечо Никиты, который рассеянно слушал наставления отца:

— Сенокосилку в зиму еще раз смажь... правый полз у саней замени... Чеботаревы литр дегтю должны — взять не забудь...

— Ладно, ладно, — бормотал Никита, не сводя глаз с яркого лозунга на барже. Раскосый старовер, подойдя к воде, закрыл кудлатой головой две лозунговые буквы в слове «победой». Получилось: на фронт за бедой! Вот это новое прочтение мобилизующего призыва сделало Никиту насупленным и рассеянным. Олег боялся, что вслед за отцом поднимется сейчас и старший братец. Он надежно припечатал руку к его тугому плечу.

За все время горьких проводин Августина не выронила из глаз ни слезинки. Остылыми неподвижными пятнышками смотрела на лоб, на губы Дементия, отвечая невпопад на его вопросы. Слезы кипели где-то внутри, не выплескиваясь на затуманенные страданием глаза.

Ксения поправляла на муже воротничок рубашки навывпуск, разглаживала пальцем складку на груди.

— Хватит меня ошипывать... неудобно... — Яков на пол шага отошел от жены.
— Яшенька... милый... Дай хоть последний разочек полюбуюсь на тебя.
— Не хорони, голубушка, рано.
— Не о тебе речь. Чую — не долгая я жилища на земле. Грудя ломит... кашель душеньку вытряс...
— Слышь, Захар? Теперь тебе ответ за мать держать. Ни волосинки с ее головы не срони. Я во сне вас навещать буду... Не горюй, Ксенюшка. Отпугнем как-нибудь смерть. Когда невтерпеж будет душе, ты слезами ей подмогни...

Дочурки уцепились зубами в отцовские штаны у карманов. Он приподнял их за талии, передал Платону.

— Об одном прошу тебя, отец, доживи до моего возвращения... прощайте... не поминайте лихом...

Захар и Васек занесли на буксирницу флягу с молоком, шуршащие в мешке каравай, уложенную в двух ведрах отварную баранину с картошкой. Яков медвежьей хваткой обнял сына, отстранил от себя, стукнул ладошкой по плечу. Пристально посмотрел на Захара, Ваську.

— Колхоз берегите! Без него нам воевать будет плохо.

Убрали трап. Катерок распрявил гибкий трос, сдернул с песчаного закоса просмоленную посудину. Лениво, неохотно потащилась она вниз по Васюгану к обской воде. Вровень с баржей двинулись по берегу матери, жены, сестры и братья отъезжающих защитников. Семенила по песку босоногая ребятя, поддерживая штанишки, почесывая шелушащиеся от цыпок руки и ноги, обсасывая янтарные леденцы.

Шумливый леспромхозовский катерок почти заглушал рыдания и стоны. На истоптанной пристани осталась растерянная Фросюшка, беспрестанно совершая частые поясные поклоны. Вокруг нее проворно сновали собаки, подбирая огрызки пирогов и шанег, обнюхивая яичную скорлупу и конфетные обертки. Шустрая крутохвостая лайка засунула голову в лежащую на песке суму, вытащила оттуда желтоватый кусок сала. Фросюшка не бросилась спасать свое богатство, продолжая с усердным подобострастием исполнять ритуал необычного прощания.

Староверы и на барже держались особняком. Когда поползли берега их оставленной родины, матеробородый зверовщик и смолокур первый благоговейно снял памятную шляпу, сотворил подобающий вере размашистый крест. За ним, словно по команде, сняли головные уборы другие молчуны. Принялись молиться двуперстием далекому урману, затушеванному дымчатой пеленой.

У обрезной черты отвесного яра стоял Платон в окружении дряхлых дедов и старух. Последние годы настолько иссушили богомольную неотступницу от веры Серафиму, что казалось — дотронулся пальцами до ее складчатой пергаментной кожи, и она зашуршит. Дрожание костлявых рук передавалось посоху, отчего слегка заостренный конец углублялся в береговую дернину. Глядя на уплывающую буксирницу, Серафима обескровленными губами шептала напутную молитву.

Выехав по крутому подъему на берег, Захар остановил Пургу. Неподалеку извивалась тропа, заросшая муравой, подорожником и одуванчиками. С высоты птичьего полета баржонка и катерок на чистом плесе реки показались парню игрушечными, сиротливыми. Нельзя уже было различить ни лозунга, ни флага, ни помпы для откачки трюмной воды. Тащились по темной равнине два речных существа. Каждый оборот винта увлекал их к просторам большой земли.

Глядя на васюганскую излучку, председатель колхоза Тютюнников представил сейчас, как по многим рекам и речонкам нарымского вольноземелья тянутся и тянутся к Оби, к районным центрам такие вот деревянные суденышки — баржи, подчалки, паузки, неводники. Обь — сибирский выносливый коренник — имеет много пристяжных помощниц. Они сообща вынесут к крупным поселениям нарымских ратников, которых кликнула встревоженная бедой Москва. Стекаются защитники земли русской по Васюгану, Парабели, Тыму, Кети. Воды Томи, Чульма, Иртыша дружелюбно предоставили гладкие дороги будущим бойцам. Заметно поредели, обессилели трудовые армии. Зато полнятся, крепнут боевые соединения. По стальным и водным путям, по проселочным, лесным, полевым дорогам стекаются к первопрестольной силы добра, чтобы одолеть, изгнать за пределы Отчизны силы нахлынувшего зла. Василий Сергеевич углубился в ненастные мысли. Вновь посмотрев на изломистый плес реки, не увидел ни катера, ни буксирницы, точно Васюган постарался упрятать их в мутной пучине. Только пулеметный треск мотора, прилетающий из-за крутого поворота, напомнил о реальности недавних проводин на войну.

13

Варя помогла бабушке Серафиме сесть на телегу. Старуха достала из отвислого кармана кофты берестяную табакерку. Понюшки делала маленькие, но частые. Ее чиханье походило на громкое всхлипывание. Устья широких ноздрей, просушенные табачной пылью, были желты и покрыты мелкими трещинками.

— Вот, сыночек, и тебя войнуха обобрала, — глухим, горловым голосом произнесла Серафима, когда сын пошел рядом с телегой, положив руку на гладкую березовую грядицу. — Подсекла тебя, Васенька, войнуха. Шибко подсекла. С кем остался? Девки-верещалки да парни-драчуны. Не велика подсоба.

— Не кручинься, мать. Трава зеленая — молочко белое. Смотри — чем не помощники — дочка, Захар, сын, Никита. Беда взрослит быстро. Не успеешь оглянуться — ребятя подтянется. Не оставим земельку без пахаря. В колхозе четырнадцать быков, тридцать шесть лошадей. А женщин, мать, забыла? У них всегда каждая жила земле служила. Пашня хорошо умеет бабу изнурять. Помнишь, за плугом ходила — отцу не уступала?

— Да-а, не давала мерзнуть лемеху. И ты, сыночек, раненько за ручки плужные взялся. Ученическую ручку позже держать научился. Пашу, тебя к плугу приручаю. Тятя твой, царство ему небесное, как вернулся с Манжурии, сердцем мучиться стал. Пашет-пашет, упадет в борозду и рот настежь. Гонит в себя рукой воздух, пока лицо не сбросит опеночный цвет... Последний год отишь его взяла. Обронит за день два-три слова и все. Заберется на русскую печку, долго уснуть не может. Постонать захочет — дохой накрывается. Лягу, бывало, к нему, подстанываю. Говорю: «Лучинушка ты моя, кого стесняешься? Если стон сердце облегчает — стони, не задыхайся под овчиной.»

Василий Сергеевич вспоминает исхудалого перед смертью отца, глубоко лежащие в желтых впадинах, словно омелевшие озеринки, серые глаза. Умер под вечер. Вязал крупноячейную сеть, ойкнул, иглицу выронил из руки... и все... Одна доска узкого соснового гроба имела сучок. По дороге на кладбище он выпал. Никто не заметил когда и где. Пугающее темное дупло долго стояло перед глазами сына.

Пурга остановилась возле председательской избы. Серафима слезла с телеги, осуждающе посмотрела в глаза Вари.

— Достукались, молодые безбожники. Без мужской подсобы остались. Давайте тяните колхоз.

— Потянем, — высказал уверенность Захар. — Иисус колхозу нашему никогда не подсоблял. Ни одного трудодня не выработал.

— Не хулите имя Христа. Ты, Захарка, через безбожие отца родного чуть в тюрьме не оставил.

— Не меня за это винить надо — Басалаева-антихриста.

Сраженная хлестким доводом старуха замолчала, насупилась. Дрожащей рукой полезла в карман полинялой кофты за табакеркой.

Тютюнников собрал молодежь в конторе. Покрытый грубым зеленым сукном председательский стол находился у окна небольшой комнаты. Здесь помещались также столы счетовода и ветеринарного врача. С широкого простенка пытливо и зорко смотрел на всех черноусый Сталин. Портрет, слегка наклоненный от чисто побеленной стены, был в голубой рамке под стеклом. Человек с него словно заглядывал из-за председателя на прожженное в нескольких местах сукно стола, стопку деловых бумаг и отполированные пальцами деревянные бегунки на счетах.

Укорный, вопрошающий взгляд требовал ответа: почему большебродский колхоз дает мало хлеба? Отчего то льны не уродятся, то турнепс? Не однажды звучал в председателе внутренний голос оправдания: «Что поделаешь, товарищ Сталин?! Таков наш метельный нарымский край. Многим рискуют крестьяне, бросая по весне в плужную землю семена. Сами находились в тутошной ссылке, знаете наши погоды. Нарым для земледельца — зона риска. Не заморозки наше сеево побьют, так головня дойма, зерно в труху превратит...»

Даже такие немые диалоги настраивали Тютюнникова по-боевому. Заставляли мобилизовывать волю, силу колхозников. От постоянного недосыпания часто опускались на красные глаза тяжелые веки. Стискивая зубы, Василий Сергеевич научился подавлять зевоту. Чтобы прогнать сонливое состояние, выливал себе на голову ведро ледяной воды.

Парни и девчата сидели на широких некрашенных лавках, расставленных вдоль стен. С лиц еще не сошла печаль от недавнего расставания с уехавшими на фронт. Каждый думал об удвоенной, утроенной нагрузке, которая ляжет теперь тяжелым бременем на плечи оставленных в тылу.

— Что, закоренелые безбожники, досталось вам от Серафимы? — Василий Сергеевич улыбнулся, подсел поближе к молодежи. — Не сердчайте на старушку. Она полям больше поклонов отбила, чем иконам. Кланялась каждому золотопузому снопу, как попу-батюшке. Собирает сноп, опоясывает его — руки мелькают так, что серебряное колечко на пальце заметить нельзя.

Варя оторвала клочок бумаги, скрутила его. Окольцевала безымянный палец, принялась быстро-быстро махать рукой. Белая полоска почти слилась по цвету с телом.

— Шустро работала бабуса, — убедилась внучка на маленьком опыте.

Она представила вместо бумажки на пальце золотое обручальное кольцо. Посмотрела на Захара. Резко проявленная краснота на лице потопила на несколько секунд россыпь веснушек.

— Вот что, друзья, — потеряв воспаленные глаза, продолжал председатель. — Вчера мне позвонили из райкома партии, предупредили, чтобы колхоз готовил к отправке в Красную Армию двенадцать лошадей. — Помолчал, вздохнул глубоко. — Придется распрощаться с большей частью наших лошадиных сил.

— Люди на фронт. Кони на фронт, — буркнул Васёк.

— Не мы одни будем выполнять мобилизационное предписание. Со всех хозяйств берут лошадей. Спасибо, сенокос провели дали... вернее, почти провели. Завтра выезжаем и всем оставшимся миром еще стожка три-четыре поставим. Где сенокосилка не пройдет — литовочки выручат. Захар, готов приказ о зачислении тебя на должность конюха. От обязанностей звеньевского не освобождаю. Всем по две-три лямки тянуть придется. Помогать тебе будет Никита. Отпокосничаем, телеги-навозницы подготовим. Приступим к вывозке удобрений. Навоз, золу, собранный куриный помет вывозить сперва на дальние поля, под озимые. Лошадям — усиленный рацион. Выжимать из них все силенки, но... чрезмерно не переутомлять...

Вымирают нарымские деревни в травокосную страду. Бродят по опустелым улицам небольшими артельками куры в сопровождении всегда настороженных, готовых для драки петухов. Полеживают в тенечке сонные свиньи, уставшие пахать дернину за огородами. Осмелевшие вороны и сороки расхаживают по крылечкам безмолвных изб. Распевают в диких конопляниках синицы и воробьи. Над крышами и переулками в резвом полете носятся ласточки-береговушки, ловят для прокорма мошку, комаров, зазевавшихся стрекоз.

Редко-редко из какой избы донесется болезненный стариковский кашель, крик недавно отнятого от материнской груди ребенка, оставленного на попечение заботливой девчушки.

Тихо в Больших Бродах. Мимо деревни лениво плетется разомлевший Васюган. Иногда он кажется недвижимым, потерявшим проторенную дорожку. Медленно плывущее бревно говорит о постоянном бдении лесной реки.

Все, кто мог держать литовку, врубаться в плотные травостои, покидали балаганы по первозорью. Дед Платон говорил поучительно председателю:

— Роса для косы — лучшая смазка.

Две конные сенокосилки валили траву на ровных, сухих участках. Косари наступали на закороченные мокринки, где гнулась под обильными росами упрямая осока.

На стане оставались старуха Серафима, Фросюшка-Подайте Ниточку да кучка гомонливой ребятни, будущих копновозов. Они ломали для чая смородиновые веточки. Приносили в кружках спелую кислицу.

Лучший в деревне косоправ — Платоша — отбивал, точил косы. На ремне, как ножны, висит кожаный футляр для бруска. Торчит деревянная ручка. Пошуршит мелкозернистым брусочком по лезвию косы — пальцем боязно прикоснуться. По мягкому простотравью такая бритва гонит прокос за прокосом. Попадутся кровохлебка, дягиль, другой какой дудочник — все с хряском ложится под ноги косарю или косарице. От широкого сильного взмаха насаженной на косовище литовки отлетают в сторону тугие клубки вязеля, мышинного горошка. Цепкие плети пробуют ухватиться за сталь, она легко выныривает из зеленого вороха, сшибая на ходу маленькие, еще не раскрытые стручки.

Мальчишки, как и Варя, называют старика ласково Платошей. Запрудинский огород никогда не подвергался их набегам. Не топтали грядки. Не нащупывали под шершавыми плетями огурцы. Не отвинчивали башку спелым подсолнухам. Платоша был добр ко всей деревенской пацанве. Кому подарит складной ножичек, кому пару рыболовных крючков, кого просто погладит по головке, скажет несколько приятных словечек.

Неподалеку от балаганов Платоша учил косить сено большеньких мальчишек. Ставил их перед собой по одному, обхватывал ручонки, лежащие на косовище и ручке косы. Взмах за взмахом. Шаг за шагом. Так в две тяги отрезали от большого покрывала травы узенькую ленточку. Перед концом прокоса старик выпускал ребячьи руки на волю. Увлеченный новой работой, маленький косарь какое-то время не замечал отсутствия своего старого учителя. В пылу, азарте он с теми же бодрими взмахами продолжал вести наступление. Шуршала жесткая стерня под стоптанными чирочками.

Утром, после завтрака, дедушка Платон командовал своей гвардии:

— Шаш-ки на-го-ло!

Гвардия спешно разбирала сделанные для них небольшие косы, вскидывала на плечи.

Фросюшка помогала готовить обеды, чистить песком посуду, стирать рубашки и портянки косарей. В свободные минуты, положив на колени легкую седую голову Серафимы, ловко орудовала частозубым костяным гребешком. Перебирала жидкие прядки волос.

Пыталась она косить да задыхалась на первом прокосе. Жадно хватала воздух мокрым ртом, как выброшенная на берег плотвица.

Пурга отъелась, окрепла. Захар никому бы не смог объяснить, почему он выделил из колхозного табуна спотычливую невзрачную кобылу. Она часто конфузила возницу громкой стрельбой. Орудийный ствол оживал в самые неподходящие моменты. Дрожал выгнутый хвост. Из-под него выкатывались крепкие ядра. Шмякались под гремучие конные грабли. Много кнутобойных ударов, тычков, пинков претерпела Пурга от прежнего конюха за свою невинную животную слабость. Захара она нисколько не смущала. Опасался одного: лишь бы Пурга не салютовала при Варе.

Конные грабли Захара и Варюши кружили и кружили по лугу. Никита Басалаев выкашивал большую гриву за частым осинником, что встал оазисом над тихим травным раздольем...

Недвижным, заколдованным светом объаты нарымские белые ночи. Давно скрылось, отмежевалось от земли разомлевшее солнце. Небо на западе долго напитано огнем, словно оно удерживает солнышко за длинные пряди лучей. Устремленные вверх потоки дрожащего света постепенно слабеют, будто окаменевают за болотно-урманными далями. Вскоре от этих громадных светильников неторопливо отхлынут блеклые волны. Незаметно растекутся, смешаются с синевой небесных просторов.

В матовом хрупком воздухе отчетливее слышны комариные вызвоны. Допоздна у конного двора слышится стукоток молотков. Парни сколачивали высокобортные ящики, устанавливали между тележных грядок. Смазывали колесной мазью втулки в ступицах. Приделывали к новым телегам оглобли.

Платон крутился возле ребят. Проверял — не шатаются ли спицы, не елозят ли на ободах стертые по краям железные шины. Покончив с проверкой колес, старик принялся насаживать на новые черенки острозубые вилы. Работая, ворчал на басалаевского отпрыска:

— Отрядили Захару помощника, нечего сказать...

Помощничек в стороне молча, сосредоточенно равнял по мерке сучкастые доски, отпиливал тонкополотновой лучковой пилой. «На глазок, без угольника, чертенка, пилит и срез ровный, — отметил про себя Платон, ревниво наблюдая за проворными руками парня. — Отец-шельмец, видно, не баловал, всему научил...»

Отпилив доску, Никита прикладывал ее к квадратному стояку будущего ящика под назем. Двумя точными ударами всаживал гвоздь. Ни разу боек молотка не скользнул по шляпке. Ни разу гвоздь не пошел вкривь.

Парень работал играючи. За этой непоказной игрой старый человек увидел молодого хваткого хозяина, приобретшего мужичью сноровку.

Васёк и Захар подтесывали оглобли, сгоняя мелкую пахучую стружку. Платон верил — внук с дружкой не уступят в проворстве и выучке сынку уехавшего на войну Дементия.

Иссякала световая сила белой ночи. Тускнела, зачернялась матовость далей. Земля, пойманная в огромную звездную сеть, настороженно притаилась. Летом не бояться впасть в дрему напитанные полой водой луга за Васюганом, суходолы, угоры, поля, где крепнут от долгих солнечных приливов льны и хлеба. Отоспалась северная земля за тягучую зиму. Отлежалась на взбитых метелями перинах. Теперь спит мало. Птичья вольноголосица быстро возвещает о новой заре и новых заботах дня.

От скотных дворов до дальних полей тянулись груженные телеги. Никита, забрасывая вилами тяжелые пласты навоза, был поглощен мыслями об отце. Не замечал вокруг себя ребят, не обращал внимания на тяжелый запах, исходящий от подернутых парком громоздких куч. Война бесцеремонно вырвала родного человека из семьи... скоро бросит в пекло, в страшный ад, уготованный для людей не в загробном — реальном мире... Сына поразило на берегу хладнокровие отца. Говорил о новом полозе для саней, об отданном в долг дегте и ни слова о предстоящей встрече с врагом. Не было растерянности в лице. Наоборот — удаль, бесшабашность, точно Дементий собирался не на войну — сенокосничать за Васюган. Или он умело скрывал растерянность, печаль, боязнь? Не хотел принародно выдать смятение души, неизбывную тоску по оставленному крепкому личному хозяйству?

Большой навозный жук камешком стукнулся о носок грубого ботинка. Отлетел, упал на землю лапками вверх. Не упадет ли вот так навзничь на поле боя отец, захлестнутый волной осколков? Каждый прожитый после проводов день томительно и больно отзывался в юном сердце, рождая тревогу и запоздалую жалость. Младший брат бросился к отцу на шею, прилип репьем. Никита только наотмашь припечатал ладонь к ладони. «Повторись миг прощания, — размышлял сейчас сын, — я бы тоже обнял отца за шею, прижался к широкой груди».

Терзается Никита, что не повинулся перед отцом за грубость, опрометчивые поступки, допускаемое иногда вранье. И раньше подступали минуты раскаянья. Хотелось выложить все начистоту, облегчить сердце. Откладывал объяснение, ждал удобного случая. Не всегда сносил старший сын отцовские окрики, назидательные наставления. Особенно горькими казались они в присутствии Олега. Перед младшим братом приходилось уже выступать в роли учителя. Поэтому каждый полученный от родителя подзатыльник, каждое крикливое словцо вызывали в Никите бунт и непослушание.

Зеленобрюхий навозный жук шевелился у ботинка, пытаясь встать на мохнатенькие ножки. Чтобы не раздавить жука, Никита отпихнул его в сторону, куда не подъезжали порожние телеги.

И Захар поддевает большие навильники навоза. Даже черенок вил потрескивает. Поодаль загружают ящики председатель и счетовод Гаврилин, крутоплечий, широкоскулый мужик. Концом черенка он успевает чесать щетинистое лицо и клинышек волосатой груди под расстегнутой до последней пуговицы черной гимнастеркой, купленной у фэзэушника на томской барахолке. С мировой войны Гаврилин привез незвонкого серебра в курчавых волосах и гноящуюся под лопаткой рану от свинцовой «клецки». В деревне он почему-то стыдился

называть пулю своим именем. «Клецку» в госпитале извлекли. С нажитым раню серебром не мог совладать ни один хирург.

Молодой Басалаев курит часто, завертывая самокрутку веретеной толщины. Склеивая языком кромку газетного листика, подставляет под папиросу ладонь. Оброненные на нее табачинки спроваживает в кисет. От первых сильных затяжек выпускает из ноздрей густые дымные струи, похожие на моржовые клыки.

Наблюдает Захар за встревоженным парнем, старается заглянуть в светло-карие глаза, но они, как у отца, неуловимы. Неужели он знает тайну о сожженных скирдах пшеницы? А может, и о найденных обрезках? Хотя, вряд ли отец — Захару почему-то верится, что они принадлежали Дементию, — посвятил в свою тайну кого-нибудь из членов семьи.

По дороге оброненные пласты навоза растеребливают свиньи. В них копаются куры. Они не сходят с пути, пока лошадь не издаст над ними фырканье или возчик не хлопнет по земле кнутом. Одна свинья в толстом панцире засохшей грязи развалилась у придорожной лужи. Возле нее сидит на корточках в короткогачных штанишках мальчонок, чешет вислобрюхую животину за ухом. Он давно подхрюкивает сопливым носом, желая вынудить хавронью отблагодарить за усердие ответным похрюкиванием. Но лежебока закрыла томно глаза. Положив на траву продолговатое рыло, готова вот-вот уснуть. Невиданное нахальство злит маленького чесальщика. Он берет в каждую руку по пруту, наводит в дырки на упругом пятаке. С возгласом: «бах! бах!» резко тычет в живую мишень.

Слышится страшный визг. Свинья вскакивает, ошалело летит к дороге, прямо под Пургу. Напуганная кобыла машинально бьет копытом, попадает по толстому заду невесть откуда взявшейся чертихи.

Захар шагал слева от слепой, не видел начала короткого спектакля. Захватил финал: из-под ног лошади выкатился темный ком, который только в кювете стал походить на парнокопытное существо, очумелое от пережитого страха.

Телега не перегружена, но Пурга тащит ее, напрягая все мускулы длинных ног. Переступает по сухой дороге — напружиненная шея в скрипучем хомуте наклоняется, твердеет. Резче проступают на ней шишки от укусов беспощадных оводов. Ослабели у лошади боевые рабочие жилы. Не так прытко бежала по артериям кровь. Гнало ее, наверное, толчками, словно она спотыкалась на кривулинах длинных жилых дорог. Кобылка часто оступалась. И по ровному шагала с предостережением, постоянно думая о подвохе бугров и ям.

Ее подтачивала какая-то болезнь, вызванная простудой, переутомлением, басалаевскими пинками, от которых точно обрывалось что-то внутри.

Под задком телеги покачивается банка-дегтярница. Захар закрывает ее плотной крышкой от старого тусека. Бережет деготь от пыли, высыхания. Смазывает изъеденные гнусом места на Пурге, натирая продегтяренной тряпицей сбрую, старенькие кирзовые сапоги — смазку расходовал с крестьянской бережливостью. Сперва много черных капель ронял в дорожную пыль, на траву. Отец упрекал за такую расточительность: «Сынок, земная ось без скрипа крутится. В деготьке не нуждается». Вспоминал сын поучительные слова, открывая липкую крышку берестяной дегтярницы.

На подъемах возчик подталкивал телегу, помогал Пурге. Она поворачивала голову к другу. Во влажных глазах читалось: извини, быстрее не могу... рада бы, но...

— Тебя-то в Красную Армию не возьмут, — рассуждал вслух Захар. — Председательский Гнедко попадет — это точно. Будет пушки таскать, возить ящики с патронами. В нем втрое силы больше, чем в тебе. Но, голубушка, но! Поле близко.

Отвоеванные у тайги колхозные поля тянулись по правобережью Васюгана. Из всех раскорчевок Захару нравилась та, где он сам пролил пот. Вырывал с отцом и дедом смолевые пни. Помогал пахать тугую неподатливую почву. В поисках влаги корни деревьев заползали глубоко. Их приходилось безжалостно рассекать топорами, выворачивать вагами, выпихивать. Запрудин-младший не думал тогда, что, вырывая одни корни, он пускает другие, незримые, начинающиеся от сердца. Год от года крестьянские корни набирали силу.

Вспашка, боронование, сев. Борьба с сорняками, уборка, молотба. Весь хлебопашеский круг постоянно замыкался. Никто его не мог разорвать, отменить извечное требование кормилицы-земли.

Зеленым дозором стояли у полей пихты, осины, кедры, ели. Сторожили выпавший снег, не позволяли ветрам сдувать его с малогектарных участков, оголять угретье под сугробами озими. Поля сменяли изумрудный цвет на золотой. Лиственные и хвойные дозорные урезонивали шальные осенние ветры, не позволяли им распластывать по земле, пугать, ломать стебли овса и пшеницы.

Захар выкраивал время, приходил к родному полю полнобоковать всходами, порадоваться вместе с зелеными долгожданному дождю. Какими хилыми, беспомощными казались первые остроголовые росточки, увидевшие солнце и синеву. Некоторые еще не сбросили с себя комочки земли, горбились под тяжестью обременительной ноши. Другие, удивленные появлением на свет, в молодцеватой стойке теснились среди зеленых сородичей, стремясь развернуть по солнцу продолговатые тельца.

На борьбу с осотом, другими сорными растениями Захар выводил все звено. Прихватывал сестренку, ребят-младшеклассников. Шли по полю широким фронтом. Вырывали с корнями настырную крепкостебельную рать. Чтобы уберечь руки от острых колючек, надевали матерчатые рукавицы, сшитые матерью.

— Правильно, внук, поступаешь, — похваливал Платон. — Осот да молочай — братцы, не попавшие в святцы. Поганая родня. От них хлебушку один урон.

— Пашню хорошо обработали, откуда сорняки берутся?

— Вольные растения, кочевые. Эти иждивенцы земли род свой издавна ведут. Они отнимают соки у поля, покой у пахаря.

Особенно прельщали Захара созревшие хлеба. Стремительно появлялся откуда-то налетный ветер, словно он до поры до времени отсиживался на макушках припольных деревьев. Теперь, соскочив с них, принимался волтузить широкую грудь поля. Тревожно переговаривались между собой тугие колосья. В ожидании скорой уборки они всматривались уже не в небо, глядели на землю, согнув покорные шейки стеблей. Не в силах справиться с плотной стеной хлебов ветер ухарски пролетал над ними, прогибал кое-где золотую стену, терялся в бесчисленных злаковых лабиринтах.

Не раз ходил Захар смотреть хлеба вместе с отцом. При виде коллективного богатства Яков Платонович осаживал кепку-восьмиклинку на затылок: мятый козырек мешал ему разглядеть веселое братство колосьев, полюбоваться на творение земли и пахарских рук.

— Не зря, сынок, такую благодать, — отец обводил поле широким взглядом, — житом зовут. Это слово со словом жизнь срослось. Одного они крепкого корня. Где доброе жито, там безбедно будет время протекать...

Вспомнились Захару отцовские слова. Он обходил поля своего звена, проверял — не потравил ли скот посевы. Не истоптал ли овсы медведь. В прошлом году укараулили одного на овсянице, повадился валить сулоны, разбрасывать по полю снопы.

Высоко в дымчатом небе парил ястреб-тетеревятник. Ширококрылая птица плавала в теплых потоках воздуха, наслаждаясь свободой, широким обзором болотно-лесных владений. Случалось, серые хищники хватили в деревне зазевавшихся цыплят. Унося в когтях добычу, преследуемые иногда стайкой всполошенных скворцов, под оглашенные крики кур и петухов, стремглав проносились над крышами, скрывались в ближнем лесу.

Этот ястреб, наверное, был сыт. Для охоты он не стал бы уходить в поднебесье. В ленивой отрешенности, почти не шевеля крыльями, закручивала хищная птица широкую бесконечную спираль.

Не терпел Захар этой хитрой осмотрительной птицы. Что-то колдовское усматривалось в медленном кружении тетеревятника, будто он предсказывал беду, насмехался над чьей-то судьбой. При виде ястреба сердце пронзала острая боль. Теснились думы об отце, о больной матери. Зачем только подозревали отца, обвинили во вредительстве? Никогда не мог свет радости, вспыхивающий в его глазах при виде хлебов, обернуться тьмой озлобления, зловещим светом стораемых скирд. Страшная была картина: треск пылающих снопов слышался в Больших Бродах. Ветер пригонял в деревню крупные черные хлопья. Они бураном беды кружились над дворами, скворечниками, оседали на дорогах и тротуарах.

Тяжелые мысли клонят голову. Тетеревятник парит вровень с солнцем, но Захар забывает о нем...

Чем сильнее обессилевала Пурга, тем жалостнее относился к ней Запрудин-младший. Временами лошадь совсем теряла аппетит. С тупым равнодушием смотрела на овес, насыпанный в корытце. Конюх посыпал корм мелкой солью, примешивал к овсу раскрошенный жмых.

Колхозный ветеринар разводил руками, не в силах помочь слепой. Он подносил свои плохо видящие глаза почти вплотную к лошадиным губам, пристально рассматривал еще крепкие зубы. Желтыми от йода пальцами ощупывал брюхо напротив селезенки, куда часто прежний конюх Басалаев тыкал кнутовищем, всаживал носок сапога.

— Что с ней? — пытал Захар ветеринара.

— Полагаю, нутро отбито. Может, падала неудачно или на жердину натыкалась. Корми ее лучше. Работой не изнурай. Даст бог — оклемается.

Первое военное лето стояло одуряюще-знойным, с оглушительными залпами громов. Над урманами, Васюганом небо вышвыривало огромные корни молний, готовых вот-вот вцепиться в испуганную землю. После ливневых потоков устанавливалась удушливая жарынь. Кончалось безветрие, из боров прилетали запахи разомлевшей хвои, мхов и пьянишника.

Еще в начале июня на скот неотразимой силой навалился гнус. На дойке женщины разводили дымокуры. Коровы купались в струях едкого дыма. Комары начинали неистовствовать с вечера. Поэтому ближе к закату вся деревня тонула в голубых дымчатых волнах.

Ксения сперва выкуривала комарье из избы. Старая кастрюлька, привязанная за ручки проволокой, как большое кадило, качалась возле бедра. Шипели в посудине тлеющие гнилушки. От них шла тугая струя забористого дыма. Он выжимал слезы, сушил гортань, вызывал почти непрерывный глухой кашель. Потом

дымокур устанавливался возле дверного проема. На гнилушки бросали сырой травы, чтобы они не вспыхнули, не спылали ненужным огнем.

Животных замучили оводы. Поедом ели они овец, коров и лошадей, успевая откладывать в язвинки множество яиц. Подведя внука к какой-нибудь лошади, покрытой гнойными желваками, дед азартно потирал сухокожие руки:

— Личинки думают нас с тобой обхитрить. Ишь, угрелись под шерстью, спеют там. Мы их сей момент в керосинчике искупаем. Подставляй-ка посудину.

Захар держал около лошадиного бока старое ведро, на его дне поблескивал керосин. Дедушка принимался медленно, но сильно сдавливать опухольное место: из желвака, как из вулканчика, лезли копошащиеся червячки.

— Вот вам, голубчики, и купель готова! — с веселым распевом говорил Платон, спроваживая щепочкой в ведро белых паразитов.

Видя, как они извиваются в предсмертных корчах, заливался блеющим смешком. Опорожнив нарыв, смазывал логово изгнанных личинок раствором карболки.

За какое бы дело не принимался Платон, он выполнял его неторопливо, основательно и увлеченно. Плетет корзину, вытесывает топорщице, шьет уздечку, подшивает валенки — руки выполняют раз и навсегда заученный урок. В такие минуты внук подолгу не отводит глаз от инструмента, каким пользуется дедушка, от пальцев, не делающих пустых движений. Его работа походила на легкое, правильное дыхание. Захару хотелось быстрее постичь тайну рук мастера, все выполнять так же ловко, без сбоев и переделок. Старание, крестьянская нелегкая выучка, обретенные навыки прожитых лет слились в Платоне Запрудине в крепкий сплав. Одна только смерть была всеильна растопить этот слиток природного ума, мужицкой понятливости, бесстрашия к любому делу. Но он не собирался так скоро отбывать в безмолвный мир земли. Память, правда, стала сдавать. Сердце стучало неровно, как маятник криво повешенных ходиков. Подойдет к тускловатому, испятнанному мухами зеркалу, глянет, покачает головой. Со вздохом закроет глаза: уберет со стекла ненужного двойника. Чего долго глядеть на сморщенное лицо, острые скулы, глубокие провалы глазниц? Мелкие морщины ручейками впадают в крупные. Не заметил, когда время сумело прорыть кривые борозденки. По ним мало сбегало слез радости. Зато других, прошенных и непрошенных пролилось вдосталь.

Захар конюшил. Дед навещал его в конюшне. Приходил обычно перед отправкой лошадей на работы. Платон не согласился с ветеринаром.

— Не нуто у Пурги отбито, повинны оводы, разевшие ее тело. Старику часа три пришлось выдавливать коварных личинок с крупа, боков и ног кобылы. С шеи и плеч Пурга сама слизывает их, прокусывая изъеденные гнусом вздутя.

Никита Басалаев конопатил щели в конюшне, менял гнилые доски перегородок. Кони, находящиеся в деннике, недружелюбно косились на парня, когда он проходил мимо них. Некоторые норовили схватить зубами за плечо, лягнуть. Никита с опаской ходил возле лошадей, по привычке приглядываясь к длинным светлым хвостам. Никто больше сына конюха не вырывал из лошадиных хвостов волосинок на силки. Сплетенными, почти бесцветными силками Никита ловил на пригревных отмельных местах Васюгана вертких щурят. Петельку привязывал к концу удилища. Погружал в воду, медленно вел к щучьей голове, стремясь не задеть, не потревожить рыбу прикосновением удавки. Щучка оказывалась в волосяном кольце, рыбак резко дергал удилище. Трепещущая добыча повисала в воздухе. Давно отошла пора подобных забав, не подкрадывался больше паренек к наострившим уши коням, но они по-прежнему зорко и настороженно следили за ним.

Парни говорили друг с другом мало. Обменивались сухими, отрывистыми фразами. Никита не бездельничал. Заменял в деннике сломанные жерди. Выдолбил теслом новую водопойную колоду. Чистил лошадей. Срезал широкой стамеской трещиноватые края с копыт.

14

Любил Захар ходить с деревенскими ребятами в ночное. Наблюдал, лежа у костра: в загадочном мире шла тихая жизнь звезд. Изредка они теряли неподвижность, косо пролетали яркими блестками и гасли в неведомых высотах. Примагничивал взгляд лихой остроконечный месяц. Он тоже бодрствовал, веселил ребят, видел спутанных, мерно жующих лошадей, веселый огонь костра и темные пятна кустов, расселенных по ровному приполюю.

Вылетели на привычную охоту совы и летучие мыши: за полосой освещенной травы они пронеслись низко над головой, пугая хлопаньем упругих изогнутых крыльев.

Ночь налита темнотой. Думается о рассвете и пробуждении земли. Давно съедены ребятами краюшки хлеба, печеная картошка и огурцы. Необоримо тянет в сон. Кто-то успел «испечь калачик» — свернулся на разостланном потнике. Сопит, поддразнивает засыпающий огонь.

От своей краюшки Захар оставил румяную корочку. Она в пупырышках, трещинках. Мать выпекает хлеба на некрутом жару. Как бы она не прикрывала зев русской печки заслонкой — оттуда сочится сытный дух, выжимающий слюнки. Такой дух остается в каждой корочке и крошке, в тряпице, где хранилась оставленная для ночного каравайная долька.

Захар отошел от костра. В сплошной темноте глаза открылись шире. Чуть-чуть светлелись неровные прогалины между рослого раakitника. За кустарниками, за полосой деревьев — чистины полей. Тельце месяца упруго, тонкобоко. Свету от его полированной поверхности мало. Захар лихо свистнул. В кустах шарахнулась какая-то птица. От костра послышался ответный свист. В стороне припольной тропинки раздалось голосистое ржание: там паслись кони.

У каждого мальчишки имелись среди лошадей любимчики. Им перепадала разная крестьянская снедь: кусочек лепешки, огрызок брюквы и жмыха, испеченная картошка. Ради экономии картошку пекли в дырявом ведре или старой кастрюле: меньше обугливалась, кожура снималась тонкая, оставляя всю мякоть.

На свист отозвалась Пурга. Она знала: после такого условного сигнала последует какой-нибудь вкусный гостинец. Маленький, на один жевок, но он будет подан из доброй руки человека, которого зовут именем, созвучным со словом сахар. Однажды Захарка преподнес на ладони белый сладкий комочек. Схрумкала, долго ощущая во рту приятный холодок. Попадались изредка такие же сладкие травинки, стебельки цветов. Как-то Пурга с головкой клевера съела зазевавшуюся пчелу. Она успела оставить в нижней губе жало, отдав лошади за причиненную боль капельку меда.

Лошади разбрелись по кустам, которые виднелись черными отрепьями на фоне вывезденных небес. Слышался легкий скок — резвились неугомонные жеребята, радуясь ночной вольнице, короткой безработной поре матерей.

Осмелев, пронеслись над парнем настырные летучие мыши. Обдавали лицо и шею легким ветром трепетных крыльев. Не раз приходилось видеть этих летающих чертенят вблизи. Ребята ловили их белыми нательным рубашками, натянув сачками на длинные палки. Разглядывали у костра уродливое чудовище, тыкали прутьями в тугие перепонки на сгибе сильных крыльев. Маленькие залохмаченные глазки, ослепленные костерным светом, были плотно закрыты. Еще страшнее и загадочнее казалось от этого мышастоголового безглазое существо.

Костер за кустами исчез. Плотнее надвинулась прохладная тьма. В густых травах зарождалась роса. Между пальцев ног набились волглые стебли. Захар не вырывал пучки, с ними мягче было шагать по неровностям остуженной земли.

Туповерхий куполнеба, золотая картинка месяца, мертвецки спящая неподалеку деревня, недремная жизнь звезд — все наполняло сердце юноши загадочной новизной впечатлений. Настороженной земле немного осталось мыкаться без утра, солнца и гомона птиц.

Травы пошли смятые, притоптанные, с колючей стерней. Кони были где-то близко. Пурга ждала друга с высоко поднятой головой, поводя тугими, чуткими ноздрями. Она давно слышала мягкий шорох травы со стороны костра, где находилась босоногая ватага. Близость в ночи веселых человечков, долетаемый запах дымка приободряли Пургу.

Лошади при пастьбе передвигались легким поскоком, заноса над травой одновременно обе передние ноги. Опытная Пурга редко прибегала к такому способу передвижения. Она не лезла в кочкарник — резиново-упругий, с хлюпающей тягучей жижей у основания. Осторожно обходила водянистые мочижинки, где сильно вязнут копыта и вечно отсиживается прыгучая лягушня. Ей хватало травы на суходолах.

Подойдя к лошади, Захар погладил по теплomu, мягкому храпу. В локоть доверчиво ткнулся мордашкой жеребенок. Часть корочки досталась и ему. Паренек положил одну руку на шею жеребенку, другую на шею его матери. Постояли так молчаливо в звездной тишине ночи, которую скоро начнет раздвигать матерыми руками всеохватный рассвет. В отдалении похрустывали сочно кони. Табун держался кучно, утром не будет потеряно время на лишние поиски.

Тяжело притопал игрневый мерин. Грузный жеребец-выкладень постоял отчужденно, остервенело стал охаживать себя размочаленным хвостом. Два года назад Захар случайно подсмотрел в щель конюшни, как этого рыже-светлого жеребчика повалили, связали по ногам мужики. Блеснул острый нож, жеребец судорожно взбрыкнул ногами, издал хриплый томительный крик, болезненно обмяк и больше не шевелился. В табуне он яро лънул к кобылам, ревниво охаживал сильным крупом жеребцов, лягался, бил копытами землю. К нему не проявляли ни особых симпатий, ни особой вражды. Игренька стал дерзок с соперниками. Чаше собирал в гармошку плотные волосатые губы, грозя крепко состыкованными зеленоватыми зубами. Никогда не угасал в его влажных глазах тяжелый мстительный взгляд. Он не хотел быть покорным в оглоблях, со скрежетом грыз

удила. Пузырилась, срывалась бледно-багровая пена. Он часто сражался по требовательному зову плоти на вольных лошадиных ристалищах за своих любимых, теперь отшатнувшихся подруг.

В ночи не хотелось говорить громко. Теплым шепотом Захар поговорил с Пургой, осерчалым меринком. Хрустко зевнул и отправился к костру.

По низинам слоисто ложились тусклые туманы. Крупнела, становилась ядреной роса под ногами. От обильной мокроты на склоненных травах давно намокли, отяжелели раструбы холщовых штанов. Ниже колен они были укреплены сложенными вдвое сатиновыми заплатками. По правому бедру почти до сгиба ноги тянулся просторный оттопыренный карман из старого телогреечного материала. Штанины сильно махрились, Захар не обрывал толстые нитки, расчетливо связывал узелками по две-три вместе, упрочняя срезы неровных гач. Пуговицы с такой обмундировки почему-то быстренько ссыпались вместе с волокнистым мясом угла материала. В образованную брешь пришлось просунуть сыромятный ремешок, перехватить его крепким узлом надвое, сцепить с первым, предназначенным для ремня хлястиком. Вскоре сыромятный конец переместился ко второй матерчатой дужке.

Рано стал обучать отец крестьянской науке. В деревне так: успеешь чуть перерасти тележную грядицу и начинается постижение ремесла земли. Когда ремень задницу попотчует, когда матушка припечатает голиком — все идет в зачет ребячьей науки. Захарка не проказником рос. Слово из тятькиных уст наполовину вылетит — сынишка умком поймет, что подать надо, куда, за чем сбегать. Услужливо рубанок поднесет, шило, топор. Почешет отцу спину, не доверяя это дело дверному косяку. Иногда, охмеленный минутной злостью, Яков осалит грузной ладонью по щуплой спине. Тут же схватит головенку грабастыми пальцами, поцелует в русое темечко, скажет сиплым, виноватым голосом: «Прости, сынка, не ко времени подвернулся».

Шагает к костру, вспоминает отца, теплую постель на широкой припечной лавке. Выползают из-за смиренных раки освинцованные туманы. Маскируют знакомое приречье. Идя к Пурге, Захар видел крутодонную лодочку месяца над левым малотравным холмом. Теперь она над хвойной, высоко вздыбленной грядой. За нее затекает обильная загустелая синь с пузырьками налипших звезд.

Костер вдалеке кажется дотлевающим углем. Захар сворачивает к кустам. Прежде чем зайти за сушняком в их темные коридоры, шумно хлопает палкой возле ног: здесь не раз ловили пепельных и черных гадюк. Шарахнув головой об пеня, обломав игольно-острые, наискось поставленные зубы, чулком снимали с гадюк шкурки, натягивали на брючные ремни. Однажды Васёк напялил угольную шкурку змеи на указку, положил на учительский стол, прикрыв газетой. Урок географии начался со страшного визга долговязой учительки. Васёк многое сходило с рук. Не будь отец председателем колхоза, он давно бы сказал школьной парте: «Прощай».

Ломает Захар сушняк, думает о вечном спорщике и задире Васёке Тютюнникове. Он большеротый, губастый, слова выпускает с присвистом, словно через свистульку пропускает. На большой голове прилепились раскрытыми пельменями бледные уши. Ученики, караемые словом за провинности, наливались краснотой с ушей. У Васёки эти аппараты никогда не краснели, зато густо сизел бугристый угреватый нос. Васёк так далеко запускал в ноздрю указательный палец с острым грязным ногтем, что казалось, вот-вот завинтит его весь и выткнет ненароком карий глаз. Его хитрое скуластое лицо редко не было опечатано крупными синяками. Особенно знаки воинского отличия шли к глазным впадинам.

Устрашающая готовность в любую минуту драться, забиячно-отчаянная походочка с перекатом костлявых разбойных плеч, умиряющий кобровый взгляд у многих отбивал охотку разрешать с Васёкой спор покулачно. Этому сорвиголове взбрела в голову выдумка, которую он окрестил — спор на змею. От проигравшего председательский сынок вприпрыжку отмерял пятнадцать шагов, держа за хвост извивающуюся гадюку. Целился долго и тщательно, норовя швырнуть змеину в голову. Мальчишки пробовали откупиться рыболовными крючками, складниками, резиной на рогатку. Ничто не прельщало победителя. Наслаждаясь предстоящей расправой, испытывая терпение и выдержку своей жертвы на выстойке, Васёк с минуту переминался с ноги на ногу. С ухмылкой ловил канючьи слова об уступке, о замене наказания. Ослабив окончательно волю просителя, измучив его, Васёк, важный от неумолимости и полученной власти, кричал отрывисто и сухо: «Жмурься — швыряю!» и отправлял гадюку в короткое воздушное путешествие к живой мишени. По условиям спора лицо нельзя было прикрывать руками. Два секунданта следили, чтобы расстреливаемый змеей не пятился назад, не отклонялся туловищем в стороны, а стоял истуканно, как костяной крепьш на кону перед ударом крупной бабки-биты.

Захарка тоже участвовал в необычной дуэли, нарочно делая недолет или перелет змеи. Васёк не щадил никого. Раз крупная гадюка шмякнулась Захарке туда, где грудь завершается ямкой-луночкой. Мальчик ощутил холодное чешуйчатое тело. Сжатый страхом, он все же не шевельнулся, пока не менее напуганная подколотная тварь не юркнула с плеча на землю.

У костра кроме Варюши все спали в самых затейливых позах. Ближе к кромке огня лежал окропленный пеплом Васёка, угнездив на кулаке прыщеватое лицо. Когда охапка сушняка была брошена на землю, он открыл глаза и, пробурчав: «Где тебя черти носят?!», тотчас стал затянжно всхрапывать.

— Кони на посевы не ушли?

— Пасутся у лога, — ответил девушке Захар и принялся подкармливать огонь сухопутником. Расслабленное пламя зашевелилось, ожило. Взметнулись бело-оранжевые ленты.

— Не спишь чего? — парень протянул к огню мокрые ноги. От штангин поплыл легкий парок.

— Тебя ждала, — с беспокойством, по-взрослому ответила Варя, натягивая ситцевое платьишко на круглые колени.

Польщенный вниманием Захар долго молчал, выжимая из гач росу. Ему не верилось, что Васька спит, не подслушивает их.

Скоро утро уходящего лета начнет привычный отлов звезд. Сначала справится со всей мелюзгой. Подберется и к крупным, захватывая их крепкой серебристой снастью. Забьется плотвицей на отмели растерянный месяц. Останется, горемычный, один на синем раздолье, пока нетерпеливое всполошное солнце не окатит его с ног до головы бесшумным прибором.

Что-то недовольно бурча спросонья, стал отползать от жара Варин брат.

— Поджаришь героя.

— Ого! Он в огне не сгорит, в воде не утонет.

— Сплюнь три раза.

Васькины ноги от икр до ступней точно из обожженной глины. На левой пятке глубокий порез с трещинами по краям. Кожа в оплетке красных прожилок, с темными пятнами от недавно сведенных чирьев. Ступни зелено-черные от земли, от сока трав, от застрявших колючек и костерной золы. Наверно, только напильником можно снять надкожный налет с толстых подошв Вариного брата.

15

Не шел сегодня к Захару сон. Его не подпускало, отпугивало дробным стуком бодрствующее сердце. Не хотелось торопить ночь — настороженную, всеохватную, грузную. Отдалить бы неотвратимое утро. Оно скоро разобьет вдребезги звездно-небесную лепку, поглотит легковесные туманы. Откроет плесы дремотного Васюгана. Снимет липкую темень с тесовых крыш деревни. Уже размеренно и громко, как закливание, возвестил о подступе нового утра чей-то бойкоголосый петух.

Выкатив прутом налитый краснотой уголь, Варя быстро-быстро принялась перебрасывать его с ладони на ладонь, приоткрыв пунцовые валочки губ.

— Помнишь?

Смотрел Захар на бойкий пляшущий огонек, на мелькающие пальцы, на розовое улыбочивое лицо и вспоминал мельницу, костер и горячую игру, придуманную выдумщицей Варей. Играли иногда группой. Уронишь на землю напитанный огнем уголь — выбываешь из игры. Состязание длилось не больше минуты. Ойкали, визжали девчонки, свистели, несли словесную тарабарщину ребята, припекая до волдырей кожу, кантуя острогранные раскаленные угли. Часто Варя и Захар завершали игру вместе, не уступая друг другу. Они студили костерные угольки, а в их горячих сердцах начинали разгораться другие, невидимые, но жгучие. От них лучисто растекался набирающий силу свет...

Откуда-то из недр ночи, что составляла сейчас с землей одно целое, донесся пробный голос певчей птицы. На востоке по кромке небес ленивым наплывом вкрапчивался неясный дрожащий свет. Там, где за крутобережьем пешим ходом передвигался Васюган, громоздились туманы, похожие на оброненные небесной высью облака.

Оттуда, где пасся табун, донеслось возбужденно-игривое ржание. Отражаясь от волглых кустов, окатанных хрусталин росы, прокатилось короткое эхо. Захар спиной улавливал холодное течение воздуха. Его выдыхали ближние болота, покрытые лилипутскими разнопородистыми деревцами, упругими кочками и резун-травой. Медленно, желанно осветлялась земля. Голосистее становились птичьи хоры. Чутко прислушивался Захар к малейшим звукам, рожденным по повелению наступающего рассвета. Его сладко тревожила близость Вари. Согривала затаенная невысказанность слов, беглая беседа взглядами, яркая вспышка улыбок. Немало задавали друг другу вопросов их зоркие глаза. Каждый сам по себе искал ответы на них. Найдя, упрятывал подальше, понадежнее — для грядущих дней. Это походило на увлекательную игру в жмурки. Никто из них не знал, когда спадет с глаз невидимая пелена.

— Пора будить засонь! — Варя принялась чесать прутиком пятку брата.

Зашевелилась неизносимая Васькина ступня с растопыренными землистыми пальцами.

— Лошадиный пастух, коней цыгане украли! — не унималась сестра, теребя спящего за суконную штанину. Он ошалело вскочил с войлочного потника, уставился на догорающий костер.

— Где цыгане?! Какие цыгане?!

— Такие... кучерявенькие... — Варюша рассмеялась раскатисто, обнажая белые тесно сидящие зубы. Васёк отошел к густой шелковистой траве, склоненной под тяжестью грузной росы. Стал на колени, уткнулся лицом в мокрую зелень, быстро завертел кудлатой головой. Горячая роса забивалась в ноздри, омывала глаза и щеки, попадала в губастый полукруглый рот.

После такого омовения вытер лицо подолом косоворотки, принялся бесцеремонно распахивать ногой спящих.

Сплюсненными серыми мячиками выскакивали из травы лягушки, утопали в росной зелени. Налетел ветерок, причесал негустую гриву огня. Всколыхнул травы, окрепнув, принялся кудлатить ближние кусты. Северная ночь сдалась пришедшему свету безоговорочно. Его тихое всепроникающее нашествие преобразило все. Свету прибавляли туманы: лежали серебристыми холмиками — плотные, недвижные, в первозданной красе. Вскоре они потекут, заструятся. Их начнет помаленьку гасить солнце.

Гремя уздечками, ребята направились к табуну. Захар шагал рядом с Васькой, любуясь убранными росой широкоствельными травами. Даже упрямые головушки конского щавеля клонились под тяжестью зеркальных капель. Под ногами хрустело. Дружкам представлялось, что они перебрывают вброд широкую зеленодонную речку.

— Почему без Варьки к табуно ходил? — с лукавинкой выпытывал Васёк, расстегивая верхнюю пуговицу косоворотки.

— Так, — послышался неохотный ответ.

— Эх ты, маятник! Раз есть так, надо чтобы и тик было. Понял?!

Многозначительно посмотрел на Захара, ловко и сильно сплюнул сквозь проредь зубов.

— Ты мне сестрицу... не забижай... клыки выкрошу...

Шли поодаль ото всех. Их разговора не было слышно.

— Перетяну сейчас тебя уздой. Поостерегись советы такие давать.

— Ладно-ладно... я же шутя-любя-нарочно...

Над логом, над Васюганом туманные гряды кучнее и выше. Ракитники обрезаны наполовину слоистой белью. Висят в воздухе неприкаянные макушки. Оттуда слышится разливиная щебетня. Где-то за этим безмолвием туманов бродят кони. С рассветом они торопливее жуют траву. Знают — скоро снимут путы, втиснут в зубы ненавистные удила. Будут снова упираться в жестких хомутах, таскать гремучие водовозки, телеги с мешками отрубей, тесом, глиной, с флягами молока, доставленными из-за реки, где на луговой волюшке пасется колхозное стадо.

Подшли к месту, где Захар видел ночью Пургу с жеребенком, игреневого мерина. Лошадей здесь не оказалось. Похрустывала под ногами колкая, подстриженная табуном стерня, запятнанная кучками лошадиного помета. Васька пошел по направлению полей. По следам, по сбитой росе определил — табун перекочевал к посевам.

— Пурга увела, — заметил Васек, оперяя свою догадку острым словом. — Прикормил слепую хлебными корками, она и радешенька. Вытворяет, что вздумается.

— Не она, — заступился парень. — Это чалая, Ступка.

— Ступка! Нас отец истолчет, если кони хлеб вытопчут.

Брели в липком тумане, он приглушал отрывистые слова. Где-то над белыми пуховыми взлобками замороженно-радостно праздновал наступление дня неумолчный бекас — шустрый «небесный барашек». Бееээ, бееээ — доносилось с неба почти с равными промежутками. В голосе веселой птички Ваське послышалась насмешка. Он обозвал ее мелкокрылым чертом. А летающий барашек, словно нарочно блял и блял над бредущей ватагой, над покатою долиной, где в арочном выгибе под сладким гнетом росы стояли плотные травы.

Ало и розово запылал восток. И небо, и ступенчатый выстриг зеленоголовых хвойников, и корявые дуплистые осокори — все вдруг ощутили недюжинную силу огня, клопочущего пока под самой изгибистой чертой горизонта. Он вырывался оттуда тугими снопами, уходил в рассев по голубеющей необозримости. Ребята не смотрели под ноги. Им было куда повернуть пытливые глаза: замороженно глядели они на пляску лучей, на красочное извержение. Наплывный огонь рассвета снимал последние остатки земной дремы. Неутомимая на впечатления душа Захара сама была отзвуком и отсветом обновленного мира природы.

Варя первая заметила вылетевшего из тумана гнедого жеребенка-годовичка. Здрава распушенный хвост, озорно вскинув голову, пронесся он мимо ночных пастухов со свистящим всхрапыванием и легким стуком копыт.

— Заблудился. Табун ищет. — Васька посмотрел вслед упитанному сорванцу. — В таком туманище, пожалуй, заблукнешь. И куда их леший увел?

— Где-то близко. — Захар прижал губами сложенные бубликом пальцы, громко свистнул.

Вновь, как ночью, отозвалась коротким ржанием Пурга. Приглушенный звук донесся слева, где виднелся преклонный осокорь с трухлявой, наполовину выжженной сердцевиной. На нем желваками вспучилась серая

залубенелая кора в извивах бесчисленных трещин. Осокорь, напрягая старческие силенки, с одышкой тянул из земли поверхностные соки, вспыскивая их гибким молодым побегам, вставшим стреловидно вдоль изуродованного дряхлого ствола. Ребятам не раз приходилось присаживаться возле этого старца, где пичуги вили свои гнезда. Об осокорь чесались коровы и кони, оставляя в трещинах коры клочки шерсти. Захарка, как родственнику, улыбнулся старому знакомцу. Обрадованный найденным табуном, свежим дыханием влажного ветра, видом бойких олиственных побегов согбенного тополя, парень вривпрыжку побежал к лошадям, увлекая за собой сероштанную команду, которую замыкала Варя.

Табун разбрелся около овсяного поля. Следов потравы не было. Овсы стояли плотные, чистые, роняя с узких метелок крупные капли. Со стеблей до тех пор будет ссыпаться роса, пока в молотильных барабанах не упадет с них золотой каскад крепко сбитых зерен.

Надевали уздечки. Снимали мокрые путы. Дружески похлопывали коней. При подходе Васьки игренивый мерин уросливо оттопырил губы, фыркнул, тяжело затопал прочь.

— Сто-о-й! — Васек взмахнул уздой, побежал за упрямым.

Быстро догнав беглеца, Захар ухватил его за густую косматую гриву. Мерин во всю ширь показал ядреные зубы, между них виднелась разжеванная мякоть травы.

— Почему он такой пугливый? Ты его бьешь?

— Его, Захар, убить мало. Настырная скотина. Кусал, лягнуть норовит.

Зануздав, Васька не утерпел, стукнул кулаком в распертое брюхо.

— Не зли его.

— Я и миром и ладом с ним пробовал — ласки не понимает. Съест лепешку да как скрежетнет на меня зубищами. Глаза так и просят: «Мало! Дай еще!» Да я-то где возьму?! Он и торбу лепешек схрумкает, не подавится.

— У каждого борова и то свой норов, а это конь...

— Тебе что — Пурга: овечка. Она и зрячей была смиренной. С такой покорницей можно ладить.

— Пролететь бы сейчас, как прежде, на сытой отдохнувшей Пурге по белопенным туманам, над светлыми травами, муравчатými тропинками.

Это было тогда: пузырилась, гудела рубаха. В уши напористо вривался разбойничий посвист ветра. Босые, настуженные ноги Захарки начинали ощущать тепло лошадиных боков. Влажные косицы густой гривы тонкими веретенцами бились о кругую шею разгоряченной кобылы... Теперь приходилось вести ее в поводу.

Варя колотила пятками вислобрюхую Чалку, торопила окриками, причмокиванием губ. Та не спешила разстрясти грузное чугунное тело. Васёк наотмашь охаживает мерина лозиной. В момент удара хитрец увеличивал длину скачка и тут же переходил на привычный бег с лендой. В выпученных зеркальных глазах было недоумение — зачем и куда такая спешка?

Замыкало длинную кавалькаду сопливое мальчуганье, которое отпускают в ночное благодаря великой милости родителей. Надо несколько дней канючить, упрашивать тятку, ребят-старшаков, чтобы попасть к пылающему в ночи костру, испытать короткий ломаный сон, не раз обжечься выстреленными искрами, изрядно покормить комаров и мошку. И все это ради удовольствия промчатся по юному утру, вцепившись в гривы летящих коней. С замиранием сердца ощущаешь, как тебя с каждым скоком начинает кренить в одну сторону. Ускользает куда-то покатая лошадиная спина. Стремясь предотвратить падение, сжимаешь сильнее гриву, узду, плотно притискаешь коленки, перекашиваешь плечи. Чудом обретаешь прежнее устойчивое положение... Всадники были так легки, что кони принимали их за наброшенные седла.

Теперь эти ошастливленные «седла» улюлюкали, свистели, гикали, безуспешно пытались догнать старших наездников.

Вымчались на берег Васюгана. Воды не было видно. Почти ровень с береговой кромкой глубокими застойными омутами лежали рыхлые туманы.

С травянистого угора хорошо просматривалась водотопная заречина. Чьи-то щедрые руки разбросали по ней огромные вороха крупнокудрых отбеленных овчин. Их еще не скоро беспламенным огнем спалит солнце.

Под светлой толщей туманов текла таинственная в своей незримости река. Нижние ярусы стрижиных норок были затоплены текучей белизной.

Первая в жизни бессонная ночь пролетела для Захара с быстротой падающей звезды. Что-то мешало ему прикорнуть у костра на два-три часа, насладиться каким-нибудь диковинным сном, полетать в безмолвии сновидения над смиренной землей. Он прислушивался к звонкой неумолчности сердца, поражаясь его неугомонности. Искорками проносились светлые мысли. Даже сейчас не хотелось спать. У Захара сегодня почему-то слипались не глаза — губы. Слова не вылетали — выползали: редкие, клейкие, сказанные иногда невпопад. В его нежной душе тоже давно наступило утро, сплошь просвеченное горячими быстролетными лучами.

Напористо горланили в деревне петухи — раскатистоголосые дозорные большебродских рассветов. От единичной робкой переключки они перешли к несмолкаемым азартным руладам. В никем не управляемый дружный хор начинали врываться коровьи басы, собачьи тенора, разные стуки-бряки колхозной деревеньки, давно живущей по самым точным — петушиным часам.

Там, где народилось солнце, по голубому залесью затрепыхался радужный павлиний хвост. Поперечной вызолоченной пилой, повернутой зубьями вверх, виднелся дальний косогорный ельник, наполовину скрытый ровной грядой тумана. Солнце быстро начинало захлестывать землю крутыми валами. Захар посмотрел на миг на стихию немого огня широко открытыми глазами и сразу зажмурился от резкой боли. Но напористый свет проникал и сквозь надглазные пленки: был он красновато-расплывчатым и не таким слепящим.

Прошло не более минуты, как остановились ребята на угоре. Углубленному в себя Захару казалось, что находится он на крутобережье долго-долго. Будто вот такое созерцательное безмолвие случилось в его жизни и не раз. Он видел бдение ясного месяца... брел по мокрым травам к табуну... пугался сбивчивого перестука сердца...

К реке спускались по длинному закустаренному логу. Разбитая водопойная тропа, рослый густой бузинник, травяные склоны лога, одиноко торчащие хилые сосенки — все утопало в молочной пористой пене. Застоялый, непросвеченный солнцем туман обдавал лица неприятной сыростью. Васёк издал удалой свист. Мерин нервно вздрогнул, споткнулся о выбоину тропы. Смолкли и тут же принялись покрякивать, словно передразнивая уток, горластые лягушки.

Слева, поодаль от тропы, извивно пролегал неглубокий овраг. Там, даже не в дождливое время лопотала вода. По его оползневому сколам любит густо расселяться мать-и-мачеха, довольствуясь земельной неудобницей. Одному апрелю без дружной поддержки мая никогда не удастся растопить нарымские снега. Неприхотливая мать-и-мачеха не будет дожидаться снежного сгона. Разжелтит яры, овраги, крутоложье веселыми цветами. Среди сплюснутых теплом и светом сугробов зажгутся они нетрепетным огнем. Будут пугливо сворачивать к ночи клубочком нежные тельца. С первым натиском лучей потягиваться, оживать, веселить ясным, заимствованным у солнца цветом.

Хворая мать посылала сюда Захара собирать упругие, бархатистые снизу листья. Он набивал ими сплетенную из краснопрутника корзину. Относил к Васюгану, промывал от пыли лопушистое лекарственное сырье. Пока листья подсыхали в тенечке, Захар ополаскивал корзину переворачивал ее брюшком к солнцу. Раздевшись донага, бросался в разомлевшую от тепла реку.

Матушку продолжала одолевать грудная надсада. Она мешала крошево мать-и-мачехи с душицей, обливала крутым кипятком. Давала настояться и пила настой, как чай. В избе стеснялась отхаркивать мокроту. Уходила за поленницу. Оттуда слышался долгий надсадный кашель.

16

Дома Захара ждало печальное известие: тяжело заболела мать. Встала до петухов, приготовила завтрак, засобиравшись на дойку. У калитки схватило сердце. Выронила подойник из рук. Возле больной хлопотала сухогрудая бабушка Зиновия.

— Говорила ведь Яшеньке — не долгая я жилица на свете, — постанывала Ксения, медленно вдыхая застойный воздух комнаты. — Открой, мать, окна и дверь... черт с ней мошкаррой... дышать трудно... Захарушка, мне-то мертвой все равно будет на какой лошадке гроб повезете... Прошу тебя — не запрягай Пургу... на всю деревню печаль нагонишь — слепая покойницу везет...

— Мама, будет тебе про смерть. Отболеешь, пройдет все.

— Нет, сынка, чую... В одночасье не отойду. Денька два болезнь поваляет... потом и спихнет... Варю не выпускай из сердца... чего скраснел?.. Знаю, знаю. По тебе она. Сестренки береги пуше глаза. Бог даст, отец войну оборет, вернется... вместе легче...

Не договорила, зашлась тяжелым грудным кашлем.

Первой угодившей под руку курице Платон отрубил голову, ошипал. Зиновия приготовила жирный бульон. Напекла из последних запасов белой муки пирогов с черникой. На еду Ксения смотрела отрешенным равнодушным взглядом.

Дочурки еще спали лобик к лобику беззаботным сном раннего детства.

Весь день Захар и Васек прессовали кирпичи, перетаскивали на носилках под навес для просушки. Сын частенько прибегал проведать больную мать. Ей не становилось лучше.

Со дня на день ждали приезда представителя из военкомата. Все колхозные лошади давно были подготовлены к боевому смотру. Коней купали в Васюгане, скребли, расчесывали гривы. Лечили окоростелых,

страдающих хромотой. Каким-то образом в деревне узнали, что отбирать для фронта лошадей приедет бывший буденновский кавалерист. Не хотелось осрамиться молодым конюхам. В конюшне и около нее навели порядок. Вывезли весь навоз. Его за время «царствования» Басалаева скопилось изрядно. Вычистили стойла. Поставили в деннике новые ворота.

Навозили песка, посыпали ископыченный конный двор, вокруг конюховки. Убрали подальше с глаз изношенную упряжь, развешав крепенькие хомуты, дуги, подпруги и уздечки.

Председательский Гнедко — молодецватый, лоснящийся от сытости и телесной силы жеребец — выглядел красавцем.

— У Гнедка рысистая стать, — оценивающе говорил Платон, с восхищением осматривая крепконового жеребца. — Жалко, небось, Василь, отдавать под пули своего скакуна?

Тютюнников тяжело вздохнул.

— Ничего не поделаешь. Красную Армию крепить надо. Может, не возьмут его, а?

Проблеск надежды не угасал.

Желая перебить ход мыслей, Василий Сергеевич спросил:

— Ксения сильно плоха?

— Сохнет, как ручеек в жару. Не ест совсем. Мне, говорит, теперь ни к чему, а вам едовать надо крепко.

— В район, в больницу повезем.

— Слушать о больнице не хочет. Твердит одно: чую.

— Такую доярку днем с фонарем не сыщешь. Женщины говорят про нее: Ксения за счет ласки к животным от каждой коровушки по два дополнительных литра молока получает.

— Наблюдал за снохой на дойке. Вымоет вымя, непременно имя коровенки вымолвит, пошепчется с ней. И доить начинает. Прошлым летом полподойника молока опрокинула. Из дома принесла, влила в колхозное...

Умерла Ксения ночью. Короткий горячечный сон слился с крепким, вечным незаметно. Первый раз она проспала утреннюю зарю. Первый раз ее не могли добудиться сторожа деревенского времени — петухи.

— Господи, зачем ты наперед нас, стариков, взял ее?! — причитала Зиновия, подняв шалашиком руки перед бледным лицом.

Платон убивался гнетущим бесслезным страданием.

Покойницу обмыли, обрядили ко гробу. Восковая свеча никак не хотела стоять меж скрюченных, таких же восковых пальцев.

Сын не мог сломить волю бегущих слез.

— Дедушка, отец наказывал каждый волосок на ее голове беречь, а мы?! —

— С силой смерти, детонька, никто не совладеет, — словно оправдываясь, твердил Платон, прижимая к груди голову внука.

Под неумолк птичьего хора легковесный гроб несли на руках до самого кладбища.

Горе вспыхнуло и не прогорало в сыновьей груди. Прошел страшный сон похорон. Захар ходил потерянный, придавленный густым туманом несчастья. Сердце не хотело брать на веру горькую явь: была мать и нет ее. Двухметровая толща могильной земли отторгла человека от этого мира крестьянских забот, от этого света солнца. Где он тот свет, куда по уверению богобоязненной Серафимы, переходят души усопших? Выбился ли оттуда хоть один лучик, согрел кого, осветил путь?!

Вспоминались мельчайшие подробности материнской доброты. Вот она редкозубым гребешком расчесывает после бани русые волосы сына, воркует нежно: «Да какой ты у меня хорошенький. Да какой ты у меня пригоженький. Чей это такой Захарушка?..» Подкладывает на тарелку лучший кусок рыбного пирога. Снимает с плеч, набрасывает на сына кофту во время сильного ливня, прихватившего их в лесу. Целует в щечку, желает спокойной ночи... Отец на войне. Мать в могиле. Правду сказывала бабушка Зиновия про зло. Хвалилось оно: изведете одну беду, другую приведу. Вот привело.

Вместе со всеми приготовленными к смотру лошадьми Пурга находилась в деннике. Ее глаза, подернутые пеленой непрекращающейся тьмы, по-прежнему оставались влажными. Конюху были теперь особенно понятны и объяснимы эти вечные слезы лошади. При подходе Захара она перестала хрумкать овес, насторожилась. Скребница коснулась и без того гладкой холеной шерсти. Слепая нюхом нашла лицо друга, с собачьей преданностью лизнула подбородок. Необычное поведение Пурги со дня смерти матери наталкивало Захара на мысль, что она каким-то необъяснимым чутьем догадывается о беде. Неужели были понятны ей затяжные печальные вздохи, беспрестанно идущие из души парня? Необычным жалобно-заливистым было ржание. Чаше прикасалась к конюху лбом, храпом, языком. Никита Басалаев ревностно следил за такими знаками внимания слепой кобылы. Старший конюх давно не испытывал к помощнику чувства неприязни. Их отцы ушли на фронт. Могут оказаться в одном подразделении. Чего делить сыновьям? Никита не рассчитывал на особое отношение напарника. Стал разговорчивее, обходительнее, и то хорошо. Несчастье запрудинской семьи он переживал по-

своему, по-басалаевски: пришла в деревню беда, конечно плохо. Но, слава богу, не нас коснулась. Проявить сострадание — пожалуйста. Это можно. От ложной муки сердце не обливается кровью.

Захара мало утешали сочувственные слова помощника. Больше затрагивала неподдельная горечь Фросюшки-Подайте Ниточку. При виде окаменелого трупа покойницы она царапала себе лицо, корчилась в судорогах истинного страдания, обливалась горячими слезами искусной вопленицы. Благоговейно помогала обрядить усопшую в приготовленное одеяние. На поминках ела кутью наполовину со слезами. Полоумка-то полоумка, а чужое горечко вбирала в душу целиком. И слезы были чистые, искренние, не за поминальное угощение выпланные.

На следующий после похорон день тот же трещоточный катер, что увозил первобранцев на фронт, приплавил к Большим Бродам широконосую баржу. От шкиперской каютки вдоль бортов возвышалась горбыльная надстройка, перехваченная в носовой части пятью осиновыми жердями.

По шаткому трапу с катерка сошел военный. Одернул гимнастерку, осмотрелся. Серая лайка, лежавшая возле опрокинутого обласка, с приветливым вилянием хвоста подошла к гостю. Понюхала начищенный хромовый сапог, чихнула.

— Че, к дегтю привыкла, крем не признаешь? — Приезжий погладил собаку промеж ушей, молодецвато расправил черные с проседью усы.

С яра из-под ладошек смотрела всезнающая ребятня.

— Коней наших увезут...

— Гли, ребята, генерал идет...

— Много ты, Степанка, понимаешь? Не генерал — просто командир...

— Ордена блестят...

— Пряже-е-ек сколько!..

Просто командир неторопливо поднялся по взвозу на круть, направился к стайке большебродских юнцов. Самые маленькие пустились наутек, придерживая на ходу ляпочки короткогачных штанишек. Отбежали, присели на траву неподалеку. Слышалось шмыганье носов.

Поздоровавшись чинно, за ручку с четырьмя оставшимися у кромки яра ребятами, военный представился:

— Меня зовут Сергеем Ивановичем... Новосельцевым.

— Дядя, вы генерал?

Кто-то больно щипнул Степанку за мякоть пониже спины.

— До генерала, мальчик, мне далековато. Всего лишь капитан.

— Военный корабль водите?

Новосельцев рассмеялся.

— Пока лишь сопровождаю во-о-он тот катер с баржой... Скажите-ка, герои, где отыскать Захара Яковлевича?

— Такого не знам.

— Вот здорово! Своего нового конюха не знаете? С кем же в ночное ходите?

— Так это Захарка. У него мама недавно умерла.

— Мне известно. Поэтому и не приезжал раньше.

Пошли к конному двору.

Тютюнников, объезжая поля, слышал моторный треск. Знал — зачем и куда идет по Васюгану вездесущий катер. Сегодня и так небольшие колхозные силы подрежут на треть. Заберут самых сильных, выносливых коней. Они скоро потянут тяжелую ляжку войны. Опустив поводья, Василий Сергеевич недвижно сидел в седле, созерцая привычную картину созревших хлебов. Гнедко срывал сочные макушки белого клевера-медовика.

Подступала главная страда пахаря — уборка. Засевали поля, не гадали, не ведали, что кликнет мужиков война, оторвет от привычного дела. Вот он хлеб засушенный. Один на один с небом. Природа пестовала его, помогала крестьянину растить. Однако природа не шевельнет пальцем, чтобы помочь убрать урожай. Наоборот. Будет вредить дождями, пугать близким снегом. Ветры распластают влежку колосья. Примутся опрокидывать снопы, суслоны. За каждую зеринку держит ответ только сеятель. Где он?

Впервые председателю не хочется в деревню. Знает: надо вот сейчас, немедленно прибыть туда, встретить Новосельцева из военкомата.

Катер давно оборвал нудную песнь. Наверняка ищут хозяина колхоза. «Что ж ты, Тютюнников, как мужик-скрытец, отсиживаешься у поля? — разговаривал сам с собой председатель, — Гнедка жалко? Не у тебя одного возьмут лошадей...» Не помнил, когда натянул поводья, направил бег жеребца к деревне. Очнулся — травы хлещут по стремянам. Спрявил путь, поехал перелесками. Слева и справа полированным блеском мелькало листовое золото полей. Его текучий жар ощущался лицом. Поля посылали вдогонку: «Не забывай о нас... скоро, скоро...»

— Да, скоро. Скорее некуда, — пробормотал Тютюнников, слегка опираясь рукой на седельную луку.

На конном дворе ребячий гвалт.

— Дяденька капитан, эту лошадку не возьмете, а?

— Воронка оставьте.

— Игреньку не берите.

— Захар, не отдавай Ступку.

Новосельцев не обрывает парнишек. Во всех деревнях, где пришлось производить отбор лошадей, картина повторялась одна и та же. Первыми заступниками выступают пацаны-конники. Их чистая детская печаль была хорошо понятна.

Капитан приглядывался к молодому конюху. За лето лицо, шея, кисти рук сделались медно-красными. На лбу, под большими, неизбывшими горе глазами, время успело проложить пунктирно тонюсенькие морщинки. Под плотной рубашкой четко проступали бугристые лопатки, вздернутые плечи, крутой выкат груди. Любой кузнец охотно бы взял Захара в молотобойцы. Нетрудно было усмотреть в нем силу, отчасти данную природой, но больше накопленную непрерывным крестьянским трудом.

Много таежных деревень проехал Сергей Иванович. Насмотрелся конюшен и конюхов. Желая выгородить побольше сил для колхоза, напускали на животных временную хромоту. Показывали опаршивленных, бельмастых, задышливых, упрятав добрых и горячих в беге. Утаивали настоящую цифру конепоголовья. Мазали медвежьим салом хомуты, уздечки, оглобли. Попытаешься набросить на коня такую уздечку или завести в хитрые оглобли — он свирепеет, вскакивает на дыбы, пускает в ход зубы, копыта. «Уросливая у нас порода, товарищ капитан, — дундит на ухо конюх, науськанный ко лжи председателем. — Намучились с нашим кобыльем. Жеребцы и того хлеще. В деревне четверых окалечили...» В доказательство слов машет рукой инвалиду, с утра сидящему у конюховки, поджидающему час осмотра. Ковыляет на зов прямой свидетель лошадиного коварства. Все в деревне знают: нога у пропойного мужичка перебита колом в драке. Ничего, надо одурачить военного. Чего он грабеж среди белого дня устраивает. И перекладывают грех на Серко. «Саданул копытом, аж кость в труху», — подвирает инвалид, заголяя грязную штанину.

Разве для личной конюшни старается капитан Новосельцев?.. Он выполняет святоотеческий долг. И приходилось ему «раскусывать» не уросливых коней — хитрых, уросливых председателей и конюхов. Кое-кого по военному времени отдавал под суд.

Конный двор в Больших Бродях поразил Сергея Ивановича своей чистотой и прибранностью. Ровный строй телег с поднятыми оглоблями. Под сапогами хрустывает песочек. Лошади сытые, чистые. Выстроены в деннике, как на параде. Возле голов — гнедых, серых, каурых — замерли в волнении мальчишки. Они тоже успели привести себя в опрятный вид. Стоят, думают: «Хоть бы моего конька не взяли...»

Подъехал председатель. Поздоровались. Знакомы были давно. Коренные нарымчане, они называли себя «коренниками».

— Че, коренник, везешь помаленьку воз-колхоз?

— Везу, Иваныч. Боюсь, с твоим отъездом везти не на чем будет.

— Всех не возьму. На развод оставлю, — бормотал капитан, взблескивая двумя золотыми зубами в нижнем ряду.

Он оценивающе разглядывал привязанного к изгороди Гнедка.

Председатель перехватил взгляд.

— Ему в зубы можешь не смотреть. Забирай первым.

— Не мне даришь, Сергеич. Могу и заглянуть... даже обязан... дохлых на фронт не берем... Захар Яковлевич, попрошу вывести из строя всех увечных коней.

От непривычного обращения по имени-отчеству, от полуприказного тона военного представителя парень немного растерялся. Он стоял первым в шеренге возле Пурги. Слушая ее хрипловатое посапывание, думал: «Не заболела ли». Конюх хотел гордо ответить: «Увечных нет», вовремя вспомнил о своей любимице. Легонько дернул за повод, вывел из строя.

— Слепая, — шепнул председатель, стесняясь громогласно произносить о тяжелом пороке лошади.

Новосельцев подошел к кобыле, испытующе посмотрел на окологлазковые вершины глаз. Оттянул верхнее левое веко. Оттуда, из тайного гнезда, выждав удобный момент, выкатилась слезина.

Наблюдая за процедурой проверки, председатель скрежетнул зубами.

— Не веришь, че ли?!

— Бог с тобой, Сергеич! Просто в диковинку мне. Первый раз вижу слепую от тяглового натужья. Мне об этой лошади говорил в военкомате Запрудин Яша... Мирового парня отец для тыла оставил. — Новосельцев обнял Захара за плечи. — Ты бы знал, Сергеич, какие шельмы-лошадники есть! В колхозе «Пламя» старикашка попался. Черт его знает, когда он у цыган науку дурную перенял: умел нарошние бельма напускать. Приезжаю отбор производить, страшно заглянуть «во очи» животным: гнойные, в серовато-белых пятнах. Об этой хитрости

в коннице Буденного мне татарин один поведал. Сок какой-то травы с мелом мешают, впрыскивают в глаза. Приводят того делателя бельм, спрашиваю: «Скажи мне, дед-пустоцвет, ты за каждое напущенное бельмо потрудоденно получаешь, али как?!» — «Свят, свят, свят, — крестится старик. — Напраслину изволишь говорить». «Был свят — будешь судим. Я вот сейчас изволю штаны с тебя спустить, да за проделки твои принародно крапивничков испеку на твоей сковородке...» Ох и народец!

Мальчишки переминаются, переживают.

Оставленные за денником жеребята чешутся о жердины, просовывают меж них головы. Серенький непонимающе смотрит на мать — зачем их разлучили?

— Обрадовать тебя, председатель? — Новосельцев посмотрел с хитроватым прищуром. — Не возьму я твоего Гнедка... по старой дружбе.

На лице Василия Сергеевича промелькнула тень радости. Налетная улыбка держалась всего мгновение. Взгляд построжел.

— Кончай, капитан, в добрячка играть. Не то время. Ценю за дружбу, но... — Тютюнников отвязал Гнедка, передал повод в руки земляка. — Общая беда тыл и фронт поравняла. Не для свадебного поезда отдаем лошадей.

Выводили из строя грудастых, крепконогих, рысистых, статных. Безошибочно знал обо всех достоинствах и недостатках осматриваемых сил председатель. Заранее изгнав из души горечь обид и сожалений, делил табун на слабых и выносливых, резвых и тихобежных. Наметанным глазом капитан видел эту правду отбора, но все же считал нужным заглянуть в зубы, сильными руками проверить спинной прогиб, ноги в согнутом положении. Нащупывал жилы, «слушал» пульсацию крови.

17

Отправку лошадей назначили на утро. Из колхозных запасов отпустили несколько мешков овса. На барже вдоль бортов соорудили жердяную загородку, заполнили сеном.

Перед уборкой — перед главным боем — в колхозе всегда проводилось собрание. Клуб в Больших Бродах стоял на возвышении, метрах в ста от яра. Сцена маленькая, с певучими половицами, с крысиными прогрызами. Четыре сшитых, побеленных известью простыни заменяли киноэкран. Над сценой в деревянных рамках под стеклом портреты Ленина и Сталина. Между ними известный лозунг о слиянии пролетариата в мировом масштабе.

Кино крутили по частям, немое. Его, правда, озвучивали стрекот старенького аппарата, а с улицы — в зависимости от времени года — неприхотливая песнь кукушек, громы, взвои метели, скорбный клик журавлей.

Спины клубных скамеек залоснились до черноты. Большая печь-развалюха дымила, требовала перекладки. Председатель попросил Платона заняться ею, пустив в дело готовый обожженный кирпич.

За последние дни Варя была неотлучна от Захара. Не хотела оставлять его наедине с горем. Помогала готовить коней к смотру. Носила в сушилку кирпичи. Занималась уборкой конюховки.

Собрания в Больших Бродах начинались поздно. День, большая часть вечера отдавались трудам. На колхозное сходбище прикочевывала вся деревня. Приходили почтенные дедки — слеповатые, с приглушью, рассаживались, выбирая лавки пошире, поустойчивее. Слушая выступления, пригораживали к уху согнутые ковшиком ладони. Кормящие матери, прикрыв головенки уросливых младенцев полою кофт, концами платков, выкатывали нетерпеливым детушкам груди. Шмыганьем, покашливанием, вздохами заглушали стеснительно звучное чмокание мальцов-грудничков.

Во время кинофильмов ребяшня постоянно оккупировала пространство на полу, возле сцены. На сходках уходила на задний план, располагалась у печки, дверей, обшаркивала известку со стен. Многие, где сидели, там и засыпали, не выдерживая часовых разглагольствований о сене, надоях, зерне и трудоднях.

В этот вечер много оставалось пустующих мест. Яков Запрудин часто говорил на собраниях короткие, деловые речи, поэтому садился с краешку скамейки. Теперь отцовское место занимал Захар. Неугомонный Васёк ерзал рядом, не упуская случая отвечать легкие подзатыльники проходящим мимо пацанам. Варя не раз ругала за это братца. Закоренелая школьная привычка сидела в нем крепче самоковочного гвоздя в подкове.

— Поредело, председатель, твое колхозное воинство. — Новосельцев оглядел небольшое пространство клубного зала. Перейдя на шепот, спросил: — Ничего об обрезах неизвестно? Чьи они могли быть?

— Полагаю — хозяин их на фронте.

— Басалаев?

— Да.

— Неужели на что-то надеялся?

— Ждал ли перемены какой — не знаю. За единоличные хозяйства первый бы руку до потолка поднял. Не мужик — замок ржавый... Сергей Иванович, мой голос надоел колхозникам, как в травокос дождь-сеногной. Скажи слово. Ты — представитель района, начальство все же.

Появился на сцене накрытый кумачом стол. Рядом с графином, наполненным по горлышко колодезной водой, Варя поставила букет ромашек. Присутствие военного придавало собранию необычную торжественность. Ордена, седеющая шевелюра, глянец хромовых сапог, ухоженные усы, кавалерийская выправка — все занимало колхозников.

— У Буденного точно такие же усы, — уверял Платон свою старушку.

Зиновия, не видевшая усов командарма, все же посчитала долгом не согласиться.

— Где такие же? Где?! У него к носу круче, как у Поддубного. Те усы по бублику выдержат, если повесить. Председатель дал слово Новосельцеву.

— Дорогие наши колхозники! Поймите — с горьким сожалением приходится мне выполнять возложенную обязанность по отбору лошадей для фронта. Колхозы стоят на пороге хлебоуборки. Ушли на войну отцы, сыновья, братья. Нет такой колдовской силы, чтобы в настоящее время вернуть их полям, потому что надо ломить дьявольскую фашистскую силу... Мне пришлось служить в прославленной коннице Семена Михайловича Буденного. Он часто говорил нам: сабля без коня сиротеет... Пора сабельных походов для страны отошла. В действие пущены грозные орудия. Но суть поговорки верна: на войне без лошадей туго. Они нужны партизанским отрядам. Для различных работ в прифронтовой полосе. Вывести раненых, доставить к орудиям боеприпасы, горячий обед бойцам — везде сгодится наш друг — конь.

В вашем колхозе благодаря усилиям комсомольцев и главное — Захара Яковлевича Запрудина — лошади окружены горячей заботой и любовью. В рабочем строю осталась даже слепая Пурга...

Васёк толкнул локтем друга: знай, мол, наших.

— Легче всего было списать, пристрелить ее. Кое-кто в районе советовал председателю так и поступить — убрать кобылу с глаз долой. Чего ей быть живым укором, корм зря переводить. Нет, Пурга свой харч отработывает сполна. Видел колхозный крепкий кирпич. Глина не только на воде — на поту лошадином замешана. Раньше мужики слепоту лошади несчастьем считали. Оно и верно. Комсомолец Запрудин не оставил в беде слепую. Ценность каждой ее жилы вы ощутите скоро на уборке урожая. В деревне ребятишки юного конюха по-простому Захаркой зовут. Для вас, дорогие мальчишки, он Захарка. Для колхоза, страны — Захар Яковлевич. Работает на отечество за себя и за отца, тут без отчества не обойдешься.

Завтра колхоз «Васюганский пахарь» лишится одиннадцати самых сильных лошадей. Их судьба будет вверена Красной Армии. Пожелаем им не пасть на полях войны, потрудиться для разгрома врага, для победы...

Видел ваши хлеба, льны. Порадовали они меня. Верю — не будет оставлен на полях ни один колосок. Без хлеба, пороха, снарядов, людских жертв и героизма нации войны не выигрываются. Мы сильны духом. Так будем же сильны и хлебом. Его ждет от вас страна, армия. И в тылу совершаются подвиги. На них путевки не выдаются. Вас будут поднимать по ранним утрам боевые тревоги труда. Вы не мешкайте, выводите свои, хотя и поределье силы. Клич у Отчизны один — бей врага ненавистного снарядами, штыками, трудом. Для Родины нет жизни без победы. Мы сдавим фашистов за глотку и завоюем, добьемся ее...

Ночевать гостя председатель повел к себе. Бабушка Серафима шагала рядом с Варей, выстукивая посошком по сухой, накатанной телегами дороге. Новосельцев, придерживая старушку под руку, подшучивал:

— Сколько знаю тебя, Серафимушка, ты все такая же моложавая.

— Молодость — начинка добрая, да портится скоро. Перепекся пирог — в корку черствую превратилась. Раньше, бывало, за один погляд у парней сердчишки выпрыгивали.

— Бабушка, расскажи про старовера, — напомнила внучка.

— Ну ты непутевую! — отмахнулась Серафима.

— Расскажи, красавица, расскажи, — поддержал Новосельцев, пожав в темноте локоть Вари.

— Был такой чудесник таежный. Проходу нигде не давал. Так и сяк подольщался. Мне он, что пшенице василек: красив да проку нет. Староведец однажды воровски ко мне подкрался и по-нововерски губы охомутал — дыхнуть не могла. Я с черной овечки шубенку снимала. Ножницы в руке пружинные стригальные с большими прихватами для пальцев. Отпихнула охальника, за бородищу ухватилась. Растерялся, заикаться стал:

— Прости, ммать, на святое дело испросу не ннадо...

За поцелуй черт лохматый оправдывался. Я скоренько чирк ему овечьими ножницами полбородени. Говорю усмешно:

— Прости, отец, на это святое дело тоже испросу не треба.

Теперь староведец без всякого заикания на меня накинуся:

— Ну, Серафима, согрешение твое перед господом богом не смываемо.

— Зато отрастаемо!.. Не горюнься шибко. — Сунула ему в карман отрезанный пучок бороды, овечкой недостриженной занялась. Вот так и проучила кержацкого поцеловщика.

Капитан улыбался до самых ворот...

Утром по низинному поречью стлался плотный туман. Из-за серой хмури усталым оком глядело медлительное солнце. Давно ложились холодные росы. Низко — к скорому ненастью — летали со своими выводками ласточки. Днем они устраивали слетки, напоминая о скорой разлуке с северной землей.

Последнюю ноченьку провели на разнотравье взятые для Красной Армии лошади. Их в колхозе таврили буквой Б на левом бедре. Каждая четырехкопытная сила получала отметину жегалом. Задымится на ляжке под накаленным тавром едко пахнущая шерсть. Крупным вздрогом встрепенется лошадь, и процедура окончена. Теперь ты не обезличенная сила. Принадлежишь большебродскому колхозу. Его неприкосновенная собственность. Право на тебя можно оспорить юридически.

И вот одиннадцать единиц живой колхозной собственности стоят на берегу Васюгана. Много вас, российских коней, затавренных различными буквами и цифрами, собирает для фронта далекая Сибирь.

Вся деревня вышла на проводины. Поднялся ветер, разметной силой разогнал туман. Открылся неторопкий Васюган. На барже старичок шкипер в грубом брезентовом плаще выкачивал трюмную воду. Даже с яра слышалось сипенье и чавканье помпы.

Коней повели по спуску. За ними двинулись гурьбой люди. С баржи заранее сбросили широкие длинные сходни. Поперечины над сосновыми плахами измахрились, расщепились от копыт под тяжестью живого груза. Было видно: много зашло и сошло по крепким сходням коней. По Васюгану до Больших Бродов деревенек изрядно. Их не обошел лошадиный призыв.

Говорились на берегу слова счастливого напутья. Мальчишки скармливали лошадам прощальные краюшки, всхлипывая красными носами. Даже Фросюшка-Подайте Ниточку — вытащила из мятой сумы зачерствелую корочку, протянула к губам Гнедка. Жеребец понюхал, не принял угощение: корка пропиталась запахом хозяйственного мыла. Фросюшка, поглаживая председательского коня по холке, стала сама жевать хлебец. Точно с испуга, тремя резкими прыжками отбежала к песчаному холмику, бросилась на колени, прижала ухо к сырой земле.

Заинтересованный странной выходкой полоумки, Тютюнников спросил:

— Че слышишь, Фрося?

— Войну слышу, председатель... шибко гремит...

— И знаешь, в какой стороне?

Фросюшка вскочила, вскинула раскосмаченную головенку, ткнула тощей рукой в воздух.

— Тамо-ка!

— Смотри ты! — удивился Новосельцев, — не ошиблась: запад пометила верно.

Коней проводили сквозь людской строй: он начинался от концов сходней. Трогали, гладили гривы, спины, бока. Похлопывали по крупу и головам. Захар стоял молча, крепко стиснув зубы.

На барже лошади не притрагивались к сену. Многие инстинктивно повернулись в сторону лугового заречья, куда их обычно перевозили. Вот баржа, кое-как отдернутая от берега слабосильным катером, потянулась не наперерез реке — вдоль ее берегов. Обеспокоенные кони засуетились на палубе, застучали копытами, заржали. Все недоуменно смотрели на растянувшуюся по взвозу людскую цепочку.

Шкипер насмотрелся подобных печальных картин. Он невозмутимо восседал на снятом с Гнедка седле, чесал концом совка ревматическую ногу. Этим совком он отмерит скоро в торбы порционного овса, поставив тем самым увозимых коней на фронтное довольствие.

Захар, Васёк и Варя задержались на крутобережье. Конюх не надевал кепку до тех пор, пока с васюганского плеса не исчезли печальным видением катерок и покорно бредущая за ним на канате буксирница.

18

В грузном изнеможении склонились хлеба. Крестьян торопили подступившие осенины.

Пургу впрягли в жнейку вместе с каурой кобылой, страдающей недостатком — часто засекала копытом ногу. Идет, идет да и чиркнет по передней левой. Разбитое место засечки пришлось смазать мазью, приложить ватный тампон, перебинтовать натуго. Вредное копыто стучалось о подушку, не причиняя ноге боль.

Олег, брат Никиты, скорым шагом водил слепую под уздцы. О голяшки чирков бились тугие склоненные колосья. Звено Вари вязало снопы. Платон возглавлял их отвозку в овин. Он торопил неповоротливых круторогих быков, понарошку грозясь вымазать репицы скипидаром.

Счетовода и председателя тоже укачивали жнейки. В одну из коротких передышек, смахивая крупный пот со лба, Гаврилин спросил:

— Сергеич, ты не задумывался над тем, почему слова будни, баба, бык на одну букву начинаются?

— Не приходилось такую загадку разгадывать.
— Везде тягло в основе. Во все лета мука женская комлем лежит.
— Помаясья, коли не хочешь щёлк в брюхе занять. В бедствия поля всегда бабонькам препоручались. Каждому свое: мужикам поле брани, бабам — петушинные рани...

Выгустились за лето хлеба. Плотно стояли золотые стрелы с насаженными наконечниками колосьев. Местами ветра устелили хлеба вповалку, поворошили их. Пурга ступала крупными шагами, не ждала окриков. Видя рвение слепой, каурая напарница расслаблялась, замедляла шаги. Олег подносил к ее отвислым губам кулак, строжил: «Я ттебе!»

Пурга набирала силу, избавлялась от оторопи, вызванной слепотой. Ей перепало больше овса, ласки. С таким покровителем, как Захар, можно было не владеть существованием — жить и работать на колхоз наравне со зрячими лошадьми. В бескрайней вязкой темноте, простирающейся за пределами глаз, кобыла вроде начинала различать в черных расплывах очертания стогов, колосистое поле, пласты поднятой плугами земли, васюганский изгибистый плес. Видения посылала услужливая память. Все, запечатленное когда-то на тонюсеньких глазных пленках, проявлялось в той последовательности, в какой проходила жизнь Пурги в течение восьмилетнего срока. Трава, хлеба, пашня занимали в видениях главенствующее место. С весны и до осени они бросались в глаза зеленым, золотым, черным колером. Сев, сенокос, жатва — главное колхозное трио дел. В промежутках крестьянская разноработица. Иногда лошади думалось: стоит хорошенько проморгаться, открыть пошире глаза — все исчезнувшее возникнет вновь. Не раз делалась попытка избавиться от наваждения беспросветной ночи, стряхнуть с себя черную неотлипчивую массу. Мотала головой, каталась по земле, прыгала. Беспреданно поднимала и опускала усталые веки, словно полируя и без того зеркально блестящие хрусталины глаз. Тьма не освечивалась.

Помимо пышных валков вспаханной земли, табуна, снопов и травы стояло перед глазами лошади холеное загорелое лицо прежнего конюха. Не раз хотелось садануть копытом в мужика, перебить руку, держащую плетль. Парализовывал животный страх перед давним деспотом. Он нисколько не боялся пролазить под брюхом любой лошади. Появлялся у задних ног. Хватал прокуренными пальцами за храп. Не выказывать страха перед копытной силой — вот к чему стремился Басалаев и преуспел в опасном деле. Он подчинил волю лошадей своей грубой мужичьей воле. Пурга постоянно боязливо ждала — вот-вот подойдет горластый Дементий, жахнет в живот кулачищем. Но странное дело: исчез он куда-то. Не слышно его тяжелых шагов, грубого голоса, ехидного смеха.

Жнейка Захара с каждым кругом отстригает от поля по доброму лоскуту. Мелькают руки вязальщиц снопов: поднимаются они молодцами, точно из-под земли. Не боятся стоять на жесткой стерне. Все им по нраву — крепкая опояска, тесное братство колосьев, устойчивое положение на полевой земле.

Привычный крестьянский труд, уходящий корнями в глубь столетий, венчал все пахарские заботы. «Успеть, успеть, успеть,» — выговаривала лобогрейка, укладывая в расстил срезанный с корня хлеб. Работа грела не только лоб, делалось жарко всему телу. Пурга знала — за этой страдой придут холода, сыпанут снега. Белый цвет зимы ей тоже хорошо знаком. Тащит воз по накатанной до глянца дороге, торопливо схватывает губами санные обронки. На ходу жевать тяжело. Надо перевести от натуги дыхание, откашляться, пофыркать, попыхать ноздрями, отогреть теплым нутряным воздухом проникающую в нос изморозь. Была молодой, не отставала от впереди идущего коня. Близехонько подходила к возу, вырывала клочок сена, выбирая помягче, без противного дудочника, царапающего горло.

С первого дня рождения жеребенка Пурга мучилась от сознания, что не может взглянуть на него. Природа требовала от матери вылизывать малыша — и она старательно, до усталости языка, счищала теплую слизь. Природа требовала приучить появленца на свет безошибочно находить вымя — и этой нетрудной науке он обучился. Природа требовала пригляда за жеребенком — и слепая мать, призвав на помощь инстинкт, оберегала его, навсегда выпущенного из поля зрения. Судьба затмила это важное поле, все колхозные пажити.

Задождало. Косохлестные, подстегнутые ветрами дожди проходят быстро. Сейчас сыпался долгий и нудный ситничек.

Председатель щелкал по стеклу барометра. Стрелка замерла на «ясно», не собираясь покидать чужую позицию.

— Стучи, не стучи, Сергеич, мокрогодица с недельку продержится. — Дедушка Платон пробарабанил козонками пальцев по груди. — Она не соврет.

— Не дымит переложенная в клубе печь?

— Чего ей дымить? тяга хорошая, с присвистом. Сегодня на ферме начну перекладывать. Кирпич мировой — жар держит.

— Скажи, Платон, чего ты в жизни не умеешь делать?

— Смертушку отдалить не смогу. Не обучен.

— Поднатужься и живи. Ты для колхоза — клад. Нам его не хочется в землю зарывать... По погоде и мысли идут какие-то смертельные. Расслабиться нельзя. В середине сентября отправка в район баржи с зерном.

— Успеем с этакой погодушкой?

— Сушить снопы будем в овине. Ночью молотить. Армия без хлеба — винтовка без патронов. Сам же любишь повторять поговорку: с сытым брюхом и окоп — дворец. В Томске идет формирование стрелковой дивизии. Сибиряки белку в глаз бьют, по фашистской башке тем более промах не сделают... Варька моя на фронт рвется. В санитарки. Медицинскими книгами обложилась. Изучает. Налегает на полевую хирургию. Говорю дочке: у нас своих полевых и луговых операций хватает: посевная, уход за посевами, сенокос, жатва. Хлеб пот любит.

— Добавь — овес, лен, турнепс, свекла.

— Главное — хлеб. Есть раны огнестрельные, осколочные, штыковые. В какой разряд, Платон, отнести нашу, вечно ноющую рану о колхозном урожае? Хлебная рана вот тут, в сердце. Начинает она кровоточить с самого сева. Лекарство от нее одно — снятый с корня и обмолоченный хлебушко.

— Такая погода калечит душу.

— Нарымский край милосерднее сроду не был. Постоянно с боем берем сено, зерно, лес... Пусть дочка не рвется на огненный фронт. Мать, умирая от чахотки, просила беречь Вареньку. Вот бережем с Серафимушкой восьмой годок... Спрашивают меня как-то в земельном отделе: не надоело вдовцом горемычничать? За тебя любая пойдет... К чему она, любая-то?! Пшеница и та не любой земле колосьями поет.

— В наших Бродах на молодых мор какой-то. Сердечники, легочники. Болотья кругом, можно их повинить. Тогда почему мы — старичье векуем? Просмолились, просушились, задубели. Нам уже с погоста давно чалку подают. Никак зацепить не могут. Ты меня кладом назвал. Я пече-клад. Научу Захара и сынка твоего жаровые ходы прокладывать, дымоходы, отдушины — авось, пригодится. Печь дышать должна ровно, без сбоев. Знал мастеров-секретников, охочих до всяких фокусов. То вой трубе подпустят. То печь огнем чихать начнет: дверца настежь, из поддувала пепел летит. Не сойдется печник с хозяином в цене на кладку — вот и куролесит, подпускает порчу. Волей-неволей раскошелишься, доплату выложишь.

— Твои печи без секрета? Я ведь больше положенного на трудовень не могу дать.

— И на том спасибо. Не из своего сусека отоварку производишь. Советую тебе: пока непогодь давит, турнепсом надо заняться. Червь поточить может. Убрать его, просушить и забота с плеч.

— Осенью не знаешь, какую заботушку первой за бок хватать.

— Придется имать по две разом — утренники холодные пошли. Нынче зима-кума на гостеванье рано пожалует.

— Долгая гостья, но не привередливая: по распутице притопает.

— За зерном та же баржонка-разлучница придет, что мужиков и лошадей увезла?

Председатель кивнул утвердительно.

Подошел дождебойный, ветреный сентябрь. Разлучница уже стояла на привычном месте, терпеливо ждала важный груз. Молотба шла круглую ночь. Мальчишки охалками оттащивали солому, умудряясь спать на ходу, как пехотинцы в долгом изнурительном походе. В пыльный омут молотильных барабанов ныряли снопы. Их с грохотом тасило, терло, мяло, выколачивало золотую зернь. От толстого слоя налипшей мякины потные лица казались упитанными, трудно узнаваемыми. Не раз Варя окликала ошибочно вместо Захара брата. Он ухарским свистом заставлял друга обернуться.

Захар брал пучок теплой изжужканной соломы, проверял чистоту обмолота. Оставался доволен. Зиновия и Серафима зашивали дырявые мешки, насаживали заплаты, готовили вязки.

— Нам, Зиновеюшка, саваны шить пора, себя затаривать — не мешками хлебными заниматься.

— К зиме это поделье прибережем.

— Не хочу в зимушку умирать: заступ землицу не оборет.

— Вспомни, Серафимушка, стонуха ты этакая, сколько годочков подряд в отход гробный собираешься?

— Надо говорить: в мир загробный.

— Не бойсь, помимо гроба не положат. Старые ворота скрипят, да не падают. Живи, не тужи о саване. Нам туда, — старушка ткнула пальцем в земляной пол овина, — никто весточку о победе не принесет. Тут-ка услышать хочется. Яшеньку дождусь.

— О смерти Ксюши не сообщили?

— К чему? Беда голову отуманит. Печаль-измука на пулю вражью натолкнет. Придет с войны Яшенька — доставит радость в дом. Перемешается она с известием о смерти жены — не так горько душе будет.

Возили хлеб на восьми подводах. Пурга двинулась к Васюгану первой.

Мешки на баржу заносили по тем же сходям, по которым вводили лошадей. Платон стоял возле тележной грядки, поглаживая тугой бок куля.

— Прощаешься? — Тютюнников взвалил на плечи тяжелую ношу.

— Думку думаю: пусть бы этот хлебушко наших мужиков попотчевал.
— Найдутся едоки. Армий много. Не угадаешь, на чей зуб большебродский ломоть попадет.
— Все от нас, все от нас везут, — сокрушалась Серафима, наблюдая за сыном, переступающим по сходням мелкими шагами.

— погоди, мать, — успокоил Платон, — дай стране от беды оклематься. Мы тут, в тайге, считай, запазушную жизнь ведем. Выдюжим. Знай, у солдата брюхо хорошо урчать умеет. На войне его первая родственница — кухня полевая. Поешь крепенько и винтовка — не теща.

Старик подсобил забросить на плечи счетовода Гаврилина залатанный мешок. Из-под него юркнула крупная мышь, сиганула на песок. Мальчишки за ней.

— Хотела нахлебница из деревни деру дать. — Платон сложил руки на груди. — Думала: в колхозном амбаре ничего не останется. Ошиблась. На трудодень зерно и турнепс дадут.

Недолго подержал Васюган на темном зеркале плеса ведомую катером буксирницу. Скрылась за излучкой, будто вошла в серое холодное тальниковье, и оно сомкнулось разом, упрятало подальше от глаз плавучий амбар со свежим колхозным зерном.

19

Великую тоску наводили отлетающие птицы. Осень быстро покидала васюганскую землю. Наступил последний грустный период — воздвижение. Природа привела в движение всех, кого могла устроить неизменным приходом долгая зима.

Серая пятнистая гадюка свернулась на кочке клубком, настороженно подняв плоскую, суженную ко рту голову. Ее глубокая потайная лежанка находилась неподалеку под пнем-выворотнем. Теплым, сухим местом, где раньше была корневая отвилка, змея пользовалась второй год из-за выгодного расположения. С одной стороны тянулись поля, изобилующие мышами. С другой водянистое болотце для утоления жажды.

Солнечный припек был слабым. Гадюка довольствовалась им, как последним теплом, посылаемым перед затяжной спячкой. Близость пасущихся лошадей мешала уткнуть голову в кольцо своего тела, подремать на мягкой мшистой лежанке.

Серенький резвился возле матери, согреваясь пробежкой, радуясь тихому солнцу, освещающему сжатое поле. Он подлетел прямо к болотинке: змея вздрогнула, сильнее приподняла голову, зашипела. Любопытство повело жеребенка к кочке, там шевелилось что-то похожее на короткий кнут. Копытца утопали в сыром мху. Забыв о предосторожности, Серенький медленно подходил к пятнистому кольцу, вытянув голову и приносясь. Злая потревоженная особа не стала спасаться бегством. Скрутив до отказа кольчатую пружину, метнулась к голове жеребенка, желая испугом проучить нарушителя ее уединения. Резкий прыжок в сторону и передние ноги напуганного животного оказались в небольшом оконце трясины. Попытка вытащить разом обе ноги ни к чему не привела: в холодном зеленом месиве не находилось опоры. Удалось выдернуть левую ногу, переставить на мшистую подушку: она провалилась под тяжестью тела. Страдалец еще не звал на помощь мать, пытаясь справиться с мертвой хваткой болота, не догадываясь о его молчаливой скрытой силе.

Гадюка успела заползти в темную отнорину, устланную мягкой, шелковистой травой.

Жеребенок ложился на левый, на правый бок. Пробовал освободиться из болотного плена катом. Чем глубже засасывало ноги, тем обжигающе становилась булькающая жижа. Захлопало, зачавкало под тугим животом. Послышалось зовущее на помощь ржание. Пурга встрепенулась, отозвалась ответным раскатистым голосом. В нем слышалось все — пугающая неизвестность, готовность немедленно явиться на зов, надежда на помощь со стороны. Она вприпрыжку побежала к краю поля. Перед стеной кустарников остановилась, осторожно побрела напрямую, царапая тело шипами боярки. Под копытами пошел прогибистый мох. Боясь неожиданного подвоха болота, опустилась на колени, поползла. Попавший в беду беспрестанно оглашал округу жалостливым, переливчатым криком, торопил мать.

Добравшись до жеребенка, мать для успокоения принялась лизать его. Потыкалась мордой в мох, в жижу, отыскала топкую и твердую границу. Хотела губами определить нахождение передних ног малыша, они почти полностью скрылись в торфянистой массе. Сильным боданием в бок Пурга стала выталкивать пленника. Инстинкт подсказывал ей не подниматься с коленей. Долго мучилась лошадь, измазав себя до глаз вонючей бурой кашей. От ледящей воды Серенький вздрагивал всем телом. Мать подползла ближе к несчастливцу, подсунула храп под его шею. Немного удалось приподнять жеребенка. Храп соскальзывал с маленькой гладкой покатости.

Пурга сильно ухватила зубами за гривенку, потащила на себя. Колени утопали в булькающей жиже. Вырвав жеребенка из пасти болота, мать увязла в нем сама: трясина никак не могла обойтись без жертвы. Ноги уходили глубоко в топь.

Серенького трясло. Он побрел к матери, та властным, отпугивающим криком гнала его от опасного места. Долго пурхалась слепая в проклятом оконце: оно не светило удачу. Кто-то упрямо тянул в ледяную жуть. Пурга опасалась выдавать голосом тревогу. Подскачет из жалости несмышленьш, вновь угодит в ловушку.

А несмышленьш в эту минуту летел во всю свою жеребеночью прыть к деревне, к людям. Он оказался сообразительнее, чем думала о нем мать. На подбеге к конному двору залился звенящим прерывистым плачем. Ни Захара, ни помощника не было. С выгнутым хвостом, перепачканный липким торфом жеребенок понесся по улице к запрудинской избе. Он часто останавливался с матерью возле голубой скрипучей калитки.

Бабушка Зиновия обломком старой косы скоблила крыльцо, смывала наносную осеннюю грязь. Увидав за оградой суесящегося возбужденного Серенького, крикнула в избу:

— Вну-у-у-ук! Глянь-ка!

Заметив конюха, жеребенок трубно взревел, подпрыгнул на жухлой траве. Никогда не слышал Захар такого отчаянного голоса. К избе подошел счетовод, прибежали братья Басалаевы.

— Что с ним? — Гаврилин посмотрел на бесноватого малыша. Он успел отбежать от калитки.

Пригарцовывая, как бы звал за собой людей.

— Пурга в беде, — определил Захар. — Наверное, этого пузанчика вытащила из болота, сама угодила.

Видишь, грязью-грясинницей весь перепачкан?

Взяли топоры, веревки, заспешили за четырехногим проводником.

Он постоянно оглядывался, торопил: ну, чего же вы так медленно? Счетовод долго бежать не мог, схватился за грудь.

Переходя на шаг, крикнул:

— Жмите... Пока ваги вырубите — подойду.

С трудом вызволили Пургу из болота. Вывели к краю поля. Ее шатало. Колотила крупная дрожь. Парни сдернули рубахи, принялись растирать лопатки, передние ноги. Мать и малыш постоянно лизали друг друга.

На ферме в кормокухне нагрели котел воды, обмыли страдальцев. За восьмилетнюю жизнь слаботелая кобыла успела переболеть стригущим лишаем, неоднократно гриппом, непроходимостью кишечника, инфекционным заболеванием с коротким названием мыт. Мытарилась лошадь от разных напастей. Текла из носа гнойная жидкость. Опухали подчелюстные узлы. Мучил страшный кровавый понос, колики кишечника. Ощущалась постоянная резь суставов.

Летом Захар ездил на обласке к старовеерам за медом для больной матери. Осталось еще полтуеска. С разрешения бабушки и дедушки развел его в ведре теплой воды, сполпил простудившимся любимцам...

Улетели птицы — прилетели снега. Забили белыми крылами над Васюганом, заречьем, тихопольем. Мглистое низкое небо держалось на дымных столбах, поднятых деревенскими печами. Перед рекоставом носились сатанинские ветры, шлифуя яркий песок, нагоняя на берег тяжелые волны-заплески. Яростным порывом сломало дряхлый осокорь со всеми его молодыми отводками. Ветер свистел в выжженном дупле, вышвырнул оттуда гнездо какой-то пичуги. Раскачивал сваленный бескорный ствол, будто исполнял на нем дерзкий танец победителя.

В колхозе готовили санный обоз в тайгу. Ждали коренного снега, который откроет первопуток. Еще не раз пролетят над остывшей землей мокрые снежные хлопья, напоят ее последней влагой. Не для утоления жажды — для лучшей заковки морозом.

Явилось в положенный срок первозимье. Заскрипели сани. Потянулись по чистым крепким снегам подводы в урман, богатый высокими мачтовыми соснами. Не море ждет их для кораблей — небо для флота воздушного. В бумагах васюганский лес-мачтовик обозначен специальным термином — авиасосна.

Третий месяц таскает Пурга по дороге-ледянке к катищу звонкие сосны. Поводырем Олег Басалаев. Часто оставляет лошадь наедине с накатанной дорогой-санницей. Привычно бредет она по гладкой колее. На раскатах короткопалозные подсанки сползают, замедляют ход. Вперемежку с лошадьми упираются на лесовозной дороге быки. Натужно кашляют, скрипят ярмами, басисто мычат, выбрасывая из ноздрей клубы теплого пара.

Вечерами в бараке Платоша точит двуручные пилы, топоры. Получит с фронта весточку от сына — напильник поет в руках. Нет долго солдатских треугольничков — плачет. Металлический скрежет выворачивает душу.

Счетовод, потирая с мороза словно вареные руки, предлагает:

— Платон, ты бы хоть под патефон шумурыгал напильником.

— Пластинки иглой затоптаны, хуже пилы скрипят. С моим шумком можно мириться. Послушал бы при заточке матерые продольные пилы. Вот где писку-визгу... Потаскаешь денек такую пилушку — полбарана к столу подавай. Верховой пильщик за разметкой на бревне следит. Низовой жмурится от летящих опилок. Тяга мой, царство ему небесное, пять лет наемной пильщиной занимался. В яме на низу стоял. Меня-огольца на подмогу брал: я ему опилки из глаз кончиком языка вызволял.

Захар и Васёк — вальщики. Составляют один спарок с начала лесозаготовок. Обрубщица сучьев Варюша «причесывает» топором сосновые туши. Ходит возле поверженного ствола, утаптывает пимами глубокий снег. Парни дали ей толковый совет: оставлять посередине сосны толстый сучок, легче таким рычагом дерево кантовать. Ребята помогают поворачивать дерево с бочка на бочок. Быкам и лошадям дают попеременно однодневный отдых. Пурга по-прежнему под покровительством Захара. Временное жилище «лесовозов» укреплено лапником, брусками снега. В конюшне тепло от дыхания животных.

С рассветом барак пустеет. Повариха Августина Басалаева вместе со всеми уходит на деляну, работает часа два. По возвращении успевают приготовить обед. Для экономии времени наварили, натолкли несколько ведер картошки. Из толченки накатали колобков, заморозили. Занесешь с улицы картофельные катыши — гремят, как костяные. Несколько минут на разогрев и главное кушанье лесорубов готово.

Однажды оставленная на отдых Пурга почувствовала едкий запах. Он исходил не от костра, не от печей. К тем дымам кобыла привыкла, знала их. Настороженная тишина, разлитая вокруг конюшни, барака, баньки, странный запах, идущий со стороны человеческого жилища, вынудили слепую оглашенно заржать. Повариха, возвращаясь с деляны, уловила в лошадином переполохе какую-то опасность, опрометью побежала по тропе.

Из щелей барачной двери шел дым. Августина рванула за ручку, закашлялась. Возле печки догорали чьи-то валенки, остался только черный ободок голенища. Минута-другая, огонь попал бы на свисающее с нар одеяло... прощай барак и стоящая неподалеку конюшня.

Подцепив кочергой обугленные пимы, повариха вышвырнула их на снег, затоптала. Сердце колотилось от перенесенного страха. Августина представила бедственную картину пожара. Огонь неостановимо полыхал перед глазами напуганной женщины. Схватила за голову, опустила на крылечко таежной избы. Стиснула веки: не удалось погасить большое воображение. Пламя хлестало, пожирало просушенные за года барачные сосновые бревна. С шипением и треском разлетались красные головешки. Загорелось сено, огонь перебросился к конюшне. В ней в беспамятстве носилась слепая лошадь с жеребенком.

«Ма-ма род-ная! — стонала Августина, сдавив руками голову, — и зачем я перед уходом бросила в печь еще два полена?!»

Предотвратившей беду Пурге повариха тайком скормила полбуханки артельного хлеба.

Перед самой распутицей колхозники покинули второй урман.

Платоша после тайги слег в постель. В горячке болезни ему мерещились пилы — двуручные, лучковые, продольные. Зубья впивались в него, старик напильником как саблей отбивался от них. За печкой напевал сверчок: больному представлялись летящие опилки. Сыпались они с шорохом, наметали холмики, горы.

Становилось лучше, поднимался, брел к черной шляпе хриплого репродуктора. Слушал сводки Совинформбюро, не подаст ли радио весточку о томской 366-й стрелковой дивизии, в которой воевал сынок. В конце сорок первого года дивизия влилась в состав второй ударной армии. Старый вояка знал, что скрывается под словом «ударная».

В середине марта сорок второго года приказом Верховного главнокомандующего томская дивизия получила наименование 19 гвардейской.

Не отголоски — громкие голоса славы раздавались с фронта о воинах-сибиряках. Старик ахал от восхищения, щипал Зиновию за бока. Приплясывал с ухватом у русской печки, подсвистывал сверчком.

— Чему радуешься?! — ворчала Зиновия. — Фриц к Москве прется.

— Это маневр. Заманивают его. Так и с французами поступили. Спит вечным сном Кутузов — Жуков не дремлет. Ай да молодцы-сибирцы!

— Вразуми тогда, — не унималась старушка, — почему из центра в Томск заводы эвакуируют?

— Вот недотепа! Потому эвакуируют, чтобы вдальчке от фронта спокойненько снаряды точили, фашистам укорот готовили.

Комсомольцы возглавили в Больших Бродах сбор средств в фонд Оборона. Для постройки авиаэскадрильи «Комсомолец Нарыма» успели собрать более одиннадцати тысяч. Нарымский округ сливал свои трудовые сбережения для производства боевых самолетов и танков.

При бледном свете воскового огарка Фросюшка перебирала рубли. Заскорузлым ногтем разглаживала уголки, складывала махристые бумажки кучкой. Взяв в ладошки ассигнацию поновее, разглядывала ее, гладила, прикладывалась синюшными губами.

— Пте-е-енчики мои, — нашептывала Фрося, облокотясь на шаткий, некрашенный стол. — Отросли крылышки... лететь пора...

Ей подавали милостыньки хлебом, луковичками, рублями, обносками одежды, обмылками, катушками, на которых оставалось по два-три витка ниток. Нитяные подношения всегда доставляли восторг. Рубли складывала в берестяной туесок: в уютном гнездышке отсиживались ее бесперые птенчики. Медленно росли числом.

Время от времени вытряхивала невеликое богатство. Смятые рубли шевелились, разминая желтые, отлежалые бока.

— Цып, цып, цып, — играла с ними полоумка, посыпая из пальцев воображаемое зерно.

Долго не отрастали крылышки у ее выводка. Настало время отправить его в путь.

Торчала у конторы с рассвета, прижав туесок к груди, будто малютку. Видела недавно: выкладывали перед Захаром в конторе птичек покрупнее. Считал на столе, заносил сумму в какую-то бумагу.

Стоял оттепельный апрель. Фросюшку забавляли нацеленные с крыши конторы сосульки. Она вздрогнула, услышав свое имя. Гаврилин приходил рано. Мизерны были колхозные доходы. Вся негромкая цифирь помещалась в голове. Счетовод считал долгом постоянно ворошить на счетах накопленные килограммы зерна, гороха, турнепса. Аккуратно вел счет приплоду свиней, лошадей и коров.

Увидев счетовода, Фросюшка конфузливо спрятала туесок за спину.

— Не отберу. Чего боишься?

— Никому не отдам... Захару отдам, — твердила женщина, пятясь от крыльца.

Тридцать один Фросюшкин рубль был аккуратно вписан в ведомость фондового сбора. Второпях Запрудин забыл пожать руку за денежное пожертвование. Минуты две несчастная топталась возле стола.

— Передумала, Фрося? Назад возьмешь птенчиков?

Отрицательно покачала головой, прикрытой платком, подаренным когда-то Ксенией. Правая рука, дрожа, медленно отходила от бедра. Заметив ее, парень стукнул себя в лоб.

— Прости, родная!

Крепкое рукопожатие настолько обрадовало женщину, что она с прискоком выбежала из председательского кабинета.

Почта приходила в деревню редко. Далеко слышался с Васюгана поддужный колокольчик. С надеждой и обмирающим страхом ждали приезда почтовой кошевки. Война была далеко от Больших Бродов, но ее жуткое, недреманное око денно и ночью следило за всеми, живущими в тылу. Предрешала судьбы. Нагоняла жуть.

Почта оставила в конторе посылку Августине Басалаевой, кипу газет, несколько писем. Кошевка помчалась вверх по васюганскому зимнику.

Тютюнников из всех писем выделил одно — плотное, со строгим угловым штампом на конверте. Оно адресовалось Запрудиним. Держал, чувствуя бегущий по руке ток. Душа-вещунья предсказала: война сотворила страшную беду. На упрямой бумаге ее пожива, ее неотвратимая жертва. Разглядывали письмо со счетоводом на свет, слегка мяли — шуршащий конверт не выдавал тайну. Положив эту тайну на ведомость по сбору оборонных денег, председатель до хруста сжал кулаки.

Из всего машинописного текста официальной бумаги Захар, как горящую головню, выхватил мигом три слова — пал смертью храбрых. Ошеломленный известием, сел мимо табуретки, ударился головой о стену. Василий Сергеевич помог подняться, крепко обнял парня за плечи. Долго перегорали в душе слова утешения. Осталось одно, не подвластное огню:

— Мужайся!

Председатель держал за плечи вздрагивающего от глухих рыданий Захара, глаза невольно бегали по строчкам похоронки: «...Дорога Новгород-Ленинград... в январе 1942 года... братская могила... Старая Кереть...»

В полутьме от горя бродил Запрудин за деревней. Оглушенный громом несчастья, не замечал перед собой лывы снежной воды, не слышал пения птиц, лепета первых ручьев. Его искала Варя. Никого не хотелось видеть. Уходил от людей, унося с собой страдание, ощущая в сердце его неутихающее жжение.

Безжалостная война навечно взяла у матери и отца — сына, у сына и дочерей — отца. Переживут ли старики известие о гибели Якова? Выходит, война в одном человеке убивает двух и больше. Для кого-то поверженный солдат или офицер мог быть братом, племянником, дедом. Такое многомерное измерение смерти поразило Захара.

Он решил пока не говорить дедушке с бабушкой о смерти их сына. Предупредил об этом всех, кто знал о похоронке. Ведь не сообщили же отцу о смерти Ксении. Вышло — к лучшему. Святая оправданная ложь во спасение, возможно, отдаст кончину пожилых людей. Дома, не умея скрыть на лице печаль, внук сослался на сильное недомогание.

Май проиграл на васюганских плесах звонкую ледоходную песню. Природа с завидной последовательностью проявляла к земле нерасторжимую любовь.

Вновь болотно-гаежная река, словно неожиданно прознав о своей силе, приняла на себя наспинный груз. Тихим летом проносилась по разбухенной воде авиасосна. Весна предоставила ей широкую улицу, убрав с пути последние льдины.

— Васюган на полозья стал, — заметил на берегу Платон, растирая ноющую грудь. — По бывшей санной дороге прет — не оглянется.

Тютюнников с молодыми колхозниками стоял рядом, провожая глазами золотостоволое богатство второго урмана. Представил: по обским притокам идет трудный лесосплав первой военной весны. Кеть и Тым, Чулым и Парабель без задержки двинули к своим устьям зимний труд лесорубов. Стекает древесина к Обиматушке. Она тоже толком распорядится своей силой: поведет лес в плотях, доставит груженные баржи в Томск и Новосибирск. Эти тяжелые литые стволы молчат до поры до времени. И они ударят по врагу в отведенный час.

Отсеялись в середине июня.

Колхозу впервые был доведен план по сбору живицы. Отрядили небольшую бригаду, назначив старшим Гаврилина. Захар предложил взять в урман Пургу для вьючной вывозки живицы. Платон изготовил двухведерные бочонки под сосновую смолу. Притороченные к седлу, они не будут обременительны для слепой лошади.

Запрудин был рад: наконец-то избавится от долгих вопрошающих взглядов Платона, бабушки. Тягостно было носить в сердце груз скрываемого известия о гибели отца. Не раз представлялось внуку: старики догадываются о беде. Даже Маруся и Стешенька стали пристально, испытывающе всматриваться в глаза брата. «В тайгу! В тайгу! Подальше от гнетущей атмосферы, сгустившейся над охраняемой тайной».

20

Медленно текла по стволowym бороздкам смола в жестяные воронки. Высачивалась из сосен по стреловидным нарезам янтарная капель.

Прошли две легкие грозы. Казалось, не сырь болот выпаривает тьму гнуса — он сыплется из грузных надвершинных туч.

Под нетяжелым грузом Пурга ходила легко, с небольшой раскачкой. Быстро привыкла к необычному выюку. Избежать наминок, натертостей спины помогли два потника, подложенные под седло. С тропы, где проходила лошадь, срубили торчащие сучки. Расчистили колодистые места. Затаренную живицу отвозили к берегу Васюгана. Присматривали толстомерные сушины для плота.

Ночью пронесся над тайгой ураганный ветер. В короткие затишья слышался нарастающий шум ливня. Захар выполз из шалаша присмотреть за Пургой. По наброшенной на голову брезентушке обрушной дождь, словно барабанными палочками, нарывал веселый марш. Жилой плотного синеватого огня полыхнула в полнеба молния. Осветила понурую лошадь под матерым кедром, горушку приготовленной травы. Отсветы молнии полыхнули по зеленой стене леса. Не утонули в хвойном мраке — пробили его до мшисто-багульникового низа. От раскатистого грома лошадь встрепенулась. Захар похлопал ее по шее, потрогал спину. Она была почти суха: кедровые лапы перехватывали, гасили дождебойные струи. Срывались редкие, тяжелые капли. Крона гудела и трепыхалась огромным парусом уходящего в пучину корабля.

Где-то в глуби леса слышался треск и шум сбитых с ног деревьев. Басистые громы читали им отходные молитвы.

Старый, обессиленный медведь переждал грозу в земляном углублении, лежа под нависающим козырьком из моха, травы и кустарников. Косые ливневые струи мочили только лапы и клочковатую бурую шерсть на брюхе. В такую сырь нестерпимо чесалось тело. Уютное положение, подошедшая с годами лень заставляли терпеливо переносить противный зуд.

В яме сидел плотоядный хитрый зверина с отметинами капканов, пуль и лосиных рогов. Не судьба хранила его в васюганской тайге — оберегали сила, осторожность, дьявольская увертливость и находчивость. В легкий дождь он не стал бы отсиживаться в закутке. Теперь тайга исходила пугающим грохотом. Самое время отлежаться, переждать буйство природы. От его грозных лап не уходили когда-то не только большебродские коровы и подтелки, но и десятигодовалые лоси. Он задирали их с беспощадностью урманного властелина. Не всегда избегал коровых и сохатинных рогов. Каждая новая нанесенная в схватке рана делала его разъяреннее, осмелее и хитрее. Выслеживали охотники, стреляли по матерому зверю, пробовали заловить петлей и капканами. Пули ранили не смертельно. Капканные пружины отбивали от лап сухожилия, когти, не могли остопорить ушлого медведя. Хромая, скрывался в чащобе, зализывал раны, находил и жорко жрал целительные травы.

Людей, их поливающие огнем палки стал ненавидеть давно, будучи пестуном. Он был ранен рикошетом в лопатку на овсянице. Через две ночи в отместку переворошил на поле суслоны, расшвырял по кустам снопы. Сильными лапами пропахал по стерне глубокие борозды — предупреждающие знаки о будущей беспощадной мести.

Там, где шел сбор живицы, была его унаследованная издавна территория. Неподалеку от временного логова вперемежку с пустыми стояли невывезенные бочонки со смолой. Озорство или злость, что в них не медок, вынудили медведя схватить пустую бочку — хитрец не желал пачкать лапы в смоле — садануть по днищу

наполненной. Начавшаяся гроза не дала расправиться с остальными поделками деда Платона. Клепка была подогнана плотно, крепко опоясана обручами. Бочонки делались без расчета на медвежьи лапищи. Разбитые, лежали они на мху, клепка и обручи заливались липучей живицей.

К рассвету ураган утих. Тайга еще наполнилась свистом и гомоном неулетевших ветров. Медведь покинул лежанку, брел по направлению Васюгана.

Люди знали о близости зверя. Не раз натыкались на его свежие следы, кучи помета. Лошадь одну не оставляли. Увидев поутру разбитые бочки, Гаврилин, стесняясь ребят, выругался шепотным матерком.

— Надо выследить. Это штучки Отчаянного.

— Надо! — подтвердили в голос Захар и Васёк.

Мотая буро-черной головой, Отчаянный обходил лесные завалы. Ураган натворил дел: лежали на земле, повисали на стволах вывороченные с корнями березы и сосны. Валялся разломанный от падения сухостойник. Мох сплошь был покрыт сорванными ветками, усыпан листвой и хвоей.

Долгая берложья жизнь, существование под капризным нарымским небом убавили у медведя слух. Его приходилось наверстывать верхним чутьем: часто поднимал морду с подвижным носом, втягивал сырой воздух настороженной тайги.

От реки направился к стоянке людей. Долго обнюхивал место под могучим кедром, где пережидала ночную суматоху природы Пурга. Запах животного дразнил, посылал приятные воспоминания былых боев и побед. Подойти к шалашу боялся. Мешала неотвязная старческая робость, да и всегда был невыносим дух человеческого жилья.

Побрел неподалеку от тропы сборщиков живицы, перегораживая ее по звериной привычке заломанными березками и рябиной. Деревья поскрипывали, постанывали от перенесенного ужаса ночи. Ветер срывал нависшие ветки. От всякого шума Отчаянный вздрагивал, опускал башку и глушил во мху одышливое сопение. Второй год приходилось ему довольствоваться муравьями, шишкой-падалицей, бурундучьими ореховыми кладами, кореньями. Кое-что изредка перепадало от пиршества других медведей. Все тягостнее становились берложьи перезимовки.

Давно были поставлены на медвежий учет все муравейники в радиусе таежного владения. Ему ли — грозе лосей, другой копытной живности — стоять сейчас в нищенской позе перед суетящейся мелкотой, наспех прожевывая, глотать живые крошки?! Они досаждают укусами, заползают в ноздри, в шерсть. Кажется, бесстрашные мураши, в спешке отправленные в пасть, даже в брюхе ухитрялись вцепиться в стенки кишок.

Увлеченный трапезой, Отчаянный прокараулил миг беды: сломанная бурей, низко нависшая сосна, упав, поймала его в западно толстых, срединных сучков, придавила нелегкой тушей. Слишком поздно долетел до глуховатого медведя-старичка шум летящей сосны. Резкий запоздалый скачок в сторону усилил боль от столкновения с деревом.

Он лежал распластанный на мху, ствол еще покачивался на черной, гладкошерстной хребтине. Ах, если бы была возможность собрать воедино лапы под живот, всей оставшейся силой поднять, сбросить ненавистную ловушку — она накрепко забастричила на мокрой земле. Из-под лап полетели волглые плети моха, брусничник, корни кустарника. Расшвыривал впереди себя торфянистую землю, обломки сосновых веток. За три разъяренных хватки перегрыз толстый корневой отвилоч.

Муравейник кишел. Охваченные паникой мизерные жильцы опрометью носились по своей сопочке. От ее подножия к медвежьей морде, всей туше двигались мстительным нашествием организованные полчища. От беспомощности, дикой злобы, боли, глупой случайности бедолага чуть не взревел. Пугала близость тропы и людей.

Ведомая Захаром Пурга шла с очередным грузом. Неожиданно, будто запнувшись о колодину, остановилась, дернула поводья.

— Что с тобой, хорошая моя? Устала? Ну отдохни.

Слепая раздувала ноздри, вскидывала голову, боязливо переминалась о выбоины тропы. Захар зорко всматривался в лесные прогалины, приглядывался к кустам, колеблемым ветром. Развернул Пургу на тропе: желанно, с торопливостью двинулась обратным ходом. Поводырь вновь попытался провести слепую через прежнее место остановки — повторилась та же картина. Лошадь натыкалась на невидимую преграду. Она заартачилась впервые: чуяла медведя. Захар хотел переупрямить кобылу, сильно дернул поводья, прикрикнул. Метнулась назад — притороченный к седлу бочонок ударился о близко стоящую слева сосну.

Привязав упряму, Захар сбросил с плеча одностволку, сошел с тропы. Отчаянный замер под сосной. Муравьи густо облепили морду. Он даже перестал выдувать их из ноздрей, тереться носом об мох. Близость человека нагнала панический страх, не было духа предотвратить утробную слабость.

Побродив неподалеку от тропы, не обнаружив следов медведя, Захар вернулся, кое-как провел уросливую Пургу через заколдованное место.

Дважды удалялись человек и лошадь. Всякий раз медведь принимался с ожесточением вести под себя подкоп. Приходило чувство неминуемого конца. Оно мгновенно сменялось звериной решительностью. Глубже становилась яма. Оседающая сосна не освобождала хребтину, но помаленьку уменьшался тяжелый гнет.

Сборщики живицы возвращались на стан все вместе. Лайка Гаврилина убежала вперед по тропе. Вскоре залилась оглашенным лаем. С ружьями наперевес подкрались к западне. Окровавленная собака лежала неподалеку от муравейника: это была последняя жертва старого медведя. Почти освобожденный из ловушки, подстроенной природой, он нанес верный удар лапой по зазевавшейся лайке. Забитая шерстью собачья пасть была перекошена. Судорожно дрыгались задние ноги.

— Стреляй ты! — предложил счетовод Захару.

Парень вскинул курковку, прицелился. Опустил ствол.

— В такого... не могу...

Гаврилин не стал испытывать совесть Васьки. С первого выстрела прекратил земное существование Отчаянного. Он не упал — уткнулся в мох на согнутых лапах, словно его свалила старческая дрема.

Лайку зарыли неподалеку...

Большой плот покачивался на волнах.

— Вот, Вася, возвращаемся с живицей и трофеем, — басил довольный Гаврилин, налегая на рулевое весло, приделанное к середине плота. — Захар с Пургой вперед нас в деревню попадут. Всех свежатинкой накормим. Мясо, поди, жесткое, мясорубка не возьмет. Ничего, по-военному времени зубы все перемят.

Под вечер Захар с ребятей поджидали плот на берегу. Увлеченный рассказом о медведе, не сразу услышал отдаленный перестук мотора. Почти одновременно показались плот и привычный васюганским плесам неутомимый катер. Запрудин ждал появления из-за поворота неуклюжей буксирницы, увозившей из Больших Бродов ратников, лошадей, зерно. Однако выползла большая, черная посудина.

Плот причалили. Гаврилин раздавал колхозникам мясо. Старался никого не обделить, выдавая медвежатину по количеству едоков в семье.

Катерок упирался изо всех силенок. Новая просмоленная баржа, какой-то груз на ней, помеха встречного течения держали его почти на месте.

Тютюнников издали разглядел на палубе трактор. Он являлся ему в снах, вырисовывался в памяти из проштудированных книг. Прежде чем выразить восторг, Василий Сергеевич нетерпеливо потирал руки, еще с полминуты пялил широко открытые глаза на колеса, надстройку над ними. Он силился окончательно опознать могучее существо, рожденное на заводе.

— Гавриилин! Смотриии! Да это же оон — трактор!

Председатель принялся озорно приплясывать на песке. Обнял, поцеловал подвернувшуюся Августину. Взырошил волосы Захару. Потеребил за нос какого-то мальчонка. Тот не успел вовремя подшмыгнуть висюльку. Хозяин колхоза, испачкав пальцы, не обратил на этот пустяк внимание. Ребятишки во всю прыть понеслись по берегу навстречу катеру.

У трактора стоял бочком человек в военной форме. Председатель успел разглядеть на барже бочки, громоздкие ящики. В военном не мог признать никого из знакомых. Что-то было похоже на Чеботарева, ушедшего на войну вместе с сыном Гошкой. «Нет, не он, — отверг предположение Василий Сергеевич, — должно быть, сопровождающий технику. Трактор ведь — не игрушка».

Пока причаливали баржу, Захар зорко разглядывал человека в зеленоватой выгоревшей обмундировке. Он по-прежнему стоял у трактора в профиль, боясь на шаг отлучиться от диковинной машины, покинуть кем-то вверенный важный пост. Прищуренным взглядом этот часовой высматривал кого-то в толпе. Было видно, как глубоко дышат на плечах покоробленные погоны.

Крупными, торопливыми шагами подошел к борту. Ветер шевельнул пустой правый рукав, заправленный под ремень гимнастерки.

— Че берег затих?! Музыки не слышу, председатель!

— Яков?! Запрудин?!

— Он самый!

Васюганское подъярье взревело возгласами ликования, ахами, рыданием, стоном.

Захара обморочно качнуло. Друзья стиснули его в объятьях свалившейся радости.

Трудно было узнать Якова. Год войны щедро осыпал голову серебром. Сквозь броскую седину налетом пороховой гари пробивались черноватые прожилки. Лицо осунулось, заострилось. На нем вкривь и вкось красно-бурыми ровиками лежали шрамы. За нижней, рассеченной губой виднелись вершинки зубов: ощера не

делала выражение запрудинского лица злым. Начальный год войны не сумел выплавить металл из его голоса. Он остался неизменным — зычным, с приятными тембровыми призвуками.

— Воскресшему из мертвых — горячий колхозный привет! — от всего большебродского мира возвестил председатель. Обнялись в три крепких руки. Тютюнников ощутил костистое тело. — Ну, сын, принимай отца!

На непослушных, одеревенелых ногах подходил Захар к незнакомцу. Не мог поверить, что безрукий, шуплый, с обезображенным лицом человек — родной отец. Недавно внесенный фронтовой канцелярией в похоронку, стоит он на васюганском берегу, пробует шутить с колхозниками, возбужденный, показывает рукой на катер. Когда Захар высмотрел приметное родимое пятнышко на сморщенной шее отца, увидел не потревоженные свинцом и сталью глубокие глаза — тоже крепко, по-председательски обнял бату, прижался к груди, ощущая шершавой щекой холодок желтоватой медали.

— Ксении что-то не вижу! — глядя на толпу выдохнул солдат.

В замутненной памяти Захара не погасло суровое слово, услышанное в председательском кабинете после получения похоронки. Напутственное сердцу слово учило великому терпению жизни. Принятый от Тютюнникова непотухаемый огонь полыхнул из сыновьих уст:

— Мужайся, отец!..

Зиновия выстанывала материнскую боль с горькими причитаниями:

— Сыночек мой... да за что же они тебя так?! Убивцы проклятущие!..

Платон стоял перед солдатом войны с несогбенной головой, принимая свершенное за неизбежную дань многоликой судьбе.

Подведенные к отцу Маруся и Стешенька взревели разом. Заливаясь слезами, младшенькая визгливо кричала на весь берег:

— Дядька-а! Отпусти-и!

Сощурив от внезапной боли глаза, поставил дочку на землю, спросил Захара:

— В бочонках на плоту живица?.. Вот и будем вместо живой воды живой васюганской смолой сердца наши заживлять.

Пошли толпой по взвозу. Каждый старался потрогать солдата, сказать теплые, ласковые слова. Убитая горем мать гладила пустой рукав и продолжала стонать. Платон с внуком вели ее под руки.

Возбужденная Фросюшка ткнула пальцем в яркую медаль на гимнастерке, погладила ратника по седым кудрям.

Кончился богатый событиями день. Давно обжила нарымскую землю северная ночь. В запрудинской избе одна гулкая волна разговоров сменялась другой: по бурному морю горя, радости, тоски, неисчислимых будней плыла крепкодонная жизнь. Не предвиделось тихих, укромных гаваней...

Пришло светлое утро. К погосту вела муравчатая тропинка. Она начиналась от раздорожицы. Крепко был завязан узел дорог, ведущих к полям, ферме и деревенскому кладбищу.

Живые шли к нему. Яков никого не попрекнул за невинную утайку смерти Ксении. Как бы она увидала его таким? Вез в подарок жене шелковый платок. Не терпелось повязать голову Ксенюшке — приходится набрасывать его на сосновые плечи кресту. Услышишь ли запоздалое прощение прошедшего сквозь огонь солдата? Услышь. Мы остались жить за тебя...

На Пурге подвезли к барже напиленный брус. Гаврилин с Захаром сколачивали его скобами.

Председатель успел ощупать трактор от мотора до колесных «шпор».

— Чего ж ты, Яшенька, не позвонил, не предупредил? Мы бы ему попону приготовили — навес.

— Успеем. Хотел радость на блюде поднести. Документы в райцентре оформишь. Дали под честное слово.

— В похоронке какая-то Старая Кересть названа?

— Была там буча. Близко Клепцы, Мясной бор. Поистине — мясной. Танки на подкрепление стрелковой дивизии двинулись... понаделали из фашистов отбивных... наших порядком легло... меня уложили в братскую спаленку. Очнулся, среди трупов лежу. Кто-то крикнул: «Лопаты!» Догадка взяла: скоро земля сырая последний приговор вынесет. Не знаю, где силы отыскал — пальцем большим шевельнул. Пилотка со звездочкой наклонилась. Тот же сиплый голос: «Эй, санитары!»

Перестает стучать по скобам Захар, вслушивается в рассказ отца. Вчера ни слова о себе. Про колхоз, про новости деревенские расспрашивал.

Невиданное дело — сейчас оживет тупомордое, колесное чудище. Серафима заранее приготовила пальцы для мольбы. Держала их под свисающим уголком шерстяной шали. Собирали в прошедшую зиму теплые вещи фронтовикам. Бабушка принесла невзрачную шаленку, положила перед Гаврилиным на стол: «Прими, много подарка нет». — «Донашивай, Серафимушка, сама. Тебе тоже сугрев нужен».

Гармонисты Иванка и Захар стояли наготове возле широких многобрусных сходней. Проиграть в две гармошки веселый марш Яков велел заранее. Иначе громобойный трактор разнесет музыку в клочья.

Кончился короткий туш. Взревел мотор. Неслыханный дотоле шум поднял в воздух все воронье и сорочье. Серафима зажала уши, прикрыла шалью лицо, забыв помолиться богу о часе восшествия на колхозную землю первого трактора. Стоявшая в стороне Пурга вырвала из Васькиных рук поводья, метнулась к яру. Ее догнал Захар, прокричал в самое ухо:

— Дурочка! Подсоба твоя пришла!

Колесник упорно вползал по взвозу. Думалось: дай ему волю — он затащит на берег многотонную баржу вместе с лентой реки, пробьет брешь в яру, сомнет избы. Улыбчивым богом восседал на грохочущем стальном коне Яков. Кто-то вовремя оттолкнул обезумевшую от радости Фросюшку — она пыталась прямо из-под сверкающего колеса ловить в ладошки летящий песок.

Платон и Серафима отстали от толпы. Бабушка запоздало крестила вослед трактор. И в отдалении чувствовалось сотрясающее биение земли.

— Помнишь, Серафимушка, печалилась ты: все от нас, да от нас везут. Вон какой дар великий колхозу преподнесли. Сделай-ка пересчет на лошадок: два конных двора получится.

Пургу вел в поводу Захар. Она принюхивалась к глубокой дорожной колее, фыркала от незнакомого керосинового чада.

— Привыкай, дорогуша! Это тебе не газогенераторный. Отец сказал — заготовленную чурочку на растопку можно пускать. Он меня научит водить. Не бойся — я тебя не брошу. Мы все силы сольем в одну, могучую — для победы.

Пришедшим на деревенскую улицу праздником шествовал вдоль изб колесник, уминая тележные следы. До глубокой ноченьки Августина не могла разыскать сбежавшую от тракторного шума свинью.

На васюганскую землю долго не опускались летние сумерки.

Книга II.

В СНЕГАХ ГЛУБОКИХ

В темных лешачьих омутах Пельсы пасутся головастые разбойницы тихих вод — жоркие щуки, не брезгающие ни крысами, ни живыми веретенцами переплывающих гадюк. Сядет на омут утомленная небесным долгопутем утка, да тут же нырнет в пучину не по своей птичьей воле. Сперва в щучьей пасти хрустнут мягкие перепончатые лапки. Последней силой утомленных крыльев жертва забьется над поверхностью коричнево-агатовой воды, но зубастая омутная шельма поспешит заглубить добычу, утащить под заиленный карч. Минуту-другую потрепыхается в глуби пернатая пленница, обмякнет теплым тельцем и вместе с торопливыми пузырями, вылетающими из широкого плоского носа, испустит последний предсмертный всхлип.

Поодаль от непролазных береговых грядин подступают к Пельсе высокотравные луга, морошковые и клюквенные болотья. Одичалые травы, не ведающие о существовании сенокосилок и кос, плодятся самосевным расплодом и умирают на корню, повергнутые влажными предзимними снегами. Нарымские ярые грозы, секущие небеса длинными сверкающими кнутами молний, взогнят иногда горбатый, иссохлый осоколь. Раскатится от него по сухим слежалым травам трескучий быстролетный пал. Над метущимся огнем с бесполезным криком носятся не успевшие отгнездиться птицы. Под бушующим смерчем лопаются яйца, вспыхивают и моментально сгорают мягонькие свитые гнезда. Гудящий огонь завивает в воронки свои тугие гнезда. Языки пламени красноперыми птенцами скачут по слежалым перинам погибельных трав. Паловый огонь натывается в слепоте на Пельсу, на сырмошные болота. Постепенно чахнет, выстреливая черными хлопьями пырея и осоки. На месте пожара скоро выдурит новая непролазная трава и зима, подосланная природой, вновь подомнет их плотным белым грузом.

Подбегают к береговым яркам знобкие осинники, опрятные березнячки, выморочные карликовые сосенки. Протянется неровной полосой унылый горельник. Покажутся обескоренные, обесхвоенные деревья: сухостойник скрипуч, раскачист, имеет цвет обглоданных собаками мослов.

Надо иметь речке дерзость, продираясь по земле, отвергнутой всевышним, но взятой под опеку доброхотным солнцем. Струясь по лабиринтам заломов, обходя береговые вздутя кочек, упрятывая наддонные карчи, бревна-топляки, вырываясь на кратковременную свободу узких плесиков, торопится Пельса протоптать свой извилистый путик.

Думается: вот-вот уткнется она в гиблый трясинник, оставит темное колечко плеса на вершине ели, окунутой в воду, поднырнет да и не вынырнет из-под древесного хламья в какой-нибудь речной узине. Нет. Трясинник не оборол Пельсу. Завитушка плеса успела обмануть сваленную ель, не зацепиться за нее. И непролазный заломилще позади.

По сентяблям листобойные ветры маскируют омота и заводи палыми красками. Похожие на полумесяц листочки тальников, осиновые листья, словно аккуратно обкусанные по краям мелкими зубами, оброненная лиственницами отмершая хвоя, скинутые с плеч берез, черемух, рябин осенние обноски, все безропотно принимает вода, где еще недавно носились взапуски прыткие водомерки и выползали на ил крупные изумрудные жуки. Покружатся листья-паданцы в недолгом парении, оборвут короткий лет на иглах кедров и сосен, застрянут в никлых травах. Сметут их ветры в седловину Пельсы. За листопадом прольются холодные тоскливые дожди. Запасливые небеса вытряхнут вскоре первые неуверенные снега. Их крупные хлопья, пока не узнавая земли, откружатся в пробном танце, падут и исчезнут, предвещая новый всамделишный залет.

Морозы схватят Пельсу за бока, остопорят. Она вывернется и от них, сжав неумираемую воду.

Медведи и лоси пробили к живучей речке водопойные тропы. Кое-где они, запахнутые травами, неприметны для глаз. На болотах звери натропили сильно. Рядом в свежих погрызах осинки и сосновая молодежь. На мху кучи помета, размытого дождями и весенними подснежными водами.

Незадолго до Воздвиженья змеи подыскивают себе укромные подколодные местечки, становятся вялыми и малоподвижными. Заползают в сухоту углублений ящерицы, забываются до весны глухим сковывающим сном.

Кружатся возле берложных мест ожиревшие за кормовой сезон медведи. Подновляют подстилку, затыкают валежником и мхом дыры, всячески маскируют спаленку, дожидаясь коренного зимнего снега. По уловимому звериному инстинкту они беспромашно залягут под такой долгий снег, укрывающий доступ к берлоге и ее, облюбованную в давнишнем буревальнике.

Далеко верховье Пельсы. Далеко бежать воде до первого поселенья. Окатит луна единственным подслеповатым оком низинные приречные палестины, не вдруг разглядит завитые узких излучин. Обрушненья снега скроют тонкий земной надрез. Не понять — берега ли прорезываются сквозь сугробы или белые суметы выдают себя за некрутое побережье. Насвистывают ветры, гонят поземку. Невидимый размольтчик мельчит снег, торопит его по сыпучим барханам, прибывает к стволам и кустам. На фоне сахаристых снегов страшными истуканами проступают горельники: черная, непроглядная ночь оставила сторожей дозорить за дикой, прощенной богом землей. Кочуют поземки. Погуживают ветра. Натываются на белых просторах на разрушенную охотничью избушку, на одинокий крест с надломленной поперечиной. Кто лежит под опознавательным знаком смерти? Самоубивец, не достойный погребения на общем мирском кладбище? Зверовщик, помятый медведем до излома костей? Керженский раскольник, нашедший последний приют на холодной чужбине?

По прихоти солнца войдет в эти мертвые дали весна. Растворшит досыпающую Пельсу. Разгонит дрему почек: они откроют на светлый возрожденный мир клейкие, удивленные глаза. Доконает весна последний сугроб, последнюю сосульку на ветке ивы. Завороженные природой молодые воды найдут к речке самые верные и короткие тропки. Перестанет Пельса ерзать по завалежинному кривопутку, мазать бока о пористый торф и липучую глину. Под уверенный глас мая ринется напропалую по лугам и сограм, прихватит по пути несмелую воду озер. На высоких пнях и лобастых кочках будут отлеживаться голодные гадюки, высматривать со змеиного трона случайных мышей и кротов. Собьются на незатопляемые гривки суетливые зайцы, недавно сбросившие с себя зимние шубенки. Будут становиться столбиком, пытаясь усмотреть границу живых, текучих вод. Зайцы, потешные от спешки движений, примутся скрести лапками чесучее после линьки тело, выкусывать из шерсти досаждающих паразитов.

Остановится под осиной важная особа тайги — лосиха. Поведет чуткими ноздрями, вскинет на заячий островок всевидящие глаза. Фыркнет, бойко зашлепает по мелкой разбежной воде.

Не скоро заневестится черемуха, окрасит духмяной лепестковой белью берега, протяженное поймище. Распушенный кустистый вербняк свежо и молодо засияет золотом округлых почек, заманивая первых нетерпеливых пчел. Дикие сборщицы пыльцы медленно, нехотя ползают по сияющим куполкам, стряхивая с вербочек искристые пылинки.

Отзвонит, отструится весенний водогон. Оставит на стволах осокорей, на живучих тальниках ключья трав, отметины осиленного половодного подъема. Пельса вновь вместится в осыпные берега, сожмется в кольчатые плесы. Природа легко вертит сговорчивой речонкой: все сносит терпеливо, словно безропотная, трудолюбивая артельщица-нарымчанка.

Из сезона в сезон, из века в век нарымское понизовье меняет белый лик на зеленый, затем на желтый. Желтизна сменяется затяжной стойкой белизной. Попробуй, выжми румянец из скупой, с рождения обмороженной земли. Отдать бы ее за бесценнок кому угодно, да не поднимается у солнца щедрая рука. Нужна ему Сибирь — каленый орешек планеты — не из милости к отверженным далям. Завещало оно природе и небу вечный догляд за любым клочком суши и воды. Любит солнышко тутошний настырный народ. Недолго пожил на нарымские поселенцы на куличках у черта. Недолго терпели его проделки и прихоти. Взяли да и выжили черта на задворки, обломав разбойные рога, отрубив верткий хвостик.

Не налетом осаждал приобские рубежи всякий переселенческий люд. Не каждому по нраву земля, заставляющая человека выпотеть до последней капли.

Очень давно остяцкие и ненецкие кочующие стойбища расплескивали кругом жидкие дымы разборных юрт и чумов. Тайга стояла на зависть солнцу и небесам. Даже ураганы не могли задуть ни один зеленый огонь куполов. Тесно, в братском единении жили хвойным миром кормежные кедры, могучие, просмоленные природой сосны. Сохатый, опьяненный предбрачным поединком с самцом-соперником, ссечет нечаянно копытом юную сосенку — рядом вырастут пять. Набьет охотник ценной пушниной-рухлядью скрипучие нарты — в обильных хвойниках втрое больше наплодится пушной живности. Глубокие зимовальные ямы на Оби кишели от обилия осетров, стирающих от тесноты наспинные и боковые костяные шипы. Красные тучи спелой клюквы опускались по сентяблям на мшистые хляби, вспучины кочек. Стойкий багульниковый дух мешался со смородиновым ароматом. В цветение шиповника и черемухи благоухали берега проток и речек.

В положенный срок шишкопада летал по кедровникам веселый гремоток. Плоды устилали землю крупноворсистым ковром. Шишкой-паданкой лакомились птицы и зверьки. Жировали-пировали медведи, крепя себя силой на долгоснежную оседлую зиму.

Из сказки юга в северную быль летели с веселым кликом торопливые гуси-лебеди. Крикливые гагары, степенные мартины, драчливые по весне петушки-турухтаны, несметные стаи уток, скворцов, ласточек-береговушек славили возвращение в сырые, комариные края.

В Нарыме издавна плодился крепкий духом народ и крепкокрылые птицы.

В немилосердное время сколачивания колхозов везли в нарымское поречье приневоленный люд. Вытряхивали из барж по сырым глубинкам. Сытые крикливые конвойники блудливыми глазами еще в долгом водном пути приглядели себе грудастых молодух с тягашными ребятенками. Пока мужики-кормильцы рыли в спешке землянки под близкую зиму, конвойники тишком жулькали их жен и дочерей. Расплачивались хлебом, пустяшными украшениями, легкими поблажками. Вырывали у молодаек обет молчания, щелкая по вороненым стволам вытащенных из кобуры наганов.

«За какую веру страдаешь, народ?» — спрашивали спецпереселенцев заглянувшие на огонек охотники из старообрядцев.

«Зажиточная была у нас вера: две шубенки да две коровенки».

«Кто в гробике под сосной лежит?»

«Малец-грудничок, навек отлученный от титьки».

Волчьим смертным воем выли протяжные ветра. Поблизости земляночной зоны стучали топоры, вжикали пилы. Поднимали сугробный прах сваленные сосны. Лесины отсучковывали, сволакивали на первую рощесть. Сверкали маслянисто первые срубы.

Лютовали зимы, студили кровь. Лютовали разнузданные конвойники, остужали души. Терпи, неистребимый мужик-лямочник. Во спасение тебе отпущен вечный труд и на вечное пользование отданы ему твои руки. Не обессиль до срока. Не отдай себя на пагубу лжи.

Откроется взору солнца болотистая голяя, примкнет к разгонистому чистоснежью другая. Позабавится буйный буран, матовым мороком закроет землю. Загонит по дуплам белок и соболей. Лоси умчатся в хвойники на отлежку.

Природа свергнет и это белое иго, вернет земле временный покой.

Пельса, со спины прижатая льдом и снегом, увертывается от груза и во тьме различая уготованный путь. По засугробленным берегам гривки приболотного криволеся. Вдруг засверкает раскаленными угольками рослый куст шиповника. Покажутся макушки полужанесенного снегом иван-чая: ветры не успели сдуть с голов опущенные семена. Искривленные полосы вездесущих тальников выдают скрытые границы Пельсы. Ее каткая вода все равно добежит до крупной реки. Незаметно прокрадется мимо редких охотничьих избышек, тихонько минует приречные кедровники, выхолненные природой сосняки. Речка-вьюнок подкочует к другой реке и затеряется в ее доверительных водах. Нарымские реки видят зимний мир через отдушины прорубей, в щели, вырубленные пешней для лошадиного водопоя.

Бежали на Пельсу чернолесьем и водопутьем старoverы-двуперстники. Заживо хоронили себя во лесах, чтобы не дать умереть упрямой вере, завещанной давно погребенными скитниками и скитницами. Надев неснимаемые вериги тайги, гонимцы за веру искали в северной глуши последний приют и безотказную услугу. Подальше от мирской суетливой и блудливой жизни. Поглубже в пучину христового омота, куда не доходит ни единое слово нового учения заблудших пастырей церкви, пустивших в разор старопечатные книги.

Смолчит, не выдаст гонимцев нарымская тайга. Не раскроет рта Пельса, хоть забей ее батогами, жги раскаленным железом, станови на дыбу. Не одного царя разъярило дьявольское упрямство большебородых откольников. По всея Руси мчались с верными гонцами указы. Ушла в разброд непослушная паства — царевы веления и молва простонародья не долетают до ушлых скрытников.

На купленных у остяков лодочках-долбушках везли бородатые нетерпимцы грузные книги, укутанные в холстину иконы, складни ювелирной работы, медные и бронзовые распятия. Захватили с собой лампадное масло, рожь, картошку для первого засева, топоры, сети, одежонку, конский волос на силки.

По берегу петлястым сухопутьем тащились женщины, дети, не рискнувшие садиться в качкие остяцкие челны.

Облюбовали пристанище на ярочке. Крестьясь, нашептывая молитвы, старцы обошли с иконами сосновый бор, чистые беломошники, озеро, выгнутое серпом. Кудлатые насупленные детинушки размотали тряпицы с топоров, повели в сторону солнцевосхода неширокую прорубку в густых кустарниках: отсекали пограничной чертой свои владения от земли мирян — табашников, безбородцев и разгуляев.

И встал скрытый соснами, невидимый с реки новый скит — прибежище гонимых, супротивных и непокорных божьих людишек. В ските, в той же извечной суете, тягуче и однообразно потекли дни. Строгие посты. Заученные молитвы. Пригибные до пола долгие поклоны. Праведные труды во благо живота своего. Появлялись рожденьши, принимаемые скитовской повитухой. Отпевание умерцев. Погребение. Под нудный взвой вьюг, под комариное тихозвенье струилось обетное житье. Не сыт обедом, сыт обетом. Знать, во имя кого принесена жертва, во имя кого со слезами умиления и радости можно войти в очистительный огонь, утолить последнюю жажду на дне омутища. Его держава на небеси и нет там обвалованных рвов, сторожевых башен с бойницами, пограничной размежевки. Он раз и навсегда сказал: это мое и оно во все стороны белого света.

Приезжали в скит из любопытства остяки, называемые в русских летописях пегой ордой. Прятали трубки, старались не дышать окуранными ртами на затаенных в глуши соседей. Узкоглазых инородцев дальше ворот не пускали. Подносили для питья воду в берестяных, свернутых воронкой сосудах. После ухода непрошенных гостей мирские кружки сразу же предавали огню на берегу Пельсы и пускали прах по течению вослед за отчальными остяцкими долбленками. Дары инородцев — вяленую и копченую рыбу, медвежью солонину, лосиную печень — закапывали в болото. После долго мыли руки с золой и песком, выдували из ноздрей душок от залежалого мяса.

Привезенные сошуренными аборигенами кедровые орехи скитовцы разбрасывали по березнякам и осинникам: там поднимался бодрый игластый лесок.

Видя основательность скитовской застройки, роскошные ухоженные бороды таинственных поселенцев, их смиренный божественный вид, остяки неумело крестились всей пятерней, перед старцами падали на колени и тыкались лбами в упругий сияющий мох.

Отъезжало доверчивое остячье до первого песчаного откоса, разводило костерок. За неимением сахара пили слегка подсоленный чай, настоянный на брусничнике, плодах шиповника и смородиновых листьях. Лопотливо балакали о лесном неочующем племени, отмежеванном от людей стеной тайги и молчания. Остяков настораживали высокие безщельные заборы неприветливых таежных скрытников. Легкие юрты охотников и рыбаков были доступны всем ветрам и гостям. Озаборенный скит разжигал любопытство: нетерпеливые карабкались на кедр, сквозь прорезь ветвей рассматривали ладные строения, опрятный широкий двор. Непонятным, диковинным было обиталище, остолбленное ошкуранными бревнами. Суровой, но праведной представлялась жизнь и вера святого братства на отбережье Пельсы.

Широколицый шаман из остяцкого стойбища бросил у яркого костра несколько слов запоздалого прозрения: зачем запустили в верховье речки подозрительных чужаков, не потребовали с них выкуп жар-водой. Не грех испросить сейчас жидкую плату в четыре ведерных туеса. Чего медлить? Послать переговорщиков. Если отринут предложение — взять скит осадой, тряхнуть погреба и сундуки. Посылаем дары, где ответное подношение? Небось, сидят, сторожат утайное золотишко, пересыпают на ладонях сверкающие бляшки. Отрядили гонцов на пяти широкодонных обласках. Замелькали еловые весла. Ближе скит — медленнее ползут долбушки. В головах нудливой мошкаррой толкуются мыслишки: правую ли требу задумали? Сказывали русские приобцы: староверы крепкой водой не поганят рты, ноздри табачком не набивают, не дымят трубками и самокрутками. Нет, надо выговорить дань. Заехала бородастая орава на Пельсу, ловит в реке, озерах рыбу, промышляет ловушками зверя и птицу, подчищает ягоду с болот, из урмана и даже не пускает на порог сосновой хоромины. Вшей, блох пугаются? Так это живность прибудная, неучтенная. Можно выжарить лохматыны, пропитать крепким пихтовым духом.

На первой долбушке царьком восседает щуплый, кожистый шаман. Посверкивает на усердного гребца зеркаликами секущих глаз. В ногах продымленный у костров бубен. Кожа на бубне тугая, в трещинах, продавливая от лихих ударов заговоренной колотушки, оббитой полосками шкуры выдры.

Приехали, потропили гуськом к скиту. Колотушка выбивала из утробы бубна глухое частое бумбуканье. Верткий шаман приплясывал на тропе, переваливался с боку на бок на кривых полусогнутых ногах. Орлиные, ясновидящие глаза остяцкого ведуна видели растерянность стойбищных переговорщиков, неторопливо вышагивающих встречь неизведанному и потому страшливому. Несли объемистые берестяные туеса с плотными кружками-затычками. Авось, откупятся остолбленные старцы, наполнят туеса жар-водой, крепкими медками, хмелевым пойлом: от него башка делается мельничным жерновом и до пяток оседает текучее тепло.

Для поднятия воинственного духа сухолицых мужичков, отряженных для взимания откупа, шаман возле закрытых ворот скита превратился в сущего черта. Секундной передышки не отводилось плоской залосненной колотушке. Кожа бубна, готовая лопнуть в любой момент, с силой отбадывала ее. Правая рука вдохновенного шамана не знала покоя и устали. Побрякушки, ленточки, медвежьи клыки и когти на шаманской лохматой одежде подпрыгивали, болтались, гремели. Вошедший в раж прорицатель походил на взбешенного дикобраза.

Из ворот вышла плоскогрудая, ледащая старица. На ее лице, выдубленном жизнью и вечными летами, не был оморщиненным только маленький острый нос. От тарарамной музыки вертуна-страшилища дряхлая староверка напустила на нос и подглазье волнышки крупных морщин. Зажав ладошкой левое неоглохшее ухо, резко замахала свободной рукой. Не сразу оборвал шаман воинственную песнь с бесконечным припевом — уй-аля, ыр-бала, кач-ургла.

«Зачем баба?! Давай старцу... Старцу зови».

Галдень росла. Показался опрятный старец, перекрестил ватагу мирян метровым двуперстным крестом.

«Дорово-дорово, старцу!»

Светлое серебро волос его крупной головы сливалось с чистейшим серебром широкой нескудеющей бороды. Думалось: если старовец скинет неожиданно просторное цветом под полярную ночь одеяние, то предстанет серебряным весь — одной сияющей отливкой, грузно стоящей на нежной мураве.

«Старцу, зачем па-рог прямишь?.. Наш олешку ел? Сохатцу печинь ел?.. Купи место — живи... Урман режишь. Рыбу имашь. Шибобо нехарашо. Ясак давай. Остяку пить нада... Башка тумана хочит... Уважи остяка...»

Тараторство прекратил серебряный скитский верховод, подняв правую руку ладонью к ватаге.

«Ваша вера, остяки-гости, — громкая, подшаманная. Наша — тихости и благости верна. Питьво, клонящее голову, не держим. Живем мирно, бортничаем, божьих пчелок почитаем. Туесочки ваши медом наполним, ребятишек отпотчуете. Мед — божье лечево».

«Нету питьва!» — отрезала полустертыми зубами старушка-вековица.

«Ясак давай!»

«Откуп жар-водой делай!»

«Мидки-мидки!»

«Старцу, уважи нашу племя...»

В переговорный час крупная оса-шершень, всполошенная громом неслыханного ранее бубна, ударила с разлету в сморщенную шею опупевшего шамана. Отшвырнул колотушку, она заехала в скулу низкорослого соплеменника. Прикрыл шаман раскосмаченную голову бубном, опрокинулся на спину. Брыкасто задрыгал ногами, искривленными давнишней костоломной болезнью. Остяки тупо, глазасто смотрели на предсказателя охоты, погоды, на верного отклонителя мора, заступника от леших и ведьм. Такого дикарского наспинного танца им не доводилось видеть.

Серебряный старец вознес сладощенные руки на уровень спокойного ясного лица, отшептал заступную молитву.

Шамана корежило на чистой мураве. Извивался тюком пакли, растрепанной напористым ветром. Пусть думают скитские несговорчивые отшельники, запуганное шаманом остячье: новый вертлявый танец — особый разговорный язык с духами. Шаман расцарапал в кровь место ужала шершня, смочил пальцы и мазал липкой влагой грязное в пятнах гнойников скуластое лицо.

Легкое свитье осиногое гнезда находилось на высокой черемухе, осыпанной мелкой зеленью обильных ягод. Над стойбищными и скитскими переговорщиками в злобном облете закружились мелькающие шершни. Остяк с лицом, ошрамленным медвежьей лапой, получив удар осы по затылку, пал ниц, подмял туес: свернутая ведерком береста лопнула у крепкого шва, прошитого черемуховой гнучей отщепиной.

Бунтующие осы повергли гостей в бегство. Шаман, забыв вгорячах колотушку, неся вприпрыжку за очумелым воинством, оставляя на притропинных кустах сорванные ленты, теряя в траве звонкие колокольчики и медвежьи когти.

У Пельсы на беглецов навалился гортанный хохот. Его не мог остановить шаманий осуждающий взгляд. Единственный сохраненный туес заглубили в речку. За неимением жар-воды попили темную, болотную. Омыли лица, места шершневых ужалов. Услужливое течение подхватило выдолбленные из толстоствольных осокорей обласки.

Серебряный старец стоял неподвижно возле воротного столба. Осы пролетали мимо, садились на бабушкино длинноподолое платье. Ни одна не коснулась тела смиренных скитских затворников.

«Ах, дети, ах, дети, — твердил пышнобородый старец. — На погибель людскую жар-вода придумана. Иным огнем души спасете — огнем веры нашей. Ползите из юрт к нашему солнцу. Прибывайте к истинной вере...»

«К истинной, к истинной», — эхом отозвалась вековица, поправляя крученую шерстяную нитку на запястье.

«Мать, возьми щипцы, ухвати шаманью колотушку да отнеси подальше от скита. Оставь на тропе. Щипцы опосля не забудь на огне прожарить».

«Исполню, отец, по-сказанному».

«Ах, дети, ах, дети».

С тех пор сощуренный народец не требовал с таежных утайников дань жар-водой. Остяки верили: по команде ведуна-скитника поднялись обозленные осы. Он повелевает шаманом. Его духи одержали верх, повергли в бегство даже смельчаков приречного стойбища. Словно гладкая протесь на бревне залегла на сердце детей Пельсы ясная мысль: шибобо сильный бог у старцу и его племени.

Двумя маятниками ходили над северной землей солнце и луна. Не тикали, но верно отмеряли время снегов и дождей, зарниц и радуг. Недолго простоял в неприкосновенности вознесенный усердием и топорами скит. Прознали о нем царевы всевидцы. Без обыскных бумаг шарились по темным углам, искали тайники в деревянных метровых иконах. Трясли пудовые книги, ухватив за толстые кожаные переплеты. Страницы книг раздувались мехами гармошки: высыпались бумажные, матерчатые закладки. Листовки не падали. Бежавших из Нарыма политических ссыльных искали в молельне, в погребах, чанах. Протыкали штыками до дна многоведерные бочки с ягодой. Ворошили стожки сена. Уезжали обозленные от неудачи.

Часто скит подвергался обыскам. Жандармы прихватывали с собой складни, распятия, подсвечники, иконы в позолоте чеканных окладов.

Приехали однажды с повторным обыском. Усатых шныряльщиков царской охранки встретил безлюдный скит. Сырой ветер бился в распахнутые ворота, они обидчиво скрипели на деревянных втулках-шарнирах.

Уходя дальше во леса, древнеобрядцы завалили отступные тропы кряжистыми деревьями. В узких местах Пельсы наворотили искусственные заломы. В ските не оставили ни крошки съестных припасов. Жандармы, когда-то объедавшие верующих, были вынуждены ополовинить пулевой запас на уток, кедровок и щук, пристреленных в неглубоком тиховодном месте речки.

В рапорте, составленном в особое отделение, неудачники писали: «Старообрядцы сокрылись в глушь. Два дня мы пробирались по тайге, по тряси. Мокрые вышли к дикой речушке. Ни дымка, ни следа проклятых беспоповцев не обнаружили... Попадались лоси, барсуки и медведи. Наверное, рысь исжевала два наших винтовочных ремня... Скит пустой, но живой, пригодный для жилья...»

В колчаковскую смуту здесь укрывались белые, ели лосятину, выбрасывая обглоданные мослы за высокое крыльцо из широких колотых плах. В полу молельни выломали доску, устроили теплую уборную. Ловили каждый лесной звук. Мерещилась засада. В пору сколотки колхозных артелей на месте обветшалого скита возникла деревенька Тихеевка. Срубленные наспех избы сгрудились тесным, пугливым кружком, словно эти бревенчатые строения, как и спецпереселенцы, боялись строгого надзора властей. Жались друг к другу, находя в тесном соседстве поддержку и опору.

Шумел, бунтовал в бури сосновый бор. Присмотрщики в портупейных ремнях хвойный шум во внимание не брали. Они всеушно внимали людскому ропоту. Отсекали острыми взглядами угрюмых, недовольных, ворчливых, поносящих новые порядки. У народа не было головокружения от мнимых успехов: у него кружились головы от голода, недосыпа, от увесистых тумачков приставленных конвойников.

Тихеевка пилами и топорами врубалась напролом в приречный урман. Пашенные мужики, оторванные от хлебных алтайских нив, скопом выходили на таежную ниву. Отлаживали утреннюю зоревую побудку красноперые петухи, прихваченные вместе с горшками, ухватами, люльками и сапожными колодками.

По светлым углам горниц вознеслись иконы. В свой срок появились перед чудотворцами веточки вербы. В свой срок повисли в запечье луковые связки. Вставляли и выставляли вторые рамы. Белили избенки. Скребли с золой столешницы. Стирали со щелоком бельишко. В постах, в долгой скорби об отнятой родливой земле опускались в пучину дней и ночей грузные думы тихеевцев. Шатко и валко катилось время поднадзорного труда. Смелоязыкие мужики мусолили запретную тему:

— Возвернулась Рассея к крепостному труду...

— Ни вздохни, ни... дерни...

— Без притужальника мужика прижали... Хлебную землю отняли, вон какие угоды получили взамен: вспучилась пашня желваками корней, колосья стоят в два обхвата: пилой не вдруг завалишь...

— Небось, и тут сдюжим. Где мужичьи руки — там не сладкая доля.

— Пройдет колхозная переварка, нас ослобонят. Извиняйте, мол, артельцы, за допущенную принуду.

Вертайтесь на отчие земельные наделы...

— Чиркнули серпом промеж ног, дюже чиркнули...

Далеко Нарыму до первого водополя. Еще далече до коренной воды, рожденной от таянья нагорных снегов и льдов. Не скоро отвладычит тутошняя зима, промотает весне возведенное царство.

До войны Тихеевка гремела топорами: новые избы надвигались в сторону Пельсы. Людей тянуло к речке от однообразной застойной жизни. Несмиранные сердцем принудпереселенцы на первый клич войны отозвались насупленным молчанием. Мужичье, готовое ко всем превратностям жизни, и то удивлялось густеющему наплыву событий.

Длинная рука войны выхватила из тайги староверцев. Не убий, не убий — срывалась с губ библейская заповедь. Прядями сухого моха-сфагнума падали на грудь прочесанные пятерней бороны: военкоматовская машинка для стрижки волос умела снимать и не такую породистую чесанину.

2

Сосновый бор за Тихеевкой околдован декабрьской стужей. Хвоя в изморози, топорщится, словно деревья облеплены несметным числом окоченелых ежей. Морозный туман с жидкими, сизыми дымами висит над бором тонконитной сетью.

В такое средизимье идет по всему Понарымью военный лесоповал. Самый строгий, безоговорочный план — древесина для оборонных заводов. Конечно, спросится за пиловочник, телеграфник, судострой, шпальник,

карандашник, рудничную стойку, но главная боль в голове — за сосны и кедры без изъяна. Певучим камертоном должна гудеть каждая авиасосна от обушного удара лесорубовского топора.

К любому плотбищу, катищу на берегах сплавных рек тянутся из урманов дороги-ледянки, снежно-поливные пути для вывозки спелой древесины. Стоический русский лес вновь призван на войну и для тыла. Идет его косовица по Пельсе и Вадыльге. По Тыму и Васюгану. По Кети и Парабели. Не перечесть все реки, боры, гривы нарымских хвойников. Стоят оцепенелые многоверстные тайги, готовые отправить дюжих сородичей на заклание.

Сплавщики-нарымцы торопятся произвести зимой обоновку рек: протянуть длинные сцепки охранных бревен на опасных участках молевого сплава. Захочет текущая с водой древесина свильнуть в старые русла, заводи, ручьи, разлитые озера — не удастся: боны отвергнут ее, пошлют по маршруту сплава.

В колхозах еще не везде завершена молотьба хлеба — силы брошены на молотьбу леса. Мелькают топоры обрубщиц сучков. Хрустят под самокатными пимами сухие шишки, рассыпают в утопанный снег семена. Выживите, взойдите, кедры, сосны, пушистыми комочками! Порадуйте молодежь обессиленный лес. Встаньте весной в безбольные родины природы, осчастливьте солнце и северную землю.

Не заморозит человека от пули, дерево от пилы. Тыловое Понарымье озвучилось чирканьем лучковых и широкополотных пил, хряским падением стылых стволов, перебранкой топоров.

Еще потемну пустели таежные рабочие бараки, занесенные по окна тугими суметами. Бревенчатые стены с клочками пазового моха, сплошные нары, сделанные из тонкомерного леса-жердняка, обмазанные глиной небеленые печи совсем недавно слышали затяжные храпы, простудный кашель, оброненные спросонья несвязные слова, невольные глухие звуки, зародившиеся в спертых животах и выпущенные в барачную тьму неизвестно кем. Из духоты лесорубовского жилища перешагивали за дверной порог в морозную свежесть таежного утра. Сдерживали дыхание, не сразу запуская в себя колкий воздух.

Опустел барак за Тихеевкой. С нар свешиваются залосненные ватные одеяла. Под потолком на жердочках-вешалах сушатся сменные портянки, шерстяные крупной вязки носки. У дверного проема висят на гвоздях покоробленные уздечки, рваные, прожженные у костров телогрейки, переносной фонарь «летучая мышь» с надколотым стеклом. У печки горка сухих дров и скрюченная береста для растопки. Воздух до густоты пропитан пылью, вонью, портяночным и махорочным духом.

Осталась в бараке одна живая душа — Фросюшка-Подайте Ниточку. Сидит на нарах, обхватив руками ватную подушку. Тупо смотрит на тусклый фонарь. Крысы, стерегущие время ухода лесоповальщиков, смело и нахально выкатываются из половых прогрызов. Полоумка убирает барак, топит печь, терпеливо сносит издевки и шлепки по костистому заду. Кто-нибудь из мужиков, ущербных телом и потому не взятых на фронт, прикрепит к подолу Фросюшки обломок сучка и зубоскальничает на нарах, обнажая грязные никотиновые зубы. Ходит Фросюшка с сучком, не замечает его.

Лень сползть с нар на холодный пол. В руках полоумки ватная подушка превращается в малютку. Баюкает дитя, тянет заунывную колыбельщину — ааа-ыыы-ууу-ооо. Вата в подушке слежалась, сбилась в полушар. Фросюшка-Подайте Ниточку положила комковину на сгиб левой руки, гладит головку ребеночка. У печки зашевелилась береста, поползла. Женщина оборвала мычание, положила подушку. Крыса напомнила о барачных делах. Надо хватать голик, подметать грязный, шербатый пол в окурках, плевках, опилках, вытряхнутых из валенок при разувании. Ждет охолодевшая печка. Снег у крыльца. Обула на босу ногу великоватые серые катанки. Толкнула обмерзшую неподатливую дверь: открыла вход морозу.

Она любила проветривать барак. Замороженно смотрела на шустрые клубы текучего морозного воздуха, заползающего под нары, в углы, на женскую половину многолюдного жилища, разгороженного широкой холстиной. Материя проткнута сучками, гвоздями. Ее проколупали пальцами для тайного подгляда, обозрения чужих спален.

За дверью в долгом карауле стояла декабрьская тьма.

Солнцу долго выбираться из хвойных теснин. Высоты осыпаны звездным, россыпным инеем. Ополовиненная луна поспешила оставить ледяную арену, скатиться по куполам за Пельсу.

Недавний буран залил тропу в сосняки. Лесоповальщики, раскряжевщики, сучкожеги, возчики бревен, смотрители за дорогой-ледянкой упорно уминали пимами рыхлый снег, тропили к деляне новопуток. В лабиринте стволов потерянно кружились бледные пятна фонарей. Желтоватыми лунными зайчиками прыгали они по сторонам, тонули в глубокой смутной тьме. Упрется фонарный свет в правую откосину ночи, отскочит испуганно. Попытается пробить брешь слева — те же непробойные напластования застойной черноты.

Первым уминает снег подошвами подшитых пимов бригадир-стахановец Яков Запрудин. Правый пустой рукав телогрейки засунут за веревочную опояску. Рука, отсеченная в госпитале выше локтя, еще помнит памятью оставленной культи жилистую кисть, мертвый сжим пальцев. Изрубцеванный, зауженный скальпелем хирурга сине-красный остаток руки постоянно ноет, мерзнет и в ватном тепле. Грубо помеченный войной мужик натягивает на культю шерстяной носок, перехватывает поперху ремешком.

Однокрылый вожак ведет потемну длинную стаю не на отдых: перелет военных дней длителен. Давно взлетела война бомбовыми разрывами, снарядами, осколками мин. Забыли бойцы об отдыхе. Бесконечно тянутся изнуряющие бои: одних уводят в землю, других выводят в поля сражений. Живые вновь прячутся по окопам, землянкам, определяются на постой в церквах, школах, полуразрушенных селах.

Выбили Якова Запрудина из кона войны. Поставили на кон тыла. И с одним крылом высоко взлетел.

В звонкий бор отрядили рабочую силу два колхоза. Влились сюда и староверцы.

В одну из ночей пал коренной снег. Соседняя с Тихеевкой деревня Большие Броды по твердому зимопутью отправила в сосновый бор длинный обоз. Везли картошку, укутанную соломой. Мешки с горохом, турнепсом, овсом. Чернел на соломе крутым сажным пузом трехведерный артельный котел. Бригадир Запрудин-старший наказал сыну Захару проверить наличие упряжи, веревок, пил, топоров. Захватили напильники, дратву, вар, гвозди кузнечнойковки, мыло, подковы. Растянутый обоз, шагающие и сидящие на санях артельцы могли сойти за партизанский отряд. Пробирался он не в тыл врага: у отряда были иные тылы, устрашающие фашистов. Стойкий труд нарымцев разбивал их планы, изматывал на фронтах, приостанавливая наступления, заставляя пятиться и терять дивизии.

Большие Броды — деревня, открытая ветрам и васюганскому заречью. Запрудины были нужны колхозу, деревне, нарымской земле, как нужен всходам на полях теплый дождик-сеянец.

Подрезала война Яшу Запрудина. Лес без остатка забирает его силу. Пилит одной рукой сосну — зубы в крепкий притиск: весь в испарине. Мелькает лучок, исходит дерево предсмертным стоном.

Скоро тропа вольется в дорогу-ледянку. Близок путь до лесосек, если идти шаговито. Яков торопится, улавливая за спиной пыхтение и вздохи. Вздрагивает фонарь в руке: она, надолго плененная лучковой пилой, и на воле не отстает от рывкового движения к себе, от себя. Во сне лучок тоже задает руке привычный урок: пальцы теребят лоскутное одеяло, локоть катается по нему. Даже вынужденная бездельница-культя старается подмогнуть напарнице, на которую свалилась двойная тягота лесоповала.

Открыты миру Большие Броды. Зато Тихеевка упрятана в тайге. Отшатнулась от Пельсы и от этого шага в сторону, покрывилась изгородями, скворечниками, воротными столбами. Скрипят дровни по новоснежью, оставляют на тихеевской дороге-саннице росчерки полозьев. На первых дровнях две громоздкие фигуры в тулупах. Надтреснутый поддужный колокольчик плещет на темные снега нечеткий звон.

Тихеевцы посылают на лесоповал дюжину женщин, пять мужиков, забракованных военкомиссией, несколько рослых юнцов и старичка Аггея. Про себя он говорит: «Я еще у тех германцев был во плену, которые походом на нас ходили. Они навреждение мне сделали: опоили чем-то. Обменяли нас голова на голову. Возвратился на Алтай, страшусь с жинкой в постель ложиться. В кальсонах стыдоба, не мужская вещь... Чего поганцы во плену утворили — до сих пор не пойму...»

Аггей балагур и складный матерщинник.

Не дремлет под дугой гремок, но вгоняет в дрему тихеевских бабонек.

Вчера были солдатками, сегодня в горьких вдовиц обернулись. Прилетит казенная бумажка-не промашка, рученьки опалит, сердце сдавит. Ходят такие потерянные вдовы с глазами навывкат, напоминают Фросюшку-полоумку. Валяются из рук вилы, ухваты, лучины. Выскальзывают подойники и кринки. Молчит-молчит молодая вдовица, копит боль да и выльет ее страшным взвоном:

«Гооспооди, неведомо что творишь на земле. Неужели мы нелюди — обмерки какие? Оторвали силом, во глушь окунули... мужикикоов фрицы побилили...»

Отревут свое — дальше живут.

Ежедневный хлебный паек заставляет мозолить руки. Поднимутся на ладонях красные волны, опадут, превратятся в темные пятна. Жуй и жуй пилами неподатливую древесину, если хочешь пожевать податливый, тающий во рту хлебушко.

Что нависло над дорогой-санницей: полночь, полуутро? Сделает ли зимнее солнышко световой полив тайги или оставит на вечное съедение колючей тьме?

Тихеевские сани остановились у истока ледянки. Поддужный колокольчик остывал от запойного звона.

— Бабоньки, вытряхайсь! — отвопил из-под тулупного грузного воротника Аггей. — Слышите — Большие Броды тюкают. Забарабают все хлебные пайки — зубы на полати придется нам забросить.

— Скоро ноги отбросим, — проворчала плечистая вдова Валерия, держа перед собой обрывок газеты для козьей ножки. — Аггеюшка, дай табачку.

— Твой поспит в кисете? Шалишь, кума. Мы тоже знаем — почем нынче грош.

Из тайги высачивался запах кострового дыма. Меж стволов замелькали суетливые огоньки; начали кострить подборщицы сучков. Запалили сушняк и пока не давили огонь тяжестью мерзлой хвои, не выжимали из горящих куч вороха тяжелого, едучего дыма. Сучкожеги зажигали первый — досолнечный свет для вальщиков. Свет

больших костров был нужен огребщикам околоствольного снега, сучкорубам, всем трудармейцам, урезавшим темноту ради двухчасовой прибавки тяжелого тылового времени.

С треском выстреливали из костров пропитанные огнем угли. Трассирующими пулями делали красные росчерки, с шипением прожигали рыхлый снег. Костры разрядили таежную темь, до срока погасили над бором зябкие звезды.

Запрудин беглым пронизательным оглядом находил самые пригодные, самые подходящие сосны под высокую марку — для обороны. Дотоле молчаливый, ждущий трудного часа сосновый бор теперь тоже оборонял отчую землю: из нее возрос, ее усыплял хвойным шумом. Редели золотые колонны. Долго стояли они, набирались стойкости, цедили сладкие земные соки.

Бригадир оглядывал могучие стволы, высокую раскидистую крону. Деревья кричали наперебой: бери меня, меня, меня. Мы будем шуметь в пропеллерах. Самолетными крыльями обопремся на воздух... меня, меня.

Для верности и окончательного выбора Яков стучал обухом топора по стройному стволу сосны. Листовым золотом срывалась легкая кора, кружилась над глубоким снегом. От обушного удара дерево тонко звенело. Вальщик чутким слухом улавливал нежную сосновую мелодию и приступал к ошкурровке ствола: освободишь его от нижнего толстого слоя коры — значит меньше серы, смолы набьется в зубья лучковой пилы. И высоту пня определить легче. Лесообъездчик следит строго: пни должны оставаться ровные, невысокие.

Захар успел откидать снег от ствола. Взял топор из отцовской руки. Неподатливая кора примерзла, пришлось стесывать вместе со щепой. Дерево роняло легкие комья. Они решетили подкронные снега, впитывающие блики густеющих огней.

Бригадирский лучок настороженно ждет жаркой минуты. Скоро он надолго распрощается с покоем. Зубастое тонкое полотно лучка напоминает кружевную тесемку, туго натянутую между плоских березовых стоячков. Прочная веревка, скрученная в жгут деревянной закруткой, производит нужную натяжку полотна на раме. Если подсчитать все годовые кольца деревьев, сваленных бригадирской пилой, получатся многие миллионы древолет. Виток — годок. Пила за прогонку разжует и выплюнет с опилками несколько годовых колец. Разбежались по бору бесчисленные пни. Летом пузырятся смолой, залепляют кольчатый срез: корни по вековому инстинкту берут земные подати смолами и соками. Поднимать бы их по стволам до каждой хвоинки, да подрезаны все жилы. Пням достаются последние ласки и сладости земли.

Насупленное молчание отца передается сыну. Пришел с войны, оставил там руку. Принес в волосах досрочную седину, обменял красивое лицо на ошрамленный лик: на нем осталась непогашенная извечная дума жизни.

Яков снимает рукавицу-шубинку, засовывает за опояску. Теперь рука, взявшая лучок, всецело переходит на внутреннее тепло. Его в достаточном количестве произведет потное тело. Даже культия взмокреет в укромном месте под колочей шерстью. Махал ли Запрудин топором, делая подруб сосны перед пилением, таскал ли вперед лучок, оседающий в глубь ствола — постоянным видением возникала перед глазами правая, когда-то живая рука, низведенная войной до багрового обрубка. Он видел бывшую руку веснушчатой, шерстистой, с крупным родимым пятном возле вспученной вены. На запястье жила сильно пульсировала от скрытого бега крови. Пальцы несуществующей теперь руки тоже были перед глазами — с порезами ножей и стамесок, уколами гвоздей и шильев, с синими трещиноватыми ногтями, по которым разбежались белые пятнышки. Захарка любил считать белячки, верил: они сулят обновки. Проходили месяцы, обновок не появлялось. Отец напивал все ту же грубую суконную рубаху, подшитую на локтях, влезал в залосненные штаны. Обувал вечные чирки, собранные по голяшкам в гармошку.

Нехватка правой — главной рабочей руки — особенно сказывалась в первые месяцы. Шевелился машинально обрубок в пустом рукаве, искал и не находил применения. Запоздало спохватывалась осиротелая рука, брала рубанок, вожжи, деревянную ложку, веник в бане. Ей, только ей перепало теперь всяческое поделье. В ее ведение переходило все тело солдата, списанного войной в деревню. Не хватало второй ладошки хлопнуть на колхозной сходке. Яков не хотел подкачать и тут: стучал рукой о лавку или по колену. Война насильно сделала его левшой. Левою голосовал на собраниях. Левою поднимал стакан с бражкой.

Сын подпиливал лучком сосну рядом. Он никак не мог угнаться за отцом, хотя из трех учтенных тылом запрудинских рук Захару принадлежали обе-две. Вальщики знали, куда повалить вершинами авиасосны — к костру. Обрубщикам меньше беготни — огонь рядом.

Запрудины проливали на лесосеке пот, истекали им, таким же солким, как кровь. Труд войны и труд тыла выжимали влагу разного цвета, но для цвета победы годилась любая.

Тихеевцы запалили костры по левую сторону дороги-ледянки. Дед Аггей нес широкополотную пилу на правом плече — ходила волной тонкая сталь, качался за спиной березовый, отполированный рукавицами колышек-ручка. Напарница по валке, не сумевшая подстрелить у деда табачок, шагала молча след в след.

— Ку-у-ма-а?

— Че тебе?

— Воспой расцыганскую песню — порушь тоску.

— Заглох бы ты... пожалел махры на закрутку.

— Не пожалел. Кури, дура, меньше. Задыхаешься — пилу еле-еле таскаешь. Была ты ниткой двупрядной, истерлась раньше времени.

— Тут изотрешься. Мужика там чиркнули. Пила здесь меня чиркнет — доконает. Бор за горло сдавил.

— Не тебя одну давит. По моим летам на печи лежать надо да вьюги по пальцам считать.

— Поматерись, дед, облегчи душеньку. Песенный у тебя маток.

— Нельзя, кума, сегодня боженьку по-рыцарски поминать — воскресенье.

— Верно. Забыла совсем. Кубатура проклятая память отшибла.

Огресли снег у сосны. Без ошкуртки низа ствола дали пиле полную разгонку. Вчера Аггей развел ее позубно: один ровный рядок идет влево, другой вправо. Плоский ромбический напильник давно каждый зубок изучил. Остро наточил: любая вершинка за ноготь хватается. Посмотришь при ясном свете в междузубье, поворачивая пилу положим брюшком на себя — пробежит перед глазами сияющая узенькая дорожка. Тянется она серебряной колеей. Такая пила за один чирк пускает под ноги пышный опилковый ус. В сторону Аггея свисает ус длинный. В сторону кумы покороче, поскуднее. Дед тянет к себе прогонистую пилу с силой. Возвращая ее напарнице, мог бы полностью расслабить руки, но они напористо толкают ручку, а значит и полотно к задышливой куме. Она подняла со дна души еще не все слезы по убитому мужу. Глубок колодец горя, многослезен. Крепитесь, русские вдовы. Истекая слезами, не иссякайте телесной и духовной силой. Кто поручится на горестной земле, что миновала ваша самая тяжкая доля?! Материнские сердца никогда не впнут в забытье по убитым сынам и мужьям. Слезами и кровью омываются женские сердца... Бессрочная доля у русской женщины. Нескончаем плач Ярославны.

Толстая сосна под пилой — кубатуристая. Вскидывает Аггей глаза, поправляет облезлую шапчонку. Даже не с овчинку кажется небо, начинающее слабо светлеть, — с кисет. Скоро рухнет колонна, ветвистая крона оставит брешь в небесах. Носятся по снегам красные тени костров, выхватывают из темноты крутые бока кедров, бросают отсветы на ровные стволы берез: они кажутся порождением снегов, их недвижимым смерчем, скрученным во время вьюги и оставленным среди хвойной немоты игольчатых деревьев.

Отовсюду слышатся крики — ээй, беррегиись... паадаит... Сомнется стволом, густой кроной морозная тишь, колыхнется по лесосекам короткое хрустальное эхо. И снова чирканье пил, ржание тягловых коней, постук топоров, несвязный говор сучкожегов. И опять пугливое — беррегиись...эээй...паадаит...

Воскресное утро медленно воскресает на ледяных куполах. Скоро неуверенный рассвет проредит мелкие звезды. Оставит стойкие, броские: недолго посияют последним светом и эти зрачки небес.

Поодаль от тихеевских и большебродских артельцев ведут валку староверы с верховья Пельсы. Живут они в бараке вместе с колхозниками из Больших Бродов. Из артельного котла не едят. Артельной посудой не пользуются. Чашки, ложки, кружки хранят в закрываемом сундуке. Туда прячут и съестные припасы. Крупой, жирами, хлебом ведает криворотый сухонький Остах Куцейкин. Нижняя губа у него сдвинута вправо, будто моляка-двуперстник вздумал однажды кого-то передразнить да так и остался с перекошенным ртом. Кривоту губ скрывают отчасти редкие усы. Мужичонка светел волосами и бородой: чистый слепок с Серебряного старца.

Куцейкиных три братана — Остах, Орефий и Онуфрий. Ходит предание, что их скитский прадед никогда не называл господ бога с тугой буквы. Величал его светло и прокатно — с О: осподи боже. Посему всю куцейкинскую родоу наделяли именами осподними. Остаха оставили в тылу по причине шибкой костлявости тела. Разделся на военкомиссии, одни мощи. Капитан стыдливо отвел глаза, кивнул на горку старой одежки: «Прикройся, прикройся скорее...» Оделся, сокрыл тело, замученное постами, и остался под бронью.

Орефий и Онуфрий тоже постились по уставному староверческому численнику, но были могучими, рослыми: такие и рогатиной медведя осадят. Остах-заморыш рядышком с голыми братанами выглядел сморчком возле крепеньких бороваков. Капитан из призывной комиссии подал Орефию красномедный пятак екатерининского времени:

«Продави монету — вот так».

Орефий посмотрел брезгливо на три слитых пальца. Отвернулся, прокатил по груди из стороны в сторону опрятную бородень. Ненавистную с малолетства щепоть не хотелось даже видеть. Не соберет он пальцы воединым сдвигом, не покажет силушку на старинном пятаке.

На шуплом капитане мешковато висел новый китель, на пуговицах броско сияли начищенные звезды. В одну из них Орефий уперся бычьим взглядом, напрягнул широкие скулы — даже борода дернулась. Он видел перед собой звезду-разлучницу. Остаху повезло — отвертелся от фронта. Он с Онуфрием загремит. Вон прыщавый солдатик борзо пером скрипит — втискивает их души в бумагу... Орефий шагнул к капитану,

подсунул под нижнюю пуговицу кителя указательный палец и даванул большим сияющую звезду. Пуговица сплюснулась. Недоуменный капитан расширил глаза, потрогал измятую звезду.

«Ты что, христомolec, наделал? Д-да за такие штучки... В штрафбат захотел?» Спокойный староверец поддержал кальсоны, пошарил взглядом иконы по углам. В простенке висела единственная икона — застекленный в рамке портрет Сталина. Орефий помолился не ему — распаханному сейфу.

«Не убий — глаголят уста твои, осподи... распятые скоро будем... всем гвозди откованы и кресты излажены...»

Военный взвизгнул.

«Ты мне тут церкву не строй! Мы купола-то давно сшибли...»

Орефий шептал сейфу молитву — братаны чертили в воздухе раскольничьи кресты.

Онуфрия и Орефия обезбородили. Волосы остригли бобриком. Бобров с верховья Пельсы ждала в скором будущем вагонная теплушка, чтобы проглотить на томском перроне и выплюнуть перед Москвой. Каждый отстук колес будет резать торную дороженьку на запад.

Вялый Остах Куцейкин топтался возле сваленной сосны, подбираясь с топором к частым сучкам. Кажется, целую вечность не выпускает он из рук скользкое топориче. Тыкаются в лицо ломкие иглы. Набивается в бороду крошево коры. От сучков, припаянных к стволу, отскакивают при обрубке литые кусочки древесины. С пулевой скоростью хлещут по щекам, глазам, лбу.

По веснам выпадают росы: первая — ледовая, вторая — медовая. На Остаха пала зимняя, самая злобная роса. Потом пала, пропитала рубаху-нательницу, подклад шапки.

Летит сосна, торопится отдать земле смертный поклон. Куцейкину легко шагнуть под нее и тоже навек раскланяться с немилостивой нарымской землей. Невмоготу вставать в доутренний срок, раскалывать сон ранним пробуждением. Ненавистен Остаху протабаченный барак, матерковая галдень людского гурта, согнанного под тесовую крышу.

Плетутся по дороге-ледянке измотанные клячи, сопящие быки, приученные к ругани и кнутам. Плетется каждое утро на лесосеку староверский гурток: кашляет, сопит, лопочет на ходу молитвы, прочищает глотку и ноздри от барачного чада.

Раздавил Орефий звезду на капитанском кителе, но судьбинушку разве раздавишь? Прощался с хилым Остахом в тугой обхват загребистых рук, обдал ухо горячим шепотом: «Все равно, братец, винтовку расколю об колено и на Пельсу сбегу...»

Остаху топор об колено не расколоть. Никуда не сбежать. Попробовал разок симульнуть: впихнул в задний проход кусочек поваренной соли — нагнал высокие телесные градусы. За окнами барака мороз жмет под сорок. Под мышкой у староверца термометр жару показывает.

Запрудин в военном госпитале вдоволь насмотрелся на хитрые штучки-дрючки. Ефрейтор-пехотинец, косенький ехидный мужичок, не давал срастаться под гипсом костям ноги. Их расшевелил в бою минный осколок, теперь нарочно расшевеливал раненый: отдалял повторную отправку на фронт. Скуластый, остроглазый татарин с Крымского полуострова, легко раненный в брюшную полость, тоже вводил в обман госпитальных врачей. Открошил в своей деревне кусочки соли от камня-лизунца, возил в вещмешке. Сероватые валуны, лежащие на пастбищах, возле водопойных колод, служат лакомством для коней, овец, рогатого скота. Послужили они лакомством и для солдата автоматной роты. Его кровать в госпитале стояла неподалеку от запрудинской. Подсмотрел Яков: обкатывал татарин во рту белый комочек. Безрукий фронтовик догадался сразу: за крепкими зубами солдата мелькал не сахар. Он часто сплевывал в утку густую слюну.

Перед выпиской автоматчика из госпиталя врачи долго не могли согнать с него высокую температуру. Утомленный бессонницей хирург проверил тумбочку, нашел под растрепанным кораном кругляши соли. Пехотинца и автоматчика судил военный трибунал.

Из госпиталя Яков рвался на фронт. Горько мучился от сознания, что изуродованное тело будто отделилось от его души, норовит домой, в васюганскую деревеньку. Хотелось воевать, мстить за Родину, народ, за жуткую телесную боль и немощь, причиненные вражьим металлом.

Нарымец Запрудин поднимался в атаку рывком. Всегда бежал немного впереди растянутой рваной цепи одноротников. Яростно выкатывал из себя крепнувшее урраа, сливал клич в бурлящую волну бойцовских глоток. Где-то в гремящей и орущей цепи бежал политрук — взвинченный, чернокудрый полтавец. Вперед, вперед! Ни шагу назад!.. Остались за спиной насиженные окопы. За Волоколамском тоже наша земля, но считай, что ее сейчас нет. Считай, что эта, испятнанная бегущими фигурами частица среднерусской равнины — последнее пристанище врага. Матушка-Москва не простит поражения, позора отступления.

Качаются сверкающие штыки, режут спрессованный воздух узкого перешейка перед фашистской пехотой. Пули навевают бойцам последний беспробудный сон. Судьба распоряжается жарким боем: иных укладывает на

временную лежку, иным готовит деревянные кресты, над другими замелькали красные кресты медсанбатовских спасительниц.

В госпитале Запрудин невольно прокручивал в голове убийственно-правдивую хронику пережитых событий. Война-война, зачем ты так рано выбила из седла храброго наездника?! Зачем убрала из-под ног стремя, опутала госпитальными тугими бинтами? Комковатый ватный матрас в пятнах крови, йода и марганцовки, тощая ватная подушка, застиранные простыни, прикроватная шаткая тумбочка вгоняли Запрудина в долгую зеленую тоску. В многолюдной палате стучали костыли и глазастые доминошные костяшки. Сыпались анекдоты, имена целованных и невинных девчонок, эпизоды боев и житейские случаи. Пробовали едко шутить: подсчитывали — сколько на восемнадцать гвардейцев приходится теперь рук и ног. Недостача была крупной, ведь крупной была навязанная фашистами война.

После фронта Яков злили и раздражали симулянты, отлынивающие от тыловых трудов. Он заподозрил Остаха Куцейкина, догадался о воспалении его хитрости. Поутру староверец заторопился на улицу по нужде. Яков завел криворотого моляку за уборную, приказал оправиться на снег:

«Выбрасывай из ж... соль!»

Сучкоруб захлопал глазами, закрестился.

«Задницу перекрести, чтоб соль не глотала... Выкладывай! Буду день караулить, пока она комок не выплюнет. У нас в госпитале был такой шустряк, под трибунал угодил».

Куцейкин бухнулся в ноги стахановцу. Обхватив тощими пальцами черный пим, заскулил по-щенячьи.

«Бородатый хитрец! По военному времени мы тебя за тыловое дезертирство карать будем...»

Нет, не расколоть Остаху о худое колено почти костяное топориче. Бригадир поклялся смолчать о симулянтстве. Куцейкин взвалил на себя тяжелый молебный крест обещания махать топором до последнего изнеможения....

... Иизэй, боойся...паадаааит...

Из каждого лесного закутка вылетали грозные, предупредительные окрики. Это сам могучий нарымский урман зычно кричал врагу:

— Берегиись! Упаду я, лягу стволами и кроной. Не встанешь с русской земли ты. Ляжешь погаными костыми... Боойся!..

Много сосен в бору. Много в Понарымье урманов. Везде ползут по ледовым и снежным дорогам скрипучие сани и подсанки. На них замороженные до самого первого годового кольца ровные бревна. Куда покатятся кольца? В цеха военных заводов. На пилорамы, где режут шпалу, брус, тес, плахи. Все равно будет отсечена врагу башка на плахе войны.

Пойдут бревна на телеграфные столбы: по ним придет счастливая весть о нашей победе. Древесина пойдет на шахтную крепь, подопрет угольные пласты в забоях. Сейчас вся страна превращена в один опасный забой и надо его подпирать трудом: плечами, руками, спиной. Люди сибирского тыла — надежная, необрушная крепь Родины. Не раздавить, не расщепить ее врагам.

....Берегиись! Паадааит!..

Запрудины подпиливали лучками сосны и тьму: она оседала, рушилась на глубокие снега. Все ниже опускались пласты скупого рассвета, неудержимо скатывались со скользких куполов.

Осветлялись небеса — ужимались огни костров. Теряли над тьмою недолгую власть, отдавали ее новой солнечной силе.

Телогрейку Яков давно снял, укрепил на поясице тонкой опояской. При нагибе мороз холодит спину, стеженка не дает ему полной воли. Серая нательная рубаха мокра от пота. Мокреть просачивается через вторую байковую одежку: спина покрывается махристым куржаком.

Немеет левая рука, спаянная с лучком. Даже культа упрела, издергалась на подсобляющем плече.

Неугомонный лучок закручивает опилковые усы вокруг ствола.

— Сыноок, отдохни.

— Не устаал.

Захару приятно слышать отцовское жалеющее словцо — отдохни. Оно вливает свежую силу, бодрит и подгоняет лучок.

Кочанной капустой хрустит под пимами снег, усеянный корой, хвоей и опилками. Взамен статных авиасосен остаются низкие стандартные пни, напоминающие о вековой стойкой жизни деревьев.

Тихеевские артельцы медленнее рушат стволы. Аггей с кумой пятую сосну не опрокинули — напарница стала выдыхаться. Дергает пилу вяло, рывками.

— Курица! Тяни ровнее! — строжится Аггей.

— В воскресенье бог дал рукам покой.

— Война отменила всевышнее распоряжение. Тяни-тяни шибче. Не зря план и паек одной буквой накрепко связаны — сапожным ножом не разрежешь.

- Умаялась я, Аггеюшка. Ослобони на перекур.
- У тебя табак силу ворует. Курево дыхалку перекрывает.
- Ослобони.
- Уроним — отдохнешь. Я лучком попилю.
- Не устал че ли?
- Костлявый я — пружинистый.

Рухнула головушкой к костру очередная кубатурная сосна.

Вдова Валерия сидела на пне, распускала толстую самокрутку на пряди дыма. Курила в глубокую затяжку. Хмельно кружилась голова. Сошли с мест, закачались деревья. Неподалеку дед Аггей в рубахе-беспояске, в отвислых ватных штанах водил лучком-смычком по сосне. В ушах Валерии, опьяненной куревом, слышалась давно забытая мелодия мелькнувшей юности. Полегла луговыми цветами. Оплавилась утренней парной росой. Уплыла по быстрому течению времени ромашковыми венками. Костяные гребешки обломали зубья о густые черные волосы, проредили их. Набежные годы дохнули на пряди ранней изморозью.

Тятя Панкратий — мужик цыганских кровей — последний раз густо смазал колеса кочующей кибитки и навсегда оставил табор. Под Бийском наладил крепкое хозяйство. Всего было вдоволь — хлеба, масла, овса для коней, сливок и гнутых пряников. Обезжирили Панкратия, самого согнули пряником. И в Тихеевке не распрямился, не согнал с глаз плотной пелены. Под завихрение массового артельства загребла метучая метла не одного мужичка-среднячка. Покатился истертой подковой и тятя красавицы Валерии.

В Тихеевке прыщавый, развязный конвойник не давал проходу кулацкой дочери. Стыдила служаку словами, секла взглядом, била по рукам. Стройная, с плавной покатиной бедер молодайка ловко выскальзывала из хватких рук. Посмеивалась в лицо парню:

- «Ты, бриллиантовый мой, при погонах, при ремне. Вот и ходи опогоненный — не опоганенный».
- «Уступи!» — слышалась вослед устрашающая мольба.

Красавица ехидно крутила возле подола смачную фигу.

В субботний пасмурный вечер конвойник подкараулил у поскотины девушку, намотал на кулак пышные, волнистые волосы. Дохнув сивушной вонью, просипел: «Не явишься через час за артельную баню — навечно в тайге сгною...»

Валерия страшилась посвящать отца в тайну своих мук. Буйным был Панкратий. Не раз истязал жену, дочь. Разгонял табор топором и оглоблей. В Тихеевке ходил сумрачный, со стиснутыми зубами. Зло сверкал вороненой сталью глаз. Правая рука с растопыренными пальцами постоянно маячила над голенищем старого хромового сапога: была готова в любой миг выхватить оттуда цыганский отточенный нож.

Расшатал служака корни волос. Ныла от боли голова Валерии. Не собиралась говорить отцу, да неожиданно в сенях бухнула про долгую обиду.

За артельной баней рос густой боярышник. Панкратий пришел сюда на свидание вместо дочери. Приготовил из боярки пышный веник: выбирал прутья с частыми крупными шипами. Похаживал скорыми шагами возле стены боярышника, в нетерпении взмахивал на полный вылет руки шипастым веничком.

Конвойник поздно заметил Панкратия. Почувствовав недоброе, повернул за бревенчатую стену. Парильщик догнал его, стал исхлестывать веник о голову, о холеное ненавистное тело трухнувшего парня. Шипы полосовали лицо, острыми шильями впивались в уши, плечи, спину.

- «Хорроша банька?!.. Поддать парку?!»

На четыре безгрешных слова кузнец выплескивал дюжину грешных — матерных, смачных.

Сейчас конвойным оказался мужичок-среднячок, напрасно стронутый с алтайской земли. Он гнал прыщавого парня по деревенской улице сквозь строй новых избенок. Каждая подхлестывала усмешным взглядом удивленных окон.

Месяца два назад рассерженный Панкратий выпалил при конвоирах:

«Мы — середняки. Почему нас носом в лохань ткнули? Почему шибанули оглоблей по рукам? Все отбили. Душа чахнуть стала, руки сохнуть...»

«Выкинь труху из башки! — прыщавый поправил широкий ремень. — Давно кулацкий душок выпускаешь...»

Душок припомнили. Вернее не забыли тайное свидание за баней. Кузнеца доставили под стражей в большое обское село. При закрытых дверях опозоренный конвойник наотмашь охаживал бунтаря валенком, бросив туда пестик от ступки. Второй служивец держал Панкратия за руки, прямил черную, кучерявую голову, ухватив за густую шевелюру. Опричники преуспели в деле расправы над непокорными. Набили руку, запаслись секретами. Один из них применяли сейчас. Знали: гири, пестики, мраморные пресс-папье, опущенные в пимы, не оставляют следов при битье. Мокрое тело тоже. Никакой литой кулак не оставит отпечатка на лице кулака, любого репрессировца, если бить через книгу, кипу бумаг. Пусть сотрясаются мозги и внутренности, смещаются печенки-селезенки, главное: нет на теле печатей безнаказанной расправы.

Курит Валерия на пне, разгоняет усталость тела, черные тучи вдовьих дум. Скоро огонь истлелой закрутки подберется к пухлым губам, не потерявшим алости и жара. Вспоминает женщина горькое былье жизни. За избивение в комендатуре тятя отплатил злым бичом. Бил конвойника принародно: он извивался от острых ужалов. Хлестая, кузнец швырял в толпу яростные слова:

«Вот так... всегда... учите гдадов!.. Разнузданные своевольники!..»

Гудящий бич расставлял точки после спаянных, вылетающих из оскорбленного сердца слов.

Конвойник выхватил наган, пальнул по ногам разъяренного мужика. Пуля угодила в каблук сапога, срикошетила в траву.

На сей раз Панкратия взяли надолго. Не вернулся к октябрьскому празднику. Прошел Новый год. Подходили майские деньки... Колхоз потерял отличного кузнеца, семья — надежного кормильца.

Жена, дочь, ее муж — свадьбу сыграли незадолго до печальной развязки с отцом — наводили по властям справки. Писали во многие казенные дома, ниоткуда не получая ответа. Изматывала неизвестность. У кого узнать? Кому пожаловаться?..

Окуроч обжег губы. Валерия выплюнула его, приложила горсть снега. Дед Аггей с воловьим упрямством лучковал сосну. Маячил залосненными толстыми штанами.

«Пили-пили, жилистый-пружинистый, — шептала кума. — Мне паек тоже нужен, да черт с ним — на картошке, на жмыхе перебыюсь...»

Перестала шептать. Дальнейшие слова попрыгали в голову, разбежались по извилинам, перешли в мысли: «Мужа убили — пришла казенная бумага-подтвердилровка. Война, а все ясно: какая беда, какая жратва. В тылу тятя пропал без вести — ни до кого не докричишься. Это как называется? Сплошная подлость...»

И снова выкатились из головы слова, отлились в шепот:

«Пили-пили, Аггеюшка... пайком со мной поделишься... ты добрый дед...»

Валерия отплевалась в снег, тихонько потянула из души песню про чистое полечко, которое спородило ракитов куст. Под ним лежит молодой солдат — весь израненный, весь исстрелянный. Вдова видит мужа-солдата, его верного коня: он шершавым языком виновато лижет поверженного седока. Надо поторопиться, передать верному другу-коню последние слова наказа:

...Забегу, мой конь, в самый крайний дом.

Передай, мой конь, мамоньке поклон.

А жене скажи: я женат на другой.

Что жена у меня — гробовая доска.

Оженила меня пуля быстрая.

Обвенчала меня сабля вострая.

Мать — сырая земля,

А отец у меня — деревянный крест...

Слабым речитативом закончила Валерия грустную песню. Встала со свежего пня. Скоро у ног вальщика замаячит новый срез. Между пнями топорщится над снегом сбереженная сосновая молодежь: молча принимает природа родины у тайги. Пеленает хвоей, листьями. Потеплее закутывает в снега. Вальщики, сучкорубы, огребщики проявляют осмотрительность, жалеют береженный богом и бором молоднячок. Родичи стоят вокруг могучие: от них поднимаются крепенькие игластые мальцы.

— Куумаа! Берегиись!

— Эггей!

Обдало напарницу холодным ветром от матерой кроны. Посыпался на нее мелкий дробленый снежок.

— Не устал, дед?

— Чему уставать — жилы с костями срослись.

— Силён!

— Похвальба молодцу даром пройдет. Похвальба старику — лишний годок на веку прибавит.

Потрогал пальцами горячее полотно лучковой пилы.

— Жаркая валка. Трение до чего сталь доводит, словно в горне побывала. Вот тут трещинка наметилась.

Жаль: скоро полотно порвется. Эх, Панкратия твоего нет — он полотно паял на зависть пильщикам. В новом месте лучок лопнет, на спайке — хрен...

— Не трави, дед, душу. Сейчас горевала, об отце думала.

— Да-а, ни за что ни про что сгинул человек. Война мертвит и в тылу лихота. Крепчай духом, милая. Нам его раньше времени выпускать нельзя. Пусть фашист его наперед испустит. Еще отдохнешь или вместе подергаем?

— Пойдем, отдохнула чуток.

Аггей лихо обнял куму за талию, охотно потискал через стеженку два взлобка. Взревел на бор, переиначив строчку в известной песне:

Отец мой был природный пахаарь.
Й-я уу негоо природный хахааль...

Вдова не оттолкнула ищущую руку...

3

Кисейной навесью расползался по бору горьковатый дым. Костры успели побыть светильниками. Теперь приглушенный ветками огонь редко показывал из-под хвои желтые языки. Неутомимыми дятлами стучали в бору топоры сучкорубов. Перекликались вальщики. Раздавалось ржание лошадей, выволакивающих бревна к главному волоку — он сливался с дорогой-ледянкой. Слышались гортанные крики возчиков, взбадривающих кнутами и матерщиной неповоротливых, измотанных быков.

Большие и малые волоки расходились веером от магистральной поливной дороги, служили ей притоками, родниками, ручьями. По ним мучительно трудно и медленно выплывали раздетые сосны, оставив огню пышное одеяние. Побревенная натужная трелевка на уросливых быках, слабойильных лошадях — лучшие конные силы забрали на фронт вослед за мужиками-первобранцами — выматывали животных и трудармейцев. Покрути вагами над чугунными соснами, повзваливай их на волокуши. На пути пни, корневища, снежные неровности. С великими потугами вызволялось из лабиринта бора каждое подготовленное к отправке бревно. От лесосек до плотбища на берегу реки — изматывающая дороженька. Изрядно побрякают артельцы на волоках, поклоняют бога, Гитлера и черта, пока не выскрипит волокуша с ценным грузом на ледяную трассу. Возчики, навалышки берут в напарницы ваги, взваливают тяжесть на сани и подсанки. Ледянка — накатанный путь, но и на нем надо быть дюжим.

Потрескивают, поскрипывают под бревнами ооченелые сани: грузно надели на них толстые комли. Идущим в след подсанкам достается золото стволлов. Полозья не выходят из повиновения колеи. Ледяная дорога — великое облегчение для четырехкопытных таскальщиков. Отшлифованные полозьями до блеска ровные углубления не дадут воли груженому возу, не позволят сойти с торной дороженьки, рожденной при главном участии нарымского мороза-чудодея. Он рукодельничает на стеклах замороженных изб. Прячет реки и озера под колкую броню. Отливает облегчающие колеи на вывозных дорогах. Значит, сибирский лютой мороз тоже лют на врага. Всячески помогает изнуренным тыловикам осилить тяжелый воз бесконечных дел. Разливной весной мороз с радостью передаст бразды правления отдохнувшей воде: заменит она людские и лошадиные силы. Весело, с ветерком прокатит до запаней красный оборонный лес. Сибирские урманы, морозы, воды тоже зачислены в тыловое братство. Подсобляют усталому народу.

Для лошадей, быков на ледянке отведен строгий ход — ступняк. Колеи не сведут животных с предназначенного пути. Захотят ступить в сторону — напружиненные оглобли, ярма вернут тягловую силу на ископыченный ступняк. Он обильно полит мочой, осыпан раздавленными котьями.

Слепая Пурга устало переставляет ноги по темной отводине неровного ступняка. Впалые бока кузнечными мехами ходят возле трещиноватых оглобел. На секунду-другую груженные сани с подсанками будто прилипают к колее. Лошадь упорным рывком выводит их из вынужденного оцепенения. Полозья саней на загибах слегка полопались, измахрились. Сзади юлят короткополозные подсанки, поддерживая утоньшенную сторону сортиментных сосен. Комли в толстой коре. Противоположные концы отблескивают чешуйчатым золотом.

Пурга сдергивает воз с мертвой точки — дуга и хомут перекашиваются. Гужи выжимают из себя скрипучие звуки стенания. Глядя на лошадь, везущую с потугами несколько нетолстых бревен, опасешься, что она вот-вот споткнется и никакие окрики не поднимут трудягу с ледянки. Обманчивое впечатление. Свою единственную лошадиную силу кобыла расходует бережно, прибегая на нескончаемые часы тыловой жизни и возложенного тягла.

Артельцы с темна до темна бьются на лесосеках за скудный хлебный паек. Пурга хлещется на ледянке за ежедневную порцию овса и сена. Овсяной пай не богат. С жадностью схрумкает его, не успев перемолоть зубами в кашу. Многие жесткие овсинки в целостности-сохранности пройдут по лабиринту кишок, вылетят из-под хвоста кобылы с тугими комками. Непереваренным овсом поживятся воробьи и синицы. Они расколят клювиками еще

теплые конские котяхи, выберут овсяную зернь, пока ее не впаял мороз. Даже снегири-чистюли выискивают что-то на ступняке, промятом копытами быков и коней.

Покорная Пурга медленно, неостановимо тащит взваленные на сани кубометры оборонной сосны. Из ноздрей вылетают упругие струи пара, вспархивают над белым храпом. В плотном инее лоб, ресницы, жидкая челка. Изморозь на ушах, на шее, где не елозит твердый войлок хомута. Неширокая холка, некрутые бока, длинные ноги тоже в серебристом налете куржака. Выделяемые кобылой влажные струйки тепла мороз обращает в сияющий пушок. От такой бутафории декабрьского мороза шерсть кобылы кажется густой, сама выглядит справной и сытой.

По прежней жизни кобыла помнила слепящий цвет нарымской зимы. Даже теперь, погруженная в глубокую тьму, словно воочию видела перед собой отливающую глянец равнину снегов на пойменных лугах: туда таскала порожние сани и возвращалась с тугим возом запашистого сена. Иногда заполошный заяц-беляк вылетал из-под куста или крутого намета. Стремглав проносился мимо Пурги под заливистое улюлюканье артельного возницы.

Строго соблюдает природа законы весен и зим. Знает точную меру в сотворении всего сущего под солнцем. Она отпустила тебе, Пурга, всего лишь одну лошадиную силу. Из тебя зачастую выжимали две, не удвоив ни жил, ни копыт. Ты стойко терпела побои, надсадой расплачивалась за молчание обжигающего кнута. Жилилась-кажилилась, надрывалась на колхозных трудах, но спина, бока все равно были в косых кнотовых исхлестах. На этих просечках хуже росла шерсть и оводы легче прокусывали ноющее тело.

Тянется бесконечный ступняк. Давят копыта расплющенный грязный снег. Впереди по ледянке тащат бревна более ходкие кони. За Пургой плетутся мордастые быки. Слизь намерзла на губах, под ноздрями пошевелеваются тоненькие сосульки. Вся ледовая двухколейка от истока до катища-плотбища полнится криками возчиков, постукиваньем бревен, тяжелым переступом копыт. Скрипят полозья, ярма быков, оглобли, клещевины хомутов.

Пурга плотно закрывает глаза, резко вскидывает заиндевелые ресницы. Чуда не происходит. Одно долгое видение ночи начинается сразу от покатынки лба и уходит в пространство без границ и проблесков света. Холодное надглазье ходит и ходит вверх-вниз, полирует эту неубывающую черноту. Не может высветлить, отринуть от себя. Вечная доля лошади — идти и идти, переставлять ноги, чувствовать за собой разновесную кладь. Необходимо вызволить из отпущенных природой мышц и жил достаточную силу, способную стронуть воз с места и долгой тягой переместить до конечной точки, до желанного звука — тппрру. Свалят бревна на берегу, пойдет по накатанному зимнику порожняком, ощущая приятное расслабление тела. И снова бревенная кладь, упорное перемещение ног по взрытому, раскопыченному ступняку.

В вечной ночи навалившейся слепоты надо было беспрекословно подчиняться человеку. От Пурги ждали полной покорности: она полностью отдавалась на волю своих поводырей. Легко входила в оглобли телег и саней. Покорствовалась, когда вели в поводу, брали под уздцы, набрасывали хомут. Конюшил по-прежнему Захар Запрудин, не обделенный природой лаской и добротой. Ранняя смерть матери, возвращение с войны отца-инвалида бросили на лицо паренька четкую тень задумчивости и навеянной сердечной тоски. До недавних пор слово война было просто словом. Оно тяжело ложилось на слух, но не имело той осязаемой, конкретной сути, которую обрисовала явь возвращения отца-калеки оттуда. Захар увидел на васюганском берегу непривычный облик самого дорогого человека. Сын различил теперь зловещее чело войны. Различил его в незнакомом, изшрамленном лице Якова Запрудина, в пустом осиротелом рукаве гимнастерки, во всей сутулой фигуре. Нагибала, сутулила война. Нагибали, сутулили пули, осколки снарядов, мин.

Давящим грузом ложились на сердце Захара ранние беды в семье. Мудрый дедушка Платон, хлопотливая бабушка Зиновия, давно векующие и принимающие жизнь за воз с нелегкой поклажей, успокаивали внука, крепили юное сердце верой в нескудеющую людскую доброту — единственную меру веса во все судьбинные дни. Чашу весов истории перетянула война. Не вечно же ей давить грузом бед, насыпать горе похоронками, вертать инвалидов бойцов.

В слепой Пурге Захар видел страдальцу все той же тягучей, отемненной войной жизни. Громкая мобилизация уводила на фронт лучшие силы страны: человеческие, танковые, самолетные, артиллерийские, стрелковые, конармейские. На передовой, в прифронтовой зоне наши армии испытывали нехватку самоходных орудий, тягачей. Тракторы, кони, волы, быки — все годилось под боевых тягловиков. Любой ценой требовалось остановить врага. Зловещие печи его крематориев не переставали засеивать смрадным дымом оккупированные территории. Лагери смерти кишели полосатым людом, пронумерованным у локтевого сгиба. Фашистская инквизиция по зверству пыток затмила все инквизиции былых веков. Утилизаторы вносили в доходные ведомости тонны снятых человеческих волос, обуви, одежды. В тайных скрупулезных отчетах вермахта перечислялись особые ценности, увозимые в разбойную Германию: живописные полотна знаменитых художников, иконы, древнейшие книги. Награбленные золотые монеты, кольца, зубы, коронки, медальоны переливались в слитки, оседали в тайниках различных банков. Где теперь кони, взятые на войну из Больших

Бродов? Таскают орудия, полевую кухню? Подвозят боеприпасы? Служат партизанам в лесах Белоруссии? Возможно, постигла горькая участь — сразил осколочный шквал, срезаны пулеметным огнем «мессеров»... Лежат на смертном поле недавнего сражения, и над трупами кружится стайное воронье...

Ледянка сделала плавный повороток вправо. Поводырек Павлуня натянул ременный повод: Пурга чутко откликнулась на легкое подергивание. Неповоротливый мальчик лет одиннадцати вяло переставлял по ступняку подшитые серые пимы. Длиннополая телогрейка, перехваченная опояской, топорщилась над растоптанными катанками, поблескивала на груди от оброненных, намерзших сопелок. На голове рыжей кочкой шапка из собачины. Рукавицы-мохнашки тоже были несоразмерны худенькой детской фигуре.

Иногда слепая опережала ход поводыря, подталкивала мотающей головой. Павлуня оглядывался — не догоняют ли его санный сцеп упрямые быки. Они порядком отстали. Обрадованный мальчик рывком головенки переместил шапку от переносицы до середины лба. Вспомнил песенку, услышанную в артельном бараке от Фросюшки-полоумки. Повернулся лицом к Пурге, запел с легким присвистом:

Тянуут быынью заа пупыынью
— Даай нам, быыня молоокаа.
Надоили девки крыынью,
Да надоина горькаа...

При слове молока Павлуня проглотил слюну. Пурга дышала на него паром и терпким санным духом. Мальчик шагал по ступняку пятками вперед, смотрел в примагничивающие глаза заиндевелой лошадки. Изредка спрашивал ласковым голоском:

— Пурженька, ты меня видишь, да?

Кобыла от постоянного напряжения трудной ходьбы мотала косматой головой. Павлуне верилось: Пурженька широким кивком отвечает на вопрос маленького поводыря: да, вижу.

Поднятый воротник телогрейки оплетал вязаный шарф, сцепленный под острым подбородком большой булавкой. Устойчивым теплом меховой шапки, стеженки, пимов и мохнашек Павлуня основательно отгородился от наседливого мороза. Он ощущал мокроту подмышек, распаренную спину под толстым свитерком. Дедушка Платон, любовно обряжающий Павлуню, приговаривал:

— Пусть мороз теперь дуrolомит. Такой укут не оборет его.

Поводырь дышал часто, порывисто. Под козырьком шапки, по краям ее отвислых ушей копилась от пара ворсистая налеп инея. Ни тельное тепло, ни докучливый морозище не смогли выкраснить худое личико Павлуни: из белого обрамления шапки-ушанки виднелся тронутый осенней пожухлостью тополевыи лист. В глубоком провале желтоватых глазниц — на самом их доньшке — поблескивали синие капли, будто находящиеся в последней точке замерзания. При взгляде в запряганные глаза ребенка начинало казаться, что прижимистому морозу, обступившему Пургу и поводыря, надо приложить совсем немного нахальной злости, чтобы оледенить донную крошечную синь.

Болезненную бледность лица не прогоняло сытое питание: урезанный с артельцев по ломтику тыловой хлеб, пирожки с морковной и картофельной начинкой, куриный бульон, сепараторные сливки, комковое масло, вытащенное из деревянной маслoбойки. В кашу, супы, жидковатую горошницу подмешивали барсучье и медвежье сало. Потчевали клюквенными, брусничными киселями, морсами. Но не розовели щеки. Не сходила с маленьких, ужатых сухотой лица губ устойчивая синева.

Павлуня упорно не верил нескончаемой тишине соснового бора и развальных снегов. В каждой летящей вороне, сороке мерещились ему грозные, верткие самолеты: на них насмотрелся в стылых небесах блокадного Ленинграда и спасительной Ладоги. По ней увозили его и сестренку из зоны смерти и постоянной опасности.

Старая полоторка хлопала бортами. Мальчик пытался под грубую дребезжащую музыку вклинить мотив любимой песни «В лесу родилась елочка». Борга дробили слова. Сверху давили свербящие шумы самолетов. Детей-сирот в машине было человек двадцать. Укутанные кто во что, они сидели плотненько друг к другу, не сводя глаз с пожилой воспитательницы в запотелых очках. Пофамильный список ребят хранился у нее со всеми документами в кожаной полевой сумке, перекинутой через плечо. Несмотря на это, предусмотрительная женщина перед отправкой детей из осажденного города нарезала из картона бирочки. Смачивая слюной химический карандаш, переписала фамилии, имена детей, дату и год рождения. Прочными нитками привязала бирочки к запястьям мальчишек и девчонок. Приняв картонки за игрушки, дети тут же принялись щелкать по ним пальцами, перегоняя вместе с ниткой возле кулачков.

Дорога жизни и смерти чернела пятнами машин и людей. От бомбежек фашистских самолетов, стремящихся во что бы то ни стало перерезать «дыхательную трубку» Ленинграда, на тревожной Ладоге образовались многочисленные проломы. Вода крутила в них грязные льдины, расщепленные борта машин,

кошелки, различное тряпье. Полупорка проходила близко возле одной такой воронки. На воде полузатопленным бакеном покачивалась красная торосина. По краям кровь успело смыть, верхний скол полыхал рубиновыми гранями. Силой воды торосину терло о ледяной излом, покрытый трещинами и сосульками.

Шофер — черноусый грудастый парень из фабричных рабочих — вел полупорку с открытой дверцей. Часто вставал на подножку. Задрал голову, смотрел в небо, наблюдая за развязками воздушных боев. Переводил взгляд вдоль Ладоги, пытаясь охватить взором вереницу машин, высмотреть — нет ли где вынужденных заторов.

Красивую куклу возле окровавленной льдины водитель заметил не сразу. Притормозил, соскочил с подножки. Под левым бортом машины на крепких зажимах хранились лопата, багор, ведро и тонкий трос. Примурлыкивая песенку, детинушка снял багор. На воде кукла лежала щекастым лицом вверх. Поднятые ручки в кружевном обрамлении молили кого-то о спасении. Минуя глубокие трещины, шофер осторожно подошел к лыве, забагрил большую куклу за шелковый голубой подол платяца.

Мокрая кукла пошла по детским рукам. Вытирали ей слезы, поправляли кружева, баюкали и ласкали. Мальчишки хихикали, теребили плаксивых барышень. К «утопленнице» не притрагивались. Павлик достал из кармана рогатку, проверил на растяг узкие ленточки настоящей противогоазной резины. Сестренка Гутенька жалась к нему, греясь крупной дрожью: ее напустила на себя нарочно, чтобы братик обнял, пожалел на зависть подружек, не имеющих родню и защитника. Братцу было не до дрожащей сестренки. Он впился глазами в черный самолетный клин, взламывающий ледовое небо над ледовой дорогой. Павлик принимался считать, укладывая на пальцы черные крестики. Пальцев не хватало. Крестики сливались, двоились, растягивали клин. Ни в какую не поддавались точному пересчету.

Водитель прибавил скорость. Укутанные тела зашевелились сильнее. Наседка-сопроводительница строго, прищурно смотрела на чернеющий в поднебесье клин. Инстинктивно пригибала торчащие рядом головенки, накрывала их пуховой дырявой шалью. Волнение воспитательницы передалось детям. Курносая конопушчатая девочка плотно прижала к груди спасенную дорожку куклу, прикрыла ее полкой старенькой жакетки.

Гутенька задрожала сильнее, теперь непритворно. Павлик снял с нее рукавички, подышал на руки. От дыхания зашевелилась на запястье картонная бирочка. Братик спрятал ее под рукав кофтенки. Потрогал свой картончик — на месте. Он отогрел сестренке, умеющей считать до восьми, пальчики, подышал теплом в ее рукавички.

Машину подбрасывало на неровностях. Гремели колеса, гремело подвешенное под бортом ведро. Сидящие на сене, на мешках с опилками сироты крепко держались за натянутые от борта до борта толстые веревки.

Павлик вложил в язычок рогатки осколок кирпича — в кармане боеприпасов хватало — натянул резинку. Долго целился в вожака самолетной стаи. Выстрелив, протерев от кирпичной пыли неприщуренный глаз, возликовал:

— Агга! Сковырнулся!

К великой радости стрелка, стая неожиданно распалась. Крестики засуетились. Через нарушенный строй, навстречу ему понеслись другие крылья, прикрывающие ладожскую трассу и город, сжатый упругим блокадным кольцом.

Над самолетами на разной высоте вскидывались дымные шапки разрывов зенитных снарядов. Павлик продолжал стрелять по крестикам кирпичными пулями. Каждый ворошок дыма принимал за точное попадание.

Разрозненную стаю влекла оживленная дорога в глубь тишины и покоя. За время бесчисленных ночных и дневных налетов немецкие асы пристрелялись, приборбились к пульсирующей артерии: множество раз выпускали из нее кровь. Но артерия билась учащенным пульсом, навязанным ритмом войны, эвакуации и упорной блокады.

Зеленая полупорка мчалась на полном ходу, стремясь скорее покинуть предел досягаемости вражеских неотвязных самолетов. Колеса коснутся надежного берега, там — спасение. За многие опасные рейсы грудастый водитель насмотрелся на жуткие ладожские трагедии. Обламывались под лед боевые тягачи, легковушки, сани. В месиве льда и тягучей ледяной воды тонули люди, пурхались кони. Видел ползающих в агонии коров, выброшенных из машины на лед мощной взрывной волной. «Мессеры» пронеслись над ними, опоражнили пулеметы. Ледовый напай на Ладоге дробился от бомбовых разрывов. Стервятники с крестами на фюзеляжах кружились над колоннами беженцев, на бреющем полете вели омерзительное ледовое побоище.

Но город стоял, удивляя страну и мир вздыбленной людской волей. Стояли насмерть дома, заводы, мосты над Невой. И тогда солнце беспокойным переливом лучей взывало к врагу: Не убий! Не разрушай! Но фашисты давно не внимали разуму Солнца. Фюрерская толстокожая книга «Моя борьба» явилась для фашистской Германии своеобразными нотами: она разыгрывала по ним душераздирающие марши. В этой какофонии сливались долбежные звуки кованых сапог, рев «пантер» и «тигров», грохот дальнобойных орудий, нацеленных на блокадный город.

...Павлик и Гутя проснулись сырым декабрьским утром: их будило постоянное ощущение голода и озноба. Сквозь узкое окно, многослойно оклеенное для тепла и светомаскировки старыми газетами и журнальными листами, не просачивалось ни капли крепнущего рассвета. Сестренка шепнула на ухо Павлику: «Давай в один голос позовем маму» — «Давай».

«Маа-маа!»

От противоположной стены никто не отозвался. Дети сообразили: мама ушла на военный завод, нас не стала будить.

Мальчик вылез из-под двух одеял и тряпичной половой дорожки, выброшенной сверху. Нашупал на стене выключатель, поднял язычок. Лампочка под потолком не высекла тусклый желтоватый свет. Из соседней, более холодной комнаты, в дверную щель тянуло сквозняком. Вытянув руки перед собой, Павлик мелкими скорыми шагами побрел по холодному полу к старенькому дивану: на нем обычно спала мать. Ощупал и с радостью обнаружил ее на месте. Возле дивана стоял венский стул. Он и вся мебель в квартире — дело рук отца, столяра-краснодеревщика. Погиб в первый месяц войны на строительстве оборонительных сооружений.

На венском стуле будильник усердно перемалывал колесиками неубывное зерно секунд. Сынишка догадался: будильник еще не звенел. Значит нечего беспокоить спящую маму. Приходит с военного завода поздно. Настойтся у станка — шатает от усталости: о дверные косяки плечами задевает. Пусть поспит. Сынок нежно погладил через плед плечо матери, набросил сползшее к ногам зимнее пальто.

Гутя согрела братика. Они уснули в обнимку. Проснулись вновь, повторно крикнули в голос: «Маа-маа!» Обрывок эха донес из темных углов жалобное ааа. Павлик снова щелкал выключателем: лампочка по-прежнему не рассеивала комнатный мрак. Сынишка порывисто протопал к дивану, сильно потряс спящую за плечо: оно было тяжелым, неподвижным, будто смерзлось со всем телом, не хотело шевелиться под пальцами.

Павлика затрясло ознобом страха. Ноги обмякли. Долго шарил возле будильника спички. Натыкался на коробок: он не вдруг дался в непослушные пальцы. С трудом извлек несколько спичин, с трудом чиркнул. Одна раскаленная головка отлетела к изголовью матери, с шипением прилипла к тугой восковой щеке. Пробуждения не последовало даже от сильного ожога. Эта ясная осознанность беды заставила выронить горящие спички.

На громкий вскрик брата прибежала Гутя. Взревела: «Мамонька, вставай! Ма-муленька, да проснись жее...» И в наступивший смурный полдень дети не добились мать. Единственный раз не по своей воле проспала она утреннюю смену, не встала к станку на военном заводе.

Мальчик распахнул одну дверь, другую. Выбежал босиком на лестничную площадку и закричал. Соседи словно вымерли: никто не выбежал на крик. Пятнистая, грязношерстная кошка сидела на верхней бетонной ступеньке лестницы и с трудом мусолила исжужканную детскую соску. Кошка была скелетистой, замороженной. Она даже не повернула на крик маленькую плешивую голову. Павлик нажимал на кнопки звонков, стучал кулаками и ногами в двери, заглядывал в глазки: мертвые зрачки гнали его к другим квартирам. Внезапно одна дверь приоткрылась. Выглянула раскосмаченная старушка, поманила мальчика кривой рукой. Парализованная голова тряслась на игрушечных плечах, обмотанных, как паутиной, серебристой вуалью. В другой бы раз Павлик испугался полоумной старухи, ее неживых глаз, опущенных в нутро черепа. Теперь он схватил костистую руку, стал трясти. Старуху закачало от резких рывков.

— Баушка, баушка! У нас мама умерла... там... лежит...

Старуха силилась открыть запавший рот: челюсти сводило судорогой. Тонкие бескровные губы то обнажали, то закрывали редкие, желтые пеньки зубов. Наконец мумия, оставленная смертью на поруки последних дней жизни, кое-как осилила неподвижность челюстей и рта. Невидяще уставилась на мальчика, прошамкала еле слышные слова, не выговаривая твердые буквы «в» и «ф»:

— Все умем, все.

Лыжная палка служила ей посохом. Опираясь на нее, долго осиливала путь на кухню. Тусклые огни двух восковых свеч, горевших на комодке в хрустальной вазе, бросали по стенам и потолку уродливые тени. Мальчик лунатично шел за полуживой душой, не переставая теревить сухонькую руку.

На кухне было тепло и смрадно от дыма. На полу в цинковой ванне догорали бумажные комки. Старушка со скрежетом костей опустилась на стул. Рядом на другом стуле лежала распахнутая толстенная книга в золотистом кожаном переплете. С одного края книги свисала медная узорчатая застежка-схватец. Мумия медленно, с потугами вырывала страницы, подбадривая огонь новой пищей.

— Баушка, милая... ма-ма у-мер-ла...

— Все умем, все...

Большую плотную страницу из старинного фолианта старуха вырывала в три приема — в один не хватало силы. Сперва надрывала сверху, тащила лист до середины склейки. Переводила дыхание и дорывала витиеватую писанину.

Костерок вспыхивал не сразу. Бумагу корежило. Лист извивался, горбился, будто огонь причинял ему нестерпимую боль. Крупными красочными жуками ползали в пепле и огне замысловатые буквицы.

С опущенной головой Павлик побрел из кухни. Мумия посохом коснулась его ноги. Мальчик обернулся. Подозвала медленным взмахом тощей руки, похожей цветом на кукурузный початок. Старушка протянула удрученному горем Павлику маленький замусоленный сухарик. Голова дарительницы неостановимо тряслась из стороны в сторону, словно она упорно отрицала и не воспринимала сваленную на нее беду одиночества, голода, холода и фашистской кары.

Бумажный костерок в цинковой ванне догорал радужными цветами.

Вскоре с завода пришли хмурые женщины. Накормили детей, отвели в приют. Исполнили все, что полагалось по короткому обряду блокадных похорон...

Павлик перестал выцеливать из рогатки страшных птиц. В разрозненном кружении они носились надо льдом, увертывались от наших наседающих самолетов. Ложились на крыло, резко падали и снова распластывали крылья в грозном положении. Круто пикировали. Обрывали падение. Взлетали на небесные горушки и скатывались с них.

Водитель знал: наши охранительные зенитки, крупнокалиберные пулеметы сейчас ловят в перекрестье наводки верткие туловища самолетов, чьи пропеллеры секут воздух чужих небес. Непостижимой нелепостью казался дюжему парню в синем бушлате учиняемый врагом разбой. Посмотри на Германию на карте мира: вошь перешагнет. А как — паскуда — к войне подковалась! Старший брат за испанскую землю голову сложил. Писал о силе и зверствах фюрерских отпрысков. Пророчествовал в последней весточке: «...Поверьте, друзья, Германия не насытится малыми странами. Рано или поздно потянется к нашему большому столу...»

Потянулась. Нагло порушила обоюдную договоренность о мире-ладе. Вот и поладь с такой продажной страной.

Местами вода выступила на лед, залила дорогу. Шофер нехотя притормаживал, вверялся флажку девушки-регулирующей, объезжал опасное место.

Павлик прикрыл сеном ноги сестренке. Выдавливал на ее красное ухо теплую струйку изо рта. Воспитательница часто снимала очки, протирала стекла концом пуховой шали. Нарастающий шум моторов невольно заставлял вскидывать голову, ужимать в плечах. Скорее бы конец рискованного пути. Сдать поспешно новых сирот в сборный пункт и делу конец. Пусть их везет паровоз в глубь страны — к снегам Урала и Сибири. Там детские дома, нормальное питание, должный пригляд. Там жизнь.

Нарядная кукла холодила веснушчатую девочку. Смотрительница насильно вырвала ее, положила на сено. Девочка не сводила с игрушки хмурых обидчивых глаз. Изредка дотрагивалась до головы, кружев, накрахмаленных морозом. Под неподвижными ресницами куклы остекленели синие-синие глаза. Уперлись мутным взглядом в гудящее небо: тоже следили за исходом воздушных боев.

Впереди полуторки прыгали на выбоинах порожние бензовозы. Водитель в бушлате хотел обогнать их — машины неожиданно пошли пологими зигзагами. Такая водительская хитрость была знакома на ледовой дороге всякому. Много раз пулеметный огонь сверху не попадал в цель благодаря ускользящему вождению мудрых шоферов. Значит сейчас истребители близко и низко. Полуторка тоже запетляла за бензовозами. Успела отвилиться, вплотную приблизиться в правому торосному взлобку. С левой стороны в метре от машины вскипела крошевом льда пулеметная очередь. Смачный шлепоток заставил фабричного парня намертво сдавить руль, лихо присвистнуть. В решительный момент крылатых атак любил он повторять два словечка-талисмана: «Не-до-лет! Пе-ре-лет!» И теперь, радуясь удачному исходу, распевно вытвердил их. Рывком открыл дверцу. Встав на подножку, осмотрел живой груз. Крикнул:

— Соколики, не дремать!

Переведя взгляд чуть выше ребячьих голов, увидел над ладожской трассой обреченный самолет, отбрасывающий за собой крутые вороха дыма. Чадающее чудовище тащило на вереницу машин. Шофер ощерился, цыкнул сквозь зубы слюной.

— Не-до-лет! Пе-ре-лет!

Павлик до боли сжал руку сестры. Воспитательница схватила кружевную куклу, ненавистно швырнула в сторону падающего черного дракона.

Дальше для Павлика начался мучительный оцепенелый сон. Машина оказалась под крутой волной вонючей, удушливой гари. Сыпались раскаленные ошметки, шлепались на кабину, ударялись в борта, поливали шипящим градом детей. Они задыхались, исходили визгом и криком. Вскоре всех оглушило близким взрывом. Накатилась мощная, тугая волна. Трещали борта. Лопались веревки. Летели мешки с опилками. Лица и руки резало колючее сено. Павлика подбросило: полетел в дымную черноту. Неслись навстречу броские пятна обжигающих огней. Огни неожиданно отдалились. Мальчика покатило по гладкому полю. Он держался за чьи-то волосы, может, и за свои.

Истеричный, кликушеский голос зывал с неба: дети! де-ти! де-ти!

Донесся нарастающий треск льда. Дым сделал среди белого дня непроглядную ночь. Под дымом текла вода, расплзались широкие трещины. Вспокоенный крик де-ти, де-ти — стал слышен ниже... еще ниже... Наконец, среди всплеска воды раздалось жалобное, молящее дее-тии, дее... Вопль оборвался.

Неподалеку гудело пламя, еле-еле пробивая светом дымную тучу. Не смолкало гудение и в небесах. Павлик тоже был пропитан противным навязчивым гулом. Поверх льда на него накатывалась студеная волна. Он разгребал воду: она давила, отторгала от страшного места. Сознание таяло горсточкой снега, брошенного на горячую плиту.

Очнулся на руках сержанта саперной роты. Непонимающе уставился в его мясистый, угреватый нос.

— Ггу-тя г-где?

— Кто?

— Ссес-трэн-ка м-моя.

Сержант выдал тяжелый вздох, почесал затылок и отвернулся. Мокрый с ног до головы мальчик искал глазами машину, ребят, воспитательницу, усатого шофера-весельчака. Попадались одни военные, тоже мокрые, покрытые ледяной коркой. Они кричали, суетились, переносили оставшихся в живых детей, кутая их в бушлаты и маскировочные халаты. Павлик нащупал рогатку за пазухой. Из тумана полузабытья выплыли запотевшие очки воспитательницы, самолетный клин, мокрая кукла. Не его ли заложили вместо кирпичного обломка в кожаный язычок рогатки и пульнули по одному из самолетов? Ломило всего. Нельзя пошевелить головой, ногами. Сапер крепко прижимал спасенного к груди, не в силах унять лихорадку щупленького тела. Мальчика тошнило.

—...Г-где Г-гутя, с-сест-рэнка ммоя?

Смотрел на правую руку. В ней совсем недавно надежно покоилась ее ручонка. Сейчас был зажат пучок мерзлого клеверного сена. Хотел разжать посинелые сведенные пальцы — не поддались. На запястье болтался разбухший картонный обрывок с синим пятном от химического карандаша. Кровеня зубы, Павлик перегрыз суровую нитку и швырнул остаток бирки за спину сержанта. Раздалось глухое, прерываемое лихорадкой рыдание.

На сборном пункте спрашивали его фамилию — вспомнить не мог. Вагон повез Павла Бесфамильного вместе с шестью спасенными детьми к снегам далекой Сибири. Из детского дома Павлуня был взят в семью Запрудиных. Бесфамильным жил недолго.

4

В Больших Бродях Павлуню величали — артельный сын. На войне полки усыновляли безотцовщину, берегли пацанву, не обделяли фронтовой кашей возле походных котлов. В тылу усыновляли малолетние семьи. Из переполненных детских домов многие круглые сироты попадали в семейный круг. Обретали новых отцов и матерей. Павлуня Запрудин сразу заимел деда, бабу, отца, брата и две сестренки.

Дедушка Платон относился ревниво, если при нем мальчика окликали артельным сыном.

— Вы бросьте нагонять на него артельщицу. Мальчонок блокадный, хворенький, но... семейный.

— Неужто, Платоша, ты печатью скрепил на бумаге роду с ним?

— Вот тут печать, — старик накладывал на грудь растопыренные пальцы. — Я Павлуню, хотите знать, не казенной печатью — сердцем к себе приложил. Бумага, пусть даже огербованная и с подписью заковыристой — просто мертвый лист. Силу добра дано иметь душе живой, незагаженной.

— Пашка не мочится в постель? Ведь фрицем шибко напужен.

— Любопытной Варваре дверью нос оторвали. Собрались пришить — дратва кончилась, — отшучивался Платон.

В деревне сострадательные старушки называли Павлуню горемычинкой, беднягой, одинешеньким. Выражение — артельный сын прижилось. Несли в запрудинскую избу свежеиспеченные шаньги, топленое молоко с пенкой, кулечки с подсолнуховым и маковым семенем. Дарили обсахаренные конфеты, похожие на танкетки и подушечки. Фросюшка-Подайте Ниточку нацыганила подворно пряжи. Связала сынуленьке шарфик, носки. Ласкала Павлуню, прижимала к плоской груди. Придурковатое лицо бесхитростной попрошайки озарилось расплывчатым зарничным светом.

Замкнутого, насулленного ленинградца старались развеселить, подбодрить, приласкать. Тормошили за плечи. Качали на ноге. Подбрасывали на руках. Однажды у колхозной кузницы Никитка Басалаев — драчун и гонористый парень — дал мальчонке курнуть самосадного табака. После честной — глубокой затяжки Павлуня задохнулся. Из красных глаз покатались слезы. Колени подсклесь, приемыш упал возле коновязи, его затрясло.

За табачное подношение Никитке дали по шее.

— Дубина! Знай кому табак-горлодер в рот суешь. От его дыма даже у больших парней ноздри обугливаются.

Запрудиным не стали говорить о припадке. С той поры в сторону щупленького мальчика старались не выпускать едучий табачный дым.

Все, приносимое в запрудинскую избу для артельного сына, не считалось за подаяние, милостынно, мирскую христарадную подачку. Это были гостинцы, отрываемые от скудных столов. Кормилась возле них и Фросюшка. Примет от бабушки Зиновии теплую шаньгу, положит на ладонь, поглаживает дрожащими пальцами. Лопочет-лопочет что-то долгими бессвязными словами. Поднесет к постряпушке красное оттопыренное ухо, открыв слюнявый рот, прислушивается. Ждет: снятая с противня картофельная шаньга вот-вот замурлычет простенькую песню.

Непоседливый дедушка Платон считал безделье страшной заразой.

— Придет смерть, руки сложит. Пока, Павлуша, шевелиться надо, работой себя крепить.

— Ты мой настоящий дед?

— Самый пренастоящий.

— Зачем нас бросил? Маме трудно было. Плакала часто. Ты меня не бросишь?.. Смотри, не бросай. Я без тебя сразу умру.

Платоша щурил глаза. Незаметно сгонял к переносью слезы, выжимал пальцами.

— Внучек, ты хорошо в школе учился?

— Нет. Я больной на учебу. Меня к стружкам папиным тянуло. Паркет знаю. Рубанок. Лак. Вот это киянка?

— Она самая.

— Это долото?

— Верно. Молодец.

Дедушка строгал ножку для табуретки. Следил за пытливыми глазами приемного внука.

— Это коловорот?

— Правильно.

— Значит не бросишь меня? Не бросай, а то я тебя укушу.

Платоша остановил рубанок, раскрыл в улыбке редкозубый рот.

— Ты, внучек, шибче хлебушко за столом кусай. Тощенький — смотреть больно.

— Перетерпел на блокаде, отвык. Раз сухариком подавился. Думал — проскочит, он горло распер. Гутеньку бы покормить хлебцем. Она жевачая была.

Заметила Зиновия: быстро стали исчезать со стола пирожки, шаньги, блины. Обрадовалась:

— Павлунечка в аппетит вошел. Пусть втихомолку ест, лишь бы на пользу.

Деревенская голодная ребятня поджидала хлебника у поскотины, за овином — там ловила решетками снегирей, копошащихся в мякине. Стайкой налетала ребятня на Павлуню. Запускала пронырливые ручонки в карманы телогрейки, за пазуху. Узнавали в принесенных съестных припасах мамкины шаньги, свои пирожки, куски от домашних караваев. Это был естественный круговорот военного хлеба, никогда не пролетающего мимо просящих ртов. Мальчишки ревностно относились к деревенскому любимчику. Ему перепали их лепешки, паренки, студень, конфеты и другие лакомства. Дети возвращали свое на прочных правах законных потребителей.

Несколько пирожков и ломтиков хлеба Павлуня прятал за голенища пимов. Убедившись, что за ним не партизанят мальчишки, торопился на конюшню к другой деревенской горемычinke — слепой Пурге. Когда Захар Запрудин впервые подвел приемного братца к жующей сено лошадке, рассказав по дороге, отчего она не видит, мальчик погладил ее по храпу и сказал: «Ты — моя».

Его любимая Пурга заученно переставляла лохматые ноги по ступняку. Шла за поводырьком, улавливала чуткими ноздрями несравненный хлебный дух. От запазушного тепла краюшка-ржанушка сочилась влекущим запахом. Он дразнил Пургу и мужичка-тыловичка, глотающего часто слюну. Давно миновало время упрашиванья: Павлуня, поешь то, поешь это. Сейчас он жорко набрасывался на еду. Не дожевав ломоть хлеба, хватался за другой. Еда крепила тело, но не бодрила дух. Про горемычинку говорили: «Ходит потерянный. Думки гвоздиками в голове».

Иногда мальчик испытывал давящее ощущение голода. Мutilось сознание, подсекались ноги. Скоренько скидывал пушистую рукавичку, отщипывал от краюхи кусочек, торопливо совал в рот. Бабушка Зиновия по-своему объяснила такое состояние: «Блу-када виновата. Соки его пила, иссушала голодом. Вот и нужна хлебная размочка».

Не захотев остаться в Больших Бродах под приглядом бабушки Зиновии, Павлуня напросился с мужиками на лесоповал поводырем Пурги. Оба трудили себя на дороге-ледянке, честно получая тыловое довольствие хлебом, овсом и сеном.

Поводырек не торопился отполовинить краюшку, поделиться с Пургой. Схрумкает дольку, зауросит. Не пойдет послушно в поводу. Пусть приманочка полеживает в тепле, дразнит кобылу. Дух хлеба до речки скорее доведет. Заботливая Зиновия наказывала деду:

— Платоша, не утружай внука работой. Корми впросьуть. Захарке такой наказ дам, Яшеньке тоже. Три няньки приглядывать будут — не пропадешь, мальчонок. — Костлявая рука старухи лежала на голове приемыша. — Детство твое фриц прищемил. Его злая воля и тебя нарымцем сделала. Запомни, родненький, Нарым — самая тяжелая Сибирь. Тяжелше его нету. И я нарымка, да избяной стала. Замшела от старости. Головушку мою, сединой окуржавленную, знобом знобит. Двумя платками повязываю. Умом часто мешаюсь. Увидала сыночка Яшеньку без руки — голову отемнило. Одной рукой за три живых руки ломит. Трудливостью в нас с дедом пошел. По молодости я бесхворной была. Жала хлебушек шустро — серп не остывал. На сносях была и то сено ворочала. Яшенька ворохнется в брюхе, поволтузит ножками — успокоится. В такой затишок я успевала навильник поддеть...

— Чего забиваешь мальцу голову? — напустился Платоша. — Жала... Рожала. Повитуха ведь тебе говорила: в уборную ходить да родить — нельзя погодить. Как прижало, так и срожала.

Зиновия, обиженная стариковской издевкой, пристукнула ногой, проворчала:

— Типун тебе на язык!.. Корми, говорю, впросьуть внучонка. Да поменьше языком балабол.

На ледянке времени много. Поводырек вспоминает хлебосольную бабушку Зиновию, широкоспинную русскую печку в избе: на нее любил забираться, прибежав с мороза. Кирпичи припекали. Приходилось крутиться вьюном, заползая на овчину, постеленную шерстью вверх. Вспомнился крытый соломой овин, молотилки с большими ручками, с пузатым барабаном: в них в поисках зерна залетали снегири, воробьи и синицы. Возник васюганский откосный яр. Распахнулось низинное луговое заречье с петлястой дорогой-санницей. По ней картинно тянутся забастриченные возы. Лошадки успевают хватать на ходу сенные обронки, оставленные на кустах и раскатах.

Весь новый деревенский мир, внезапно обрушенный на мальчика, представлялся длинной белой сказкой. В ней были гремучие колодцы, дымы, напираемые на небо из коротких кирпичных труб, снежные наметы по самым крышам изб, проконопаченных болотным мохом.

Далеким, полузабытым видением вставала фабричная и заводская окраина Ленинграда. Свистки маневровых паровозов заглушались зычными басами торопливых гудков, зовущих на бесчетные смены. Грохот, лязг, вой, крики мастеровых людей, ранние песни сапожника, жившего в домике, определенном на снос, — были для Павлика не сладкой колыбельной музыкой. Черно-сизый затоптанный снег рабочего поселка имел запах сожженного каменного угля и мазута.

Нарымские белейшие снега от нахлыва полдневного солнца ослепляли, мокрили глаза. Каждая снежинка имела на своей маковке переливчатую искру света. Отшлифованные буранами сугробы манили к себе перинной мягкостью и свежестью однотонных покрывал.

Груженный бревнами санный обоз удалялся от лесосеки. Не доносилось хлесткого падения деревьев, предупредительных криков: эй, берегись. Кругом вздымалась суметами, вставала немотой хвойных стволов великая тишина, нарушаемая певучими покриками погонщиков.

Поводырек привык к тягучему скрипу полозьев. Они — несмолкаемые песни полозьев — не нарушали всеобъемлющего покоя снегов, стылгой, блеклой синевы над ледяной, над куполами, осыпающими кухту, еле различимую среди солнечных лучей. Блестки текли паутиной пряжей, высверкивая, теряясь на фоне небес и заколдованного урмана.

Пурга сонно мотала головой, фыркала. Завороженная краюшечным запахом, секла копытами тугой снег ступняка. Мальчик поворачивал голову, по-прежнему видел пятна быков, оставленных далеко позади. Сдернув с правой руки теплую внутри мохнашку, тупо уставился на ладонь, замедлил шаги. Пурга, не сбиваясь с рабочего ритма, догнала, боднула мужичка.

Хорошо ему быть Павликом Запрудиным, принимать ласки бабушки и дедушки, заступничество Захара. В детском доме недолго побыл Бесфамильным, но натерпелся разных зубоскалок, шлепков и пинков: детдомовская вольница жила по своему уставному порядку. Тесные спальные комнаты. Поношенная одежда с въедливым запахом чесоточной мази. Штанишки, рубашки, кальсоны прожаривали в объемистом бункере, умертвляли прыгающих и ползающих жильцов, весь гнидный расплод. После прожарки раздавали в бане одежду. Горячие металлические пуговицы обжигали при одевании худенькое, чесучее тело.

В одну из вьюжных ночей умерла в детском доме восьмилетняя девочка, привезенная из неевского города вместе с Павлуней Бесфамильной. Молчаливая, синегубая, бледнолицая, она смотрела на всех запуганной зверушкой. От частого головокружения ее шатало и кидало в обморок... Нарымская вьюга оплакала усопшую душу... Детдомовский завхоз — приземистый, неуклюжий мужик — внес под мышкой гробик. В него положили легковесное тельце, и завхоз так же под мышкой вынес некрашеную домовинку. Розвальни плаксиво заскрипели по деревенской улице на кладбище.

Павлуня бежал за гробиком до самой кромки леска. Слезы размывали очертания придорожных сугробов, изб, угрюмого возка. Мальчик долго бродил по выездной деревенской дороге, кусая от волнения мокрые губенки. Неожиданно из леска выплыли те же розвальни, нагруженные березовыми дровами. Смена гробика на поленья поразила Павлика до вскрика. Он скатал тугой снежок и запустил в шагающего завхоза...

В Больших Бродях запрудинская изба потеснила огородный простор. Все честь по чести — двор ладен и хозяин даден. На трех мужиков пять рук, да еще две Павлунькиных руки прибавилось. Есть малец, будет со временем и мужик: он на русской земле пока плодлив-родлив. Сокращают его войны, злобные внутриусобицы. Глядь-поглядь — снова размножился мужик... смерть и судьба припасают на него новые косы и напасти.

Пощемили сердце тяжкие ребячьи думы. Солнце окатывает с ног до головы водопадным золотом. Смывает печаль с лица. Напоминает о скором обеде, о конце дороги-ледянки, о яви соснового оснеженного бора.

Непоседливый дедушка Платон не торопился сегодня поднимать внука. День воскресный, отведенный богом для отдыха. В тылу правит свой неуговорный всевышний — военный план. Дневная норма крутая, попробуй не осиль. Не будет ни чести, ни пайкового хлеба. Наведался однажды седуосый партиец из района. После колхозной сходки спросил Платошу:

— Ты, дед, в Сталина веришь иль в бога?

— В душе что-то есть, но молиться ни тому, ни другому некогда — руки всегда заняты.

— Работу, значит, любишь?

— Работа — не баба: до гроба развода не даст.

Давят года, гнетут Платошу. Крякает, распрямляется. Близка глухая старость. Положишь ноги впротяжку, станешь томиться близкой смертью. Мертвому — почесть. Живому — участь.

Большие Броды теснят Тихеевку по трудовням, по кубометрам. Запрудины слиты в дружную бригаду: старый да малый, Яша-инвалид с сыном. Платоша чинит упряжь, точит пилы. Помогает Захару конюшнить, ухаживать за быками. Приемьш к Пурге приставлен. Он — ее глаза. Кормит, поит, скребницей чистит. Стахановцы Яков с сыном на самой тяжелой лесоповальщине. Рядом с ними председатель колхоза Тютюнников с сыном Васькой и дочерью Варей. Захар слышит ее голос, видит мелькающую меж стволов фигуру. В такие минуты не ощущает усталости. Он часто засматривается в ту сторону: полотно лучка начинает елозить по сосне вхолостую. Пильщик спохватывается, наверстывает упущенные мгновения труда.

Много было довосходного времени. Платоша постоял над приемным внуком. Повздыхал, пошевелил за плечо. Павлуня соскочил, протер глазенки.

— Дедушка, я проспал? Я счас. Я мигом.

Запрудины жили вместе с возчиками в другом бараке, поставленном на берегу Вадыльги. Неподалеку была срублена конюшня. К ней примыкал огороженный жердняком денник. Дорога-ледянка проходила рядом, спускаясь плавным скатом к заваленному бревнами берегу.

Павлуня держал переносной фонарь: «летучая мышь» отбрасывала на снег и стожок сена продолговатое крыло света. Дедушка стоял возле стожка, бодал его трехрожковыми вилами, побрасывал на землю навильники сена. Сегодня старый и малый управлялись вдвоем, да возчики помогали. Яков с сыном ночевали в таежном бараке. Бригадир побаивался: из-за воскресного дня храп на нарах продлится дольше обычного. Надо прерывать и прерывать сон лесозаготовителей, пока не прервалась, не сгнула в тартарары распроклятая война, насылающая на людей насильственный мор. Не хочет фронтовик Запрудин прожить жизнь не в честь, не в славу. И в тылу надо биться. Шушукуются артельцы в бараке: наш однокрылый с ума сошел... у него ребра и то потеют на деляне... кричит во сне: па-да-ит... спит и сосны валит... такая тягота нас с ног свалит...

В бараке на видном месте портрет Сталина. Отойдешь от двери влево — всевидящие глаза не выпускают тебя из поля зрения. Пойдешь вправо, к барачной печи — открытый взгляд дойдет и там. Хоть стену лбом прошиби — глаза уйдут за тобой и настигнут где угодно. Фросюшка-Подайте Ниточку пробовала прятаться под нары. Оттуда смотрела в щель: глаза настигли ее и там. От такого открытия полоумка вскрикнула, ударила головой о нарный горбыль. Заскулила от боли.

Таскает Павлуня фонарь за дедом, сопит, запинается о шевяки. Платоша зовет его: мой светоносец. Лесовозные лошади, быки плетутся к Вадыльге, окружают продолговатые проруби. За морозную ночь они затянулись свежей напайкой льда. Возчица тетка Марья — мужиковатая, грубоголосая солдатка загода пропешнила проруби, вычерпала сачком брякающие осколки льда. Женщина отсмаркивается по сторонам шумно, пугая коней, быков и светоносца: вздрагивает при каждой прочистке марьяных ноздрей. Дед упрекает:

— Марька, потише лупи из своей двустволки: лед на речке трещит. Мотай потихоньку сопни на кулак.

— Сойдет и этак, — перебивает находчивая солдатка.

Она не рассовывает словечки по карманам, не прячет. Держит наизготовку за прямыми, красивыми зубами. Вылетают они оттуда тыквенными семечками, пересыпаемыми с ладони на ладонь.

— Платон, любовь с тыльной стороны чем будет? Не знаешь? Сдаешься? Где тебе — киластому — отгадать. Любовь с тыльной стороны изменой замарана. Внятно и дураку ясно.

Опершись на пешню, зевает, поправляет клетчатый платок.

— Павлик-журавлик, замотал тебя дед совсем... У-у, старая страхолюдина! Извел мальчонку — фонарь качает. Не свой, так изгаляешься, сон рушишь.

— Эк, прорвало тебя поутрянке. Нырни в прорубь — остынь.

— Я, дед, если нырну — ледоход на речке начнется. Жар во мне пока есть. Растоплю ледок.

— Пышешь — залить некому.

— Гришка с фронта прибудет — зальет. Вся его до уголёчка. В холщове с ним ходили, любовь водили. Я любовь-то на тыльную сторону не переверну, наизнанку не выверну. Так и скажи своему Яшке однокрылому. Пусть себе на ночевку тихеевскую бабенку присмотрит. Они по юбочной части сговорчивее...

— Кобыла! При мальце такую чушь несешь.

— Чушь — рыбка красная, мороженая. Я тебя правдой горячей секу. Пусть, говорю, не пристаёт ко мне Яшка. Хошь и военный герой, да не в каждую воронку вольет. Знаем, когда ее пастью вверх поднять...

— Замолчи ты — парнишка рядом.

— Правда уши не обожжет. Привыкнет к житейщине — раньше мужиком станет...

Зла Марья в воскресное утро. Вчерашняя ломота не прошла — новая в тело вползает. Вставай, топай к мордастым, сопливым быкам, запрягай их, долби лед.

Рано стали приваживать Марью к деревенским работам-заботам. В семь лет куделю пряла. В девять серпом жала. В двенадцать во весь гуж тянула всякую домовщину. Стряпня — ее. Огород — тоже. В подойник вместе с молоком слезы роняла. В колхозе разноработницей была. Говорила отцу: «Суют меня, тятя, туда, где негоже и кто больше не сможе...» — «Тяни, доченька, тяни, — успокаивал отец. — Станешь полной девкой — на вечерки отпускать буду». Зимой отец в дороги ездил, кладь купецкую возил. Помогала ему с лошадьми управляться. Запрягала шустрее отца. Руки были напитаны мужской силой. Не раз, стягивая клещевины хомута, супонь рвала. Переусердствует — сырмятная затяжка пополам.

Отец помогал старшему сыну ставить дом-пятистенок — надсадился. Сосновые бревна были торцом в полную луну. За болотцем на озерине утки крикают. Возле желтого сруба мужики с натуги подкрякивают. Огрузнело брюхо. В кишках будто пятифунтовая гирия бултыхается. Пошел к знахарке. Двух куриц живых прихватил в дар и полнехонькую четверть первача.

Знахарка утопила в пуп конец пальца, поцарапала ногтем. Щупала живот, ухо к нему прикладывала. Изрекла: «Банки не помогут — нутром малы. Горшок стерпишь?» — «Хоть чугуны ведерный накладывай — уйми боль».

Подожгла старуха куделю, принялась выжигать воздух в горшке. Проворно опрокинула на брюхо больному. Единственная банка потянула в горячее нутро все нутро мужика. Казалось, пуп успел достичь глиняного дна и прогнулась от горшковой тяги ноющая поясница. «Терпи! Терпи!» — заклинала сгорбленная знахарка и мелким крестом молилась троеручице.

Снимали горшок-присоску — мешалку под край подсовывали. Рычагом сковырнули банку: на нее доморощенная лекарица возлагала исцелительную надежду. Вокруг пупа разбежался багровый диск с глубокой вдавлиной по краю. Знахарка перекрестила его, смазала какой-то пахучей маслянистой жидкостью. Накрыла подолом суконной рубахи, положив поверх ватное одеяло. «Вот поверь — поможет».

Однако операция не помогнула. Отец Марьи занедужил сильнее. Захач и незадолго после Воздвиженья пришлось рыть могилу и заглублять в песок усопшую душу.

Две ночи не спала Марья — хоть глаза сшивай. Убивается по тятю, ходит лунатичкой по горнице, слезами давится. Братовья жалеют. Следят в четыре настороженных глаза, чтобы сестрица с горюшка руки на себя не наложила. Ухажер Гришуха губы ее красные соленые за баней целует. Шепчет ласковое, успокоительное.

Повиснет у него на руках — горячая, тугогрудая — у парня от любовной дрожи колени подсекаются.

Судьба калечит. Время лечит. Растаяла печаль вешним снегом, стекла слезами. Марья — девка чистоплотница. Зубы толченым мелом чистит. В бане пихтовые лапки запаривает, моется духмяной водой. Доверили ей телят колхозных. Скоблит-моет-чистит-кормит да песнями приправляет любую разнodelицу. Мать не нарадуется. Председатель не нахвалится, лишние трудовни приращивает. Ухажер Гришуха любит не налюбится. Пробует в порывистой забывчивости руки запускать в недозволенные закутки. Девушка-васюганочка с отягом хлещет по дерзкой гришкиной лапе — парень заикаться начинает.

Горло у девушки словно цветочным медком смазано. Слова вылетали сладкие, распевные:

Девочки-беляночки,

Ходите на поляночки.
Когда бабы будете —
Поляночки забудете.

Про себя, видно, пела на одной из давних вечеров. Какие теперь поляночки — сосновые деляны кругом. Живет в окружении коней, быков, киластого деда-ворчуна и краснорожих от мороза возчиков. Голос огрубел. Сама омужичилась. По ядреному нарымскому крепкословью не уступает мужикам. Полоснет очередь, у возчиков от бабьего посрамленья уши в «козью ножку» скручиваются.

Давно-предавно было детство. Промелькнуло верткой ласточкой-береговушкой, скрылось в норку и клювик не показывает. Марька до трех лет терзала мамкины титьки, молочко с причмоком выщеживала. Мазали соски рыбьей желчью, польнью натирала — все равно отвадить не могли. Подсмотрела однажды девочка: тятя барана резал и тот верещал страшным ревом. С визгом побежала дочурка домой. Запнулась о крыльцо, голову ушибла. Тятя за столом пристрашал: «Будешь еще мамкины титьки сосать — как барашка прирежу». Испугалась, два дня влещку отболела. С той поры не лезла к материной груди.

Помнит: учили ее доить корову. Текло по локтям молоко, капало мимо подойника. Детство, молодость тоже мимо протекли. Размазало их по жизни, точно молочко по локтям. Мать успокаивает: «Радуйся, дочка, тебя с любви замуж отдавали. Меня отец с бича отдавал. Не хотела идти за тятюку твоего — царство ему небесное — так меня, супротивницу, бичом поливали. Ты ядреная, трудись в полную меру. У меня болезнь-простудница. Пальцы на ногах скрючило, шишки выросли. Мне бы молиться да на печку лезть, а я вместо тебя за телятами хожу, за ребятей твоей приглядываю. В лесу совсем угроблюсь, если пошлют». — «Ладно, мать, буду за двоих ломить».

Ломит Марья. Ворчит, матерится, но на ледянке первая возчица. На погрузке бревен, на раскатке у реки ворочает березовой вагой — пар в отлет. Мать предупреждала: «Ты, доченька, не запусти насаду в живот, не подорви его на бревнах. Сосны медные, осторожничай с ними. Отца брюшная болезнь скоренько прибрала». — «Пусть и меня приберет. Что за житуха — мужика нет. Хлеб весовой. Хоть волчицей реви». — «Не хнычь. Мужик есть у тебя — воюющий он. Ребятенки — погодки. Учить их надо». — «Ниче, будут руки, будет и грамота. Вырастут — околхозятся. Трудодни за них есть кому подсчитывать».

Быки боятся Марью. Косят на нее и тянут сани во весь бычий упор. Возчица с ними расправляется по-своему. Заленивит какой упрямец, пойдет шатко-валко, достает из сумки банку с разбавленным скипидаром. За голенищем пима торчит обломок ружейного шомпола с тряпичной намоткой на конце. Пропитает тряпицу скипидаром, поднимет хвост рогатого ленивца, мазнет под репицей. Затрещит ярмо, загудят полозья. Иногда быкам достаточно зычного окрика возчицы:

«Шшевелелись! Сскиппидарричку ззахотели?! Жживо прочищу жж... шшомполом!»

Ведет Марья бычьей ораву по ледянке, поглядывает на Пургу, на поводырька. Павлушку ей жалко до слез. Она с ним по-матерински нежна и заботлива. Обувает утром, носки шерстяные разомнет, валенки проверит — хорошо ли просушились. Вырезала из войлока стельки, положила в пимы. Павлуня принимает женские ласки, извинительно смотрит на деда — родня ведь. Ему не нравится, что возчица осыпает Платошу дерзкими словами, грубит ему. Он вспоминает про Марьину грубость, отдергивает руку, косится на женщину... Господи, когда мои сынки вырастут вот такими, — размышляет солдатка. — Пока макушками до столешницы достают.

...Гриша-Гришуха, где ты, муженек мой ласковый, любимый? Последнее письмоце-треугольник почти два месяца шло. На сгибах измахрилось, карандашные буквы полустерлись. Несколько слов в письме густо замараны похужей на синьку мазаниной. Бывалый солдат Яшка Запрудин объяснил: «Цензура военная расстаралась. Муж, наверно, места боев указал. Запрещено это. Тайна...» Марья отчетливо увидела Гришу посередь избы. Стоит на лунной дорожке в белых подштанниках и поскрипывают под ним сонные половицы. Он пришел с улицы, остыл и не хочет морозить жену — согревается у печки. Марья не спит, дожидается. Уголок одеяла отбросила в сторону, шепчет горячим, прерывистым шепотом: «Да иди же, иди... дурачок... чего печь подпираться?»

Поскуливает от счастья Гришуха. Нырять в перину под такой же перинный бок жены. За окошком их спаленки бесится белая заверть, наращивает суметы, заливают прясла и дороги...

Женщина не хочет вызывать из памяти утешные воспоминания — сами выпирают из глубины сознания, прорисовывают перед глазами брачную житейщину. В сны Гриша почему-то не приходит. Всякая чертовщина снится — русалки, жнейки, кроты-землеройки, медведь, запряженный в телегу. Приснился Яшка Запрудин. Зовет шельмец в овин за снопы. Пошла за ним телочкой на веревочке. Заглянула за овсяную кладь, вместо стахановца стоят стогометные вилы и коза рядом бродит...

«Шшевелелись! Сскиппидарричку ззахотели!»

...Два годика с Гришухой дружили. Любовь — не картошка, а тоже не приедалась. Уйдут на Васюган, сядут на мураву у обрыва. Со звезд пример берут — молчат и глазами лучатся. Подъярная вода воспламеняется

лунным огнем. Не может вспыхнуть разом по всему плесу, но широкая разбежная дорога горит переливчато и неугасимо.

Помнит Марья все тропинки, засидки, уединенные уголки в Больших Бродях и в окрестностях. Помнит, где стояли, сидели, лежали, барахтались на траве, на сене, в снегу. Самое жгучее воспоминание хранит о своей бане. Ее топили, как водится, по субботам. И в воскресенье не улетучивалось тепло, плавал сладковатый дух березовых веников. Братовья приметили Марьку с ухажером: нырнули в баню и долго не выходят. Дело было перед весенней утиной охотой. Приспичило заядлым охотникам пристреливать ружья именно в светлый воскресный денек, именно в свою банную дверь. Начертили углем круги. Отмерили шагами расстояние. Гришуха хотел пойти в предбанник, набросить на дверь крючок. Девушка повисла на плече, не пустила. «Вдруг они пулей пальнут». — «Дробью», — ответил жених. Убрал с плеча Марькину руку, скорым шагом пересек предбанник. Успел подтянуть дверь, набросить крючок на петлю — один за другим прогремели оглушительные выстрелы. Несколько дробин прошмыгнули в дверную щель, смачно шлепнулись о ребристую поверхность стиральной доски. Ее Гришуха держал перед собой в целях предосторожности. «Теперь до ночи палите». — «Боюсь я, Гришенька. Мои охломоны и до пуль дойдут».

Потянуло запахом дымного пороха. Марька боязливо прижалась к жениху. Колени дрожали не от ружейной пальбы. Передергивало лихорадочно плечи. Глаза горели огнем заждавшейся весны и любви.

Братовья подошли к мишени.

«Кучно хлещет ружьецо», — насмешливо проговорил старшак.

«Мое левит сильно. Всю дробь к косяку отнесло», — тоже ехидно произнес второй пристрельщик.

Влюбленные не желали себя выдавать. Жених поднял Марьку на сильные руки. Покружил, посадил на гладкую скамью возле полка. На каждый выстрел девушка показывала кулак. «Хихикальщики чертовы! Погодите, я у вас чучела и патронташ спрячу!» Сегодня у смелой Марьки язык был ватный, непослушный. Стучали зубы и противный, незнакомый ранее озноб простреливал горячее тело.

После пальбы охотники принесли шилья, принялись выколупывать дробины. Свинец дорог, не оставлять же его в банной двери. За столом едят парни уток и рябчиков — зорко следят. Попадет на зуб дробинка, скорее на ладонь. Для патрона согодится. Примета верная: дробь, извлеченная из дичи, приносит удачу на новой охоте.

Не хватило терпения у охотников выкурить из бани сестренку с женишком. Сняли ружейную осадку, ушли.

Влюбленным уходить из бани не хочется. Забрались на полку, бросили под головы исхлестанные веники.

Полеживают в обнимку, целуются-милуются. Скворцы на огородной изгороди тешат напевками. В мутное оконце бани лучи ломаются.

«Гриш, ты меня сильно-пресильно любишь?»

«Сильнее некуда... Утопиться готов за тебя».

«Светло шибко в бане. Иди окошко занавесь... Охломоны могут заглянуть».

Неохотно сполз с полка, сделал затемнение. Вернулся, в изнеможении прихлынул к Марьке. Вольничал руками, диковато, захватисто тискал упругое дрожащее тело. Девчонка сейчас не противилась. Катала по веникам горячую голову, ловила ускользящие губы ухажера трепетными набухшими губами... Марья даже не могла предположить, что давно влекущее это разрешится ломучей болью и сдавленным криком. Ошеломленный Гришуха шуршал подголовными вениками, глушил всхлипы и выстоны.

«Мууж... мой мууж», — вяло отбубнила Марья и отвернулась к каменке. Сейчас ее тоже обдали кипятком — пышет вся...

Страшила скорая развязка на полке. Овладело грузное, налетное чувство стыда и раскаянья. Запоздало вспомнилось шепотное предостережение матери. Она расчесывала длинные волнистые волосы дочки, любовалась холмистым накатом груди. Говорила за перегородкой: «Берегись, доченька, досвадебной утехи. Большенькой стала. Скоро парни-кобели домогаться начнут. Будут плакать, просить. Ты тоже реви, но не давай. Упустишь честь — до гроба не возвернешь...»

«Гриш, миильный... Теперь не бросишь?»

Самодовольный парень потянулся, икнул. Вздумал повыкобениться:

«Захочу — брошу. Захочу — нет».

Марья сгребла жениха за шевелюру, спихнула на пол.

«Ты че?! Пошутить нельзя?!»

Шла по деревне, опускала глаза. Чудилось: любой столб, всякое прясло ведает о их тайне. Братовья принялись ехидничать. Окатили на крыльце частушкой: «Целовались с Гришкой в бане, поломали косяки. Неужели их посадят за такие пустяки?» На свадьбе друзья-охотнички были молчаливы, строги. Быстро ухмелели от башколомной самогонки, завалились дрыхать в кладовке на расстеленном тулупе...

«Шшевелелись, миллаи! Сскиппидаррчику зааххотели! «

Быки упрутся на ледянке, не могут догнать слепую Пургу. Павлуня ведет ее в поводу, поет о чем-то. До возчицы долетает — ня-я-а-ю-ю. Солдатке захотелось затянуть частушку, прочистить немоту глотки складными словами. Покатилось над белесой равниной:

Мой миленок на войне,
На опасном фронте.
Не ходите вы ко мне
И меня не троньте.

Быки боятся осипшего голоса погонщицы. Косятся, опускают ниже крутолобые головы.

Если бесится за барачными низкими окнами белая пурга, Пурга серая на вынужденном отстое в конюшне. Овес в нерабочее время берегут, но сена по кормушкам — вволю. Вволюшку и воды. В затяжные снегоvei Павлуня отсыпается на нарах. Дед и Захар гоняют на водопой лошадиные, бычьи тягловые силы. По вешке находят занесенные проруби, разгребают снег. Под теплой укуткой лед промерзает мало. Его можно продолбить торцом сачка, согнутого из черемуховой заготовки.

Тыловики в метели не волынят. Под крытыми навесами стучат топоры: идет производство ружейной болванки. Готовят клепку для бочкотары. Колят drankу. Платоша точит пилы, топоры. Женщины латают одежку, порванную на делянах. После насадного лесоповала любое дело — отдых.

Отмутьянит непогодь — надо завалы-заносы расчищать. Суметы — под обрез барачных крыш. Впрягают попарно лошадей в деревянные плуги-снегопахи. Прочищают ледовую трассу. Проминают зимники и выездные пути на делянах: усы. Таких усов закручено в бору много. Пока разгладишь — сто потов схлынет. Староверец Остах Куцейкин просит бригадира: «Яков, дай на молитве утренней постоять, заступнику нашему помолиться». «Соснам помолишься. Они тебе сами земной поклон отобьют».

Блестят, переливаются под ливнем лучей матерые снега. Разгульные, выюжные ветры вместе с колючим снегом соскребли с небес все до единой звездочки. Рассыпали щедро по сугробам. Прыгнет на ветке белка в поисках сухеного грибка, припасенного с осени, обронит из-под когтистых лапок комья. Упадут они беззвучно в подкронный пух, переливчато заструится серебряная кухта, относимая прокаленным воздухом.

По сторонам ледянки почти до самого катища тянется рослый сосняк. На колхозной сходке Марья напустилась на лесообъездчика Бабинцева:

— Почему валим сосняк у черта на куличках? Он у реки рядом. Пили да пихай в воду.

Анисим Иванович поднялся из-за стола. Покосился на низкий потолок клубной сцены: мол, стоит ли расправлять полностью плечистую двухметровую фигуру. Решил: стоит. Стоял в полный распах широкой груди, прямой, решительный.

— По берегам Оби, Чулыма, Кети, Тыма, Васюгана, Вадыльги строевой лес нашей державы. В нем военная промышленность нужду великую имеет. Понятно: идет война, силенки наши фронтовыми наборами урезаны. Вот они перед глазами силы колхозные, артельные: платки, шали вижу. Среди них седые головы дедов...

—...И отводи деляны рядом с катищем! — крикнула на весь клубишко телятница. — Не вреди трудовому народу.

Лесообъездчик с прищуром и осуждающим покачиванием крупной головы посмотрел на крикуню. Недоуменно развел руками.

— Надо знать всем — природа подвержена устойчивым законам. Многие из них люди распознали за века своего тяжелого существования. Вода и лес постоянно живут в братской, тесной взаимосвязи. Они — отличные соседи. Мир-лад между ними природа не нарушает. Читайте их одной дружной семьей. Вода — хозяйка. Лес — хозяин. Люди с пилами и топорами давно расторгают их дружбу. Валят лес-береговик. Посягают на запретную зону воды: она ведь находится под береговой охраной бора. Разве Большие Броды — не поучительный пример для нас? На деревню надвигаются овраги. Скальвается яр. Происходят почти ежегодные оползни. Мелеет река. Песок на перекатах рыскающий: носит его туда-сюда — фарватеру помеха. Поторопились мужики-первопоселенцы, произвели явный убой леса вокруг деревни. Сосны пустили на избы, школу, клуб, возвели другие постройки. Березняк, осинник свалили для банных венцов, сожгли в печах. Оглобли, топорища, дуги, веники — все под боком брали. Осокори с низинной стороны для обласков сгодились. Даже кедры вблизи деревни на бочки и мебель свалили.

В зале слушали, не перебивали. Платоше Запрудину сильно хотелось почесать зудкую поясницу. Крепился, сидел на скамейке не ерзя, не шевелясь. Слишком чиста и броска была правда обвинения большебродских первопоселенцев. Варя плечо в плечо сидела с Захаром. Темновато было в клубе: керосиновые лампы-десятилинейки обливали тусклым светом штукатуренные стены, слабо пробивая полутемноту клубного зала. Захар вплеп свои пальцы в мягкие пальцы Вари. Наполненный счастьем такой близости, не сводил с лесообъездчика завороженных глаз.

На сцене стол, покрытый плакатным материалом. На табуретках председатель колхоза Василий Сергеевич Тютюнников и кучерявый мужчина в форменном кителе с большими накладными карманами. На лацкане посверкивал значок «Ворошиловский стрелок». Ходила слава о меткаче: с тридцати шагов всаживал наганную пулю в морковку, поставленную стоймя. Наделенный большими полномочиями по проверке колхозов, артелей, заводиков по производству скипидара, дегтя, пихтового масла, древесного спирта и угля для кузниц, стрелок исколесил Понарымье вдоль и поперек. Деревянные лодки с малосильными моторами, обласки, кошевки, крестьянские дровни, кони под седлом — все годилось для передвижения пробивного уполномоченного. Его кидали туда, где в интересах общенарымского дела требовалось поднять трудовые массы на героизм. Он живо ликвидировал прорывы на севе, сенокосе, уборке хлеба, турнепса, льна. Районных руководителей не интересовало — каким образом достигался нажим сверху. Главное, народные низы после посещения уполномоченного начинали лучше доить коров, больше выжимать из пней и пихтовых лапок смолы, увеличивать улов рыбы, сдачу пушнины, шерсти, масла. Люди ускоряли дело, тянули планы. В отсылаемых сводках звенела крупная цифирь.

Нажимная, пробойная метода стрелка действовала без осечки. Требовалось по ходу дела взять кого-нибудь за грудки — брал без опаски. Поднесет к обвиняемому руководителю рыболовецкой артели шекастое, наодеколоненное лицо, прошипит:

— Понимаешь ты или нет текущий момент партии? Может хочешь, чтобы нас империализм за глотку взял? Лучше я тебе глотку пережму — план выжму.

Не чичкался стрелок и с председателями колхозов. По молодости лет и первой неопытности номенклатурный чин стучал в конторах кулаком по столу — напрасно козонки отбивал. Позже стал хватать подручные средства — пресс-папье, счеты, пробку от графина. Долбил по зеленому сукну стола, вколачивал в головы подчиненных слова-пули:

— Вы-ло-жишь партийный билет, если завалишь показатели... Мал-чать! У прокурора оправдываться будешь. Рас-споясались совсем! Директивы партии обжалованию не подлежат... Головокружение от успехов надолго затянулось. Надо мозги проветрить...

Выходил председатель колхоза из конторы ошарашенным. Бормотал:

— Какое тут головокружение от успехов? От бедности башка кругом идет... Лучше бы ты, крикун, расколотил счеты об пол: стыдно их в руки брать, доходы подсчитывать. Крестьяне сполна свой труд отдают. Чем я сполна с ними рассчитываться буду? Соломой? Брюквой? Турнепсом? Им хлебушек надо, а его план под метелку вымел...

Из длительного вояжа по нарымским весям стрелок всегда возвращался с пушшиной. Он посещал займки, охотничьи избушки кадровых промысловиков. Заезжал в затерянные в глуши смолокурные заводешки, бондарные артели. Получал в подарок выделанные собольи, норковые, лисьи, ондатровые шкурки. Изредка покупал меха по мизерной цене. Груз отличный — легкий, места мало занимает — умещается в дорожном саквояже вместе с бритвенным прибором, полотенцем, мылом и кипой инструкций.

Привезенные меха шли в праздничное подношение важным персонам, от кого зависела дальнейшая карьера. Поднося начальству даровую рухлядь, уполномоченный по-лисий, с подобострастием заглядывал в высокие очи. Читал в них желанное: «Ценю... одобряю... поддержу с любой просьбой... далеко пойдешь...» Угодничество обещало продвижение. Меха выстлали тихий, мягкий путь подъема по номенклатурной некрутой лестнице.

У народа водится свой обряд крещения: побывав в холодной купели, партийный толкач обрел кличку Меховой Угодник.

На колхозной сходке в Больших Бродах ему нравились реплики из зала. Правильно возмущается баба: чего валить сосняк в глубине бора. Надо брать с ладони — у берега. Нечего слушать наивные лесниковские рассусолы о природе, о сторожевой миссии берегового леса. Война все издержки покроет. Можно план с лихвой перекрыть. Председатель колхоза поддержит мое предложение. Куда он — солдат партии — денется? Скажу: вали лес береговой — пикнуть не посмеет... Тютюнников не всегда берет под козырек. Пробует зубаститься со мной. Его за грудки не возьмешь: районное руководство с ним за ручку здоровается...

Усталый Никитка Басалаев подремывал на скамейке. Опускал веки, клонил голову. Спыхватывался, вспоминал, где сидит. Резко выпрямлялся, тарачил на сцену клейкие глаза. В такой удобный момент ясновидящий Меховой Угодник успевал прожечь глазищами парня. Он хорошо запомнил этого беса. Однажды Басалаев, глядя на чадающую керосиновую лампу в клубе, обмолвился:

— Пока нет у нас лампочки Ильича, пусть светит социализму лампочка Виссарионовича.

Вскоре Меховой Угодник был уведомлен о «дерзкой политической выходке». Уполномоченный прижал паренька к стене — «душевный разговор» происходил в колхозной конторе.

— В нарымских избах коптюшки горят. От лучины недавно отошли. Ты, контра, над лампой керосиновой насмехаешься?!

— Д-да я р-раз-ве...

— Мал-чать!.. Я сейчас говорю... Страна огромная, ее на карте саженью мерить надо. Не всюду лампочки Ильича пришли. Сейчас вождь другой, такой же великий. Он даст все... В твоей родове, Басалаев, белые были? Все знаем. Смотри, доболтаешься. Еще один слух о тебе плохой — на тюремные нары загремишь, мамашу на парашу поменяешь.

Контра перехватил секущий взгляд Мехового Угодника. Дерзкие глаза у власти, сидящей за столом. Никита сам не гнилой дратвой шит. Уперлись очи в очи — парень сворот не хочет делать. Резь пошла по глазам, заслезились от напряжения. Зло зашептал:

— Хренушки! Не уступлю болтуну. Нахлобучку за «лампочку Виссарионовича» давал, тюрьмой пугал. Не посадишь — ишачить некому. Отец мой на войне: одно это на любом суде меня оправдает.

Меховой Угодник проморгался, отступил от контры. Повернулся лицом к лесообъездчику. Анисим Иванович глядел на деревенских дедов. Торчат из зала сивые, белые головы-кочки, присыпанные порошей. На сходку приковыляла богомольная Серафима. Молится всевышнему, сроду не оглянется, хоть медведь за ногу дергай. Варя бабушку любит, прощает безделье возле икон. Чего с нее, старой, возьмешь? С безбожниками она перестала спорить. Посрамили ее комсомольцы, задав каверзный вопрос: «В небесах Илья-пророк на коне катается. Интересно бы узнать, чем там конь питается?»

Телятница Марья ерзает на скамейке, чешет бок под телогрейкой. Не хочет мириться с тем, что деляну опять собираются отвести на материковой гриве. Пока доползешь оттуда до катища — полозья саней задымятся, весь ток из коней и быков выйдет. Вроде все верно говорит лесной ведун Бабинцев, а переложи его слова на бабий ум — новую тяготу сулит.

Анисим Иванович костерит большебродских дедов. Почему допустили ненужную удаль топоров и пил — лес-береговик чиркнули?

От реки до деревни прокосище широкий: все ветры ломятся к избам, дороги снегами забивают.

Третий год приставлен Бабинцев к бору охранником и радетелем. Объезжал на саврасом коне старые выруба — начертыхался. Пни по колено. Вершинник, комли, сучки догнивают в кучах. Подъехал к завалу, вытащил ногу из стремени. Ковырнул носком сапога сухую кору — жирные жуки-древоточцы, пугаясь дневного света, зашевелились, поползли по древесной трухе в норки. На вырубках умирал поврежденный кедровый и сосновый молодняк. Лосиных погрызов соснового подростка оказалось мало. Людские неосторожные следы не поддавались пересчету. В травмированном бору стучали дятлы. Предусмотрительная природа расставила копешки муравейников.

Попадался горельный лес. Низовые пожары испепелили беломошники, верховые вычернили стволы: они и умершие скрипели, давились напрасным криком. Саврасый чихал от мелкой подкопытной сажки, неохотно ступал по горельнику.

Вокруг Тихеевки плешины в бору были еще страшнее. На выгарях самосейно расселился иван-чай. Гудели в сиреневых цветках дикие пчелы, словно вымаливали у природы прощение за людскую измуку леса.

— Мужики, — совестил лесоохранник, — до вас староверы берегли бор. Порубочные отходы убирали.

— У них на то уговор с господом был, — отшучивались тихеевцы. — Нас сюда товарищ Сталин уговорил заехать: не хотите ли тайгу посмотреть да высылку потерпеть. Вот и терпим: мозоли набиваем, бор мне.

Понимал Анисим Иванович: шумом голоса не переупрямить обиженных мужиков. Несправедливость, обида въелись в их сердца ржавчиной. Собрал тихеевцев посмекалистей, пригласил в избу-читальню. Несколько часов ласковым тоном о лесе говорил. Он и кормилец. Он и защитник от холодов. На медведя раньше с рогатиной ходили. Не на небе ее вырезали — в лес шли. Были прежние несговорчивые полесовщики. Барские леса охраняли. Мужики у барина лыко украдом драли. Поймают полесовщики неудачника-лыкодера, к хозяину волокут. И вот в сарае мужика дерут розгами: кожа лыком свисает.

Ладненько получалось в рассказе: без бора как без рук. Слушали тихеевцы, рты кривили. Чесали затылки. Дед Аггей, одернув рубаху-косоворотку, уставился на Бабинцева пытливыми глазами:

— Скажи, мил-человек, если товарищ Сталин — заступник мужицкий, почему он пустил в разгон пахарские семьи? Коса раскулацкая остра — кулака и середняка заодно валила.

— Мы сейчас о лесе говорим, о сосновом боре. Его вы загадить успели.

— Нашего леса до нового потопа хватит. Чего его жалеть, пеньки замерять да короедов пересчитывать? Нас другое заботит. Допустим, разживемся мы тут, обогатим лошадами и коровами. Нас отсюда на Колыму сорвут, золотишко мыть заставят. Мы мужики-хлебники, самородки искать не привыкли. Зерно, вот наше самородное золото. Живем мы в Тихеевке котятками прилудными. До сих пор не знаем — наше, не наше вокруг. Душа кузнечными клещами сжата — нет тяги для сердечного разговора.

— Я, мужики в вашей судьбе не повинен. Если по уму рассудить — насильничать над людьми не надо. Вырвали вас из одной земли, воткнули в другую. Но поймите: при любой озлобленности сердца и души природа страдать не должна. Не должны мы на ней срывать зло жизни.

— Ладно, Иваныч, наведем в бору порядок. Прослышали мы — рублем нас ущемлять собираешься. Наши денежки черт в кузове нес да по дороге растрес. С каких накоплений штрафы выплачивать? Расчет один — руки...

Больше года тихеевцы сжигали лесное хламье, выпугивали из валежника черных и серых гадюк. Слово штраф оказалось безосечным патроном, вложенным в мужичьи головы, как в ствол.

Вокруг Больших Бродов и Тихеевки уменьшилась захламленность. Деляны, отведенные под дровопил, очищались от веток, коры, прелых жердин, подкладываемых под поленницы. На лесоповале стали применять умелую валку деревьев, лелеять хвойный подрост, окорять пни, избавляться от порубочных отходов.

Бабинцев вплетал в разговор с жителями деревень крепкосвитую нить убедительных слов. Говорил о природе, лесах, водах не в глобальном земном масштабе — суживал до пределов родной нарымской стороны. Она — дом. Она — светлая горница. Убирай вовремя сор, не заматай по углам, не плоди плесень. Бор берець — богатство множить. Не пашет, не сеет человек — готовое берет. Природа вечной данью рассчитывается: орехами, ягодой, пушиной, грибами, боровой дичью. Людям услужить рады реки, озера, морошковые и клюквенные болота, урманы...

Вполслуха слушает лесообъездчика Меховой Угодник. Хмурится, проявляет явное недовольство: развел лесной охранник лекцию-гарабарщину. Телятница Марья дело предлагает: сосняк надо валить возле реки. Не время про муравейники, ягодники и грибочки болтать. Уполномоченный резким голосом перебивает Бабинцева:

— Говори конкретно, где лесничество отводит новые деляны?

— На сухой материковой гриве.

— Расстояние до реки?

— Километра полтора.

— Отменяю! Надо переписать лесобилет. Ты не с большевистских позиций трактуешь. Душком меньшевизма попахивает. О людях, о лошадях подумал?

— Я о лесе думаю...

— О нем есть кому голову ломать... Председатель, валить будешь береговик. Не жалея бор — новый вырастет... Тоже мне — заступник отыскался! Плакала Глаша, как лес вырубали...

— У Некрасова — плакала Саша.

— Глаша, Паша — какая разница. Не время слезы лить. Люди кровь на войне проливают.

— Лесничество исходило не из одних природоохранных соображений. Побережный сосняк на вид крепок, но древесина у него пористая, малосмольная. Места болотистые. Питание деревьев скуднее, чем на сухой, песчаной гриве. Оборонным заводам мы обязаны поставлять древесину прочную, с большим коэффициентом плотности. Именно такие сосны на материковой гриве. Мы провели структурный анализ древесины. Исходя из проверки...

— Долго будешь басни рассказывать?

— Наберитесь такта не перебивать и не давить номенклатурным... грузом. — Анисим Иванович хотел сказать — пузом. Вовремя спохватился. — Сосна сосне — рознь. Это факт, не басни...

Застонал все же приречный сосняк. Его валили не по лесобилету — по указанию сверху. Бабинцев насушил в дорогу сухарей, положил в котомку отфугованные брусочки — образцы древесины. На свой страх и риск поехал в Томск, затем в Новосибирск. Возвращался окрыленный. Лабораторный анализ подтвердил: древесина с песчаного возвышения по всем техническим требованиям выше, чем с болотистой местности. О ней можно было твердо сказать — авиасосна.

Белая плотная бумага, заверенная печатью, теплила грудь. Часто щупал ее Анисим Иванович: цела ли. Не зря размачивал сухарики станционным кипятком, грыз в ожидании поезда. Не напрасно ходил по высоким этажам, стучался в кабинеты, где сидели солидные дяди в военной форме.

Вернулся Бабинцев в Большие Броды, осмотрел начатые лесоразработки. Вымолвил:

— Полное разбоище!

К ходоку подъехал в кошевке председатель колхоза.

— Выездил что-нибудь?

Насупленный лесообъездчик протянул развернутый лист. Подавая, заглянул в него: не скатилась ли из-под машинописного текста круглая печать. На месте. Даже тень от себя пустила — легкий чернильный оттиск наверху фирменного бланка. Славная бумага оказалась под двумя печатями.

Тютюников вчитывался в текст, радовался результату анализа.

— Мы предвидели это. Ведем просеку к тому сосняку. Прорубили волоки. Привели в порядок дальний барак. Скоро в него будем переселяться.

Анисим Иванович оживился. Расправил плечи — еще подросток на голову. Приветливо протянул председателю руку.

— Здравствуй, Василий Сергеевич! Здравствуй дорогой! В суете даже с земляком забудешь поздороваться...

Длинна дорога-ледянка, зато укатиста. Возница Марья успела перебрать в голове много дум. О колхозном собрании, на котором произошла словесная перепалка, о делянах. Думала о муже Григории. О сироте Павлуне. Всплывет перед глазами, утонет в пучине снегов клубный зальчик, освещенный керосиновыми лампами. Возникнут барачные нары, саженный лесообъездчик, фронтовичок Яшка-однокрылый. И снова бычьи зады, плотно лежащие сосны на саях.

— Шшевелись, ддяволы! Шшомполла ззахотели?! Ввраз прочищцу!

5

Обезбородили староверца Орефия Куцейкина: добрый пучок чесаной кудели сняли. Подставил под стрижанину руки, поймал. Воровато спрятал в карман хлопчатобумажного пиджака с торчащими лацканами, протертым до дыр воротником. Испуганно глянул в мутноватое зеркало: боже, спаси и помилуй! Чужой человечище воззрился из стекла.

Если бы волей оспода бога творилось сие святотатство, принял бы острижение без душевных мук. Набрасывай на плечи и шею любые вериги, истязай на кресте, всаживай в руки и ноги аршинные гвозди — во имя спасителя все вынесет, все стерпит. Поганое, богомерзкое слово война кружило над ним крупной осой и все же село на широкий затылок. Ползает готовое укусить, пустить в кровь жало.

Криворотый брадобрей дышал на Орефия зловонным чесночно-табачным перегаром. Перед глазами Куцейкина посверкивала раскрытая опасная бритва. Внятный внутренний голос подстрекал схватить отточенную сталь, чиркнуть под головой брадобрея. Другой голос, более властный, приструнил горячий рассудок: «Завинят, посадят в тюрьму. Расстрелять могут... Послушание — вот твоя щадящая защита... Не убий, Орефий, не убий. Терпи! Явится спасение и протянет осподу милосердную руку, укажет праведный путь... Проведи меня, осподи, по чистилищу, останови у врат ада...»

Новобранцы жили в палатках за городом. Неподдалеку располагалось учебное стрельбище. С утра до вечера раздавалась пальба, слышались зычные армейские команды. Неподвижные и ползущие мишени развернули к песчаному яру: пули взвихривали легкие фонтанчики. Они рассыпались прахом за фанерными разрисованными щитами. Головы, груди фрицев-мишеней, исхлестанные свинцом, подтверждали о меткости сибирских стрелков.

Григорий, муж большебродской телятницы Марьи, попал в один взвод со староверцем. Орефий часто ощупывал карман, где лежала обездоленная борода, бубнил молитвы. Гришка бубнил военный устав.

Однажды Куцейкин, углубленный в чтение молитвенника, вздрогнул от крика:

— Нна крраул!

Соскочил с травы, уставился на одновзводника. Промолчал. Он давно нагнал на себя упорную немоту. Даже на вопросы ротного командира цедил редкие, тягучие слова.

— Солдат Куцейкин,- втолковывал Григорий,- ты на Иисуса надейся — это твое дело. Но по-пластунски ползать на войне тебе придется. Мне надо обучить тебя ползучему искусству.

Орефий закрыл молитвенник, уставился на земляка. Вырванный из тайги мобилизационным призывом, никогда не видевший города, Орефий Куцейкин был ошеломлен, подавлен чудовищем-паровозом, грохотом повозок, громадой кирпичных домов, многолюдьем. Выращенный в ските под молитвенную колыбельщину, он жил по непогрешимому староверческому уставу, подчиняясь неделимой власти святых старцев. Над всеми откольниками простиралась власть божья. Она не чинила препятствий. Не порицала, не давила налогами, не теснила в дальние тайговники. Боги не рыскали, как государственные чиновники, не совали нос в книги, не доискивались сути веры бородачей. Куда бежать от зримых властей? Кривоколенная речка Пельса не бесконечна. Верховье у нее одно. Забрались откольники на самый краешек Понарымья. Глядь, и сюда пожаловали строгие человеки при погонах. Не в землю же провалиться от пригляда властей.

Куцейкин даже своему земляку не рад. Кто такой Гришка? Васюганец-голодранец. Такой же леший таежный, а командует: ползи по-пластунски. Орефий на медведя в полный рост ходил, тут на посмешище солдатской братии на брюхе ползти?! Жваркнуть бы командира по шее, чтобы уши отлепились. Но дозорит кто-то над староверцем. Говорит голосом радетеля: «Смирись. Покорствуй. Скит далеко, но заступная молитва старцев дойдет и досюда».

Одновзводник Заугаров не торопится отдавать повторный приказ. Стоит рядом с простолицым мужиком, который ковыряет пальцем в широкой ноздре и обидчивым голосом гундосит жеванные слова:

— Руки болят, ноги болят, а на войну взяли. На покосе, бывало, нагреду паклю мочой, прислоню к ладонным тылицам. Чуток отойдут руки — дальше кошу на колхозную скотину. Пальцы пухнут. Мазал их мурашиным маслом. Плечи натирал. Положили в больницу — кашель стал бить. Всех из палаты выжил. После

излечения выпил на радостях кружку бражки — ноги разнесло: ни в штаны, ни в кальсоны не впихнешь. Струхнул, лекаря на дом призвал. Дал он какую-то таблетку: опухоль опала, кожа пустой мешковиной висит. Пригрозил лекарь: отрицай, говорит, рюмку, иначе концы отбросишь. Каково, Гриша, жить на белом свете? По всем статьям болен, а меня на войну...

— Не скули!

— Оно так. Все же боли в суставах ломучие. Лекарь покрутил ступни, щелкнул по лодыжке: «До Берлина, говорит, дотопаешь. Рюмку, говорит, напрочь отрицай...»

— Верь. Совет дельный. Фронтовой магарыч мне будешь отдавать. Орефий тоже. Тебе, Данилушка, по нездоровью пить нельзя. Куцейкину по древнему обряду.

— Я пьяный — шибко ерошливый, — сознался крестьянин. — На Пасхе к теще дугу стал примерять. Она меня рассольчиком из ночного горшка окатила.

Орефий был рад мирскому разговору: забыли о нем. Можно снова раскрыть молитвенник, погрузиться в святую книгу, уложить в голову несколько напевных слов.

— Данила, покажи Куцейкину пластунский стиль.

— Сей момент!

Мужик растянулся по земле влежку. Касаясь подбородком истоптанной травы, пополз от палатки крокодилчиком.

Заугарова — рослого парня-васюганца — сделали командиром отделения. Впервые назначенный на должность, ходил среди подчиненных с горделивой осанкой. Среди новобранцев Орефий выделялся шкафной фигурой. Григорий был обязан обучить его пластунскому стилю. Немец такого выщелит в два счета. Староверца надо сравнивать с землей, спрятать в окоп, за танк, куда угодно, лишь бы не торчала плечистая мишень, не попала сглупа на мушку. Вера верой, молитвы молитвами, но военный устав тоже вызубрить надо. Заугаров догадывался: хватит мороки со скитским отшельником. Нацелит на командира глазищи: из двустволки пальнет. Минуты три минуло, послушник не ложится на землю, не выпускает из лап молитвенник. Староверцев по разным ротам распределили. У одного тщедушного на вид мужика бородень была черная. Висела над грудью большой чагой — березовым грибом-наростом. Скосил ее брадобрей — даже не взглянул на прощание. Один Орефий из всех скитников прикарманил куделину. Ощупывает ее часто. Вытащит втихаря, расчешет костяным гребнем, огладит и спрячет в шелковый мешочек: его подарила толстобокая молодайка на городской улице, уставленной старинными домами с резными наличниками и красивыми дымниками. Преподнесли староверцу ненужный кисет для махорки. Куцейкин помолился богу: в руки попала шелковая тара для бороды.

Григорий не совсем вошел в командирскую должность — покрикивать не научился. Терпелив васюганец. Ждет, когда солдат сам заскребет локтями по земле, скопирует ползунское мастерство Данилы-хлебопашца, которому вынесли почти смертный приговор: отрицай рюмку. Выручил крестьянин с Томи-реки. Гаркнул на богомольца:

— Чего рот раззявил?! Я за тебя ползать должен?

Долго опускался староверец на землю. Пригнул колени, медленно оседал возле палатки, не выпуская из руки книжицу, напичканную молитвами. Казалось, что силача неохотно засасывает в себя земля. Орефий с ужасом наблюдал за своими коленями: они вот-вот унижительно коснутся травы. Не на молитву становился он. Не отбивал поясной поклон. Отдавал тело греховному словцу: ползи. Пресмыкался перед молодым, коренастым нарымцем.

Григорий вспомнил наставление ротного командира: «Бери солдат лаской. Тебе с ними в бой идти — не сенокосничать». Размышляет нарымец: «Да, смерть подкосит — не воскреснешь новой травой по весне...»

Уморительно смотреть на Орефия: стоит на четвереньках, озирается на командира. Данила по крестьянской услужливости помогает Заугарову. Считает своим долгом шумнуть на староверца:

— Падай на брюхо, дурья голова!.. Ползи, ползи... Локтями действуй. Представь гусеницу.

Гусеница извивалась почти на месте, не выпуская молитвенник из руки. Данила хотел вырвать куцейкинскую «хрестоматию». Солдат подскочил, отряхнул гимнастерку и отнес молитвенник в палатку. Вернулся, лег на то же место и к удивлению своих инструкторов прытко пополз по земной ложбинке. Обрадованный командир отделения поучал Данилу:

— Видишь — солдат к рельефу местности приспособился: низинкой ползет. Ты пластуна по бугру сделал. Учись.

— Под пулями живо ямки отыщем. В землю даже вползем.

— Страдай на учении, в бою не оплошаешь. Суворов зря говорить не будет. Ты из деревни, смекалистый. Доведется с тобой в разведку пойти, не струсил?

— Пойду, если воды на пути не будет. Больше огня ее боюсь. В нашей родове утопшие есть. Заходя гадалка предсказала: бойтесь, Воронцовы, смерти через жидкость. Если вода не утопит — водка доконает. В сороковом годе мой братан Лазарь утонул в Томи. Якорями-кошками искали, самолочами. Не нашли.

Деревенская богомолица поставила в деревянное корытце черепушку с зажженным ладаном, рядом иконку положила и пустила по речке. Корытце с иконой по ее думе должно над утопленником остановиться, место пометить. И верно. Закрутилось корытце на быстрине у берега. Ладанный дымок верхом пошел. Подъехали к водяной крути на лодке, пошуровали багром по дну, зацепили тяжелое. Вытащили Лазаря. Я ногами обессилел, на колени пал. Пьяных почему-то не раздувает в воде. Братан шибко ухмеленный был в тот день. Достали из глуби — краснота со щек не сошла. Опрокинули на берегу лодку вверх днищем, перегнули утопленника. Щепкой рот разжали. Густо водой мутной сблевал, из носа пузыри попускал, но не ожил. Вот так-то, командир: будет вода, будут и утопленники. Посуху пойду с тобой в разведку, по воде — стушуюсь. Не зря больничный лекарь втолковал: отрицай рюмку. Гадалка то же предсказала... Жидкость — страшная вещь...

— Солдат Куцейкин, отставить, а то до Берлина доплзешь. Пластунский стиль у тебя хороший. Продолжай читать «хрестоматию». Может и молитва будет твоей заступницей... Значит, Данила, воды тушуешься и водки?

— Так точно, товарищ командир. Наша семья всегда с гужа кормилась — обозначала. Деревня у тракта. Ездили в Томск базарничать. Сено продавали. Покупщики на базаре за бастрик тянули, проверяли — тугой ли возок. Мы честное сено сбывали, прелья ни одного пласта вовнутрь не пихали. Вozy укладывали крепенькие. Воронцовы всегда честняком жили. Обманешь человека раз-другой, схлестнешься с ложью, в такую быстрину затянет — никакие иконки плавучие место не укажут, где утонул, в каком омуте илом тебя занесло.

— Ты мужик рассудительный, запасливый. Шило, дратву, вар, нож сапожный прихватил. Даже ложки деревянные.

— С немцем гитлеровским долго придется выяснять отношения — все сгодится. Дороги на войне не учтенные, сапоги гореть будут. Каша солдатская не шибко маслом сдобряется. Тугая каша. Пахнет подгаром. Конечно, в солдатском брюхе любая недоваренная допреет. На такой армейской каше шейка литой ложки погнетса, быстро сломается. — Данила вытащил из-за голенища деревянную домашнюю ложку. — Моя подружка крепче и губы не обжигает. В вещмешке три запасных имеется. Могу, командир, тебе одну уступить. Ты думаешь, почему рота ротой называется? Очень простой ответ: от слова рот. Сколько ртов, столько и винтовок.

Данила всячески угождал Заугарову. Верил внушению отца, похлебавшего горько-соленой водицы в русско-японскую кампанию: «Держись, сын, на войне поближе к повару и к младшему чину. Пять раз на дно с ними поздоровайся — язык не отвалится. Без подмылки пимов не скатаешь. Ладан годится на чертей, тюрьма на воров, ласковое слово на дружбу...»

Ищет мужик обходительного расположения командира. Маячит перед ним, услужить рад. Замечание: учись у Орефия ползать по-пластунски, мимо ушей пропустил. Чему учиться у богомольца? Сам давно знаю по опыту бедной жизни: тельную вошь бей как угодно. Пусть я деревенщина, букву П по загибу дуги писать учился, но житейской грамотешкой не обижен. Больших грамотеев в отделении нет. Молотобоец, шкипер, портной, скотник — все малоклассные школы прошли. Я свою безграмотность ликвидировал на базарных рядах да по тяткиной науке. Арифметику по гривенникам и наторгованным рублям проходил. Не полоротый: ртом на людей не гляжу — глазами целою...

Через месяц гремучая теплушка везла спешно обученных ратоборцев на закат солнца: там судьба расставила ловежные сети войны, подстерегала новую добычу. К оконцам теплушки липли головы, качались под дробный такт оживленных колес. Молчальник Орефий лежал на соломе, вытверживая про себя наставления из малого керженского уставца. Шептал молитвы. Теплушечный гул солдатских глоток мешал сосредоточиться. Богомольные нашепты староверца прерывались смехом, вскриками, кашлем одноротников. Молитвы приходилось связывать узелками вынужденных речевых остановок. Тошнило, кружило голову от плотного дыма махорщиков. На станциях и полустанках Куцейкин, расталкивая плотные солдатские плечи, торопился первым вывалиться из теплушки на щебеночный скос железной дороги. Был радешенек запахам каменноугольной пыли, креозотных шпал и паровозных дымов. Он считал: творимое насилие над его кержацким духом — проявление злых бесовских сил. Они выдернули за шиворот из скрытого в тайге скита. Они совершили грешный остриг бороды. Они всунули в руки винтовку, заставили палить по фанерным врагам. Бесы окунули в солдатский муравейник на колесах, давят смертным дымом самокруток и дешевых фабричных папирос. Орефия постоянно томило дурное предчувствие: вот-вот свалится паровозик с узких полос. Закувыркается по откосу, сорвется с моста, стукнется лоб в лоб с другим паровым чудовищем.

На деревянной грязной станции перед Казанью Орефий высмотрел сухонькую, изморщенную старушку. Стояла на перроне и размашисто крестила двуперстием рассыпанную толпу новобранцев, выскочивших размяться, запастись кипятком, скрыться по нужде за черные клетки шпал. Куцейкин принял старушку за родную мать, оставленную в ситу. Подбежал, пошептался с ней, сорвал с головы пилотку. На сивые волосы

староверца легла невесомая дрожащая ладонь: старушка благословляла божьего ратника. Он незаметно сунул ей в карман застиранного фартука кусок рафинада.

Из просторной наплечной сумы благословленная мать Руси извлекла стопку чистых, глаженных носовых платков, принялась раздавать новобранцам в обмен на грязные, мятые носовички. Она приходила на станцию почти к каждому армейскому поезду. Производила платочный обмен, выполняя посильную помощь пока необстрелянным бойцам. На последние сбережения покупала у барыг мыло, замачивала платки в корыте, елозила ими по стиральной доске. Утюг у нее был старинный с откидной крышкой и с чугуном нутром для засыпки углей. Качать тяжелый утюг за деревянную ручку сил не хватало. Платочная прачка подвешивала его, как зыбку, и колебала веревку из стороны в сторону. Угли раскалялись, сыпали в боковые окошечки утюга пеплом и искрами.

У Орефия не оказалось носового платка. Он всегда пользовался выбивной способностью пальцев левой руки. Правой — молящейся рукой — сопливых ноздрей касался в редкие минуты забывчивости. Меня чистый платок на грязный, бабушка не забывала осенять бойца широким оградительным крестом. Ограждала от смерти, от плена, от фашистской лютовщины на допросах. Стопка разноцветных носовичков истаяла на глазах. Басовито взревел паровоз. Рассыпанные солдатики стали вновь сыпаться в теплушки. В широких проемах дверей мелькали сапоги, полы плохо обмятых шинелей, котелки, протянутые руки. Фронтальная подмога покатила дальше, навстречу боям, смертям и победам. Старушка стояла на прежнем месте, держа руку на раздутой суме; взяла под охрану новую партию комковатых платков. Рукой, отведенной богом для мольбы, благословляла шинельное братство на ратные дела, отмежевывала древним крестом погибельное поле.

Мужик-смекун Данилка Воронцов за грязный сопливец получил парочку прокаленных утюгом платков. Плотненько слежались они, подслеповатая прачка в перронной суматохе ошиблась числом. Обрато отдавать не хотелось. Сгодятся в дальней дороге. Может, изворотливая судьба так повернет, что придется чистеньким платком не нос утирать — рану перевязывать, унимать кровь тряпичной затычкой.

Словоохотливый мужик разжился на станции соленым огурцом. Разрезал повдоль сапожным ножом, подал половинку Заугарову.

— Похрумсти, командир, вспомни выпивку. Чай, тебе рюмахи отрицать не придется.

— Если умом и глоткой крепко — чарка не помеха.

— Оно так. Огурчик заставил о деревне вспомнить. Раньше наша Марьевка в славе была. Поставлена при тракте — на самой бойкоте дорожной. Давно наша деревня обубенчена тройками почтовыми. Пропитана скрипом санных полозьев, грохотом телег, звоном копыт. Лихие, неустрашимые конокрады водились у нас. Наученные кистенями, оглоблями, батогами, кнутами и палками все равно не бросали поганое ремесло. Мужичье из соседних деревень так порой озверится на них, так изметелит вороватую цыганву, что носы посворотит, зубы проредит, оставит ребра с трещинами и переломами. Ничего. Отлежатся, отхаркаются кровью — за старое принимают. Долго не редело конокрадное племя. Последнего удалца в Томске на лошадином торгу поймали. Напоили напоследок мочой украденного жеребца, привязали голышом к оглобле и распотешились за городом. Пустили коня вскачь по стерне — красная полоса возле скирд протянулась. Оглобля веретеном крутится, на ней конокрад, притороченный вожжами. Люто обошлись с мужиком, но раздумаешься, то правильно. По сибирским меркам только так и надо учить всякую шкодливую погань, всех нечестивцев.

Озлобленный на гиблое подневольное положение, на солдатскую скученность, спертость воздуха и дикую выходку мужиков в услышанном рассказе, Орефий вставил свое умозаключение:

— Человеки, аки зверье лютое, алчное. Забыли вещи заповеди Христа. В них суть всех суетей, правда всех правд. Супротив зла и насилия выставляется новое зло и насилие. Страдания множатся и нет поворота к большому добру. Не научились человеки жить по святому писанию. По лукавым книгам творят беззаконие.

Тугощекий толстяк в очках огладил ладошкой широкую пролысину, перебил:

— Думал, перевелись толстовцы-непротивленцы злу. Оказывается — вот он субчик. На одной соломе с ним едем. Знаешь, великий смиренник, что баронов, графов, князей по щекам не били. Подставляли морду под кулак русскому мужику всегда приходилось. Их, исхлестанных розгами, шпицрутенами, опечатанных барскими зуботычинами, толстовская проповедь о смирении не устраивала. Давно твои человеки живут по переименованному учению: если тебе припечатали по одной щеке, не подставляй другую. Норови обидчику в рыло заехать да смотри не промажь. Влупи промеж глаз, чтоб из них Млечный путь высыпался... Конокрада правильно проучили. По слонгтяйским судам ходить — мощной убытиться. Будут год дело вести и плевым наказанием все кончится. Ежели в судейскую волосатую лапу тысчонка одна-другая ляжет — и наказание минуешь. Денежным кляпом любая пасть затыкается. Сибиряки издавна самосудом расправлялись: жулья меньше было.

— В библию не заглядываешь. Сказано — отрезано: не убий!

Толстяк оглядел презрительно глыбастого Орефия.

— Хлопцы, смутливый христосик попал в наше воинство. Пусть им особый отдел армии займется. Спешим на защиту Отечества, боговерец сопли по винтовке размазывает. Значит фашисты нас убий, мы их не убий. Превосходная теория!

—...Придет новый потоп, смоев всю скверну с земли...

— Потоп пришел: кровью смываем фашистскую скверну... Хлопцы, кто у него командир отделения? Заугаров согнал под ремнем к спине гимнастерочные складки, шагнул к толстяку.

— Мы пока не знаем какой ты защитник земли русской. Первый бой покажет. Может, кальсоны в луже полоскать придется. Пока протри очки и отстань от моего солдата.

— Ты самогонки не клюкнул?

Васюганец повернулся к очкарику спиной, привстал на цыпочках.

— Подставь лицо пониже — дыхну.

От хохота заколебался табачный дым.

Куцейкин надолго замолчал. Растянулся на соломе, ощупал кисет с бездомной бородой. Ночью ему почудилось: кто-то шарил в кармане, наверно махорочкой поживиться хотел... За пазуху буду прятать... с этими мирянами будь начеку, не ротозейничай. Отступники от старины, греховодники. Матьер божью по устам оскверненным разнесли... Григорий молодец — заступился, словом защитил...

Перед Москвой состав загнали в тупик. Невдалеке сияла маленьким куполом опрятная церквушка. Колокольня рассыпала по кондовой Руси мелодичный звон. Впускной семафор горел кровавым огнем. Вскоре со стороны растревоженной столицы на станцию вполз санитарный поезд с красным крестом на боковине первого вагона.

Данила всматривался в окна, двери — бросался в глаза зимний цвет бинтов, гипса, простыней, разорванных на перевязочные ленты. На голове рослого парня, обряженного в бушлат и тельняшку, торчала тюрбаном бинтовая намотка. Сквозь нее густо просочилась кровь. Крупное, броское пятно надолго примагнитило многих новобранцев. Перед их взором проплывал устойчивый колер войны. Коротконогий боец с двумя медалями на мятой гимнастерке стоял в проеме раздвижной двери, самозабвенно молился левой рукой на купол и звон голосистого колокола. Правый, пустой рукав гимнастерки приструнил к бедру солдатский ремень. Кто-то тыкал макушкой костыля в сторону сибирских теплушек, перебрасывая через головы раненых хриплые слова:

— Браа-атцы! Не сплоша-айте! Отомстите за крещеную Русь и за мою ногу!

— Что деется?! Что деется?! — вытверживал крепким шепотом Данила Воронцов, чувствуя затрудненное дыхание и сдавленность в груди.

Возле станции прохаживались военные патрули, проверяли у матросов, солдат документы. Мелькали платки, бескозырки, фуражки. Торопились санитары с носилками, костылями. К раненым спешили женщины, протягивали кульки с вареной картошкой, связки калачей, банки с вареньем, пачки папирос. Стонали, охали старушки, всматриваясь в изнуренные войной лица выбитых с фронта ратников. Пышнобровая, розовощекая молодайка протянула красивому солдату белую хризантему. Левая рука бойца покоилась на перевязи. Он обнял девушку свободной рукой. Расправив гусарские усы, нацелился поцеловать дарительницу цветка. Она отшатнулась, помахала рукой и пошла вразвалочку от санитарного состава.

Пристанционные пути были загромождены вагонами, открытыми платформами с каменным углем, заводскими станками, штабелями бревен. На большой площадке, охраняемой двумя часовыми, стояли танки, самоходные орудия, зенитные и прожекторные установки.

Ошеломленный, подавленный впечатлениями, увиденным и услышанным на сборах, в теплушке, староверец с далекой Пельсы готов был зарыться в слежалую солому. Ничего не видеть. Ничего не знать. Не ощущать гнет командирских приказов. Не переносить зубоскальства солдатни. Орефий считал этот затабаченный теплушечный вагон с трехъярусными нарами позорной издевкой, едкой насмешкой над человеческим духом. Приходилось постоянно сдерживать дыхание, усиленно прочищать легкие на станциях и полустанках, в очереди у полевой кухни, на переключке при общем построении. Куцейкин давненько подумывал сбежать от войсковой принудилочки, ото всего, разрушающего душу и сознание. Командир Заугаров прочел неладное по хмурым глазам. Размолот в порошок тяжелые мысли:

— Не вздумай навлечь позор на себя и на весь Нарымский край. За побег, за уклонение от войны обеспечен расстрел. В лучшем случае загремишь в штрафной батальон. Там в первых шеренгах под пули шагают.

На военной комиссии раздавил на кителе капитана пуговицу со звездой. Сейчас ругал себя. Дурак, зачем выказал силу и злость? Может, оставили бы в лесу в кадровых охотниках. Многие пушнину добывают, рыбу ловят, сосны на землю сшибают. Зачем хвастался щедушному братцу Остаху: все равно винтовку переломлю через колено, на Пельсу сбегу. Попробуй переломи неотлучную винтовочку — силенки не хватит. Ложе крепчайшее, наверное, из нарымской ружболванки сделано. Сбежать тоже нет мочи: переключка несколько раз на дню. Сотни глаз на тебя нацелены. Всюду военные патрули шныряют. Сбегать надо было раньше, когда по

Васюгану, по Оби везли, когда на берегу Томи по-пластунски ползал. Тут Москва под боком — значит под боком война. Как там поживает Остах?

«Как там моя Марья, ребятенки? — думал сейчас Григорий Заугаров. — Сыты? Обуты?.. Трудненько им. Но кому нынче легко?..»

Воспоминания о доме, о семье, о Больших Бродах были яркими проблесками света в сгущающихся думках солдата. Ему тоже порядком надоела вонючая казарма на колесах. Скорее бы к месту, к делу.

Санитарный поезд, близость Москвы, гул далеких разрывов, всполошенность сирен воздушной тревоги — все говорило о приближении к черте, за которой начнется то самое. Неутешительные сводки Совинформбюро бередили думы, заставляли рассыпать по адресу паскудной Германии матюки, проклятия и... клятвы.

Ходили упорные слухи, что Верховное Главнокомандование готовит мощное зимнее наступление под Москвой. К столице стягивались войска, техника. Строились прочные оборонительные сооружения. Рылись противотанковые рвы. Вкапывались ежи из рельсов и двутавровых балок. Настороженная Москва трудилась дни и ночи. Возводила оградительные валы. Отражала воздушные атаки. Тушила тысячи зажигательных бомб. Немо и грозно дозорили в небесах московской Руси матерые аэростаты заграждения.

Ставка Верховного Главнокомандования делала верную ставку на дивизии сибиряков, выдубленных калеными морозами, упроченных жизненной борьбой, пропитанных нешуточной яростью и ненавистью к врагам-вероломщикам.

Отделение Заугарова строило штабные землянки. Григорий всматривался в сосны, приготовленные для потолочного наката, и вроде узнавал свой — васюганский лес. Отдирал от бревен кору, нюхал, шлепал ладошкой по торцу:

— Наши сосны! Ей-богу наши. Может, моя Марья их готовила.

— И мой братец Остах, — вставил Куцейкин, помахивая плотницким топором.

— Берега Томи тоже сосняками богаты, — заметил Данила, сколачивая гвоздями дверные доски. — Сдается мне — наш, марьевский лесок.

Григорий похлопал сосну по комлю:

— Будем считать — общая древесина. Бревнам надо бы в венцы избы лечь, их в накатник поднимаем. Войой, лес, войой! Крепким штаб сделаем. Из него, возможно, прозвучит главный сигнал к наступлению.

Куцейкин с наслаждением помахивал топором, сгоняя с боковины бревна ровную длинную щепу. Ему хотелось навсегда променять винтовку на острое древнее орудие труда. Хотелось строить что угодно — бани, сараи, избы, амбары, мельницы. Вечные поклоны топора дереву были сродни его мерным поклонам. Старинный уклад скитской жизни нарушался приездом властей, их бесцеремонным хождением по чистым горницам. После набегов чиновников скитники долго скребли и мыли половицы, протирали смоченной золой дверные ручки, окуривали ладаном жилище.

Топор навел на воспоминания, заставил погоревать об оставленном таежном пристанище. Возникла перед глазами прохладная просторная молельня, плотные ряды древних икон, озаренных сумеречным лампадным светом. На широких пристенных лавках, накрытых самоткаными дорожками, отдыхают преклонные единоверники, сложив в смиреннии на груди сухие руки, устремив ангельский взор на темные лики икон. Хорошо, покойно, отрадно в скиту. Ветер-верховичок погудит в кронах. Прострекочет сорока на скитской помойке. Обронит сосна обессемянную шишку. И снова округу объемлет вековая, застойная тишина. Неизвестно — какой век воцарился за прочными воротами скита. Сюда не долетает ни одна радиоволна. Не переползает за сосновый частокон ни одна газетная строчка. Время поднялось колодезным журавлем да и застыло на онемелой ноге. Медленно вращается ручной жернов, давит зерна: оседает прахом на лицо мукомольщика пахучая пыльца. Громоздкий ткацкий станок сбивает нитку к нитке. Побулькивают сливки в кедровой маслбойке. А из молельни внятным эхом доносится извечная просьба смиренных: «Осподи, помилуй, осподи, помилуй, осподи, помиилууй...» В скиту узнавали о событиях с опозданием на несколько лет. Гонение на церковь и попов было встречено с радостью и боязнью. Мозговали скрытники: новая власть и до скитов дойдет, потеснит беспоповщину? Попрятали книги, иконы, лампадки в смолевые колодины. Закутали берестой. Стали ждать первых гонцов нововластья. Никто не являлся, не тревожил застойный уклад. Так же шумели зеленые купола. Зима сорила снегом. Осень листвой и дождями.

В один из погожих дней нагрянули дикой ордой обозленные колчаковцы. Щуплый офицерик подлетел к старцу, схватил за опрятную бороду, сбегаящую на грудь водопадной струей.

— Известно нам — красных прячешь под божьим крылышком. Где они?

— Ничего красного кроме собранной клюквы в скиту нет.

— Издеваешься, старче?!

Офицер поджег от лампадки бересту, поднес к мягкой бороде скитника.

— Считаю до трех. Говори — где красная сволочь? Сейчас вспыхнет твоя пушистая роскошь — отче наш не успеешь вымолвить.

Стойкий старик тарачил на офицера выпученные глаза. Колчаковец усмехнулся, бросил бересту на пол, затоптал.

— Молодец, старче! Выдержал маленькую проверочку. Не пообидься за испытку. Мы и сами чуем — красным духом у тебя не пахнет. Медовуха есть?..

Загаженный колчаковцами двор, затоптанные комнаты убирали неделю. Набив съестными припасами мешки, пришельцы ушли в урман. Потом их доставили в скит под конвоем четверо дюжих парней. Оружие колчаковцев перешло в их руки.

Орефию тогда шел двенадцатый год. Он не мог разобраться в происходящих, быстро сменяемых событиях. Сумел, однако, приметить суровую решимость на лицах красных отрядников, удививших из скита обеспогоненную белую контру...

Стучат топоры у штабной землянки. Землекопы углубляют этаж, стесывают лопатами стены. Куцейкин перестает думать о ските. Вспоминает старушку на перроне. Стоит, раздаст чистые носовые платки. Вот бы у кого отсидеться в тыловом затишье, переждать фронттовую напасть. И после, благословясь, возвратиться в васюганское диколесье.

Заугаров командирским чутьем распознает настроение солдата.

— Ничего, Орефий, расколотим фрица, вернешься в свой скрыт-скит. Зайдешь в молельню и хоть лоб пополам разнеси о половицы.

К плотникам вальжжной походкой подошел русобровый, пузатенький ефрейтор.

— Братцы, волжские среди вас есть?

— Нет. Одни обские.

— Землячков ищу, с Ветлуги-реки. Слыхали про такую?

— Не доводилось, — признался Григорий. — У России рек, что волос в твоей голове. Попробуй упомни. Вот ты, к примеру, Васюган знаешь?

— В нарымской земле такая река.

— Ух ты! — восхитился Данила. — Баашкаа! Родичей, поди, ссылали туда?

— Нет. Географию в школе преподавал. Все реки страны назубок выучил. Звонкие сосны на землянку пускаете. На Ветлуге такие растут. Точно, нашенские деревья. Свои сосны на ощупь узнаю.

— Сибирские они, браток, сибирские, — заступился за бревна Данила. — Ты на ощупь, мы на понюх свои деревья знаем. Видишь — кора шибкими морозами уплотненная. И пахнет духом спиртовым.

— Воюй, лес, воюй! — вставил прежнее пожелание Заугаров. — Жаль, товарищ ефрейтор, но земляков твоих в моем отделении не водится. Так бы насовсем отдали, хоть самим позарез нужны.

До крепких холодов строили землянки, блиндажи, долговременные огневые точки. Рыли окопы. Вбивали колья и оплетали их колючей проволокой. Прифронттовая авральная горячка красноречивее всяких приказов говорила о скором натиске наших войск. Машины, тракторные тележки, пароконные повозки перевозили ящики с боеприпасами, со взрывчаткой, тюки теплой одежды, связки пимов. Ползли за лошадьми новые полевые кухни, тонкодулые орудия. В одном из коней Заугаров чуть не признал взятого на фронт председательского жеребца из своего колхоза. Мاستью, статью был он. Приглядевшись к тавру на крупе, Григорий разочаровался: другой буквой была помечена фронттовая лошадиная сила.

Дороги, измочаленные гусеницами, колесами, сапогами, задерживали движение частыми заторами. Повозка с фуражным зерном застряла у обочины: взмыленная лошадь не могла ее сдернуть. Красноносый армеец нахлестывал вожжами, понукал, чмокал губами — коняга шаталась в оглоблях, не в силах преодолеть сопротивление утонувших колес.

— Орефий, подмогни, — попросил Заугаров в полной надежде, что он справится один.

На строительстве землянок командир смог убедиться в силе земляка: комлевую часть бревна поднимал без чьей-либо помощи. На другом конце сосны кряхтели двое-трое плотников.

Куцейкин подошел к задку телеги, поднажал плечом. Почувствовав облегчение, лошадь по инерции дернулась вперед, споткнулась.

Восхищенный Данила, покачив головой, заметил:

— Говорят: не бери дурное в голову, тяжелое в руки. Не к нашему силачу подобные слова относятся. Твоими кулаками, Орефий, подковы ковать.

Телега с фуражом покатила дальше. Довольный возница часто оборачивался, махал в сторону сибиряков длинной рукой.

Топали по грязи две бабоньки, закутанные платками. В соседнюю деревню брели, громко переговариваясь меж собой. Дородная женщина несла ребенка, завернутого в клетчатое одеяльце. Рассказывала попутчице:

— Время рожать подошло. Думаю: хоть бы квашня в срок поспела... снова боль клонит — на колени упала. Проохалась, встала. Пошуровала печку... ох, опять рези в брюхе... Калачи все же успела испечь. Тут упала на колени вдругорядь и... родила.

Рассказчица остановилась возле плотников, поправила волосы под платком.

— Солдатики, закапывайтесь глубже. У фрица бомбы глубоко достают.

— Куда с дитем по такой грязи? — посочувствовал крестьянин Данила.

— Не куда — откуда. Из церкви. Ходила доченьку крестить. Война войной. Обряд обрядом. Чай, тоже православные, не басурманы какие... Держитесь, ребятушки, за землю русскую. Москве только спины показывайте. Не вздумайте бежать к ней, за Кремлевскими стенами прятаться.

— Будь спокойна, мать, — не повернем к Москве, — заверил Григорий, опершись на топориче.

— Вот-вот! Драпать негоже. Нашу деревню Холминку защитите: она годами ровня столице.

— Не дадим в обиду! Ты не волнуйся, парней делай. Много головушек ляжет. Из земли не добудишься.

Солдат рожай.

— Рожать можно — муженька тю-тю. Под Киевом его Гитлер наповал уложил. Почтальонша похоронку припрятала, пугать не хотела. Думала: дите раньше времени скину. Потом боялась, что молоко после родов обсохнет. Четыре месяца тайну стерегла... Да хранит вас господь!

— Вот наши боги, — Заугаров показал на артиллерийские орудия, идущие следом за колесными тракторами. — У них чем сильнее и метче глотка, тем лучше для бойцов.

— На него тоже надейтесь, — вразумила женщина с малышкой и ткнула рукой в маковку хмурого неба.

За все время разговора попутчица не обронила ни словечка. Она не спускала томного взгляда с грудастой фигуры Орефия. Глаза цвета озерной ряски буравили староверца, не перестающего тюкать топором.

Крещеная на Руси девочка безмятежно посапывала в теплой закутке, не ведая, что рядом по проселочной дороге напористо шагает лютая война.

Временами начинал сеять холодный дождь, затемнял дальнюю деревню, куда побрели женщины с ребенком-грудничком. Исполосованный придорожный дерн щетинился жухлой травой, поблескивал мокрой чернотой развороченной земли. По-прежнему тужились на дорогах лошади. Месили грязь колонны пехотинцев. Тянулись в сторону Москвы беженцы из близлежащих селений.

Проходящие пехотинцы завидовали плотникам, раскатывающим сосновые бревна.

— Топорники, привет! — доносилось из колонн.

— Тульские есть?

— 3 Полтавщины нема?

— Кто из Суздали?

— Обские мы, томские, — отбояривался командир отделения. — Вон там, — Григорий махнул на запад, — рязанцы и владимирцы переправу наводят через речушку. Слева от нас алтайцы. Справа новосибирцы.

— Плотненько сибиряков поставили! — крикнул из строя запевала и затянул приятным чистым баритоном:

Рревелла бурря, дождь шшуммел...

Дюжины четыре истомленных молчанием глоток дружно накатили на слякотную дорогу крутую песенную волну:

Во мрракке ммолоньии бблисталлии...

Заугаров, будто дирижерской палочкой, взмахнул топором. Все отделение, кроме Орефия, — не знал слов — подхватили на лету знакомый мотив:

И бесппрерывноо грром грремеел

И веетры в дебрях ббушеваали...

Орефий перестал стучать топором. Заинтересованно вслушивался в рокот слаженного распева. Данила подтягивал слова с выхрипом. Командир — вольно, широкогласо. Не заглушал остальных, но выделялся душевностью голоса и проникновением в звучную песенную суть. Уходили пехотинцы, запевала уводил на поводу удалую песнь о Ермаке. Подхваченная томичами, алтайцами, новосибирцами, она отсекала на время тягучую фронттовую озабоченность, уводила на берега Оби, Томи, Иртыша, Васюгана. Уводила к родным очагам от огромного непотухающего очага войны.

За Москвой эвон какие просторищи и все наречено Россией. Много земель за столицей-бастионом. Фашисты давно носами водили, принохивались к чужим далям. Последней далью для них должна стать подмосковная линия обороны. Земля мирная меряется верстами, на войне — пядями. Бойцы зубами вгрызутся,

ногтями вцепятся в каждую отбитую пядь полей, долин и лесов. Давно не спит русская земля спокойным богатырским сном. Мучается бессонницей войны. Страдает от увиденного насилия, от варварского разрушения храмов, изб, мостов, заводов. Истоки мук начались у западной границы. Растеклась фашистская зараза до московской земли. Может быть, зима сорок первого года сделает укорот врагам, откроет светлое начало последовательного разгрома и уничтожения.

Смекалистый, наблюдательный Данила до сей поры никуда не выезжал дальше старинного Томска. Теперь с неистощимым крестьянским любопытством всматривался в перелески, пологие холмы Замосковья. Растирал в пальцах землю убранных полей. Старался отыскать на межах, у дорог полоски недокосов — нигде не видел хлебных колосьев. Склонялись пустые волглые стебли: люди, птицы и мыши с предусмотрительной запасливостью собрали все злаки, не дав им сиротеть под грузным, настороженным небом.

В Москве сибиряк пялил глаза на многоэтажные хоромины, высоко задирая начинающую лысеть голову: дважды соскальзывала на мостовую упрямая пилотка. Повод для ротозейства вызывало многое: широкие витрины с наряженными манекенами, строгие регулировщики движения на оживленных перекрестках, шумные вереницы летящих, гудящих машин. Перед русским мужиком лежал великий столичный град, отмеченный великолепием, силой и звонкой славой. Терзаемый огнем многочисленных пожаров, он вставал на пепелище еще краше, искристее от блеска вызолоченных куполов. При виде расписных церквей, сияющих луковиц под миротворными крестами, невольно тянулась ко лбу рука, сложенная в плотное трехперстье.

В растревоженной войной столице Данила вспомнил родную деревеньку при тракте, свой двор, расторопную жену-говорунью, сыновей. Их сызмальства приучал к конному двору, к привычным тяготам зимнего и летнего извоза. Повзрослеют, тоже станут кормиться с гужа, доставлять повозно на городской базар сено, заготовленное на суходолах. «Надо все запомнить про Москву, — внушал себе солдат. — Расскажу в деревне — уши развесят». Вдруг темная, страшная мысль наплыла грозовой тучей: ведь на войну привезли — не на смотрины Москвы. Мигом померкло сияние куполов, витрин. Привиделась неминуемая боль сорок первого года. На Воронцова чуть не наехал грузовик, плотно заставленный ящиками. Шофер гуднул, резко затормозил. Распахнув дверцу, выплонул окурок, облял разину:

— Лапоть! Шары разуй!

Ошпаренный кипятком слов, Данила прыгнул на тротуар, налетел на женщину с авоськой. Извинился и побрел искать скобяной магазин. Приказано купить гвозди, шарниры. Для командира отделения он расстарается, облетит всю Москву, но достанет.

Теперь у штабной землянки охотно сколачивал дверь, метко нанося удары молотком по ребристым шляпкам гвоздей. В западной стороне гудели самолеты. Доносились глухие разрывы бомб и снарядов дальнобойных орудий. Они хлопучечными выстрелами пролетали над сырой землей, без эха обрывались на открытых пространствах.

Нешуточное скопление боевой техники, передвигаемые на позиции толстогорлые орудия, колонны пехотинцев, автоматчиков, саперов, грандиозное приготовление к штурму настраивали солдата на добрый лад. Красная Армия, наверняка, опрокинет фашистов, разом покончит с навязанной войной. Думки мужичка-гужевичка разделяли другие ратники из отделения Заугарова. На древней московской земле стояли плотно не только сибиряки — встало плечом к плечу славное воинство страны. Новый век на дрожжах капитала произвел на свет новые орды, умело оболваненные нацистской партией. Эти орды рядом. Немало врагов высмотрели из-под широких ладоней три русских богатыря. Эти пологие холмы слышали ржание коней батыйских насильников. Свист стрел, лязг сабель, вой шрапнели. Раздавалась здесь гнусавая речь наполеоновских зашельцев. Угоняли, разбивали врагов и оставляли за собой, за Русью землю, окропленную кровью и потом. Пахари и воины брали попеременно в руки орало и мечи. Бились яро, чтобы свободно пахать. Пахали, сеяли хлеб, чтобы питаться, крепить силы для новых битв с коварными нашествениками. Они приходили с мечом, от него и гибель свою находили. Ложились костями не на отчине — во чужой земле. Победно гудели на стойких русских колокольнях оповестительные, звонкопевные колокола.

Перестал ныть Данила: руки, ноги болят, а на войну взяли. Забыл о резах в суставах: боль сердца за судьбу Москвы, за участь народа оборота все недомогания. Примешивалась гнетущая тревога за свою жизнь. Саднящая рана навязывала затяжную бессонницу, давила грузными думами. Представлял жуткую картину боя, нацеленные дула автоматов, наползающие на окопы танки и чувствовал в животе расстройство, как от приема слабительного лекарства.

Уходил на войну, успел подготовить к зиме трое саней. Заменял два полоза. Дугу новую из черемухи выгнул, сбрую подновил. Доведется ли еще понужать лошадок, шагать рядом с возом сена, с мешками зерна. Может, случится так, что война самого перемелет зерниной, порвет последний гуж недолгой жизни. Гадалка пророчила: бойтесь, Воронцовы, жидкости — воды и водки. Кровь тоже жидкость. Долго ли ей вытечь из раны ручейком... Круто задумался мужик. Боек молотка вместо гвоздевой шляпки по ногтю угодил. Затряс ладонью, охладил текучим воздухом сильный ушиб, начинающий наливаясь бледной синевой. Спешно расстегнул

ширинку, залил палец универсальным лекарством. Никто из солдат не видел молотковой осечки, не посочувствовал. Проглотил ком в горле, застучал потише. Проклятая нещада — война не выходила из горячей головы.

Заугаров получил распоряжение командира роты: отделение отдавалось на подмогу строителям моста. Рассудительная женщина с ребенком на руках настроила парня-васюганца оптимистично. Под боком враг, бабонька тащит в церковь крестить дитя. Родила возле русской печки, помолилась богу, чтоб дал калачи испечь в срок, до действия деревенской повитухи. Обеспокоенная мать отдала воинам строгий приказ:

— Москве только спины показывайте!

Вернее не скажешь. Сосновый накатник толстой заградительной крышей лег на глубокий выкоп. Взяли лопаты — полетела на бревна земля, маскируя штаб под общий тон овражистой местности. Данила напористо швырял землю, горюя, что не разжился в Москве редькой. Так захотелось ее — ломтевой, еще лучше тертой, залитой кислым кваском. Бросишь в миску щепоть соли, размешаешь любимой деревянной ложкой и начинай таскать редьковое хлебово. Размечтался, слюну изо рта выжало. Сразу представил широкий семейный стол без клеенки, ломтями нарезанный хлеб, горсть чесночных зубков возле самодельной солонки. На загнетке русской печи чугунок со свежими щами. И говорить нечего — свой хлебушко слаще казенного. Домашняя каша упаристее, щи жирнее.

В лапах староверца Орефия лопата — игрушка. Летят на бревна сырые комья земли, не скатываются — прилипают. Данила не может вызвать на откровенность молчаливого угрюмца. Пробовал лаской брать, сбивал его щетину своей опасной бритвой — лицо оставалось непроницаемой маской. Сядет Куцейкин в уединении, достанет шелковый кисет с униженной бородой и гладит по мягкому голубому бочку. Данила носит нашейный крестик, не прочь иконам помолиться, дальним куполам. Он верит богу за компанию с другими, не углубляясь в суть темной веры. Относится к всевышнему просительно: пусть постоянно бдит за ним на небеси, проявляет заступническую миссию. В кержаке-староверце жила иная, укорененная вера, и солдат Воронцов уважал Орефия, завидовал ему незамутненной завистью.

Перед близкими боями Даниле хотелось в каждом воине найти брата, сочувствующего его душевной боли, знобящим мыслям. Конечно, всех испытывает летящий огонь снарядов, осколков, пуль. Но до полосы смерти есть еще полоса жизни. Есть понятые и непонятые однозвонники, стоящие спинами к Москве и лицом к врагу. Затаенность Орефия пугала и настораживала: его глаза винили весь белый свет. Кем околдован он? Кто способен выселить из него скитского беса, вывести за черту отчуждения и недоверия людям-мирянам? Данила упрямо вдавливал в себя навязчивую мысль: держаться подальше от замкнутого скитника, в бою быть ближе к васюганцу Заугарову, к другим бойцам, не теряющим даже сейчас балагурства и житейского юмора. Не испытанный друг — не отпиленный ствол. Окажется сердцевина с гнильцой — развепустишь дерево на матицу избы, даже на венец стены? Усмотрев в глазах двуперстного богомольца недобрую затайку, Воронцов стал сторониться его, отводил глаза. Перестал подбирать ключи к хитрому замку.

В бессчетный раз вспомнилось раздосадованному Даниле родное подворье, большой огород, обнесенный осиновым жердняком, баня, амбар, хлев. Середняцким хозяйством правила расторопная, телесатая жена. Под хмельком любила повторять озорную приговорочку: думала от отца родилась, оказывается — от цыгана. Летал по деревне слушок-пушок: мать в пору неразумной юности путалась с конокрадом. Появился ребенок-наблудыш. Уезжая с обозом на томский базар, возница изводился томящей ревностью за жену — пышноволосяную, зоркоглазую, белозубую и ухмылистую. Обратное порожное сани летели сами. Мужик маял обжигающими догадками сердце. Маял лошадей, взмыленных лихорадочной гоньбой.

Видит перед собой Данила-воин разбитную детную женушку, оставленную на долгий срок без мужьего пригляда. Уперлась рукой в крутое бедро, красные колени выставила и хитро подмигивает ему. Живое видение из летнего марева отлито... сжал зубы от одиночества и телесной тоски.

В деревне через три двора от Воронцовых жила многодетная семейка. Муж — маломерок — пригорбленный, с багровым, оспенным лицом — шорничал в колхозе. Жена — грудастая, толстоногая — доила коров. Все в Марьевке дивились мужицкой удаче: что ни год — рождался в семье то Егор, то Федот. Носится по избе голоштанная команда, выхватывает из материнских рук хлебные куски, паренки, кочерыжки и ничего себе — растут детки, набираются деревенской премудрости. Семь мальчишек, две девчонки на свет появились, жена четным-десятым ребенком ходила. Упрекали языкастые колхозники уловистого шорника:

— Дурень, кончай нищету плодить.

— Мне это заделье нравится, — без смущения отвечал невзрачный мужичок, сплевывая через передние ворота в зубах.

На войну шорника не взяли: кто будет поднимать на ноги целый класс прожорливой ребятни? Данила теперь до головокружения завидовал деревенскому соседу-удачнику. Потешались над ним, зубы скалили. Он знай себе полеживает под теплым боком телесатой крольчихи, о новом заделье помышляет.

Солдат с зуболомной ненавистью пустил по фашистской нечисти хлесткую очередь жгучих слов. Порядком досталось всем нацистским главарям поименно. На букву Г начинаются разные гитлеры, гиммлеры и геббельсы. На букву «г» еще что-то начинается, отчего нос хочется зажать... Погань! Мразь! Политические убудки!

На парад сибирскому стрелковому батальону выдали новые маскировочные халаты, лыжи. Подгоняли крепление, чистили оружие, перебинтовывали мозоли на ногах. Никто из отделения Заугарова не был ранее на Красной площади. Даже флегматичный, равнодушный Орефий ненасытным взором оглядывал четкую Спасскую башню с огромными циферблатами часов-курантов. Разинув рот, смотрел на скопление витых куполов храма Василия Блаженного: это был короткий цветной сон. Староверец сбился с маршевого шага, получил сзади пинок по каблuku.

Батальон шел в маскировочных халатах. Покачивались на плечах готовые к скорому снегу лыжи. Все стремились разглядеть на мавзолее Сталина. В глазах рябились расплывчатые лица, пальто и шинели.

Гудела от множества ног булыжная площадь. От охватившего волнения выбивались из груди на волю непослушные сердца. Данила впервые видел такое длинноколонное, широкорядное скопление вооруженных бойцов: теплая радость слитного, непоручного фронтового братства накатила родниковую слезу. Вот она на виду русская силища! А сколько ее еще там, стоящей лоб в лоб с врагом, растянутой по всей цепи фронтов. Широкий затылок Куцейкина загораживал видимость. Приходилось отклонять голову влево, вправо. Везде блестяли беспощадные штыки, колебались загибы пока неопробованных в ходьбе лыж.

Припомнились слова неунывающей матери с крещеной дочуркой на руках:

— Москве только спины показывайте!

Вот, родная, довелось показать Москве, мавзолею и лица солдатские. Сейчас прошагаем строем по Великой площади, по запруженным людьми улицам и с напутственным благословением вождя и Родины уйдем на подмогу товарищам по оружию и судьбе...

Глазастый васюганец Заугаров все же углядел на мавзолеейной трибуне Верховного Главнокомандующего. Еле-еле удержался, не гаркнул раскатистое — урра! Нешуточная внутренняя сила искала раскрепощения. Разве мог он предположить, что выпадет такой золотой случай лицезреть самого. От сильного волнения заходили по спине и лопаткам мураши. Ознобно передернулись плечи, огрузнили руки и ноги. Хотелось сию минуту вступить в смертельную схватку с врагом, доказать подвигом полную преданность и крепкую веру олицетворенному божеству. Мельтешащие штыки мешали насладиться дорогим образом. Григорию казалось, что и товарищ Сталин видит его подтянутую фигуру... просто не может не видеть...

Внизу по булыжному дну протекала широкая людская река. Кремлевская стена, мавзолей были ее крутым берегом: с него просматривались неясные контуры победы. Она непременно будет вырвана у фашистов высокой ценой вот этих марширующих масс. Текла река будущей неучтенной крови. Плескалась волнами штыков.

Туманилась маскировочными халатами. Сияла пуговицами шинелей, бушлатов, пряжками ремней. Скорее в бой!

Но до крещения первым огнем оставался целый месяц.

6

Низко плавает остывшее зимнее солнце. Помаячит над обильными вершинами бора, потужится-потужится и начинает сваливаться на долгий закупольный покой.

Тихеевские лесоповальщики дед Аггей и кума Валерия упорно дожимают твердую дневную норму. Пообедали печеной картошкой, запили холодной простоквашей — прощай, голод. Под вечер приковыляла из Тихеевки остячка Груня. Худую, жилистую бездомницу — избенка сгорела перед войной — приютила Валерия. Укоренелый ревматизм погнул пальцы рук, обложил ноги ломучей суставной болью. Лицо рыбачки в два кулака, табачного цвета, не по годам дряблое и уморщиненное. Нос у Груни пластилиновой нашлепкой. Из приплюснутых ноздрей махорочный дым вырывается лентами. Курит много, в жадную затыжку. Разжеванной махоркой усмиряет зубную боль. Насморк прогоняет тоже табачком, истертым в порошок. На понюшку берет крошечную щепоть: мудрено запихать в прорезь ноздрей большую порцию нюхательной пыльцы.

Ее грудь не вдруг ущупаешь под старой телогрейкой. Глядя на щуплую, плоскогрудую рыбачку, сделаешь неслестное сравнение: иной горбыль выглядит полнее.

На подходе к деляне остячка хриплым, простуженным голосом оповестила бор о своем явлении:

На речке Пааня я жилаа,
Рыбку промышлялаа.
Моя собаака померлаа,
А стариик пропаалаа.

Дед собирался опрокинуть в ту сторону обреченную сосну. Лучковая пила замерла в стволовой щели.

— Э-гей, кикимора! Живо сюда беги!

Груня отворчалась:

— Сам беги. Шибко ноги плохой у Груньки.

Подошла, ощерила в доброй улыбке желтушие мелкие зубы. Сняла заплечную котомку, положила осторожно на снег.

— Вареный налим ести надо. Рыба кровь гонит.

Незаметно для вальщика подмигнула Валерии. Боднув подбородок двумя растопыренными пальцами, шепнула:

— Буль-буль притартала.

Усталая до изнеможения вдова была радешенька приходу постоялки, вареной рыбе в котомке и тайной бражке. Ее надо выпить незаметно от Аггея. Разворчится старый хрен. Возьмет и выльет в снег мутную буль-буль.

Накренилась толстая сосна, съехала скорым юзом с пня и ошаршила округу последним кряком.

— Неизносимый дед, ослобони на чуток. Бабская болезнь приспичила: месячины.

Аггей привык к откровениям кумы. Она не считала его за мужика. Хоть тискает изредка грудь и то услада короткая. Вальщик шлепнул помощницу по отвислым ватным штанам, уличил во вранье.

— Бо-о-лезнь приспи-и-ичила... Знаю вашу ватную затычку. Сейчас выгаштите ее из четверти, разольете буль-буль по своим глоткам. О моей вы конечно забыли впопыхах. Ты, кикимора, шепчешь секрет — ветки качаются. Думаешь — старик-глуховик, уши мхом запыжены. Хороша кума — тихушничаеть, напарника в обман вводишь. Меня по воскресному дню тоже тянет буль-буль глотнуть.

— Вот дед-непосед! Молодчага! Груня, накрывай стол на свежем пне. Выпьем за упокой души васюганской сосны.

— За упокой всегда успеется. — Вальщик прислонил лучок к комлю сваленного дерева. — Есть светлый повод за рождение нашей победы выпить. Добиваем фрица под Москвой.

— Вывернутся гады, — усомнилась Валерия.

— Хренушки! Не смогут. За столицу армия постоит. Эх, давануть бы фрица нашими морозами, чтоб глаза у него на выпучку пошли.

Груня выгашила из котомки четверть. Погладила по стеклянному пузцу, поцеловала пробку в темечко. Посудина встала по центру пня, придавила дном маленькие завитки годовых колец. Выплыла из котомки алюминиевая чашка с вареным налимом, расчлененным на крупные куски. Появились луковицы, ломтики ржаного хлеба, соль, кружки.

Со стороны, где валил сосны Запрудин с сыном, доносились предупредительные крики; ээй, берегись! Раздавался короткий прибойный шум падающих деревьев.

— Вот стахановец-неугомон! — восхитился Аггей — Подошел с рассветом к нему, гляжу, упенился весь и сынок в мыле. Говорит: чтобы приблизить победу, будем с Захаром за две дневных нормы биться. Вот бы, кума, тебе его приручить.

— Не глядит на меня. Ему Марья Заугарова любя.

— Мария мужем повязана. И весь сказ.

— У любви свои сказы и сказки... Грунь, налим вкуснющий.

— Ести рыбку надо, кровь греть. Шибко хороший налим. Грунька знат, где рыбку иметь. Грунька тоже человек, не кы-кы-мор.

— Не обижайся на деда, — заступилась Валерия. — Он шуткует. Тебя все любят и ценят. Знатная рыбачка.

Похвальба крепче бражонки подействовала на остячку. Забыла про кы-кы-мор. Закачала головушкой, затынула мычливую, бессловесную песенку: ааююрииллаа.

Валерия бесцеремонно засунула руку в карман телогрейки вальщика. Извлекла кисет. Бумажную закрутку свернула вместительную — табачок ведь чужой. Всыпала почти полгорсти. Вспыхнуло пламя спички. Лицо Груни вмиг посерело, глаза сузились. Перестала мычать нудливую песню. Цвет огня затмил все...

Вспомнился страшный пожар в урмане, за Васюганом. Стояло сухое, малогрибное лето. Хрустели, рассыпались под ногами в порошок белые, кучерявые мхи. Змеи сползались к речкам и ручьям. Держались у болот, искали прохладу под кочками и пнями-выворотнями. По стволам хвойных деревьев сползали смолевые подтеки. Охотники горевали, что по урманам не уродится кедровая шишка, не будет добычливым промысел пушного зверя. Медленно поднимались пойменные и суходольные травы. Их успевала обгонять в росте приречная и приозерная осока.

Рано была взята Груня под молчаливое покровительство нарымской природы. Через черные, узкие, словно припухлые глаза, зорко всматривалась в тайгу, воды, травы, постигая доступные уроки из долгого жития земли и небес. Ее мать утонула на рыбалке. Нашли перевернутый обласок и пеструю косынку, зацепленную над водой за

тальниковые ветки. Отца, охотника-пушника, горластая мачеха держала под крепким каблуком. Боялся заступиться за дочку, не желая связываться с гневливой, хайластой женщиной. Она награждала Груню частыми подзатыльниками. Ощерив крысиные зубы, кричала с подвизгом: «Мокрощелка! Уродина остяцкая! Свалилась на мою душу... за какие такие тяжкие согрешения?» Падчерица ругала мачеху по-остяцки. «Мокрая курица» ничего не понимала, тарашила зеленые, озлобленные глаза.

В восемь лет Груня умела ставить сети, фитили. Стреляла из ружья, настораживала капканы. Коптила мясо и рыбу. За черемшой, грибами, ягодой мачеха брала ее постоянно. В тот день она шла за черникой вместе с бабьим скопом. К черничному месту добирались по ломким беломошникам. Ягода уродилась мелкая, редкая. Зной, истомная багульниковая духота, прокудливая обильная мошкара мешали сборщицам. Груня нехотя срывала приплюснутые с макушек черничинки, для утоления жажды бросала в рот. «Жри меньше! — напустилась мачеха-злыдня. — Дно ведерка не скрылось, она в рот да в рот. Воткни сучок в зубы, мусоль языком — помогает от жратья». Падчерица хотела отворчаться по-остяцки — жадина, но промолчала. Потянув чутким носом, уловила со стороны сосняка запах дыма: пахло хвойной гарениной. Сизые слоистые дымки начинали потихоньку приползать к сухому болотцу.

Мачеха зашмыгала угреватым носом, завопила: «Ба-бы! Урман горит!»

Сборщицы вскрикнули, заахали, закрутили головами, пытаются определить чутьем, откуда наползает дым, где главный очаг огня. Неожиданная напасть заставила забыть о ягоде, берестяных кузовах и ведрах. Представили со страхом: огонь с каждой минутой отрезает путь к Тихеевке. Отчего разыгрался пожар? Грозы не было, молнию не завинишь. Лес мог загореться от тлеющего патронного пыжа, но не раздавались выстрелы. Среди ягодниц водились заядлые курильщицы. Смолили дорогой самокрутки. Кто-то швырнул на мох непотушенный окурочок, натворил беду. Набросились на табашниц, облили злобой слов. Переполох усиливался. Предлагали отсидеться в болоте... обойти пожар стороной. Где та сторона никто не знал.

Дымы струились меж стволов, напозлали на черничное болотце. Издалека доносился слабый треск, будто в присмирелом бору лопались переспелые стручки гороха. Груняша боязливо жалась к мачехе. Получила толчок в плечо: «Отцепись! Без тебя тошно».

В зимнем лесу огонь зажженной спички высветил далекое былое. Перепуганные сборщицы черники выходили к Пельсе поздно вечером, делая многокилометровый круг в огиб неутихающего пожара. Он летел поверху и понизу, в две могучих тяги тянул всеокрушающий огненный воз. Неожиданно нанесло ветром плотный дым. Стали плохо различимы деревья и люди. Заукали, застучали по ведрам и стволам — металось в дымном аду игривое эхо, заманивало в разные стороны. Кое-где из едкой тьмы высовывались оранжево-красные дразнящие языки пламени. Груняша не ощутила, когда ее ручонка выскользнула из мачехиной потной руки. Девочка испуганно закружилась на одном месте. С истошным криком побежала на темное пятно. Уткнулась лицом в чей-то разорванный подол. Вцепилась и шла, спотыкаясь, скуля от ушибов.

Выбрели из дыма, скричались, саукались. Груняшиной мачехи не оказалось в кучке переполошенных баб. Долго искали ее, не отходя друг от друга далеко. Охрипли от крика. Опаленный бор не выдавал тайну...

Отец не искал дочке новую мать. Бобыльничал, охотился, старел. С каждым охотничьим сезоном хуже видели его гноящиеся трахомные глаза. Подошло бедовое для таежника время: стал стрелять вместо соболей белок по веткам. Не мог усмотреть летящего по белотропью зайца...

Рыбачка принимает от Валерии толстый окурочок, сильно затягивается: вспыхивает газетная закрутка. Аггей постреливает глазами по сторонам: не заметили бы, как бражничает тихеевский спарок. Начальство не будет выяснять — за московскую битву пил или за Христа. По военному времени и со стариков спрос. Праздники урывками достаются. Будить начинают ранние будни позывными крикливых петухов. Только мертвых не поднимут на лесоповал. С живыми справляются живо.

Теплит грудь молодая бражонка, снимает устаток со стариковского тела. Вот выкроили короткое время посидеть у нового пня, разговелись свежей налимчатинкой — и славно. Можно дальше норму ломать, сворачивать ей крутые рога за мерный ржаной паек. Сейчас застучат повеселелые женщины в два топора, примутся отсучковывать литую стволину.

Вороха мерзлой хвои придавливают сушняк, поставленный шалашиком: готов костер для завтрашнего утра. Поднесут пучок бересты, вспыхнет спичка, родит новый светильник. Ранний, досолнечный свет даст пильщикам возможность упариться на валке до восхода. Старик снял с сучкорубовских топоров тонкую фаску, мудрено заострил их: теперь сталь не крошится на сильном морозе.

У пня Валерия не выкроила время для песни. Она подкатывалась к языку, замирала на кончике. Разговоры за кружками, боязнь быть услышанной трудармейцами других бригад мешали озвучить растревоженную душу. Неизвестность об отце, похоронка на мужа, тыловое бремя неубывного труда тяжелым гнетом выжимали из сердца песенную тоску. Найденная отдушину помогала выпускать потихоньку скопленное горе. Наука петь сквозь слезы давалась женщине легко. Под аккомпанемент топоров и лучковой пилы крепкожильного деда Валерия затянула хрипловатым речитативом:

Шли-прошли обозы великие.
За обозами солдаты боевые.
За солдатами матери родные.
С матерями жены молодые.
— Не тужите, наши жены молодые,
Не тужите, наши матери родные.
Чисто поле вам кручиной не засеять.
Сине море вам слезами не наполнить...

Вальщик расправляет спину, прислоняется к стволу и правит на толстой коре онемелую поясницу.
— Эй, ку-маа, взреви чего-нибудь повесельше.
— Можно и повеселее:

Возле реченьки ходила,
Слезно реченьку просила:
— Пусти, реченька, пожить,
Надоело мне тужить.

— Груня, пощекочи топором неуговористую куму. Огонь надо водой заливать, кручину вином и ладной песней.

— Ла-а-адной?! Кто их наладил для нас? Из-под кнута живем, пням молимся, родню теряем.

Аггей подошел к женщинам, стал отбрасывать громоздкие ветки от ствола.

— Нынче, кумушка, главное: родину не потерять. На нашу страну враги давно хомут примеряли.

Топоры упорно отсекали сучки и запальчивую стариковскую речь.

Валерия осмысливала суровую правду слов: нынче главное — родину не потерять. Другие слова пронесли мимо сознания. Эти затмили все. Заставили со стороны взглянуть на личное горе. Оно растворилось каплей в реченьке слез, о которой недавно пела страдающая душа. Много матерей, жен, сестер бедуют сейчас. Кто-то от кручины оплавляется свечой. Кто-то пытается наложить на себя руки — сокрыться в землю, в воду. Подплывали обжигающие мыслишки и к Валерии. Убрала с глаз долой веревку-копенницу. В дальний угол обжитого тараканами шкафа засунула пузырек с уксусом. Услышала в себе властный голос отца. Корил дочь за хилую волю, приказывал жить и своим чередом дожидаться смертного часа... Пришел ли к тебе, Панкратий, роковой час? Или удастся водить за нос изменчивую судьбу? Поплатился за горячность, за хлесткую правду. Деревня потеряла толкового кузнеца. До сих пор промышляют в Тихеевке медведей и лисиц его самоковочными капканами. Не все выкованные Панкратием подковы истерлись на лошадиных копытах. Согнули власти мужика в подковину. Куда заперли-затерли? Где искать ходы-выходы?

Главное родину не потерять. Конечно, главное. Кто спорит? Но Родина — не просто горы, тайга, реки, города, селения. Родина — живущие и защищающие ее люди. Неужели так незащищен сам человек, что может в любое время по дурной прихоти властей бесследно исчезнуть с лица земли?! Кричи — не докричишься. Стучи — не достучишься. Однорукий фронтовик Запрудин успокаивал Валерию: «Меня тоже по наговорщине брали. Разобрались — отпустили. Тяжело и горько носить незаслуженный ярлык — враг народа...»

Даже после бражки не поется Валерии весельше. Скачет по сучкам острый топор, не может переплясать бойкий топор рыбачки. Груня со свежими силами. Пусть подсобляет расправляться с железной нормой. Остятка телом хила, окружена болями ревматическими, но рабочие жилы пульсируют в крепкий натяг. Посмотрит Валерия в бане на худенькую приживалку, вышепчет: кошмар. Стесняется ей мочалку в руки сунуть, чтобы спину потерла. Мускулы Груни, наверно, окостенели под сухой, бледной кожей. Однако начнет парить бедную вдову, спину мочалить — кричать от боли охота.

Крепкую пляску вытворяет топор на толстой сосне. Можно подумать: Груня век сучкорубихой вкалывала, не с фитилями, сетешками возилась.

Валерии попеть бы на людях теплое, задушевное, не расстраивающее — настраивающее сердце. Но иные слова носятся по заколдованному кругу, просятся на язык. Женщине тягостно молчание. Надоедлив долгий грубый говор топоров. Поворачивается к Аггею, видит согнутую над лучком спину, горушку опилок возле широко расставленных ног. Хотела спеть нагоняющую тоску частушку: «Я от горя в горенку — оно стучит в оконинку. Думала: к воде сбегу, оно стоит на берегу». Аггей с неистощимым усердием дергал упрямую пилу. Гореванкой овладел стыд за расслабленную душу, за резкие выражения, выпущенные по деду. Зачем она грубит преклонному годами, но непреклонному духом тыловику? Хмурая Валерия поправила волосы под клетчатым платком с кисточками и отмела прочь пришедшие на ум частушечные слова.

День догорал слабым огнем вечерней зари. Густеющая темнота начинала сдваивать, страивать деревья. От снегов еще лилась слабая подсветка, ложилась матовым наплывом на низы стволов. Стали неразличимы купола. Всплывали из верховой пучины нетерпеливые звезды.

Над длинной чистиной дороги-ледянки вечер задержался подольше. Весь необращенный во тьму дневной свет обрушивался на просеку, бесструйно стекал к сплавной реке, к утопанному катищу. Он торопился к последнему разливу по пойменным лугам, приглушенным рыхлыми снегами. Нарымская скорая ночь настигнет остаток света везде: не укрыться, не отсидеться за сосновыми бревнами, приречными кустами. Месяц-полуночник родит иной свет, угодный ночи: она не проглядит впопыхах свое затурканное васюганское царство.

Усталые на вывозке кони впряжены в сани-розвальни. Тихеевские артельцы попадали на сено. Ожил поддужный колокольчик. Заскрипели гужи, полозья. Желанная дорога-санница напомнила трудармейцам о доме, отдыхе и предночных заботах.

Из бора долетел короткий шум помятого падением купола: бригадир Запрудин с сыном при свете переносного фонаря обрушили последнюю на сегодня сосну. Прибавкой нескольких кубометров оборонной древесины добились две дневных нормы.

Грохот нарымских стволов тоже укорачивает жизнь фашистских дивизий. Когда-нибудь он отзовется эхом победы. Сибиряки — народ терпеливый, сильный, неустрашимый. Они дождутся салютного часа Родины. Он проглядывается в ярких отсветах сталеплавильных печей. В огне деревенских кузнечных горнов. Даже в бледном свете пузатенького фонаря «летучая мышь», который высвечивает обратную дорогу в таежный барак обессиленной бригаде лесоповальщиков.

Скоро время отсчитает еще один день войны и тыла. В ушах неумолчный грохот стволов. Дробный перестук топоров. Шорканье лучков и двуручных пил.

Кума Валерия вяло держит потертые вожжи. Коней подхлестывать не надо. Усталые, но к дому торопятся, предвкушая порционный овес, воду и сено — вволюшку. Вдову клонит в сон. Подремывает ослабевая от тепла Валерия и чувствует: колокольчик из-под дуги переместился высоко-высоко — на златорогий месяц. Там начинает вызванивать — дзиль-дзень, дзиль-дзень.

Вальщик порядком натрудил тело. Разогнал по жилам стариковскую кровь — надолго отпугнул от себя сон. В постели и то подстораживает бессонница. Не дано знать Аггею, сколько осталось жизненных лет, может, месяцев. Старик, наверное, сам стал дозорить время короткого бытия, пугается затяжных снов: им недолго затянуть в жуткую глубь, оставить человека на вечном дне. Со всеми стряется беда — старость. Недоумение берет — почему так скоро подкатывает она на вороных. Даже бороденка стала плохо расти. Висит ремками, лицо позорит. И голосище прорезался козлиный, дикий. Запоет Аггей, спящий соскочит и как век не спал.

— К-уумаа, очниись.

— Отстань...

Колокольчик наяривает сбивную звень. Дед пытается подобрать под медную музыку подходящую частушку. Находит ее, зудит потихоньку лошадиному заду:

Из-за вас, девчоночки,
Отбили мне печеночки.
Хоть я без печеночек,
Опять люблю девчоночек.

Коняга крутнула хвостом, шлепнула по ноге.

— Во, пла-дис-мент есть.

Сзади следуют трое розвальней с тихеевскими артельцами. Оттуда доносятся выкрики, смех, прибаутки.

Аггей вспоминает надпись на поддужном колокольчике. Литейных дел мастера оттиснули по медному круговому уширению гремка такое изречение: купишь — денег не жалеи, ехать будет веселей. Встречалась деду распространенная отливочная надпись: дарь Валдая. Вертел в руках на томском базаре колокольчики, щупал язычки, пробовал на вызвон. Выговаривал торговцу: «Какой же это дар Валдая, если за него деньгу платят?» Сбытчик колокольчиков подмаргивал хитро, пресекал покупателя: «Задаром, миллай, только сопли звенят в ноздрах».

Сейчас все звенит в прокаленном воздухе: колоколец и тягучая мокреть в стариковском носу. Скапливается на морозе, тянется в две вожжи, надоело пальцы к ноздрям прикладывать. Всякая простуда-остуда еще от окопной житухи привязалась. То нос прыщами обложит, то бока чирьями. Телесное ломотье сбивает бессрочными трудами. Встанет после сна скованный суставной немощью, худые ноги избянным половицам подскрипывают. В ножных чашечках, пальцах и лодыжках треск раздастся. Особенно в буранивое время, в затяжное мокропогодье крутит ноги и руки, поясницу щемит. Весь крепеж костей в расшатку идет. Нарым — ноша не по всякому плечу. Здесь пот особенно солкий. Солнце рассыпает и по сибирской земле золото: на его

промывку много надо затратить тельной соленой водицы. Тогда с сеном, с картошкой-моркошкой будешь. С леса, болот и воды посильную дань соберешь. Приобской природе солнышко зрячий разум дало. Говорит: подкармливай нарымцев, рассыпай по болотам клюкву, выжимай из земли стебли дикого чеснока-колбы, впускай в озера и реки разнорыбицу, развешивай по кедром шишки. Захотят нарымцы есть — изловчатся. Все соберут, скосят, обобьют, добудут.

На задних розвальнях аборигенка Груня всохатывает, визжит от чьей-то каламбурщины. К доброй рыбачке все тихеевцы питают родственные чувства. Выросла полусироткой. Судьба коленце выкинула: погорелицей стала. Снисходительная, безобидная щедрая душа. На подмогу первой откликается. Ни одна побелка в деревне без нее не обходится. Ставится новая изба — стены конопатит, помогает печнику и стекольщику.

До войны без свежей рыбы не заходила к товаркам. Несла икряных карасей, жировых ельцов, щук на котлеты. Много разной белорыбицы роздано по людям, ешьте, помните Груню. Теперь порядки строгие. Главный артельщик готов в рот заглянуть — рыбью кость в зубах усмотреть. Приказ зубастее щуки: все, добытое государственными неводами, сетями, фитилями, самоловами, мордушками — на сдачу. Хоть пешню вари в рыбацком котле, но всю рыбу похвостно и попудно сдай засольне. Охотники-промысловики не должны утаивать пушнину. Рыбаки — уловы. Вездесущие учетчики следят на ферме, чтобы доярки не отхлебывали из подойников молоко. Соски коровьи проверяют: все ли до единой молочинки попали во фляги. У фронта своя хватка — не вывернешься.

За тихеевскими раскулацкими семейками особый догляд. Не всякое словцо с языка при начальстве сбросишь. Тяжелая любовь слезами улита. Тяжелая жизнь увита трудами, условностями, надзираловкой.

Вдовица Валерия навалилась на старика, сопит в две норки. Клонливая стала на сон. Возьмет Груня в избе костяной гребень, почешет в черных, пышных волосах — хозяйка зажмурится, закроет носом. Прислониться бы к подушке, уснуть и проспаться всю войну. Проснуться с ее кончиной, заняться не таким трудливым делом, изматывающим тело и душу. Мир послабление даст. В лавке появится дешевый хлеб: бери буханку, две, насыть брюхо, натрескайся до икоты, до отрыжки.

Завиднелись бледные огоньки Тихеевки. Аггей принялся нашлепывать лошадь вожжами по закуржавленному бокам. Подсмеивался над крестьянской нуждой потешный колокольчик: купишь — денег не жалея, ехать будет веселей. Веселенькая езда оборвется скоро вместе с дорогой-санницей. Оборвется у конного двора, низенькой хомутовки, жердяного денника, подпертого глыбастыми сугробами.

— Куумаа, очниись. Торможу лаптей — деревня близко. Невпробуд спишь, красавица. В обнимку с морозом что не спать — прижмет и поцелует. Намилуешься с ним — все легче вдовицкую тоску переносить. Верно?

Валерия спала. Заиндевелая лошаденка фыркала. Возница рассуждал сам с собой. Разудалый колокольчик обрадованно оповещал деревенскую поскотину, крайние избы с чубами дымов: е-дем с де-лян, е-дем с де-лян.

Дочь кузнеца Панкратия видела цветной сон. На первых раскорчевках уродился стойкий чистый лен-долгунец. В зеленом обрамлении тайги буйно цветущее поле походило на островок опущенного на землю нежно-голубого неба. Запольная песчаная тропинка шла краем густого сосняка. Сидели на ветках, летали над цветущим льном крупные диковинные бабочки и жар-птицы. Они задевали Валерию разноцветными веерами крыльев и хвостов.

Рядом с полем льна шумело восковыми колосьями хлебное поле: чистое, толстостебельное, без единого сорняка. Невдалеке на ярком изумрудном пригорке красовалась опрятная заимка, дрожала в ливне переливчатого марева.

«Отец, чей это рай? — спросила дочка. — Неужели наше хозяйство?»

«Наше. Родное. С матерью твоей вдвоем поднимали. Нас только гроб с ней развенчает. Смерть, доченька, всегда ближе рубашки. Ты руками своими стремись жить и правдой: шапка на голове будет крепче держаться».

«Кому надо — тот собьёт. Мало ли ты страдал за правду. Где наше единоличное подворье?.. Не дадут нам зажиреть в Тихеевке — снова раскулачат».

«Некому кулачить. Все землю пахнут, косят сено, хлеб пекут. Один закон на земле установлен — всеобщий труд. Все с сошкой, все с ложкой. Даже штатные голосистые ораторы-застывалы в скотники-работники подались. Их пустые речи перестали до людей доходить: безработными сделались. Кусок хлеба болтовней не добудешь. Не те времена...»

Бабочки, жар-птицы были ручными. Давали себя погладить, поласкать. Валерия наслаждалась их доверительной близостью. Лепестки льна звенели тихим благостным звоном и кто-то с середины поля звал девушку странным именем: куумаа...

— Горазда же ты, кума, спать. Чай, узнаешь свою избу? До калитки доставил — вытряхайся. Поеду лошадь распрягу, накормлю. После домашниной займусь.

Вдовица недоуменно тарщила клейкие глаза на полузанесенное снегом прясло. Узнавала и не узнавала тесовые воротца, лопаточный прокол в сугробах. Резко потрясла головой, проворчала на Аггея:

— Леший! Такой сон порушил!

Где она, угопающая в мареве сновидения, богатая заимка? Взгляд уперся в неказистый домишко, забуранный по окна. В сознании долго бродило эхо отцовских слов: «Смерть, доченька, всегда ближе рубашки... все с сошкой, все с ложкой...»

Сбросила тулуп, вылезла из розвальней. На онемелых ногах побрела к калитке. У крылечка остановилась, прислушалась: потрескивали от стужи венцы. Настырная ворона без передыху долбила возле стайки окаменелый шевяк.

Уснули под песни выюг, утрелись в снегах нарымские речки-блудихи. Накручено-наверчено их на протяженной васюганской пойме — не перечтешь. Неумные ключи-живцы не всегда поддаются морозу. Прорываются они сквозь ледово-снежные протай, намерзают под берегами волнистыми глыбами.

Весной темная вода точит где хочет. Намывает песчаные острова. Заиливает луговые берега. Подрезает крутоярье. Просачивается сквозь толщу торфяников. Теперь всеми водами правит мороз. Трещит, строжится. Высокие суметы наращивают берега речек: из снега торчат макушки кустов, сухие дудки дягиля, пучки непригнутой ветрами осоки. За Вадыльгой тянется широкий луг, уставленный частыми стогами. Возле них мышкуют осматрительные лисицы. Забуриваются в снег до старых остожий, принимают к кочкам и натропленным заячьим следам.

Зима утаивает местонахождение речных и озерных вод. Забивает русла снегами. Торопится сравнять с берегами многочисленные водоемы. На узких речках, истоках, озерушках сходит с рук зимы такая проделка. Сейчас Пельсу и месяц не разглядит светлыми очами. Вадыльгу, большие таежные и луговые озера не вдруг упрячь под белый покров: выдают себя ровными срезами чистых наметов.

Недавно дедушка Платон привез из заречья два воза сена. Он брал с собой Павлуню — внука-приемыша. Пусть смотрит блокадный мальчонок, привыкает к труду селянина. Директор детского дома, отдавая Павлуню на попечительство, советовал пореже оставлять ребенка наедине с самим собой. Просил голоса на сироту не повышать, занять легкой работой. Нашли подходящее дело: ходит по ледянке со слепой Пургой, поводырит. Молчаливый, задумчивый на людях. При кобыле-беодолаге оживает. Разговаривает с ней тоненьким, шепелявым голоском.

Успел Павлуня на возу посидеть, почистить мохнашкой жесткую заиндевелую шерсть на лошадином боку. Пободал с разбегу тугой возок.

— Деда-а?

— А-ась?

— Ты меня обратно в детдом не сдашь?

— Ни за что. Запрудиным вырастешь. Женишься. Род наш длить будешь.

— Не сдавай. В детдоме шума. Голова там болела. Тут прошла.

— Тут пройде-е-ет. Смотри, какая белая красота кругом. Скоро дни на весну покатыся. Солнышко яри прибавит. Гляди, гляди вон стайка снегирей полетела.

— Куда?

— Семена для пропитания ищут. Красногрудки пушистые, хорошие. Их природа на житье к нашим снегам определила.

Привезли сено. Павлуня надергал из возка мягкую охачку. Побежал угощать Пургу. Ее держали в первом от дверей стойле. Мальчик протиснулся к кормушке, положил сверху сенное приношение. Погладил слепую по мягкому храпу.

— Я снегирей видел, — выложил новость поводырь.

Пурга перестала жевать, мотнула головой — сбила с мальчика шапку. Поднял, повертел в руках. Нахлобучил и заторопился к конюху.

— Братец Захар, дай хоть полшапки овсеца. — Павлуня сдернул ушанку.

— Надень, голову застудишь. Я Пурге и так больше меры даю. Возчики ворчат: слепую балуешь, зрячих ущемляешь.

— Ну даай.

— Набей два кармана и ступай, скорми.

Овсинки кололи руку. Обрадованный Павлуня утрамбовывал кулачком в карманах телогрейки добавочный корм.

— Из шапки не угощай. На вот мешок из-под отрубей.

— Спасибо, Захар... ты мой настоящий брат.

— Беги да на ужин не опаздывай. Тетка Марья суп с клецками наварила — слюнки текут.

Артельный любимчик Павлуня и без ведома конюха запускал руки в мешок с овсом. Нашел ржавое, с продавленным дном ведро. Спрятал в кормушке под сеном. Втихаря ссыпал туда краденый корм. Боялся, что

кто-нибудь уличит его, надает затрещин. У мешка трясло от испуга, просыпался на пол ценный корм. Для очистки детской совести испрашивал иногда разрешения у братца Захара на полшапочки овса. Конюх знал о простительной хитрости мальчика. Молчал: ведь лишние пригоршни доставались его любимой Пурге, тяжело обиженной лошадиной судьбой.

Опоражнивая карманы с зерном в потайное ведро, Павлуня запальчиво шептал лошади:

— Тише, тише... не торопись... тебе же принес... какая нетерпеливая...

Колочие овсинки высывались из карманов телогрейки, выдавали воришку. Яков Запрудин приказал всем молчать, закрывать глаза на детскую безобидную уловку. За последнюю неделю Павлуню дважды били сильные припадки. Закатывались под лоб глазенки, пузырилась у рта пена. Конвульсия передергивала хилое тело. Мальчика подкармливали медвежьим, барсучьим салом. Поили калиновым соком, брусничным морсом. По ночам его одолевал сильный кашель. Тетка Марья поднимала полусонного, выпивала настой корня болотного аира.

В минуты глубокой детской тоски принимался плакать навзрыд, звать маму, сестренку Гутеньку. На дороге-ледянке возчица Марья строго следила за поводырем: не случились бы припадки на снегу. Обморозится, попадет под лошадь и сани. С него не спускали глаз, тешили лаской и сказкой. Дедушка Платон к великой радости Павлуни показывал на барачной стене тенями пальцев зайчика, собачку, сову. Поднесет близко к висячей керосиновой лампе умело сложенные пальцы, начинает шевелить — на бревенчатом экране собачка пасть разевает, гавкает голосом Платоши.

Измотанные ледянкой и соснами быки, коняги давно напоены из речной проруби. Набивают животы сеном, кашляют, фыркают, мычат в бревенчатом засугробленном жилище. Снежные завалинки для тепла подняты почти под крышу. На крыше метровая толща сена, придавленная белыми пластами зимы.

Приземистый барак лесоповальщиков повернут трехоконной стеной к Вадыльге. Из короткой кирпичной трубы вырываются с дымом крупные искры. Они вроде не гаснут — налипают на низкое небо новой россыпью ярких звезд. Нашла себе земля тихое пристанище во вселенной, ходит по заколдованному кругу летящих миров. Природа подчинила ее своим строгим незыблемым законам: меняет времена года, будит и усыпляет воды, родит злаки и травы.

Лесообездчик Бабинцев стоял замороженный звездами, пораженный их вечной немой тайной. Перед загадочным величием небес, их неизмеримостью вглубь, вширь, охватывала робость. Анисим Иванович часто размышлял о скоротечности человеческой жизни. Если время умеет вводить в обман целые миры, рассыпать их по высям звездной пыли, то что для него чье-то случайное существование на земле? Хаотическое нагромождение былых миллионов и миллиардов лет — плод людского воображения, желание стреножить века путями условного измерения. Времени не существует. Смена дней и ночей, годов и веков — размеренное дыхание вселенной, не более. Исчезнет земля, оборвется внезапно человеческая цивилизация — такой же глубокий, вечный покой объемлет миры. Кто ответит: что было до нашей эры? Вечная, вневременная жизнь неба, наполненная таинством недостижимых миров, волновала Анисима Ивановича со студенческих лет. Учился в городе на Неве в лесотехнической академии и там впервые стал развивать друзьям нестройную теорию о мнимом времени.

Но больше тайны веков его волновала и поражала тайна природы. Ни с чем не мог сравниться ее талант в создании, щедром воспроизводстве лесов. По сути дела человек явился на все готовое. Ему достались чистые воды с обилием рыбы, густые леса с обилием живого мяса зверей и птиц. Съестные припасы пополнялись за счет плодоносящих деревьев и кустарников. Природа платила людям повечную дань, накопленную в себе до появления прожорливых мыслящих существ о двух ногах.

Пожалуй, самым уникальным и ценным кормежным деревом на земле был кедр. Велик ареал его распространения. Природа отмерила матушке Сибири самые большие владения кедровых плантаций.

Слушая лекции в академии, Бабинцев уносился мыслями к нарымским кедровым борам: вечнозеленые нивы абсолютно не требовали затрат людского труда. Дождись порывистых осенних ветров и начинай собирать шишку-паданицу. Милостивая природа произвела щедрый расчет с человеком. Давала возможность насладиться сытым орехом зверям и птицам. Жировались соболи. Спешно производили запасы на долгую зиму белки, бурундуки, мыши. В густой кроне хозяйничали кедровки-трещотки. Медведи устраивали в кедрачах ореховый пир горой. Гудела тайга в горячее шишкопадное время: все торопились на ветровой обмолот.

Из-за болезни сердца, глубоких сабельных ран — отметин гражданской войны, Бабинцеву пришлось оставить академию. Навсегда перебрался в родные нарымские края.

Зайдя с мороза в барак, Анисим Иванович потер руки, присел на скамейку у стола. Павлуня огрызком карандаша выводил на бересте корявые цифры. Захар не давал ему тяжелые математические задачи. Старался не вводить в них килограммы хлеба, конфет, яблок. Решение таких головоломок давалось мальчику туго. Облизывался, выпускал изо рта слюну, сопел и порывисто вздыхал. Старший братец впускал в несложные

задачки килограммы гвоздей, кубометры дров. Встречались жнейки, лошади, бревна, мешки с овсом. Задачи на овес Павлуня решал охотнее всего. Разделит, умножит, сложит и парочку мешков обязательно выделит Пурге.

Бересту со столбиками цифр возчица Марья пускала сперва на растопку. Потом стала складывать берестяную арифметику под подушку. Расправит белую кору на конце столешницы, повертит перед глазами пляшущие цифры и в темный уголок. На бересте были написаны короткие диктанты. Красовались простенькие рисунки: зайцев, деревьев, лошадок. Возчица внушила себе: с Павлунькиными каракулями, рисунками, цифирью ей крепче спится, хорошо думается о муже Григории.

Дедушка Платон разложил перед собой драгву, сырмятные ремешки, пимные заплатки. Рядышком лежало острое шило с крючком на конце. Починка хомутов, уздечек, валенок доставляла старичку истинное наслаждение. Из непригодных вещи вновь становились нужными, могли служить новый срок в бедное, тыловое время.

Захар сидел рядом, мечтал вслух:

— После войны поеду на учебу в Томск. В фабрично-заводской школе форму дадут: в петлицах молоточки, ремень с блестящей пряжкой.

— Прифраришься, девки в обморок упадут от зависти, — подкузьмила Марья, боясь встретиться взглядом с одноруким Запрудиним.

— Пусть падают, — не растерялся Захарка, нежно подумав о Варе. Ради нее он сам готов упасть на колени, плакать слезами счастья первой мальчишеской любви.

Платоше жалко расставаться с внуком. Не хочется отпускать в большой город. Считает долгом сделать поучение:

— Для тебя город чужбиной будет. Сторона дальняя, незнакомая. Медведем взревешь. Нам с Зиновией недолго осталось гостевать на земле. Пусть тебя, внучек, жизнь с отцом никогда не разлучает. Где отец, там и дом твой. Гуси долго не улетают на юг, в народе говорят: осень задлится. Никуда не улетай из отчего дома и задлится твое счастье на земле, не оставленной тобой.

Возчица Заугарова слушает рассудительного старика, кивает почти каждому слову шорника.

—...Мы, Запрудины, харчисто никогда не жили. Зато о душевной чистоте постоянно пеклись. Чистота от поля вспаханного принимается, от трудов праведных, непогрешимых грязной наживой. Ты, Захар, и в деревне сполна пройдешь всю науку жизни. Знал мужиков — польстились городом, отошли от деревни. Болтаются теперь дерьмом в проруби. Многого хотели, малого добились. Про таких верно говорено: взяли круто, остались тут... Ты, Анисим Иванович, человек грамотный, рассудительный. Скажи: стоит ли мальцу Большие Броды оставлять?

— Горевать не надо. Выучится, ученым человеком в деревню вернется. Иди, Захар, по лесной науке. Заступники и радетели за лес всегда будут нужны. Отпусти мне судьба сто жизней — все сто занимался бы разведением кедровых садов. Кедрачи — клады наземные и ценности неисчислимой. Ни искать, ни копать не надо сокровища, взлелеянные природой.

— Оно так, — соглашается Платоша. — Вот ты, Иваныч, научи парня кедры разводить. Его в город не потянет.

— Научу. Захар сметливый: глазами учит, руками запоминает. Такому стоит рядом со мной повертеться. К делу присмотрится — и мастер готов.

Отозвались о сыне тепло — засияло лицо у Якова Запрудина. Засверкали подвижные глаза. Фронтовик неотрывно глядел на задумчивую Марью. Недоумевал: почему не осчастливит его теплым взглядом? Проворно пришивает верхнюю пуговицу к рубашонке Павлуни, не поднимает глаз от мятого воротника. Звала ведь Якова по молодости на вечерки. В жмурки играли. Визгливо дурачились на васюганском берегу. Даже позволила разок поцеловать за кустами черной смородины. Парнем был в красоте и силе, девки льнули пушинками к смоле. Сидит теперь осрамленный войной — однорукий, с исковыренным осколками лицом. Кому нужен такой? Сдавила обида тугой капканной пружиной. Ведь сердце осталось то же. На месте отзывчивая душа. Не выдавила ее война. Не лопнула она мыльным пузырем от увиденного и пережитого на фронте.

Сознавал солдат: незачем глядеть замужней бабе на неказистого вдовца. Не подступайся к ней. Застолблена мужем. Страшится нарушить железный закон супружества. Отец упрекает: «Не гляди на Марью масляными глазками. Она не из тех, про кого говорят: муж уехал по дрова — жена осталась вдова. Заугарова — солдатка неуступная. Шашни крутить ни с кем не будет. Гришку с войны дожидается. Отступись от бабы...»

Легко сказать: отступись. Давний поцелуй за смородиной до сей поры опалает губы, вселяет надежду о сладкой утехе. Конечно, Марья не крученая бабенка, на всю деревню общей женой не будет.

Любил Яша раньше игру в жмурки. Крутится с завязанными глазами, норовит незаметно спихнуть косынку, скрученную жгутом, высмотреть среди разбежавшихся девчонок Марьку-хохотунью. Кружится, растопыряв руки, притворно натывается на деревья, кусты. Сам все ближе, ближе подкрадывается к зажигательной девахе.

Грабастал ее всегда неожиданно. Даже теперь ощущает под пальцами гуттаперчевый курганчик — теплый, пружинистый, желанный.

Крушит Яков сосны на деляне, справляет нудную двухнормовую поденщину ради победы и ради несговорчивой Марьи. Его фамилия выведена крупно мелом на крашеной фанере. Мелькает в газетных столбцах. Неужели тыловое отличие — для женщины пустой звук?

Пуговица пришита. Наклонилась женщина к воротнику рубашки, намереваясь откусить нитку под корень. Ухватила ноздрями чуть терпковатый запах детского пота. Уткнулась в поношенную ткань, задышала пеленочным духом: стосковалось сердце по дому, по ребятишкам, по немудреному хозяйству, оставленному на материнские руки.

Платоша сидит в рубахе-беспояске, деловито подшивает валенок с разношенным махристым голенищем. Дратвенный прошив ровный, крепкий. Шило в пимный материал идет легко. Натертая варом нитка скоренько цепляется шильным крючком, втягивается в черную заплатку. Захар успевает следить за Павлуныкиной арифметикой и целит глаз на руки мастеровитого деда. Дивится внук: старику смерть на запятки наступает, годов висит на нем, как репья на собаке, а он всегда бодр, деловит, работающ.

Иногда парню не хочется никуда уезжать из Больших Бродов. Тут Варенька. Васюган. Тайга. Болота. Летние станы покосников. Соровые озера с переключением гусей и уток. Благоговейные белые ночи, начинающие с мая завораживать землю и небеса таинственной немотой лунного свечения. Что если взаправду постичь у Анисима Ивановича науку разведения кедров? Маленькие деревца такие красивые, пушистые, беззащитные. Слышал Захар от лесобъездчика трудное слово — само-возобнов-ление. Попросил растолковать. Теперь понятно. Сама природа плодит и нянчит кедрки, сосенки, другие деревца. Прорастают орехи, оброненные кедровками, белками, спрятанные бурундуками в тайнички. Человек может значительно ускорить воспроизводство кедров, помочь природе в медленной, кропотливой деятельности.

Запрудин-младший представил неоглядную нивушку хвойных исполинов. Добежала она до Оби. Покатилась дальше по материковому берегу к большим сибирским городам. Вокруг Томска, Новосибирска, Барнаула, Кемерово — сплошные кедровые сады. Золотой дождь маслянистых орехов обернется по осени для государственной казны золотом монет. В кедровых борах будут держаться звери, птицы, манить к себе охотников-промысловиков.

Рассказывал Бабинцев и о будущем массовом пчеловодстве. В Понарымье множество не только заливных, но и сухоходных лугов, богатых растениями-цветоносами. Грибы, ягода, лекарственное сырье... Фантазия будущего лесного благоденствия не могла оборваться, она постоянно слетала с уст человека, всецело влюбленного в природу, думающего о не взятых у нее богатствах.

В барачные стены и окна ломился мороз. С треском вгрызался в бревна, в двери, обитые по косякам и порогу соломенными жгутами для сохранности печного тепла. Лампы-керосинки обливали барак мертвенным, дрожащим светом. Павлуна справился с заданием по арифметике. Отвечал Захару урок по литературе. Стоя возле нар, опустив руки вдоль худеньких бедер, звонкоголосо читал стихи:

Ух жарко! До полдня грибы собирали.

Я из лесу вышел — был сильный мороз...

Захар не удержался от смеха. Мгновенный переход от летнего зноя, сбора грибов к матерому морозу произошел по воле декламатора незаметно. Удивленный учитель закатил под лоб веселые глаза.

— Дружок, ты какое стихотворение читаешь?

— Слушать надо ухом, а не брюхом. Некрасова читаю, про лес.

...Гляжу — поднимается медленно в гору

Лошадка, везущая хворосту воз..

Ставь давай пятерку. Я тебе стих точно отзубарил. Учил, о Пурге думал: тащит воз, фыркает и хлебца моего хочет.

— Причем здесь грибы в первой строчке?

— Не в бараке же им расти. Мох в лесу, грибы в лесу.

Блестящая рассудительность мальчика окончательно склонила Захара в пользу хорошей отметки.

Не заглянуть темноте снаружи в барачные окна: толста на стеклах матовая наморозь. Застывшими миражами проступают в рамках пышные джунглевые растения, замысловатые неземные цветы. На нарах храпят сморенные усталостью и теплом возчики, накатчики бревен. По стенам, на вешалах за печкой сушатся телогрейки, портянки, рукавицы. На деревянные штыри надеты валенки. Притерпелись носы к тяжелому запаху общежития. Зайдешь с мороза, окатывает тебя спертый воздух: дыхание придержишь. Вскоре становится почти неуловим дух конской упряжи, махры, портянок и стелек.

Зажав между колен прямослойное, сухое полено, Яков Запрудин отщипывает тонкие лучины на растопку. Он любит заготавливать лучины впрок, привычно орудуя охотничьим широколезвным ножом. После лесоповала, переступив порог барака, Яков перво-наперво сбрасывал фуфайку, стягивал фланелевую рубаху и

желанно освобождал культу от надоедливого мягкого чулка. Прodelывал операцию за печкой в стороне от посторонних глаз. Шевелил багровым обрубокoм, приятно ощущая на нем текучий прохладный воздух.

Лучины откалывались от соснового полена с тихим музыкальным шорохом. Подошел Павлуня. Взял ровную отщепину, подбежал к тетке Марье, замахал сосновой саблей.

— Сдаешься?

— Сам сдавайся — поднимай руки.

Портниха подтолкнула к себе лучинного воина, надела рубашку, застегнула пуговицы.

— Не пора ли, Павлик, саблю в ножны и спать?

— Не хочу... боюсь засыпать.

— Почему?

— Вдруг усну и не проснусь. Кто Пургу водить будет?

Молчали рабочие. Трещали поленья в печи, словно на непонятном языке старались разубедить мальчика, погасить его больное воображение.

Марья думала о маме, о братьях, воюющих на Ленинградском фронте. Вспомнила их пристрелку ружей по банной двери. Сейчас у них одна пристрелочная цель: фашисты. Бить по ним надо долго, прицельно.

Мама Марии долго жила по людям. У томского купца домработницей служила. Боясь проспать раннее утро, ложилась на лавку под часы-ходики: опустится на цепочке гирька, стукнет по голове — значит приспела пора вставать, самовар ставить, печи топить. Однажды уснула от усталости возле самовара, распаяла дорожную тульскую посудину. Купчиха была толста — ног своих из-за брюха не видела. Поворчала на прислугу, но не прогнала. Ценили няньку, доверяли ей. Попервости для испытания ее честности деньги на пол роняли. Находила, отдавала. Сахаринку без спроса не возьмет, пуговкой не попользуется. У купецких детишек учитель наемный был. Вразумляет ребят, домработница уши топориком: хочется ей знать и про страны заморские, и про силу пара. Заглядывает из-за спины учителя, буковки, на бумаге написанные, запоминает. Нашла дощечку, угольком стала закорючины на ней выводить. Заметил старание купец, принес тетрадку и карандаш.

Подшив валенок, Платон уложил в фанерный ящичек дратву, шило, кусочек вара.

— Платон, ты замучил работу. Дай хоть ей отдохнуть от тебя.

— Она, Марья, наотдыхается опосля. Сложу руки и ей не будет заботушки.

— Деда, сказку обещал мне? — пристал приемыш.

— Можно и сказку-побаску. Перед сном любая годится. В народе много живет всяких придумок. Вот слушай. Жила-была горбатая старуха. Древняя, скажу тебе, старушенция: на голове мох рос. В деревне все ее боялись. Порчу наводила, ведьминим делом занималась. Оборачивалась сорокой, свиньей, тележным колесом. Залетела однажды птица-стрекотуха в окно к вопленице Ефросинье. Жила баба на задворках, избенка была — курьи ножки не выдержат. Не растерялась хозяйка, схватила кочергу, успела сороку стукнуть. Прокаргычила длиннохвостая, подскочила к окну и на улку выпорхнула.

Ефросинью догадка ожгла. Дай, думает, схожу к колдунихе, посмотрю, чем занимается. И прихватила ее на кровати с перевязанной ногой. Вопленица обо всем догадалась, плюнула через порог, высморкалась в сенках и отщептала заклинание. Идет по улице, рассуждает вслух: «Погоди, подохнешь — слезинки не пролью, словечка не выплачу».

И собралась колдуниха помирать. Наверно, кочерга ей шибкое навреждение сделала.

Павлуня, раскрыв рот, слушает стариковскую сказку-побаску.

— Деда, старуха такая большая, сорока такая маленькая. Как она ужалась?

— Ведьмы все могут. К одной бабе в деревне залетела порану в хлев сойка. Стала корову доить. Хозяйка заметила, кышкнула. Глядь: никого нет, а молочные струйки из вымени сами по себе бегут. Баба к корове. Кто-то стульчик опрокинул и дверью хлопнул. Вот какие чудеса приходят.

Жметя Павлуня к тетке Марье. Она поглаживает мягкие, пушистые волосы, ворчит на старика:

— Не напускай на мальчика страхи перед сном.

— Пусть-пусть... ин-нтер-ресно.

—...Значит приспичило ведьме в загробный мир отходить. Умереть хочется, но не можется. Доску-потолочину выламывали над кроватью, рамы в избе выставляли, подполье день и ночь открытым держали — не прибирала смерть старую грешницу. Под ночь взмолилась оборотница: черти, хоть вы придите на подмогу, сделайте что-нибудь для быстрой смерти. Сбежались ночью обрадованные черти, кричат, пляшут, копытцами стучат. Старший черт говорит старухе: «Придумай нам такую работенку, чтобы мы ее никогда не могли переделать. Иначе не явится к тебе последний час. В муках вечных жить будешь». Пересилила себя колдунья, встала с постели. Повела бесей к озеру, покрытому тиной. Вбила возле осошного берега осиновый кол, предлагает: «Лейте, черти, на кол воду, пока макушка не скроется». Запрыгали, заликовали рогатые и хвостатые бесы: «Ай, да ведьма! Перехитрила нас!»

В ту же ночь похоронили черти старуху с почестями. Вот и сказке конец.

Запустив под рубаху пятерню, Платоша желанно почесал пузо. Неожиданно его передернуло от внутренней боли.

— Нынче так: один бок заболит, другой поддакивает. Язвы, стрельнуло так, будто картечью по ребрам осыпало. Ну, ладно, братцы-артельцы, пора и глаза зажмурить. Ложка к обеду, слава ко времени, присказулька ко сну. Пойдем, Павлуня, нары давить.

7

В другом таежном бараке долго не ложились спать. Председатель Тютюнников, разложив на столе сводки, ведомости, списки колхозников, подсчитывал на потертых счетах трудодни, кубометры, центнеры, рубли, литры молока. Помогал счетовод Гаврилин. Итожили труд, подбивали колхозные бабки. На мятых серых бумажках покоились фамилии, цифры, центнеры турнепса, картошки, гороха, овса, ячменя. Легли сюда кубометры дров и кубометры древесины. Обведены красным карандашом сданные шкуры. Трещала колхозная шкура, растягивалась, делалась тугой от всевозможных поставок и срочных заказов.

Дети председателя — издерганный, гомонливый Васька и спокойная, рассудительная Варенька — играли в самодельные шашки: от тонкого сучка напилили кругляшек, половину из них начернили сажей. Доской служило сидение табуретки. Карандаш разграфил доску на клеточки, каждую вторую запятнал той же сажной краской. Сестра на поле пешечного боя чаще прорывалась к дамке. Васька злился, щелкал победительницу по лбу.

— Сын, готовься ответить мне по двигателям внутреннего сгорания.

— Ну их эти движки! Пилой надвигаешься — никакие моторы в башку не лезут. Скорее бы весна. На косачинные игрища не терпится сходить... П-а-ап, если нашить на узду полоску шкурки барсука — лошадь колики не возьмут?

— Ты мне зубы не заговаривай — не болят. Бросай шашки, берись за учебник. Вырастешь дураком, тобой каждый помыкать станет. Ничем не будешь отличаться от любой из пешек, передвигаемых на табуретке. Войне вечно не быть. Кончится, снова за парты сядете. Мощь родины всегда крепилась всеобщим трудом и всеобщим умом. Страна останется на русской земле и на карте мира. С лица планеты ее никакие гитлеры не сотрут.

Из дальнего угла барака доносился шепот молитв старовера Остаха Куцейкина:

—...Осподи, ослобони от лесной тяготы... благословен смиренный... Заступник, обитаемый в звездах...

На нарах, поджав голые, грязные ноги, Фросюшка-Подайте Ниточку мастерила тряпичный коврик. Высунув от усердия кончик языка, мычала бессловесную песенку.

Чадили лампы-керосинки, чернили вздутия и горловины ламповых стекол. Шевелились языки пламени: тужились что-то вышептать и не могли осилить устойчивую немоту.

Зоркий, требовательный взгляд Сталина с портрета на бревенчатой стене даже при бледном свете лампочек Виссарионовича долетал до каждого, кто поднимал глаза и хоть на секунду примагничивал их к властному лику. Фросюшка-Подайте Ниточку сидела к портрету затылком, но даже им ощущала прожигающий взгляд молчаливого соглядата тыловиков, их лесных и барачных дел.

—...Сохрани, осподи, братцев Орефия и Онуфрия... иноверцы повинны... два перста вознесутся высоко...

—...Сжатые газы действуют на цилиндр...

—...Надо немного денег дать колхозникам на трудодни.

Счетовод Гаврилин нахмурился, потер переносицу.

— С каких барышей рублями швыряться? Всю колхозную кассу тройка блох в одной упряжке утащит.

— Давай помозгуем.

— Мозгуй не мозгуй, все равно произведем расчет турнепсом, горохом, жмыхом. На премии вырешим по гребенке и по два метра марли. Сам знаешь, Василий Сергеич, и до войны кряхтел наш колхозник под тяжким бременем безотлагательных поставок. Были в кармане вошь на аркане да блоха на цепи. Трудились колхозники — в нитку вытягивались. Трудоднями-палочками фамилии были как частоколом огорожены. За этим плетнем долго еще сидеть крестьянам.

— При мне, Гаврилин, ты можешь все болтать — могила. При других не вздумай. Особенно бойся Мехового Угодника: лиса и волк в одной шкуре. У тебя дома что-нибудь из дорогих вещей осталось?

— Изба, но ее ведь в фонд обороны не сдашь, не свезешь на томскую барахолку.

— Вот и у меня — шаром покати. В прошлый расчет с колхозниками два ковра китайских продал, денюжат выручил. Нынче не знаю что делать.

—...Явится спаситель, оскрамит нечестивцев... святое писание — книга книг божьих...

Председатель из-под ладони пристально посмотрел в темный угол барака — там тесной кучкой сидели скитские братья. Произнесенное Остахом слово — спаситель — заставило перебить ход прежних мыслей. Тютюнников подозвал тщедушного Остаха, подставил табурет.

— Садись, гостем будешь. Давай, Куцейкин, вместе думу думати. Ты вот о небесном спасителе печешься. Мы сообщаем о земной спасительнице думаем — о победе нашей.

— Все в воле божьей.

— Остах, все в воле и силе людской. На фронте братаны твои бьются. Должны мы крепить Красную Армию? Обязательно. Крепим мы ее крестьянским трудом. К концу года надо колхозникам денег на трудодни дать — пуста касса. Мы знаем — скит ваш богатый. Прижимистый вы народ, накопительный. Денег, золотишка у вас может не быть — пушнины много. Лежит в тайниках, толченым багульником пересыпана, дымком окурена от всякой порчи. Пусть скит внесет пушнину в колхоз. Мы выручим за нее деньги. После войны разбогатеет, рассчитаемся.

— Ни о каком кладе знать не знаю, ведать не ведаю. Таить можно только любовь к спасителю. Таить богатство — грех.

— Врать — тоже грех.

— Мы живем не мирской правдой. У нас правда всевышняя, непогрешимая. Она постами и молитвами освящена.

— Сейчас, Остах, одна общая правда на всех: война. Освещается она огнем.

— На делянах тоже своя правда: труд рабский.

— Бойцам под пулями какво? Выручите колхоз. Советская власть вас не забудет.

— Лучше бы совсем забыла, оставила скит в покое. Ваша власть кровью добыта. Над нами владетель мирный, вечный. Сами молимся, сами кормимся. Староверы ленью не мечены. У нас мухи во рту не спят.

— На себя вы народец трудолюбный. В тайге кубометры тылу не додаете.

— Мы хлебные пайки от мирян не отрываем. Вера не велит на подачках властей жить. Ваш вождек отрезал церковь. Верующие сами по себе живут.

— Набаты церквей за Русь гудят. Храмы вносят пожертвования в оборонный фонд. Отечество в страшной опасности, вы пушнину в колодинах таите. Взять бы ее у вас на правах войны, не упрашивать, не кланяться.

— Идите ищите. Колчаковцы тоже искали, армию свою соболями крепить хотели.

— Белой армии нет: по земле молочным туманом развеена. Есть единая Красная Армия — надежда и защита отечества. Становись завтра, Остах, на лыжи и жми во все лопатки в скит. Передай старцу Елиферию: пусть вытащит из тайников пушнину. Сдадим ее, деньги получим. Вам охотничьего провианта дадим. Дробь, пули вы сами льете. Порох и капсулы не производите.

Углубленный в бумаги Гаврилин не вмешивался в разговор. Выманить у скитников пушнину — пустая затея. Постукивал на счетах костяшками. Отполированные кругляшки на блестящих, горбатеньких дужках катались легко, без шороха. Расштаные в гнездах металлические прутки с нанизанными кружочками изредка притискивались к другому рядку. Счетовод отколупывал пальцами запавшую дужку, выравнивал по правильному курсу, не переставая бубнить под нос цифры годового отчета.

Куцейкин насупленно молчал, уперев взгляд в широкие доски барачного пола.

Председатель колхоза пытался уяснить: дошла ли его короткая проповедь до сознания скитника. Сын Василий набыченно уставился в учебник, тупо разглядывал карбюратор. Паренек слышал каждое слово разговора отца и Остаха. Злился, тихонько ворчал:

— Тихушник старозаветный! Взять бы твой скит осадой, сундуки вытряхнуть.

Куцейкин радовался случаю побывать в верховьях Пельсы. Ежедневное изнурение на деляне, костолом от тылового труда часто порождали мыслишку сбежать в скит, упасть в ноги старцу Елиферию, испросить совета. Возможно, найдет избавление от тягостного артельного дела.

Над тайгой занимался беззвучный, морозный день. Меж осыпанных снегом куполов даже не струилась серебряная кухта. Слабый рассвет с потугами выкарабкивался из-за хвойных вершин. Что было в ледяном мире божьего и что земного — Остах не знал. Он веровал во всевластность сотворителя небес, урманов, вод, но вечно скрытая жизнь оспода отзывалась в душе загадочной настороженностью. Гонение на скитников, их попранная воля, тяжелая мытарская борьба за существование расшатывали веру сердца, вселяли сомнение: все ли в воле божьей? Ведь над каждой душой висит кнут, больно сечет верующих и безбожников.

Тужились разрозненные мысли в голове староверца. Предстало мудрое, древнее лицо Елиферия. Поставит скоро старец Остаха на выстойку, упрется прожигающим взглядом, оглушит вопросом: «Кто проболтался мирянам о пушнине? У кого язык оказался длиннее бороды?» Куцейкин промолчит, разведет руками: он не виноват.

Скитник торопливо шел по рыхлому снегу, легко давалось ему прочтение всяких следов. Охоту, тайгу Остах любил сильнее упрямой, въедливой веры. Она навязывалась ему бородачками, как заповедный устав стойкой старообрядчины. Промысловую охоту, природу навязывала душа. Он с молчаливой радостью отдавался во

власть ружья, живоловящих, щемящих, давящих самоловов. Любил петельный, капканый лов зайцев, медведей, лисиц. Умел пользоваться щемихой-ловушкой из бревен, которая обрывала свободу косолапых скитальцев по тайге. Настораживал кулемки на белку и соболя. Ладил слопцы на глухарей. Применял черканы для замана и поимки колонка и горноста.

Его старая, глухая вера была сама поймана в бревенчатую ловушку скита. Мерцающие лампадки, книги в кожаных переплетах с рисунчатыми застежками, распятия, иконы — свидетельницы постоянных кочевий — тоже были пленены крепкими стенами. Остах охотно покидал привычную обитель, отдавался во власть чернотропья, белых разгонистых верст. Бродил с ружьем, подкрадывался по кочкастому приозерью к уткам. Куцейкин имел в ружейных стволах пороховую силу, подчиненную только ему. Посредником между ним и летящим огнем были курки. И они подчинялись воле охотника, страждущего добычи для пропитания скитских едоков.

Ружьем, ловушками, капканами Остах восполнял то, чего не доставало его малосильному, сухогрудому телу. Он брал зверя, птицу силой пороха, петель и пружин. Не последнее место в промысловом деле играла сила опыта.

Белое наследенное писание тайги было больше и толще всех скитских книг, уцелевших от далеких смут, пожаров, обысков и перекочевков. Кривопись всевозможных следов легко давалась прочтению. Давней молитвой охотника служили просительные слова: осподи, дай удачу! Всевышний был благосклонен к Остаху, его братьям, бравшим медведей на крепкую рогатину. Братец-слабачок мог только дивиться храбрости и природной силе Орефия и Онуфрия. Ему ли идти один на один без ружья на косолапого, схватываться с рычащим зверем?! Разденется тонконогий, костистый Остах — напоминает рогатину. Не угадаешь — в кого уродился куцебородый хилачок. Отец пальцами переламывал точильный брусок. По шесть пудов лосятины с болота выносил. Толстомясая, рукастая мать чихнет, бывало, в молельне — иконы готовы попадать, пламя от зажженной лампадки дрожит.

Вся остаховская надежда в урманах на туго запыженные патроны, счастливый случай и хитрые ловушки. Берегла изменчивая судьба Куцейкина от звериных когтей, клыков, лосиных копыт и рогов. Два года назад выдался сухой светоносный сентябрь. Осень долго не заливала рябиновые огни. Трубные клики возбужденных самцов будоражили лосих. Отошло время гона. Землю осыпало холодными, разгонными дождями. Повалили снега, завораживая урманы песенным настроем предзимья. Восьмигодовалого лося Остах смертельно ранил последним пулевым патроном. В бешеной агонии матерый зверь срезал копытами подростковый сосняк. Задел толстый обессмоленный пень: от него полетели щепки. Охотник привязал нож к концу сухостоины, принялся колоть жертву под крутую лопатку. У сохатого срывалась с губы кровавая пена. У Остаха катилась изо рта тошнотворная зеленая слизь. В последнем рывке вознес зверь над землей шаткое тело. Прыгнув к человеку, боднул обессиленными рогами и рухнул у ног Куцейкина; из горла вылетел длинный, предсмертный хрип. Литые развилины рогов едва не зацепили лихорадочно дрожащего человека.

Во имя живота своего и дружных братьев по скиту добывалось насущное пропитание. Природа существовала до появления всяких властей. Ее давняя ничейность позволяла заготавливать к столу в неограниченном количестве мясо, рыбу, орехи, мед, дикий чеснок. Запасали впрок, опасаясь будущих неурожаев ягоды, грибов, кедровых шишек. Утаенная пушнина, приготовленная на черный день, служила спасением от непредвиденных случаев жизни. Меха позволяли отовариться мукой, сахаром, крупами, одеждой, охотничьим провиантом, мылом, вплоть до топоров и иголок.

Обособленность удаленного скитского мирка, подобострастное исполнение постов, обетов, уживчивость выстрадавших молитв были для Остаха неотъемлемой частью подзвездного существования. По ясному убеждению скитника природа являлась порождением осподней воли, его волшебства и чародейства. Чудодейственность помыслов и дел возносила спасителя высоко. Куцейкин стремился жить слитно с природой, не попадать под ослушание оспода, звезд, вод, лугов и тайги.

В сиянии снегов и зелени сосен завиднелся укромный скит. Остах сдернул с парной головы старенькую ондатровую шапчонку. Ткнув в потный лоб сдвоенными перстами, машинально коснулся ими острых плеч и великоватой телогрейки. Лыжи сами бежали к высоким воротам. Вся худая фигура, чуть не падая, подалась вперед в неборимом желании скорее оборвать долгий, нудный путь, окунуться в благоговейную тишину скита. Пахло запахом жилища и дымка. Теплые слезинки размыли очертания стволов и убегающей к Пельсе дорожки-санницы.

У широких дощатых ворот мальчуганы пилили на козлах еловую сушину. Заметив путника, бросились к нему наперегонки, путаясь в длинных полах распахнутых шубеек. Закричали враз:

- Дядя Остах, старец помирает...
- Не ест, не пьет...
- На иконы глядит...
- Ши-и-ибко худо-о-ой ста-а-ал...

Елиферия трудно было узнать. В жарко натопленной комнате на толстоногой деревянной кровати поверх лоскутного одеяла лежал грубый слепок с человека. Тускло светились утопленные во впадины глаза. Иссохшая кожа пожелтела, натянулась, разгладив рубчики морщин. Старец соблюдал суровый обряд смерти — последний бесконечный пост после короткой благодати жизни. Перед ним стояли, бесшумно передвигались сгорбленные старицы. Они походили на пришельцев из загробного мира: явились по душе, готовы вскоре увести Елиферия в иную обитель смирения и покоя.

Это был почти покойник. Он всматривался в лицо Остаха и не узнавал его. Острый, в угрях и синих прожилках нос Елиферия изредка вздрагивал вместе с кудлатой головой. Старца беспощадно добивал паралич, пуская по телу редкие, но тряские содрогания.

Куцейкин опустился на колени перед скитским повелителем, еле сдерживая в себе давящее, бесслезное рыдание. Из смежной полутемной комнаты вкатывалось нарастающее шипение бесконечных молитв.

Смерть стояла у изголовья в раздумье: в какой удобный миг потушить для Елиферия белый свет, погрузив в черноту и немоту земли. Всесильная смерть продлевала время своего злорадного мщения, наслаждаясь страданиями умирающего, пугливостью таежных затворников.

— Елиферий, власти требуют меха, — сбивчиво зашептал Куцейкин. — Услышь. Вразуми. Повелевай.

Из скованных уст не вылетело слабого намека на слово. Правую половину распластанного тела ожгло крупным, резким вздрогом.

Мальчонки, закончив распиловку дровишек, топтались у печки, уминая пышные пресные лепешки.

—...Возьму меха, отнесу... власти не отстанут... с обыском нагрянут... Осподь послушание оценит. Возвернет отданное...

Умирающий шевельнул пальцем.

Изо рта, покрытого жидкими сивыми волосами, выпорхнул приглушенный стон.

Задавлена Тихеевка тугими сугробами. Выползают из труб ленивые дымки, меркнут на фоне тягучих сумерек. Черными культями торчат из снегов колья жердяных изгородей. На них отдыхает горластое сорочье и воронье, устав от усиленного поиска корма. Поджарые, голодные собаки готовы перегрызть друг дружке глотки из-за обглоданного мосла. Со злобным ворчанием таскают они его из конуры в конуру, дробят клыками прочную кость, режут губы и десна о бритвенные грани.

От недоедания, переутомления крутится в крестьянских головах белый свет. На каждого грузно насел несползающий тыл. Не предвиделось скорой развязки с врагом. Не предвиделось близкого облегчения от давящей ежедневной артельщины.

Сваленная ломучим гриппом лежит вдовица Валерия на широкозадой печи, слушает свирканье, чиликанье блажных сверчков. Забудется в коротком, горячем сне — заползают в голову кошмарные видения, обливающие тело потом неотлучного страха.

Приживалка остячка Груня раным-рано ушла на подледный лов рыбы. Ее престарелый, подслеповатый отец отправился с дробовичком в лес, захватив петли на зайцев. Матушка Валерии на ферме выщеживает из артельных жилистых буренок молочко, слушает рев скученного стада. Тихеевские малоудоистые коровы в предпосевную пору пашут и боронят — силенку теряют. Тыловое тягло и на них взвалено. Глядишь — какая-нибудь бабонька на сносях плетется по рыхлой земле, погаркивает на стельную коровенку. Качаются два грузных пуза над небороженным полем: пыхтит рогатая скотинка, кричит угрюмая крестьянка, ведя в поводу вынужденную коровью подмогу.

Мороз за оледенелыми оконцами избы под сорок. Жар в больном теле вдовицы тоже под сорок. Потемну заехал за помощницей дед Аггей. Услыхала Валерия знакомый колокольчик, с трудом оделась, вышла на крыльцо. С ночи пересиливала недомогание. На улице голову обнесло резкой болью. Подкосились ноги. Не грохнулась о ступеньки — поддержал верный Аггеюшка, завел в избу. При свете переносного фонаря разглядел бескровное лицо. Помог стянуть с Валерии телогрейку, пимы, взобраться на русскую печь.

Удалялся унылый колокольчик... замер совсем. В голове простуженной женщины долго бродило сбивное эхо. Опустела крестьянская изба. Остались Валерия, теленок-поеныш в углу на соломе да запечные сверчки, посылающие неизводимые, распевные мелодии.

На тонких шатких ногах поднялся пестренький телок, шархнулся об стену. Устоял и зашумел в слежалую солому верткой струей.

Разомлела вдовица Валерия от подспинного тепла. Дремлет и чуёт глухой, остуженный голос отца Панкратия: «Есть кто дома?» Хочет дочь открыть рот: набит гусиным пухом. Вздрогнула, открыла глаза. Сон не сон: стоит у печки родной тятенька. Небритый, скуластый, с непогашенным огнем в цыганских дерзких глазах. Сколько раз пыталась Валерия карты, просила сказать всю правду. Выпала наконец правда судьбы.

— Жи-и-и-во-о-ой?!

— Сам живой. Душа в могилу уложена. Ну, здравствуй!

Валерия разглядывала отца, терзаясь недоступностью многих ранее незнакомых черт. Годы несурзной разлуки набросили на лицо паучью клейкую сеть глубоких, кривых вдавлен. Потускнели карие глаза. Исчезла в них налетная зеркальность. Раньше редко подергивались на скулах желваки. Теперь они ходили под сухой кожей небольшими взлобками. Покачивалась на худой шее черноволосая голова, будто Панкратий начисто отрицал чьи-то неправильные доводы и обвинения.

— Болеешь, дочка? На тебе лица нет.

— С ночи неможется. Испростыла на деляне.

Во дворе послышалось разливистое ржание.

— В Томске себе подарок сделал: огневого коня купил. Не конь — жар-птица.

— Разбогател?

— Цыганское богатство — темная ночь да узда нескрипучая.

Прошелся по половицам, стараясь скрыть от дочери сильную хромоту. Справа от двери на гвозде висел хозяйский кнут: к нему никто не притрагивался со времени внезапного исчезновения кузнеца. Снял с гвоздя аккуратно свитую плетевину, поцеловал березовое кнутовище. Резким шелканьем-салютом возвестил о возвращении на принудительное подворье.

Развязав вещевой мешок, Панкратий задорно крикнул:

— Глянь, дочь, какие сапожки тебе привез. А шаль, а платье шелковое!

Не утерпев, Валерия сползла с печи, ахнула при виде неслыханных подарков.

— Все мне?!

— И матери есть что подарить... Дедушке Аггею кальсоны. Рыбачке Груне кофта. Ее отцу привез очки в золотой оправе. С немецкого убитого офицера снял: ему теперь никогда не придется нашу землю разглядывать.

— Ты нна ввойне ббыл?

— Везде побывал: в тюрьме, в батальоне штрафников, в госпитале. Повидал чужие сторонушки. Дюже мытарили меня, мозги выколачивали, как табак из трубки. Запихали в штрафбат. Говорят: смывай позор цыганской кровью. Отвечаю: за мной позора не значится. За родину биться без ваших понуканий пойду.

Напился Панкратий чайку, заваренного мелко нарезанной сушеной морковкой, похромал к кузнице. Чумазая дверь на самоковочных петлях открылась с заполошным визгом. Знакомый запах горна, окалины, копотных бревенчатых стен заставил припомнить далекое, былое время радостного труда на алтайщине. Качнул ручку — мехи давно потухшего горна пфыкнули, подняли из-под древесных углей фонтанчик пепла. Мужик был сейчас сам погашен несправедливостью жизни, как этот холодный горн. Будто не из-под углей вылетел серый пепел — выпорхнул прахом из ознобной, затаенной души. Насилие, свершаемое над Панкратием долгие годы, в артельной неказистой кузнице отозвалось резкой, сжимающей болью. Почему попирались его раскованный труд, воля, время, свобода? Он бросил табор, променял укоренелое цыганское кочевье на оседлость, кибитку на дом. Зажил налаженным, крепким хозяйством. Мужика ни за что, ни про что сселили с обжитой земли, приставили над ним государственных надзирателей. Эти бездельники наблюдали за устройством сосланного люда, следили за его трудом. Они вслушивались в разговоры, выявляли крамольные мысли. Стоило заступиться Панкратию за честь дочери, отхлестать комендатурного охальника шипастым веничком — появилось дело о сопротивлении властям.

На земле главенствовал труд. Все, что было поставлено не рядом с ним, а над ним, являлось досадным грузом.

Панкратий был готов снова влиться в шумную таборную жизнь вольных соплеменников. Разбивать на берегах рек, у опушек подержанные, исколоченные дождями шатры. Трястись в погромыхивающей кибитке по кривунам российских дорог. Ничего кроме озлобления, желания мести он не получил взамен оставленной кочевой жизни. Табор тоже был гоним. Его торопились выпроводить из одной деревни в другую. Гнали из района в район. Из области в область. Кражи в магазинах, ларьках, пропажа коней, кур, тряпья с бельевых веревок иногда понапрасну списывались на цыган. Территориальное избавление от нежелательных таборов считалось делом законным и правым.

Зачем потребовалось территориальное избавление от середняцких семей — кузнец не знал. Даже вбитый тополевым кол обрастает со временем ветками. Хозяина сорвали с земли, не дали укорениться.

Покосилась громоздкая наковальня в кузнице. Растрескалась под ней толстая чурка, испятнанная искрами. Инвалид поднял с земляного пола бракованную подкову. Кто-то учился ковать. Расплющив неказистую загогулину, отшвырнул к чану.

Не хотелось бывшему кузнецу принудительной артели разжигать горн, брать в руки молот, клещи, пробойник. Апатия ко всему сжала мужика посильнее клещей, пристукнула крепче увесистого молота. Укороченная после операции нога отпихнула в угол уродливую подкову.

Возвращение отца исцелило Валерию. К обеду натопила баню. Дождалась исчезновения с углей угарной синевы, закрыла трубу. Отпущенный по инвалидности солдат потел на полке, с наслаждением чесал пятерней бока, грудь, забивая под ногти застарелую грязь. На дверь узкого предбанника набросил крючок: стеснялся, чтобы кто-нибудь из мужиков не зашел, не увидел изуродованное тело. Самые глубокие рубцы и воронки шрамов находились на правой ноге. Плечи, лопатки, руки выше локтевых суставов, икры ног были осыпаны крупными и мелкими ранами: пулевыми, осколочными, зарубцеванными, незатянутыми гнойными. Багровые, бурые, синеватые углубления и вздутия делали тело похожим на мишень, которую изрядно полили свинцом войны. Госпитальный хирург, извлекающий расплющенный зазубренный металл, разжимал над эмалированной ванночкой вымазанный кровью пинцет: шрапнельное крошево капля за каплей срывалось и шлепалось о гладкое дно. Военврач, страдающий одышкой, шутил: «Нашпиговали тебя, братец, металлаломом фрицы — стальной стал. Тебя легче на переплавку в мартен отдать...»

Помнился Панкратию последний бой. Штрафники бежали рассыпанной массой, затопляя поле сражения матерками, диким, разлаженным — уураа! Воинственный крик распахнул настезь солдатские рты. Слева от цыгана месил сапогами осеннюю грязь тугощекий латыш. Обессиленная дальним полетом шальная пуля угодила ему в зубы. Боец выплюнул кровавые крошки, выпихнул языком мертвую пулю. Не сбавил бег, не разомкнул цепь обреченных пехотинцев. По русским беспощадным штыкам начала скатываться неприятельская кровь. Увелили налитые страхом глаза. Под ногами гремели сбитые с голов каски.

Панкратий, озверелый от смертельной схватки, дробил прикладом черепа и ключицы, всаживал в животы штык почти по самый обрез винтовочного ствола. Сам по-звериному ловко увертывался от чужой стали. Подбегал на помощь к робким штрафникам. На долю секунды перехватывал занесенные над чьей-то жизнью немецкие штыки. Оружие глотки вышвыривали матерки, нечленораздельные звуки. В удобный момент Панкратий выхватил из-за голенища сапога неразлучный нож, всадил в бок носатому капралу. Тот обмяк, выронил из рук оружие и стал нехотя оседать на истоптанную кровавую землю. Даваясь незнакомыми словами, усмиренный вояка вытянул вперед правую руку в последнем приветствии обожевственного фюрера.

Штрафбатовцы бились насмерть. За кем и числилась вина — все смывалось дерзкой отвагой, жестокой, неравной битвой. К старым пулевым и осколочным ранениям бой приращивал свежие. Судьба не дала и на сей раз попасть кузнецу в объятия смерти. Штыки задевали его вскользь. Гимнастерка, брюки были липкими от крови. Во вражьей темной силе стали появляться заметные просветы. Но из-за крутого холма взбурилась свежими штыками новая мощная волна. С флангов по нашей пехоте поливали мотострелки. Заметно поределье ряды штрафбатовцев принимали на себя огонь и славу.

Не сразу сообразил Панкратий — почему его обгоняют одноротники. Простреленную ногу он волочил вгорячах по скользкой земле, пропахивая носком сапога кривую борозденку. До неба долетел крутой трехслойный матерок. Остановился боец, заголил просеченную штанину. Автоматные пули раздробили даже рукоятку ножа. Напористые струи крови сгоняли за кирзовое голенище мелкие крошки подколенной кости.

«Чего хайло разинул — беги!» — рявкнул сзади пузатенький ефрейтор, стукнув в спину ободраным прикладом.

«Ходюлю перебили».

Ефрейтор убедился в значительности раны, стал присматривать за другими штрафниками...

На банном полке криво сращенную ходюлю Панкратий нахлестывал березовым веником. Омертвелая нога, словно деревяшка протеза, порой не ощущала прикосновения распаренных листьев. Грудь, бока, руки, ноги гудели от ран: парильщик угадывал в теле еще много неизвлеченных осколков.

— Хирург прав, — вслух раздумывал кузнец, — в мартен меня надо сунуть... Неет, голубушка-жизнь, шалишь! Рано на переплавку. Подержу еще в руках небитую карту...

Трижды приходил к кузнецу председатель, упрашивал оживить горн. На делянах много лопнуло лучковых пил. Никто кроме Панкратия не мог паять полотно.

— Не пойду, — отбодрялся мужик. — Я по всему телу инвалид. Списан подчистую. Сам Сталин в кузню не запихнет.

Злоба, обида, досада жгли нестерпимо. Хотелось зажечь паклю, подпалить проклятую Тихеевку, поставленную принудительным трудом алтайских сосланцев.

— Возле меня смерть рядышком ходила да не наткнулась. Изувеченный, но живой. На нашу паскудную артель наишачился задарма — капец! Ступай, ищи нового кузнеца.

— Мил-человек, где они новые?

— Ничего не знаю. Были мы конями резвыми. Спутали нас. В путах спим. В путах живем.

— Иди в кузницу, сена артельного твоему коню дам.

— Овса достану.

— На какие шиши купишь? Овес нынче ценой кусуч.

— Не твое дело, — открыто зубатился инвалид и шел со скребницей к вороному, крепкононому жеребцу. Был он чернее ночи. Ладен статью, горяч под седлом. Заржет раскатисто — замороженные тихеевские клячи уши настораживают, головы задирают, пытаешь высмотреть голосистого незнакомца.

Забывал Панкратий умываться, не всегда соскабливал с ладоней и пальцев следы вара и дегтя. Зато часто чистил и холил жеребчика, расчесывал длинную, шелковистую гриву.

Наведаясь в Тихеевку вездесущий уполномоченный. Меховой Угодник остановился у свояка — мастера краснодеревщика. Сваячок был мужичок ушастый, глазастый. Знатный подхалим и доносчик. Районное начальство, комендатурных служаков постоянно держал в курсе всех тихеевских дел. Валил тихомолком могучие кедры, в бору раскряжевывал их со своим братаном. Там же, в кедровнике, распиливали ценную древесину на доски маховой пилой. Сушили заготовки дома, делали красивые комоды, буфеты, кровати, стеллажи. Мастерили игрушки для деток руководящих особ. Краснодеревщика прозвали в деревне Политурой. Сияла мебель лаком. Процветала в Тихеевке частная лавочка с поощрения и попустительства малых властей.

Политура скоренько уведомил Мехового Угодника: «Возвращенся неугомонный цыган. Работать на артель не хочет. Где-то сконокрадил отличного жеребца...»

Уполномоченный подкатил к избе инвалида в расписной кошевке. Сытая, справная лошадь била копытом утрамбованный снег. Приезжий не спешил вылезать из теплой собачьей дохи. Запашистое сено в просторной разъездной кошевочке похрустывало под грузным телом. Желание посмотреть вороного коня пересилило лень. Сбросил с плеч доху, вошел в калитку. Увидев стоящего под попоной доброго жеребца — присвистнул от зависти. На крыльце появился хозяин с плеткой в руке.

— Здорово, солдат!

— Привет, начальник!

— Конек — заглядение. Говори честно — краденый?

Усмехнулся язвительно инвалид, вытянул хромотую ногу.

— Кладеный конь, давно кладеный...

— Хмм... Почему в кузницу не выходишь? Пилы надо паять. Подковы кончились. Полозья у саней стираются.

— Полный инвалид. Кавалер всех ран. Потому дома сижу.

— Запрудин тоже инвалид. Стахановец. По две нормы валит. Дед Аггей и тот у смерти отгул попросил. Напарничает с твоей дочерью, оборону крепит. Вот что: коня твоего именем тыла поставим на вывозку древесины.

У бывшего артельного кузнеца часто задвигались тугие желваки. Допросы, тюрьма, унижительное положение штрафбатовца не разрушили неуступчивость характера, не потушили горячность и дерзкость. Они всколыхнулись крутой волной. Припомнились издевательства на допросах. Тушили окурки о нос «врага народа». Поливали канцелярским клеем черные, кучерявые волосы. Напяливали на голову заплыванную урну с окурками. Подсовывали спящему под бок колючую проволоку. Обливали ледяной водой из пожарного брандспойта и примораживали к нарам. Но это были цветочки по сравнению с ягодками. Обернутый в войлок чугунный пестик от ступки, гирьки в пиме выколачивали признания из слабосильных, трусливых, но не из Панкратия.

Перед ним маячила сытая рожа тыловой крысы. Кто для него цыган Панкратий — бывший кулак, ослушник, тюремщик, штрафбатовец. Разве раны сердца, души, всего тела тронут Мехового Угодника? Хочет израненного человека поставить у наковальни, отобрать коня. Не выйдет.

— ...Завтра отдашь жеребца в распоряжение бригадира Запрудина. Понял?

— Нет, не понял чем дед бабку донял...

Говорили с глазу на глаз у крыльца избы. Гнев хлестанул наружу.

— Коня захотел, сука?! Я все фронтное сбережение на него потратил. Уу-у, мурло поганое! Набил в кабинете мозоль на сраку! Ступай на войну — понюхай порошу, потом со мной говорить будешь. Тебе свояк Политура мебель из ворованного кедра делает. Напишу в область — прижмут хвосты. Канай отсюда и дух вонючий уноси!

Плетка в руке взвинченного фронтвика извивалась змеей. Из-за голенища фетрового валенка торчала костяная рукоять ножа. Близость плетки и ножа, нервное состояние хозяина погасили пыл Мехового Угодника.

Вышла из дома Валерия, остановилась на крыльце. Сияли черным лаком подаренные сапожки. Картинно подбоченясь, покачивая бедрами и плечами, стала наступать на нежданного гостя.

— Э-э-эй, бррриллиантовый! Шуруй отсюда! Видали мы таких тыловых пузанов!

— Наверно, забыло цыганское отродье, кто я и кто вы?!

Фронтвик едко усмехнулся, намеренно громко отсморгался под ноги уполномоченного.

— Мы — народ. Ты — не знаем кто. Указчиков развелось — волос в конском хвосте меньше.

— Ну, ладно! — пробурчал районщик и громыхнул калиткой.

Панкратий с дочерью подошли к жеребцу, жующему сено. Воронко поднял голову, преданными глазами уставился на хозяина.

— Вот, конек мой, какие дела: не дают мужику разжиться на земле. Нажитое добро в любой момент цапсарапать могут. Появится на столе крестьянина мясо и масло, орут: шибко зажиточный. Зажрался, подходишь под статью кулака. Кому-то очень хочется, чтобы русский мужик вечно тюрю хлебал, редьку кваском запивал, да трусливо современным барам в рот заглядывал... Сведу тебя, Воронко, в скит. Похарчись до весны у старца Елиферия. Овса и сена у староверов много.

— И там найдут.

— Нам, дочка, без коня нельзя. Работник я теперь плевый. В тюрме, на допросах нутро отбили. Шрамами опутан.

— Давай сбежим отсюда. В любой табор примут.

— Без паспортов везде изловят. При царях у цыганов медведей ручных отбирали. При Сталине землю и лошадей забрали. Искали волюшку, получили дулю. Ничего. Не зря цыганов судьба под ночь красит. Выкрутимся.

Полдня оттаивал горестный Остах могильную мерзлоту. Обрядно, свято препоручили земле и осподу сухонькое, почти детское тело, чистую душу старца Елиферия.

Котомка с пушницей теплила шагающему на лыжах Куцейкину узкую спину. Почти неделю пробыл он в ските: отдохнул, намолился, наплакался по умерцу Елиферию — мудрому, кроткому владыке нарымского скита. Простится Куцейкину долгая отлучка. Вытряхнет в бараке на стол из плотной котомки соболей, лисиц, белок — изрядно удивит председателя и счетовода. Скатит небрежно с ладони семь крупных золотых монет — повергнет колхозную верхушку в новое удивление, неожиданное замешательство. Не хотел Остах вскрывать давний тайник — не удержался. На войне братьевья Орефий и Онуфрий. Меха, золото — подсоба крепкая. Пусть не болтают: божьи скитские людишки не крепят оборону.

Монеты оттягивали карман нательной рубахи — холодили грудь. Не раз чей-то странный, невнятный глас внушал скитнику: «...Забрось в болотную топь золотое зло. Деньги — привада для убивцев...» Назойливое наущение смущало душу. Подходил к трясине, зажав в кулаке красивые кружочки... не решался расстаться.

Давно это было: изловленных в тайге колчаковских офицеров проводили мимо скита. Остах случайно подсмотрел из-за куста калины: черноусый, франтоватый молодчик, сев переобуться возле пня, что-то тайком сунул под корни, прикрыл мохом. Белых офицеров увели по тропе к речке, посадили в лодки. Прошло четыре дня. Любопытство толкало мальчика к пню. Сбросил мох, запустил под корни руку. Нашупал сверточек. Ни братьевьям, никому из скитников до сей поры не открывал глухой тайны о перепрятанных монетах.

Обратно по своей лыжне шагалось легче. Залепленные снегом стволы, пушистые напластования на ветках, пнях рождали заманчивые видения зимы. Захотелось взбодриться чайком. Наломал сушняка, запалил костер. Сбив валенком с пня белый чурбан, сел на срез, достал из-за пазухи сверток. Пока в котелке ужимался, шипел набитый снег, Остах с ребячьей радостью принялся пересыпать монеты с ладони на ладонь. В тишине тайги заплескался мелодичный звон. Близко наклонив ухо к золотому каскадику, путник наслаждался веселым, убаюкивающим переливом звуков. От стволов, котелка, веток, лыжни понеслось по урману звонкое, раскатистое эхо, привлекающее зверюшек и птиц.

Врожденным чутьем промысловика уловил Куцейкин близость человека. Спину, лопатки ошпарило жаром внезапного испуга. Инстинкт подсказал: из-за густой, длиннопалчатой ели нацелены не два — три глаза. Над страшным третьим торчит всего лишь одна черная ресничка — ружейная мушка. Скитник не раз слышал в бараке разговоры лесоповальщиков о беглых с войны солдатах, не придавая этому значения. Урманов, болот, буревальников в Понарымье полно. Хватает места для медведей-шатунов и для шатунов-людей. Косолапых беспокоят промысловики, лесоповальщики. Трусливых бойцов страшит война. Ленивых гнетет трудовая повинность. Рыскают по урманам голодные, оборванные дезертиры с фронта и тыла. Не брезгают заплесневелыми сухарями в заброшенных охотничьих избушках. Едят мясо убитых лаек, далеко убежавших от хозяина-добытчика, увлеченных погоней соболя или лося. Наведывались беглые и в скит. Под дулами винтовок, обрезаов нагребли крупы, убили две овечки, прихватили ведерный туес меда.

Ружье лежало на котомке с пушницей. Невозможно дотянуться до него. Надо встать, сделать шага три. Лихорадочно соображал Остах — что предпринять. Прогудел в голове далекий, правдивый глас: «...Забрось в болотную топь золотое зло. Деньги — привада для убивцев...» Прижал монеты в потной ладони, зашептал огню: «Осподи, не дай свершиться беде... влей в человека разум...»

Громыхнул короткий зимний гром. Остах успел разжать тяжелый кулак, ненавистно полыхнул меркнувшим взглядом по золотой приваде и свалился с пня.

Война отодвинулась по времени и по пространству: решительный разгром фашистских полчищ под Москвой вернул Родине не пяди — километры истерзанной, окопной, ощеренной воронками и траншеями земли. Разбросанные взрывами бревна, доски блиндажей, наблюдательных пунктов, мотки колючей проволоки на кольях. Раздавленные патронные ящики, гильзы снарядов. Искореженные артиллерийские орудия, пароконные повозки. Распластанные гусеницы танков, остовы сгоревших машин... Все недвижимое имущество недавнего поля боя являло убийственную кладбищенскую картину великого земного разорения. Поникли орудийные стволы: на них, еще теплых, грелись раскормленные кониной и человечинной осоловелые вороны. Почти не оставалось снега, имеющего родной цвет. Он был черным, красным, пепельным, бурым.

Пехотинцам запретили что-либо трогать в отбитых немецких окопах и землянках. Наши бойцы не раз попадались впросак: подрывались на минах-ловушках, погибали от отравленных консервов, колбасы, шнапса.

Данила Воронцов — сибирец из-под Томска — успел приглядеться к смерти. Его давно не сташнивало на шинели и сапоги впереди бегущих одноротников. После боев не испытывал отвращения к пище. Наоборот, подступающий, сосущий голод заставлял зыркасто высматривать в отдалении полевую кухню. Сладко мечталось о порции разваренной солдатской пшенки.

После боев под Москвой Григория Заугарова поставили командовать взводом. Его бойцы показывали столице только спины. Даже старовец Орефий Куцейкин уложил на покой шесть фрицев и метким выстрелом снял спрятанного на дубе снайпера. Предпринятые психические атаки не дали врагу перевеса над отчаянными сибирскими подразделениями. За солдатами светлой надеждой на победу лежала неповерженная Москва. Близко был локоть. Клятва фюрера укусить его осталась пустым звуком, позорным обещанием.

Орефий не стремился понять, уяснить быстро сменяемые события фронтовых будней. Оставался таким же малоразговорчивым, нелюдимым, погруженным в глубину молитв и старой веры. Бойцы перестали подтрунивать над ним. Взводный командир считал долгом делать иногда свои нравоучения:

— Ты, браток, хоть на кого уповай, да в бою не трусь. Что не в силах сделать бог, то переходит в веденье человека. Вот и выходит: весь груз войны на наших плечах держится.

— Меня осподь хранит...

Борода, снятая военкоматовской машинкой, свалилась в шелковом кисете, утратила былую пышность. Реже доставал ее старовец, расчесывал костяным гребнем.

Данила перестал сторониться угрюмого скитника. В боях держался поближе к нему: верзила в штыковой атаке расшвыривал фрицев, как снопы из суслона. Оба не притрагивались к фронтовой порционной водке. Одному не позволяла вера. Другому строгий наказ врачей: хочешь жить — отрицай рюмку. Жить Воронцову хотелось. Сядет в землянке на шинельную скатку, тупо уставится на земляной срез. Подойдет взводный, хлопнет по плечу.

— Чего, землячок, нос повесил?

— Родная сторона на ум пала.

— У кого ее нет — родной сторонки?!

— Моя — особая. Сосны — свечи, вода в колодце — медовая. Земли гулящей — бросовой нет. Затоплю, бывало, баньку у огорода — дымок с запахом картофельной ботвы мешается. Известно: баня без пара, что щи без мяса. Парюсь березовым веником — полок и тот кряхтит подо мной. Мой батя верно сказывал: когда паришься, в тот день не старишься.

Многие в землянке зачесали животы, спины.

— Данила, не дразни хлопцев, — шепнул взводный.

— Командир, скажи: скоро мы по немской стороне пошагаем?

— На пути Сталинград. За свой город вождь постоит. Ожидается крепкая буча. Московской не уступит.

Задлится, землячок, война.

— На годик-другой?

— Не знаю. Истинный крест — не знаю.

— Если бы нас германцы врасполох не застали да патронов отпускали не поштучным счетом — давно можно было до Берлина дойти... Командир, испробую разок водочный пай? Душу встряхнуть хочется.

— Не нарушай зарок. Медики ведь сказали: рюмка — погибель.

— Пуля — погибель. Чарка — погибель. Разве это жизнь? Почему я к водочке приважен? Говорил тебе: деревня наша вдоль тракта растянулась. Место ладное: лес, поля, сенокосы. Томск недалече. Раньше за право осесть в нашей деревне надо было новопоселенцам по два ведра водки миру выставить. Питьво делили подворно

на взрослые рты. Миром усопших хоронили. Миром избы рубили. После помочей известное дело — застолье... Похороны. Девятины. Сороковины. Помолвки. Свадьбы. Отсевки. Отжинки... Праздники, беды сообща отводили. Обожжешь рот одной рюмахой — вторая, седьмая сами катятся. При колхозе брагу в бочках ставили. Перепадала и водочка. Любил я на выспор бутылки выколачивать. Однажды подзуживаю мужичков: поспоримте, что рассмешу колхозный сход двумя-тремя словами. Засомневались. Ударили по рукам. Выждал я, когда сходка к концу подошла. Торопливым шагом зашел в клуб и в президиум громко рубанул: «Извините за опоздание». Человек сто разом во смех вогнал. Выспорил бутылку. Золотое времечко. Сейчас что за жизнь — к ней жмешься, она корчится.

Заугаров положил на плечо бойца тяжелую руку.

— Не стони, земляк. Родину из беды вызволяем. Разве может быть выше жизнь и честь? Добудем победу — вволю попируем.

— Будет рожь — будет и мера, — поддакнул Воронцов, растирая в пальцах и нюхая кусочек поволжской земли.

На западе погромы хивали разрывы. Слыша орудийные громы, Данила спервоначала задира голову, высматривая на небе грозовые тучи. Страшной тучей была война: из нее выпадали дожди пуль, осколков. С воем летели бомбы и насыпались снаряды.

Над дымной степью высоко отпрянуло мутное сентябрьское небо: нарочно удалилось от земли, не желая созерцать ее непрекращающихся мук. Вторая осень войны навела бойцов на невеселые раздумья о близких холодах... Опять распутица. Бездорожье... Заминированные поля. Обстрел позиций. Бомбежки. Штыковые атаки.

Орефия преследовала мысль — каким образом уцелеть в этой мерзкой вакханалии, в дикой пляске жизни со смертью. Ему не нужен красный нарукавный крест санитаров. Не нужен деревянный крест над его могилой вдали от скита, от Пельсы, кедрово-соснового бора. Убьют — поставят простой крест — не восьмиконечный, старообрядческий. Да поставят ли вообще?

В землянке душно. Длинный кадыкастый боец сидит на патронном ящике, делится с товарищами тонкостями своей профессии. В рыбацкой артели Обского понизовья он мастерил лодки, неводники, обласки.

—... На коры пускаю корневища хвойных деревьев. В верхние борта лодки врезаю для скрепа и упора беть. Еловые доски быстро трескаются, гнуть их хуже. Пихта воду сильно берет. Сосновые тяжелые. Всех лучше красноватый кедр: гнется отлично... У сосны корень, как у редьки, — вниз. У кедра и ели — поверху... А гвоздей кованых идет на лодку штук четыреста...

— С гвоздями дурак делает, — перебивает рассказ крупноносый солдат с вологодчины. — Ты умудришь церкву без единой скобы и единого гвоздя взнебить. Про Кижы слыхивал?

— Нет.

— То-то. За погляд полжизни отдашь — не крякнешь...

—...Одни к одному богу преклонились, другие к другому, — произносит возле Орефия рыжеусый хлопец, желая разговорить молчальника. — На земле всех вер семьдесят пять.

Молчит Куцейкин. Ни коры лодок, ни купола церквей в Кижях, ни другие веры нисколько не трогают. Его стародавняя вера самая главная на земле. Не пушала идти в колхоз — не шел. Накладывала запрет на получение от разных властей, контор денег, еды, одежды — ничего не брал. На себя, на скитскую коммуны надеялся. Орефий знает свою веру. Наплевать ему на семьдесят пять других.

Возле мастера-лодочника, ангельски сложив на груди дюжие руки, сидит жидковолосый пехотинец. Скорбным голосом рассказывает об отце:

— Желудком сильно мучился. Нутро пищу отвергало. В шахте без еды быстро загнешься. Потрясет тебя отбойный молоток в забое — на земле кровь в теле продолжает плескаться. По себе знаю. Оставили отца в трудармии. Наелся картошки, нажаренной на машинном масле, и умер...

—...Наша алтайская земля гораздо хлебнее, — доносится из другого угла. — Зазолотится в степи пшеничка — без умильных слез невозможно смотреть на нее...

—...На Оби аршинные стерляди ловятся. Взвалишь такую на разделочный стол — замрешь. Страшно к брюху с ножом подступиться...

—...Срубил избу — жди артель тараканью. Братцы-тараканцы друженько живут. Правит ими главный верховод. Поймай его, протащи на ниточке к другой избе — все по следу выметутся...

—...На смолочуренном заводе робил. Поехал в колхоз коровенку сторговать. Справная попалась, брюхо до земли. Хозяин мне: «Покупай, покупай — стельная». Купил. Жду-пожду. Коровенка продолжает молоко давать. К маю жениха запросила. Старая оказалась буренушка, распертая.

— К преклонности и тебя разопрет...

Мирные, житейские разговоры бойцов нравились взводному командиру. У каждого был далекий от войны уголок. Услужливая память налаживала туда мостки. Вызывала в землянке видения бревенчатых изб, конопляников, речек, колодцев, полей, тропок, городских улиц, лотошниц, торгующих мороженым. Память

оживляла лица родни, закадычных дружков, девчонок и женщин, с кем удалось познать прелесть уединения и с кем внезапно оборвались намечаемые связи. Война оборвала все ниточки мирских надежд и неосуществленных встреч. Сват-автомат да сваха-винтовка всецело завладели временем, душой разноземельных солдат.

Жила во взводе голосистая гармошка. Кто-то нарисовал спереди на мехах уморительную рожицу — ушастую, круглую, большеротую. Растягивались меха — надувались щеки, расползался до ушей малиновый рот. Гармошка знала хозяина — коренастого, сбитого токаря из Тобольска. Пользовались выносливой тульской вещью все, кто умел играть, просто пиликать. Горланили под удальскую музыку частушки, не выбрасывая из четырехстрочных обойм запыженные матом словечки. Импровизированный концерт в землянке мог начаться в любой момент. Лопался и сшивался ремень на гармошке. Западали и сами по себе выныривали блестящие кнопки. Появлялась одышка и хрипота в сырую погоду. Проходила в ведренную. Ничему не удивлялись одновзводники, по-родственному обращаясь с верной фронтовой подругой.

Запевала-томич до войны был мастером производственного обучения в фабрично-заводском училище. Глаза имел с веселинкой, светлые, словно успел незаметно переселить с гармошки парочку перламутровых кнопок и умастить рядом с пышными темными бровями, крепко сидящими под высоким, гладким лбом.

Согнав под ремень гимнастерочные складки, запевала начинал усмешным голосом:

— Сейчас будет исполнена известная песня: русская, народная, блатная, хороводная — не одна я в поле кувыркалась, не одной мне ветер в энно место дул...

Исполнялась русская-народная. Выброси из нее корневищные смолевые слова — останется пустая оболочка.

Гармонист из Тобольска знал много частушек. Запоет — белозубый рот на мехах торопится поддержать парня:

Гармонь-гармошечка, реви,
Ревь до самой до зари.
С милкой буду расставаться —
Никому не говори.

Голова набок, волосинки пышного чуба прилипли к потному лбу.

Не ходите, девки, в лес
Комары кусаются.
Не любите мужиков —
Бабы заругаются.

Подпевают басы на все голоса.

Мой миленочек убогий.
Мой миленочек косой.
Все идут прямой дорогой,
А он чешет полосой.

Кущейкин не вникал и в песенно-частушечный мир. Далече его корневые, тайные думы. Видится скит, упрятанный в глухом нарымском урмане. Представляется прохладная молельня. Глядят на него всеведущие лики святых. Беззвучно ходит по широким, гладким плахам пола почитаемый старец Елиферий. На нем меховые тапочки, мягко скользящие войлочными подошвами по нескрипучим половицам. Благодать, одна долгая благодать разлита в непоручном ските... Замахивались на старую веру, пытались истребить многовековую память, отлучить от спасителя и книг. Не вышло.

Орефий считал идущую войну порождением и наказанием осподним. Грешничество. Вероотступничество. Поругание всеземной правды. Черная корысть. Черная зависть. Властолюбство. Бесцерковность. Безверие. Разьедаемый распрями дух народов. Где тут быть миру, безоружной жизни на земле?! Много осподней паствы живет в бедности да в чести. Над паствой воцарились словоблудцы. Руки их в покое — ни хлеб, ни семя льняное не добывают они. Опутали народ паутиной указов, приказов. У пахаря одна приказчица — весна. Плуги, бороны указы сами сделают. И так и этак вертят мужиком-лапотником. По скитской вере — сам трудись, сам кормись. Указчиков, советчиков, попов-объедал не надо. Старообрядчество поддерживает многовековую линию труда, самовывживания. Преследуют власти староверщину. Чем же их мирщина лучше? Корыстолюбцы. Воры. Растратчики казны. Виношники-табашники. Прелюбодеи. Не дано им услышать слово божье — забиты уши мякиной трескучих фраз.

К чему лабиринт из семидесяти пяти вер? Есть заветное осподнее — кормись трудом рук своих. Напрасно перекраивают старую заповедь на новый лад.

Разделен Орефий с братьями. На каком фронте Онуфрий? Жив ли? Остаток лесом спасен будет. За всех молится по ночам староверец. Пусть заглушаются молитвы храпом, вскриками, стоном: осподь услышит его, сделает должное вспоможение...

Наяривает гармошка. Растянутые мехи корчат уморительную рожу — рот нараспашку. Насупленный большерукий боец с прииртышского колхоза пришивает к гимнастерке пуговицу. Громко рассказывает товарищам:

- Моего отца в тридцать седьмом годе за частушку в тобольской тюрьме держали.
- Не может быть?
- Э-э-э, приятель... не на всякой кобыле судьбу объедешь.
- Что за частушка была?
- Безобидная, вождей не трогающая:

Мы и мясо и картошку
Посылаем городу.
А он, черт, кричит в окошко:
— Подыхаю с голоду.

Ничего особенного, но подвох нашли. Если думу раскинуть — в городах всякой лодырной шантрапы действительно хватает. Многие привыкли тащить в рот по три куска.

— Верно. Кто мозоли на руках набивал, того и под пули поставили. Что за война? Во всем недостаток — в патронах, гранатах, танках. Фрицы на все гвозди подкованы.

— Заначка, поди, и у нас есть. Погоди, заговорят «катюши» — немцам не сдобровать.

По приволжским степям гуляли напористые суховеи. Над выжженными травами носились продымленные ветры. В горьковатом воздухе кружились опущенные семена растений, серебристые ковылинки, пожухлая листва. По неприютным равнинам путаными путями катились сиротливые клубки перекасти-поля. Ослабевали порывы — колючие шары спотыкались; ветер нарочно останавливал их для короткой передышки и выбора новых маршрутов.

В степной дали, там, где в огне и руинах продолжал испытывать горькую судьбу Сталинград, горизонт был заткан дымом. По ночам вскидывалось широкое накальное зарево. Орефий ходил по территории расположения пехотной части, не замечая ни часовых, ни поваров у походной кухни, ни проходящих мимо одноротников. Он чувствовал себя таким же неприкаянным перекасти-полем, какие во множестве перегоняло по степи сухими ветрами. Оторвали от тайги, скита, перекастили в воинском эшелоне через всю страну. Скоро покатыт дальше по большакам и проселкам войны. До этого дня осподь хранил его, попечительствовал над ним. Пули в боях не меняли мотив — насвистывали рядом тягучую, заунывную песню. Лишь одна прошла пилотку над звездочкой. Накрутила клочок волос и полетела над цепью пехотинцев угасать, терять остатнюю силу. Взлети пуля не наискосок — параллельно ревущей земле, не приминал бы теперь Орефий сапогами степную хрусткую траву.

Несколько раз просовывал Куцейкин в дырочку на пилотке кончик мизинца. Как игрушечный китайский болванчик покачивал раздумчивой головой. Вытверживал благодарственные молитвы спасителю: его воля и власть простирались дальше и выше людского разумения. Поступки, думы вседержителя были достойны восхваления и почитания. На каждодневную исповедь к нему выходил Орефий под мутные звезды. Стоял, ждал особого гласа. Ноющая, вопиющая душа приневоленного солдата ожидала спасительного внушения: беги из ада войны, сокройся во лесах. Замаливай грехи за сотворенные убийства.

Оборот ли Георгий-победоносец фашистского змия? Или наползет страшилище на русскую рать, полыхнет огнем из многих разверстых пастьей?

Взводный командир предупредил земляка Данилу: следи за староверцем. Слишком долгими стали отлучки из землянки. Чего бродит в темноте, стоит истуканом возле распряженных лошадей. Из взвода, роты пока никто не сбежал, не покрыл соединение несмываемым позором. Сидит Данила у землянки, ковыряет сапогом землю.

- Э-э-эй, Орефьюшка?
- Чего тебе?
- Подь сюда. Историю расскажу.
- Знаю твои истории. Дай степью подышать.

Ночи стояли без тишины и покоя. Пользуясь темнотой, передвигалось, меняло позиции приволжское воинство. Просекали дерн гусеницы танков. Выплывали туши самоходных орудий. Тягач тащил к близлежащему

полевому аэродрому поврежденный штурмовик ИЛ-2. Нестройной колонной топали саперы, негромко переговариваясь меж собой. Данила уловил язвительный вопрос:

- Серго, не обзавелся еще походной женой?
- Успели расхватать.
- Плохо дело...

Кто-то спал на ходу, всхрапывая под шарканье тяжелых сапог. Надвигалась новая ночь войны. Никто из людей не замечал апатичных звезд, природы к происходящему вокруг. Земля, небо давно открестились ото всего, творимого людьми, огнем и металлом. Приволжские степи устали от стога и содрогания, желанно погружаясь в забытие душных ночей.

Услышав разговор о походной жене, Данила облизнулся, до хруста костей уперся руками в напряженные колени. Усмехнулся, почесал за ухом.

— Ишь чего захотели — санитарочек. Воткните... по патрону в ствол и скажите — спасибо... Орефьюшка-а-а? Иди, посидим вместе.

— Смола ты, обозник.

— Браток, ты людей не сторонись. Камыш и тот голову друг к другу клонит. Солдаты на войне — пальцы в кулаке. В спайке быть должны.

Мутная, отчужденная луна делилась со степью скупым, рассеивающим светом. Данила сделал несколько шагов от землянки. Внезапно остановился, услышав под ногами пронзительный мышинный писк. Отдернул сапог, наклонился и разглядел раздавленную полевку.

— Дура! Сама виновата. Не бегай, где не надо. Хотя что я говорю? Степь — вся твоя.

Возле Орефия ползали по траве пушистые комочки. Задевали сапоги. Становились столбиком.

Попискивали, неслись вприпрыжку к другим землянкам. Охотник Куцейкин вспомнил таежные тропы, ловушки, мышкующих лисиц.

Полевок прибавлялось. Мыши держались одного направления: бежали с запада на восток.

— Данила, мыши бегут.

— Вижу. От войны откочевывают.

Кто-то истошно завизжал в землянке, выскочил под звезды.

— Гадина! За палец укусила! — пожаловался Воронцову боец. — Наклонился пешку поднять, шарю рукой по полу, ну и нашарил крысу.

— Мышка-полевка.

— Мы-ы-ышка?! Зубы-шилья.

— Выдави кровь, прижги мочой.

— Не учи.

Такое нашествие, великое переселение полевок никому не приходилось видеть. Они бежали ночью и днем. Останавливались в землянках, окопах, капонирах, блиндажах. Шныряли в поисках съестных припасов. Оккупировали продовольственные склады, полевые кухни, повозки с фуражом. Бойцам приходилось вытряхивать полевок из сапогов, рукавов шинелей, котелков и касок. У Данилы мыши обкусали деревянную ложку, пропитанную запахом каши и капустных щей. Оголодалые грызуны кусали у спящих уши, икры ног, кончики пальцев. Участились случаи заболевания туляремией.

Для быстроты передвижения полевки пользовались даровыми услугами ветра и перекасти-поля. Они набивались в кочующий шар во множестве. Подгонит ветер перекастный домик к повозке или колесу пушки, стукнет о твердь — мохнатые путешественницы врассыпную.

Гонцы от пехотных, танковых, саперных, артиллерийских частей носились по деревням и хуторам в спешных поисках кошек.

Орефий мастерил мышеловки, земляные углубления — ловушки. Охота на полевок доставляла ему истинное удовольствие. Недосыпал, настораживал по ночам щелкающие устройства. Успеет вытащить убитую мышь, поднять пружину в боевое положение, вскоре раздастся новый резкий хлопок: западня придавила еще одну жертву.

Вездесущие лапчатые вампирчики умудрялись залазить в самолеты. Лакомясь казеиновым клеем, перегрызали проводку. У летчиков и стрелков в воздушных боях отказывали отдельные приборы, не срабатывали пулеметы.

Воронцов и Куцейкин получили необычное задание: где угодно раздобыть для землянок полдюжины кошек. Студебеккер с проломанным бортом попылился по степи в тыловую сторону.

Несколько раз машину останавливали для проверки. Воронцов совал патрулям и регулировщикам отпускную бумагу. Паролем произносил затверженные слова:

— Едем по кошек. Полевки зажрали.

- Зря горячку жгете. Танкисты и летчики опередили вас.
- Неужто ни одну мурлыку не същем?
- Попробуйте счастье.

Колеса студебеккера накручивали желанные километры в сторону от войны. Орефий готов был катиться на машине без сна и еды до самой Сибири. Во все стороны света лежала пустая, непонятная степь с далекими пятнами перелесков, кустов и черных заброшенных хат. Попадались поломанные загоны для скота, прелые остожья, облыселевые шины, брошенные у дорог. Промчится в стороне одинокий танк, отмаячат в небе редкие самолеты, мелькнут мутным силуэтом стволы орудий — и снова кругом травяная пустошь, утопающая в слоистой, омертвелой дымке.

С громом подкатили к небольшому хутору. Остановились у проломанного плетня. Данила заглянул в дыру, увидал сидящую на крыльчке оборванную женщину, баюкающую прутяную корзину.

— Ма-а-ать, кошки есть?

— Приносила вам похоронки... больше их нет... — визгливым голосом завопила напуганная раскосмаченная хуторянка.

Из-за старой яблони высунул голову настороженный мальчонок. Пригрозив кулаком, крикнул воинственно:

- Дядьки, не троньте Дуську!
- Подойди к нам. — Данила держал перед собой галетину.
- Улепетывайте отседова! Фрицы переодетые!
- Свои мы. Свои.
- Побожись.
- Честное пионерское.

Мальчик показал из-за яблони плечо.

— Чкалова знаешь? Кто он?

— Знаменитый летчик.

Постреленок раздвинул ветки, по пояс высунулся наружу.

- Город Омск где стоит?
- В Сибири.
- Ока куда впадает?

Воронцов захлопал глазами: тужился преодолеть слабые познания по географии. Пришел на подмогу водитель студебеккера:

— В Волгу, в великую русскую реку Волгу Ока впадает. Доволен, перехватчик шпионов?

От яблони герой сделал два шага в сторону, остановился в нерешительности. Босоногий, в солдатской гимнастерке, свисающей с плеч, в порванных на коленях штанишках экзаменатор смотрел исподлобья на незнакомых дядек и чесал под мышкой.

— Последний вопрос: Петр I кого у Кремля казнил?

Тут и Куцейкин не подкачал:

— Стрельцы жизни лишились, которые супротив царя бунтарили. Правильно делали: Петр немчуру привечал, бороды стриг... На лобном месте и распотешились палачи над стрельцами.

— Теперь видно — свои, — облегченно вымолвил мальчуган и смело подошел к бойцам.

— Ты ушлый, грамотный! — похвалил Данила.

— По географии, истории из пятерок не вылезил, — пояснил польщенный хлопец.

Щека у него была расцарапана, руки и ноги оплетены трещинками давношних цыпок.

— Где лицо окровавил?

— Последнюю одичалую кошку в хуторе ловлю — не могу поймать. Она на дерево, я за ней. Сорвался. Тут танкисты недавно были. Мне шлем давали поносить — тяжееелый! Двух котов им отдал. У одного уши обморожены и брюхо в репьях.

— Где кошка-дикарка?

— Везде. То по Дуськиному двору носится. То из нашего слухового окна глядит.

— Скажи нам имя свое, ушлячок?

— Иванка я. Кем же еще мне быть?

— Поймай нам, Иванка, кошку — кусок сахара получишь и горсть галет. — Данила для пробы протянул сухой желтоватый квадратик.

Неторопливо, с достоинством принял юный хуторянин галетину из руки, сощурил глаза, обмозговывая предложение.

— Ну, поймаешь или нет?

— Кусок сахара большой? Покажите.

Воронцов развязал вещмешок, извлек из тряпицы сладкое богатство войны. Кусок рафинада был с детский кулачок.

Вялым языком мальчонок облизал засохшие губы, деловито произнес:

— Согласный.

Тетка Дуся продолжала громко баюкать старую корзину.

— Малыша укачивает что ли? — спросил водитель.

Иванка сморщил нос, махнул рукой.

— Да-а не-е-ет. В корзинке самоварная труба. Дуся на три деревни письма носила. Похоронка за похоронкой шли... вот и рехнулась. Фрицы ее малютку под танк бросили. Сидит часами, баюкает трубу. Вопить примется. Волосы на себе рвет. Хожу ее проведать, помогаю. Сейчас за водой сбегаю.

— Поймаешь дикарку — никому не отдавай. Ладно?

— Честное пионерское — никому... Дядя, дай лизнуть сахар.

Воронцов извлек из кармана складной нож, отсек от рафинада кусочек. Пока расчленил сахар, Иванка стоял перед ним с поднятым подолом гимнастерки, улавливал крошки.

— Вот тебе сладкий задаточек. Нравишься ты нам — практичный мужик!

Мужик слюнил палец и приклеивал сахаринки, рассыпанные по грязной бледно-зеленой материи.

Староверцу хотелось остаться в хуторе, поохотиться на одичалую кошку, а главное — побыть одному.

— Данилушка, поезжай с богом дальше. Я с отроком побуду. На возвратном пути заедете. Кошка нашей будет.

— Ой ли?

— Право, Данилушка, изловим.

Вспомнил сибирец наказ взводного командира: гляди в оба за богомольцем... Да, черт с ним. Куда убежит?

— Оставайся. Попозже чаек вскипяти. Прошу тебя: разживись редькой. И кваском, если сможешь.

Студебеккер упылил по большаку.

Иванка с прищуром глядел на солдата, извлекающего из вещевого мешка пузатую книжку и кусок колбасы.

— Возьми, отрок, на такую приманку любую кошку поймаешь. Сейчас ступай.

Орефий блаженно развалился у плетня, погрузился в чтение молитвенника.

— Слава тебе, осподи. Выпало уединение, короткая свобода. Ни мышей, ни землянки, ни табачного дыма, ни совиных глаз взводного надзирателя.

Вернулся Иванка к плетню — солдата не оказалось на месте. На примятой траве валялась матерчатая закладка от молитвенника. Мальчонок пролез в пролом плетня, подбежал к тете Дусе.

— Солдата не видала?

— Нету, нету похоронок... все раздала... отстаньте, — пробубнила сумасшедшая письмоносица, продолжая убаюкивать погнутую самоварную трубу.

9

Нарымская наседливая зима привыкла испытывать долготерпение твердокаменной земли. Светлели деньки: солнце торопилось помочь блуждающей где-то весне отыскать верный свороток к васюганским урманам и замороженным топям.

Изрядно проредили артельные лесоповальщики Сухую Гриву. Не с овчинку кажутся теперь небеса над головой — распахнуты синей ширью, предвещающей близкое окончание трудармейской зимней маеты, короткую передышку перед колготливым сплавом. Все будут начеку: люди, лесовозные баржи, лодки, багры. Вослед за тихим ледогоном сплавщики торопливо спихнут в воду богатство урманов. Растянутые бревна-боны — сторожевые псы затопленных берегов — денно и ночью станут стеречь правильный ход деловой древесины. Не выпустят из общего протяженного гурта.

Статные сосны продолжают шумно взмахивать хвойными крыльями, доказывая недолгим парением бесстрашие и нетерпение. Они торопятся попасть на сани, выехать по волокам на дорогу-ледянку. Вадыльга заждалась неторопкой весны, веселых ледоходных деньков и плотоспуска.

Единственная ладонь бригадира Запрудина лоснится от лучковой пилы. Давно перестали бугриться под скрюченными пальцами свежие мозоли, взмыленная работа утопила их. Растеклись по всей ладони упругими, затверделыми шишками, не причиняя руке боли и помех. Пилит Яков в долгий нагиб спины — колеблется маятником культа в рукаве хлопчатобумажного пиджака, дразнит неповергнутый ствол. Угрюм стахановец: трудармейцев отрывают на поиски банды, слитой из дезертиров. Убийство Остаха, идущего из скита с пушиной

для колхоза, поджог трех стогов сена за Вадыльгой заставили шевелиться районную милицию. Рыскали по тайге. Проверяли охотничьи избушки, заимки. Осмотрели скит. На следы бандитов не удалось наткнуться.

Меховой Угодник надоумил службистов сделать обыск у Панкратия. Обшарили кладовку, погреб, сеновал. Запускали руки в сапоги и фетровые валенки. Опрокинули бочку с приготовленной для огорода золой. Пушнину не обнаружили.

— Жеребца куда спрятал? — выпытывал старший из сыскной группы.

— На ледянке бревна таскает.

— Кто подтвердит?

— Сам Воронко: ржание за версту слышать.

Два дня назад под ночь явился к цыгану Запрудин.

— Здорово, фронтовичок! Извини за поздний час — утро, день и вечер лес забирает. Как в бою: по тревоге живу. Тревога одна — всю кубатуру до скорой распутицы вывезти надо. Панкратий, ты тоже войной меченный. Считай — братовья мы с тобой. Темнить не буду: дай коня на вывозку. Христом-богом прошу. Выручи.

— Какой разговор — дам конечно. Вот ты по-людски просишь: выручи, дай, браток. Меховой Угодник недавно хай поднял на моем дворе: заберем жеребца именем тыла. Да попроси он именем простой человеческой доброты — кто откажет. Разучился с народом говорить. Одно слышишь: приказываю... требую... моллчать! Не ддавал слова! А ты, гад властолюбивый, дай мужикам слово молвить. Пяток добрых словечек сто твоих пустобрехских заменят. Найди нужные слова — люди жилы наизнанку вывернут, всем планам башку свернут. Не прав я разве, Яша?

— Полняком прав. На этого пса в галифе я дюже зол. На фронт его турнуть надо. На лесоповал поставить. Приедет в кошевочке на деляну — мука. Стою у сосны, потом обливаюсь. Угодник очередной циркуляр на меня выплескивает: бригада обязана... бригада должна... план районом сверстан... Да нешто не знаю, что война от бригады хочет. Окатит словесным поносом — зубы от злости чакать начинают, обрубок руки дергается от нервов.

— На меня обыск навел. За что про что? Легавые все углы обнюхали.

— Ордер на обыск предъявляли?

— С поднадзорным цыганом не считаются. Поговаривают: Орефий в тайге скрывается.

— Слышал краем уха. Он в банду не войдет. За брата мстить будет...

— Яша, пусть моя дочь за конем присматривает. Поставь ее возницейй.

— Обещаю.

— Спасибо, браток...

Воронко, сливаясь с потемками раннего утра, увозил на розвальнях вдовицу Валерию. На первых санях ехал вальщик Аггей. Поддужный колокольчик, отдохнув за короткую ночь, пытался развеселить деда, тихеевских трудармейцев: дед-ки трез-вы, баб-ки пья-ны, е-дем, е-дем на де-ля-ны.

Большие костры сучкожегов палили сушняк, хвою и тьму: метались багровые великаны, падали на примятые снега, заползали за бревна и пни.

Ощеренные многозубные пилы нарушали вековое родство сосен. Терпеливо, настырно ужевывали смолистую твердь. Взметывались под звезды, разлетались по Сухой Гриве знакомые крики:

— Берегись! Паддаиит!..

Твердоколейная дорога-ледянка охотно принимала с кривых волоков груженные сани с коротышками подсанками. Безотказные, употелые лошади разбивали на корневищах и пнях копыта, теряли подковы, сбивали с ног кожу и потихоньку лишались силы, отпущенной для тыловой колготы.

Разбитная, языкастая Марья Заугарова тем же зычным, хриплым голосом пугала мордастых сопливых быков:

— Сскиппидаррчику ззаххотели?!

Артельный сын, запрудинский приемыш Павлуня вышагивал впереди слепой Пурги, нащупывая за пазухой лепешку-преснуху. Отламывал кусочек, всовывал в скользкие губы кобылы: пальцы ощущали прикосновение шершавого языка. Повод ослабевал. Поводырь замедлял движение. Запинался о шевики, впаянные морозом по всему протяженному ступняку.

Придет ли на смену зимнему владычеству воцарение весны и тепла? Снега. Темь. Звезды. Загибистое отрощье оледенелого месяца. Стволы. Пни. Хвойные копна сложенных сучков. Ископыченные волока. Рассеянные по материковой гриве вальщики, огребщики, сучкорубы. Поздний вечер подытожит сваленные стволы — уснет в бригадирской тетради хилая галочка нового тылового дня. Слей все древокубометры, взгромозди в пирамиду труда — можно дотянуться до звезд. В райцентрах, в больших городах ведут пересчет общей кубатуры, взятой с боем по сибирским урманам, глушнякам, в поречье и в приболотье.

Шустрая остячка Груня до полного рассвета успела вытряхнуть из фитилей налимов, сдать приемщику. Торопится на деляну к деду Аггею. Топор в ее руках выписывает над сучками замысловатые крендели. Вальщик шутиливо погаркивает на рыбачку:

— Кы-кы-мора, стучи потише — оглушила.

— Га-ни план, га-ни паек! Мой курсак пустой. — Груня тычет кулаком в плоский живот. — Хлеб про-сит.

По длинному узкому волоку на пустых санях подбегает Валерия. Разворачивает за стволами Воронко: полозья приминают ветки, повизгивают на пнях. Останавливается возле голой туши сосны. Втроем заваливают ее по каткам измахренными на концах березовыми вагами. От натуги кум Аггей без сдержанности и стеснения выпускает из отвислых стежених штанов глухой громоток.

Из рук кумы выскальзывает вага.

— Ну, ты! Поттише греми! Меня напугал. Коня оконфузил.

Аггей не смущен. Завалил на передок саней толстый комель, помог женщинам справиться с зауженным концом бревна.

— Нечего лупить замечанием. Придет к тебе старчество — тоже брюхом ослабеешь.

— Извиняй, кум. Следующий раз дернешь, скажу: будь здоров!

Валерия заправски запускает руку в карман телогрейки вальщика, достает кисет. Аггей вырывает.

— Зачем порядок рушишь?

Сворачивает козью ножку. Протягивает махорку куме. После нескольких жадных затяжек ее опьяняет никотиновая дурь.

— Дед, после победы тебя в тайгу хрен загонишь?

— Скоро смерть в гроб запихнет, ты о тайге говоришь.

— На твой гроб еще и дерево не выросло. Буйвол! Откуль силы берутся?

— Давал зарок — до глухой старости не брать посох. Вот и держусь.

— Германец в плену терзал.

— Знать не все вытерзал. Обо мне, кума, всевышний словечко смерти замолвил. Попросил косую попозже прийти.

— Мой бриллиантовый, за что в милость к нему попал?

— За дело доброе. В двадцать четвертом годе рушили косомольцы церковь. Иконы для костра кучей свалили. Ухитрился, выкрал всех двенадцать апостолов. Поклал их в мешок ликом к лику и деру. Косо-мол за мной. Весна успела речку теплом растревожить. Лед посинел. Заберегов много. Я с апостолами на лед прыгнул. Парни орут, за мной козлами скачут. На счастье треск по льду пошел, река двинулась. Расколола нас трещина на два мира: похититель апостолов на одной крупной льдине, хайластые преследователи на другой. Их синий плот вскоре к берегу притерло. Мой плывет-плывет и не трескается. Вынесло меня к другой набережной церкви... Отыскал попа-батюшку, он сверженный оказался. В избе-читальне вместо закона божьего пла-не-тарию юнцам вдалбливал. Спрашивают его: скажи честно — есть ли по ту сторону мир? Хихикает: мира по эту сторону не стало, в загробной жизни кости да черви водятся.

Обменял неустойчивый попок рясу на телогрейку, подсвечником гвозди в стену забивал. В кадиле дымокур от комаров возжег. Выучился кино крутить в клубе.

Втолковываю отступленцу от бога:

«Батюшка, грешно апостолов в мешке держать. Стену бы им найти, повесить...»

«Их на виселицу вздернуть надо! С ними новой мороки не оберешься».

«Бурсак! Чему тебя в семинарии учили?!»

«Поговори еще — сдам чекистам...»

По глубокой распутице на попутных подводах добрался до своего села. Заношу мешок с апостолами в клуб. Косо-мольцы гудят — мировую революцию пророчат. Увидали меня, обнимать кинулись. Вытаскивают из дерюги иконы, руками лики протирают.

«Хвала тебе, Аггей! От огня ценность народную спас. Нас в районе за сожжение икон ругали. Апостолов в музей сдадим...»

«Зачем вы, шельмы слепые, купол церковный снесли? — наступаю на них. — Зачем колокол с колокольни обрушили?!»

«Он к богу взывал...»

«И правильно делал... Колоколам за правду языки вырывали, ссылали их...»

Стоят косо-мольцы, лупят глазами да иконы от пыли протирают. Вот и выходит, кума, я у господна на доброй заметке.

— Зачем на тонкий лед поперся? Утонуть мог.

— Бог не выдал — вода не съела... Валерия, ты деньги на танковую колонну все внесла? Взнос понародный, я все до копеечки выложил.

— У тебя гроши, у нас, бриллиантовый, нет их.

— Не прибедняйся. Отец забогател. Такого удалого жеребца сторговал... Может, он его... того...

— Отцепись, старый пердун!

Поглаживает вдовица крутой круп Воронко, хвалит про себя удачливого отца. Плевать на то — сконокрадил аль купил черную силушку. Привалило Панкратию счастье. Не конь — сокровище. Тянет по ледянке распластанные над санями бревна — пар из ноздрей врзлет. Не поймешь — бревна тащит, кладь снопов? Пофыркивает, ушами прядет, режет долгий ступняк уцепистыми копытами. Поют полозья. Возчица успеваёт отвезти кубатуристые сосны к плотбищу, лихо промчатся порожняком по накатанному зимнику, погрузить приготовленные к отправке стволы и догнать Марию Заугарову с ее уросливым, бычьим тяглом.

Валерия завидует Заугарихе — побила красотой и судьбой. Муж Григорий живехонек, командир на войне. Успела с ним мальчишек-погодков завести. Даже однокрылый Запрудин к ней льнет, не ожигает черноглазую цыганочку любовным взглядом. Зашел в избу коня просить, словом со вдовой не обмолвился. Вымыла посуду, с обиды чашкой брякнула по столу. Приживалке Груне полотенце швырнула: на, вытирай!.. Неужели грязное пятно — раскулачники затмило глаза фронтовичку? Да, наехал закон тяжелой телегой, раздавил подворье, прорезал новую колею до Тихеевки. Ну и что? Где найдешь защиту? Кому поплачешься? Горюй не горюй об оставленном таборе, о порушенном хозяйстве — теперь не поможешь. Судьба аршинными гвоздями приколочена. Беспаспортный человек — слепец. Куда не пихнешься — везде лютое начальство. Для цыганского отродья отведено одно глухое местечко — Тихеевка. Нишкни, сиди там! Ковырай землю. Вали стволы. Тереби молоко у коров. Расти телят... Валерии хочется детишек растить. Мужа нового иметь хочется. Где взять? Нагадаешь в карты, предскажешь по ладони, обманешься во сне. Но кто нагаданного, предсказанного, увиденного во сне обратит в живую плоть, в постель рядышком положит?

Прошлой осенью, перед самой шугой, прикатил на моторке бывший конвойник, сопровождающий на барже раскулаченные семьи. Шестисильный движок за версту распугал тихеевских свиной и кур. С прибрежного леса в сторону сельбища летели опроретью встревоженные вороны, кедровки. По пням, валежнику прыгали белки, бурундуки. Мотор, дважды чихнув, заглох. Грузная обрушилась тишина.

Отыскав Валерию на ферме, конвойник повинился перед ней в грехах... Прости... насильничал... отца-кузнеца на поругание отдал... Ухожу скоро на войну... душу хочу очистить...

Лепетал, заикался, выпихивал из себя черствые, заплесневелые слова.

Еле сдерживая гнев, вдовица ни на минуту не бросала работу: вилами сгребала в кучу навоз... Ишь заявился... очищения хочет... перепрел душой... в тощую грудь кулаком тычешь... прощения просишь. Не получишь его. Уходи на войну с моим проклятием... Исковеркать отцу жизнь, с открытым бесстыдством заявиться к дочери, врать о любви. Да пусть я засохну гороховым стручком, проживу до гробовой доски безмужней, постылой жизнью, но не допущу осквернения тела...

Подмывало подойти к лепечущему сморчку в галифе, поддеть вилами и швырнуть в навозную кучу.

Конвойник стоял в проходе коровника и осыпал Валерию вымученными, никчемными словами. Припомнились его издевательства, приставания, больные щипки... Встрепенулась, знобко передернула плечами. Поддев с макушки навозной кучи навильник коровьего добра, ненавистно швырнула на оторопелого грешника. Отскочил с опозданием. Поскользнулся на щелястом, заляпанном полу и опрокинулся навзничь. С кучерявой головы слетела фуражка без звездочки, закатилась в сточный желоб. Недавний каяльщик привычным ловким движением отбросил правую руку к месту кобуры. Сжались и разжались машинально пальцы над боковым вздутием суконного галифе.

— Цыганская сука! Твое счастье, что нагана нет.

— Даже кобура не болтается, — безбоязненно усмехнулась доярка, держа перед собой готовые на все вилы.

Снял испачканную кожаную тужурку, вывернул подкладом вверх. Спрятал в нее поднятую мокрую фуражку. Одернув беспетличную гимнастерку, отомщенный служака остервенело пнул вымя стоящей рядом пестрой коровы. Задами убранных огородов выбрался за Тихеевку. Недавние ливни заполнили придорожные канавы и ямы на дороге, ведущей к Пельсе. Луки отблескивали тусклой сталью низких небес. Долго отмывал холодной, мутной водой лицо, шею. Выколупывал из ушей навозные крошки. Брезгливо отдирал со щек прилипшие вонючие сенички. На берегу речки основательно вычистил тужурку, фуражку, галифе.

Такая дикая, неожиданная развязка унизила, опозорила недавнего стража тихеевских сосланцев. Не терпелось отомкнуть всякий замок и достать из носовой части мотолодки дробовик. Курок на взвод, щелчок — и ко всем чертям такая паскудная жизнь. Разве кто из высококоранговых чинух комиссариата внутренних дел знает, что творится внутри бывшего подвластника кровавых тайных дел?! Нагляделся на эти дела. Настрожился. Намахался наганом и кулаком... Сдали нервы. Затряслись руки. Расширились утрашенные глаза... Уволили. Личное дело сдали в архив. Личное тело скоро отправят на фронт. Комиссариату нужны не сбитые на псих подчиненцы. Нужны люди, бесстрашно глядящие в глаза всех репрессированных мучеников. Кулак, умеющий

дробить череп, вышибать разом полдюжины зубов, бить под дых с силой пушечного ядра, способен пробить и карьеру, расчистить путь среди слаборуких служаек.

Дичайшим взревом мотор-шестисилка встряхнул мозги, обрушил на перепонки летящую пучками картечь. Пельса охотно выпроваживала по течению гремучую лодку. Волны шлепали по бортам, по рулю, угоняя прочь малосильную тихоходку. Порывы ветра в ожидании ледостава борзо развеивали над тяжелой водой вонючий бензиновый чад. Желанно заметала след рассерженная Пельса...

Не подгоняет Валерия сказочного коня. По бригадирскому списку Воронко помечен одной лошадиной силой. Откормленный, неизработанный битюг растаптывает эту условность. Он вполне сойдет за полтабуна артельных, спотычливых лошадок. Волосатые, мускулистые ноги — крепезные стойки. Шатунами паровой машины ходят над оглоблями выпираемые ляжки. На крутой гладной спине мчись сто верст без седла — задницу не намозолишь. Хвост пышный, укороченный умелой подстрижкой. Капелькам смолы не всегда удается склеить упрямые волосы, годные на отличные силки.

Возчица остановила коня. Пусть Марьины быки проковыляют вперед, сократят путь к катишу. Блажит, строжится Заугариха на рогатых подневольников.

Поводырь Павлуня не знает горя с Пургой. Из всех остатных силенок упирается кобыла на ледянке, режет копытами хрусткий снег ступняка. Страдалица с завидным послушанием, упорством отработывает лошадиный харч и лишние пригоршни овса, утаенного мальчонкой от общеартельного фуража.

Незаметно, бесшумно подступила календарная весна. Крепкие, хватистые морозы не переставали усиленно оборонять свои снежные и ледовые подступы. К полудню на солнечных пригревах слюдянисто сверкали сугробы. На вырубса забегали чуткие к шорохам зайцы, грелись в затишке под крепнущими лучами. Нетерпеливые дятлы, выбрав сухие расщепистые сучки, пускали по лесу призывные любовные трели. Клювы со скоростью отбойных молотков высекали трещоточные звуки: природа подстегивала соперников к ежегодному весеннему состязанию в птичьем исполнительстве и мастерстве.

Васюганская природа жила в томительном ожидании зримых перемен, уповая на чудодействие воскресающего солнца. Оно постепенно сбрасывало с себя тяжесть небесной ноши, словно вытаскивало из посинелых ледовых высот. Солнце лишалось вялости, оторопелости. Бойчее пошевеляло лучами-щупальцами, радостно избавляясь от затаенного онемения.

Лесообъездчик Бабинцев научился зримо видеть в родной природе изначальные пути ко всему, что щедро населяет подлунный и зазвездный мир. На счастливую долю людей выпала великая благодать, несоизмеримая ни с чем: выйти из чрева на лоно природы, подняться на ноги, обрести дар речи. Сравнительно за короткий срок человек проходил сжатый путь, на преодоление которого вся эволюционная эпоха затратила миллионы и миллиарды лет. Какая завидная доля: родиться и получить разом все: мать, отца, солнце, землю, звезды и главное — отечество в далеких пределах ее всесветных границ.

Четкая пересменка времен года наводила Анисима Ивановича на долгие размышления. Если материя вечна, значит, вечно и время. Нечего подвергать его разграничениям на месяцы и века. Пройден заколдованный земной круг. Пройдена чья-то жизнь. Все отплескалось в бездонном океане Времени, оборвалось легким вздохом мироздания.

Чем выше уносились мысли в ледяные миры звезд, тем сильнее брала оторопь перед таинством влекущих высей. Вселенная поднималась молчаливой загадкой. Земля лежала правильной отгадкой природы и жизни. Сильная боль от сабельных ран не могла оборвать восторг при виде солнца, леса, живой, неизменчивой воды. Становилось понятным превосходство природы над непонятым существованием созвездий и скрытых планет.

Заметное усердие солнца, приближение снеготайной и ледоломной поры, перестук дятлов, первые звонкие запевки синиц наполняли душу светоносным чувством. Каждая почка готовилась пережить радость обновления и рождения листа. В приречье, сырых низинах расплодился стойкий вербняк. Обманутые теплом затяжной осени, нечастыми зимними оттепелями кое-где на ветках слишком рано проклюнулись вербочки. Крошечные пуховички глядели боязливо из хрупких, темных оболочек. Лесообъездчик подошел на лыжах к вербе, погладил запеленатые мохнатенькие головки.

— Ах вы, вербнятушки, поторопились белый свет посмотреть. Вот и мерзнете почти нагишом. Ничего. Скоро вам солнышко пушок расправит.

Появление листочков-первенцев было для природы и лесного охранника истинным праздником. Прошлогодние травы еще не скоро станут прахом, из-под них земля торопится нацелить на солнце новые изумрудные лучики. Бабинцев ждал обновления земли и вод. Ежегодно справляемый карнавал весеннего леса, болот и рек был созвучен его душе, впитывающей таинства времен года.

Больные ноги ощущали тяжесть широких лыж. Шагал тихо, вслушиваясь в хрустальный звон урманной мартовской тишины. Чуткий слух уловил шорох работающей маховой пилы: она делает на бревне рез, проносясь

сверху вниз, издавая короткий нарастающий звук. Ни тонкополотный лучок, ни простая пила-подергушка не повторяют подобный голос.

— Вот и славно, — произнес вслух лесообъездчик. — Прихвачу пильщиков на месте.

Столяр-краснодеревщик Политура с косеньким братом бондарем валили кедры на клепку. Под шумок тайги делали именитым районщикам мебель. Меховой Угодник защищал свояка. Раскулацкая Тихеевка была сдавлена его сильным кулаком. Но не всем удавалось затыкать рты кляпом грубых слов: мол-чать! сгною в тайге! по тебе тюрьма плачет!.. Панкратий и Валерия языки на привязи не держали. Кузнецу терять нечего: свободу терял, кровь на войне тоже. У дочери фронт мужа прибрал, бабья сила давно тылом вычерпана. Несколько раз она стыдила Мехового Угодника:

— Что, стрелок бриллиантовый, много мехов подстрелил без ружейного выстрела? Шкурки сами в саквояж падают. Ты — двойной грешник: обкрадываешь народ и правду дегтем мажешь...

Политура возвышался на брусовой эстакаде, широко расставив над убитым кедром длинные, пружинистые ноги. Рывком поднимал за верхнюю ручку маховую, тяжелую пилу, рывком давал ей прогонку вниз. Пучки опилок сыпались в яму, где стоял низовой пильщик — пригорбленный, хилоплечий мужичонка. Верховщик заметно выделялся на фоне куполов габаритной фигурой: такому после смерти потребуется огромная домовина.

Несколько минут простоял возле ямы лесообъездчик — братаны продолжали распиловку кедра на толстые доски. Маховая пила злее забегала в щели, расширенной длинным, зауженным клином. Анисим Иванович прошелся по территории лесопильни, осмотрел крепкий дом для жилья, штабеля широких плах, теса, горбыльника. Клетками уложена клепка, ружейная болванка. Красовались под навесом новые бочки, выставив гладкие, опоясанные обручами пуза. От наклоненных сосновых лежачков для закатки кедровых бревен тянулась в урман разбитая санная дорога, осыпанная корой и хвоей. Везде царил порядок, как на подворье рачительного хозяина.

Свысока позыркивал Политура на нежданного гостя, не теряя из виду черту на бревне: ровная, черная, нанесенная мерным шнуром, она змеей заползала под ноги краснодеревщика. Головешка, которой натирался шнур, тоже маячила перед ним на чурке, стоящей у ямы... Черные думы. Черная черта. Черная головешка... Приперся пронырливый лесовщик, сейчас начнет выговаривать за лишние сваленные кедры. Пусть, не испугаюсь. Нервы ежиком не поднимутся, не сдадут. Есть надежная защита — мебель. Она начальству на заказ сделана. Не ухватишь, Бабинцев, голыми руками...

Черные, кустистые брови Политуры, кажется, тоже натерты головешкой: щелкни по ним — сажа посыплется. Вскинул лохматую черноту под обрез шапки — мысли мрачные сбросил. Пилит, выказывает спокойствие и выдержку. Недаром набирался Политура мудрости от покойного отца. Башковитостью, крепостью нервишек даже его превзошел. Тятенька после раскулачивания сивухой утолял горе. Пил до мокроты брюк. Допился до смерти. Несколько раз самогонка тело чернила: смерть роковое предупреждение делала. Не унимался... третий годок пошел, как навсегда унялся... Вспомнилось сейчас почерневшее лицо опрокинутого навзничь отца-сивушника. Задумался пильщик-верховщик: почему все черное продолжает лезть в глаза? А-а-а, гостенек пожаловал, дымной копоти подбросил. Ходит у штабелей теса, высматривает, подсчитывает.

В глубокой обиде Политура на жизнь, на власть, костерит законы строгие. Они — травы докучливые: осот, молочайник, репей, чертополох. Гоньбой гонишь, рвешь-сечешь всякие сорняки — головы сызнова прирастают. Травы — тиранки... Тиранили Политуру законы. Мечталось выломиться из-под них, найти послабление у начальства. Нашел. Руки золотые выручили да тихое наушничество. Время подкатило строгое: шепнешь про кого-нибудь несколько веских словечек, тот на допросах криком изойдет.

Знает Политура свое дело досконально. Ценят его доносы, ценят прочную, ладную мебель, скрепленную осетровым клеем. За один погляд сияющих лакированных гарнитуров надо бы мастеру плату брать. Штучные поделки не уступят музейным экспонатам. Одно обижало умельца: низкой ценой расплачивался с ним Меховой Угодник. Знать, по ценнику жизни выкладывал плату. Спасибо — от лесоповальной каторги освободил, поставил с братаном на товарный промысел. Бондарничать, тесать ружболванку легче и проще. Просит артель коромысла, ложки-поварешки, толкушки, доски разделочные — получайте. Вырежет Политура гладенькую ложку — сухая, без масла рот драть не будет. На сколоченную табуретку слона сади — не раздавит. Пазы в мебели подгоняет — тончайший щуп не просунешь в древесную спайку.

Знает краснодеревщик — сейчас лесник начнет давить штрафом. Давно тихеевских мужиков благословляет на порядок в лесном деле, просвещает о природе в избе-читальне. Политура скривил в едкой улыбке рот: мы вот тоже лес просвещаем — просветов в кедраче много стало. Районщик-уполномоченный разрешение на разбой дал: вали, сват, дерева на выбор. Ни хрена тайге не сделается. Самосевом новая вырастет.

Хрупают маховая пила. Щурит в яме косые глаза меньшой братан. Под ногами у него опилковая перина, сам осыпан кедровым пахучим пушком. Хруп-хруп... хруп-хруп...

Длиннее щель на бревне. Короче шнуровая отметина. Мало на лесопильне бочек, ружейной болванки, клепки. Зато размерных досок — четыре штабеля. Злит и возмущает это Анисима Ивановича. Произносит вслух:

— Этак вы, стервецы, кедрач вырежете. Староверы пуше глаза берегли кормежные деревья. В редких случаях на поделки валили.

Знает лесник о заступничестве Мехового Угодника. Говорят: веник — царь в бане, в избе — прислужник. Так и он: царек в деревьях, на смолокурных заводиках. В районе, области — прислужник чинухам.

Замолкла разгоряченная пила. Пальцы Политуры выпустили залосненную ручку. Совсем разогнуться не смогли: свело их судорогой ухватистого жима. Пильщик-верховщик не спешит опускаться на грешную землю, подходить к Бабинцеву. Ему на эстакаде хорошо — рыцарственно, грозно смотрится с возвышения. Отсюда двухметровая фигура лесника-проныры укорочена оптическим обманом — небольшая ужатость доставляла краснодеревщику удовольствие. Политура развязно помахал рукой, крикнул хрипиво:

— Лесному царю — привет!

Вместо ответного приветствия Анисим Иванович без тени иронии пророкотал:

— Вались в ноги, холоп, вымаливай прощение за вредительство лесу.

— Зря тебя, Иваныч, в цари произвел.

— Оплошал — поторопился. Буду на тебя особый указ писать. Ты сколько кедров повалил?

— Не считал... с арифметикой туго.

— Помогу тебе произвести учет пней. Бочек — кот наплакал. Заготовок для мебели — гора.

— Иваныч, уймись! «Катюшами» врага давим.

Из ямы выбрался тщедушный братень. Укорно покосился на лесника, принялся натирать разметочный шнур головешкой: на утоптаный снег полетела черная пыльца. Туго натянут повдоль бревна начерченную веревочку, приподнимут посередине, смачно хлопнут — отобьют для маховой пилы прямую черту. Строго будет следить за нею пильщик-верховщик, направляя правильный бег крупных зубьев.

Сбавив воинственный пыл, Политура спрыгнул на землю.

— Иваныч, ты наш гость. Пойдем до избушки. Утречком язык бычий сварили, поедем с горчишкой.

— Брезгую до отвращения.

— Чего так?

— Не догадываешься?

— Нет.

— Бык у коров под хвостом лижет. Медом смажь — есть такой продукт не буду... Ты со своим тайным мебельным производством в ловушку угодил.

— В какую ловушку?

— Валишь кедр без разрешения. На сторону сбываешь комоды, буфеты.

— Так ведь упал-намоченный разрешил. Начальство все же.

Краснодеревщик нарочито развязно произнес ранг районного заступника.

— Твоего доброхота никто не уполномочивал распоряжаться государственным добром. Нынче за килограмм украденного зерна к ответу привлекают. Тут на многие тысячи рублей пиломатериалов. Воровство сильнее трясины засасывает. Украдешь иголку, потянет на нитку. Там и на тюрьме узелок завяжешь.

— Мы и так властями пужаные. Не добивай совсем. — Вдруг Политура гордо вскинул голову, нахально посмотрел на лесника. — Гляжу и думаю: смелый ты мужик. По тайге бандюги рыскают, ты один с ружьем погуливаешь.

— Кстати, заметишь подозрительных людей — знать дай. Сюда могут пожаловать. Местечко выбрал тайное... Составлю акт на кедр, на пиловочник... Подпишешь, никуда не денешься. Законы у нас пока не обесилели.

Лыжня уводила лесника в обратный путь.

Хруп-хруп... хруп-хруп — долетали с лесопильни настырные звуки. Они просачивались меж стволов, прятались за валежником, ныряли в снежные завалы. Анисим Иванович медленно переставлял охотничьи лыжи, делился с деревьями и сугробами грустными мыслями:

— Все получается в жизни, как по закону природы: гнилой человек упал-намоченный и тут сразу короеды завелись — разные приспособленцы-политуры... Ничего, тайга, мы найдем крепкоклювого дятла на жуков-древоточцев, ползунов-короедов...

Полдненное солнце воспламеняло снега, растекалось по броской зелени куполов. Вдоль лыжных продавливали красовались деревца-подростыши, прислушиваясь к зову доступных лучей.

Дед Аггей положил перед Панкратием лопнувшее полотно лучковой пилы, словно порванную тесемчатую ленточку.

— Косточки мои дюжат — сталь рвется.

— Не мылся — не пойду в кузню! — отрубил цыган. — Молот, артельчество руки отшибли.

Однако протянул к скамейке руку, взял полотно. Приставив порванные концы, прищурно поглядел на тонкий зазор.

Валерия хитро подмигнула из-за спины отца. Показала деду сложенные калачиком два пальца: мол, дай срок — все будет в порядке.

Повертев сияющую, истоньшенную полоску стали, ощупав пальцами, Панкратий изрек:

— Кости, говоришь, дюжат?

— Куда они денутся, Панкратушка? Если и лопнет какая костина, так из подаренных тобой кальсон не выпадет.

Хмыкнул кузнец, хлопнул полотном по ладони.

— Ладно... запаяю...

Вновь всплыли утомленные глаза госпитального хирурга. Зазвенело в ушах веселое изречение: «Тебя, солдат, легче в мартен на переплавку отправить...» Подумал печально: «Смерть скоро переплавит... эта печь жрет всех без разбору... Что дочке в наследство оставлю? Воронко, плетку, нож заголяшный...»

Неожиданно вспыхнул перед ним шумоватый огонь кузнечного горна. Замаячила наковальня. Запрыгал молот. Открыли и закрыли пасть расшатанные на скрепе длинные клещи. Панкратий схватил полотно, швырнул дочери телогрейку.

— Живо собирайся!

— Куда на ночь глядя?

— В мой цех.

Летела над дорогой «летучая мышь», билась светлыми крыльями по оседающим сугробам, избяным стенам и пряслам. Торопился кузнец, подсакивала хромая нога. Неужто завтра будет поздно распалить горн, отзвенеть по наковальне подсобным молоточком? Хромал кузнец в свой цех, просительно втолковывал Валерии:

— Что буду сейчас делать — все запоминай. Какой я жилец — сама видишь. Изба завалится. Воронко сдохнет. Руки при тебе будут до могилы. На ферме вонюю дышишь. Постигнешь кузнечество — верный кусок хлеба.

— Сулишь не женское дело.

— Ты из любого мужика узел завяжешь. Молотобойца подберешь. Пока боронные зубья ковать будешь, подковы, гайки. Научу сращивать полотна.

— Ухайдакалась на деляне. Спать хочу.

— Еще слово — пристукну! Власть мою знаешь...

И раньше переступала Валерия порожек артельной кривостенной кузни. Качала чумазую ручку, оживляла еще более чумазые мехи: летела с них сажная осыпь, раздавалось утробное пфыканье. Под горушку древесных углей нагнетался воздух. Деловито, сосредоточенно надевал отец грубый, прорезиненный фартук: его прихватил с алтайской земли вместе с немногим скарбом, разрешенным на вывоз семье спецпереселенца. Снизу, исподтишка угли напивались жгучей краснотой, переходящей в ослепительную белизну, словно под закопченным кожухом томилось угнетенное солнце, рвалось покинуть тесные пределы. В жар и ярь новоиспеченного солнца отец умащивал железную заготовку. Вытащенная раскаленная будущая подкова привораживала Валерию. Лихо отплясывал бойкий молоток, гнул и плющил металл на толсторогой наковальне.

По истертой подковине кузнец мастерил новую. Заглядывали в кузню мужики-артельцы, курили у дверного проема. Покачивали в восхищении кудлатыми головами. Отец незлобиво кричал на них:

— Мне дверь стеклить не надо! Не застите, черти, небесный свет.

Не успеют черти досмолить самокрутки, цыган начинает долбить пробойником отверстия под самоковочные гвозди. Вот услужливые клещи утопили свеженькую подкову в бочке с мутной водой. Раздается злое шипение, бульканье. Выметывается серый пар.

Дочери и в голову не приходило, что отец готовит в наследство кузнечное дело, наковальню и фартук. Такая выдумка сбивала с толку.

За полночь на краешке темной Тихеевки встрепенулась от долгого сна артельная кузница. Наковальня, махристый от копоти потолок, усыпанный окалиной земляной пол, допотопный инструмент по черным стенам — все, что совсем недавно вызывало в инвалиде злобу, раздражение, досаду, сейчас зазвенело, отозвалось тугой тягой стосковавшихся рук. Давнишнее озаренное чувство труда, омраченное и задавленное принудительным переселением, тюрмой, штрафным батальоном, втиснутым в тело вражьем металлом, вновь заогнилось искрами, высекающимися расплюснутым бойком молотка. Привычная работа брала верх над нудной тягомотиной артельной будничной жизни. Вспомнилась вольная таборная перекочевка. Привиделись расшатанные кибитки с поднятыми оглоблями. Ночные бодрые костры. Непробиваемая звездами темнота — сподручница рискованных конокрадных делишек...

Искусно владел Панкратий молчаливой, забитой женой, удалыми конями, кузнечным инструментом, ременной плеткой и заголяшным ножом. Долго берег, преданно любил последнее острое перышко, сделанное из прочной подшипниковой стали. Верные кореша перебросили нож через тюремную стену. Сохранил его за решеткой. Берег до последнего рукопашного боя, пока не опоганил сталь о фашистскую нечисть. Чистил окопным песком, смыл с ручки кровь бензином, но не вложил друга в красивые ножны. Похоронил нож на госпитальном дворе под старой яблоней.

Многое в жизни умел Панкратий. Сапоги тачает — заглядение. Коня подкует, словно разудалым голосом молотка заговорит от дорожной спотычки. Плетью обуха не перешибал, но не раз выбивал ею топор и финку из занесенной над ним коварной руки.

Гремела и звенела в нарымской ночи напрочь разбуженная кузня.

Загорчалась в крайней избенке старуха, толкнула в костлявый бок спящего Аггея.

— Слышь-ка, че хромой леший вытворяет? До зари вся ночь, он нагremывает.

Прислушался Аггей, крикнул и даже не ругнулся на ворчунью жену, что порушила крепкий сон. Лежал, думал: «Правильно, что потянул Панкратий в свой цех и дочь. Правеж отцовый верный — пусть глаза мозолит, перенимает дело из рук в руки. Цыган пулями, осколками околупан. Не долго молотком погremит...»

— Че, сопишь, ответа мне не дашь?

— Спи, спи. Я послушаю. Самая ладная музыка — звон колокольный да наковальный.

Председатель артели не ложился спать. Услышав чистые, мерные удары, перестал подшивать валенок, расплылся в довольной улыбке. Почерк Панкратия узнал сразу. В его отсутствие были разные кузнецы. Кое-как выходили из положения: ремонтировали сельхозинвентарь, ковали коней, паяли ведра и кастрюли. Потерю цыгана оплакивали долго. И вот чудо: наковальня дождалась мастеровитого человека. Не верится — кузня заговорила в ночь. Не терпелось накинуть фуфайку, побезать, обнять кузнеца, наговорить кучу приятных слов. Подумал, прошептал: «Нет, не пойду. Спугну ненароком... Какой звон! Какой звон!»

Под укороченную ногу мастер подсунул обрезок войлока. Выровняв крен тела, слил его с полом. Ощутил прежнюю устойчивость возле массивной вкопанной чурки. В первую очередь запаял полотно лучковой пилы. После короткого сна безотказный Аггеюшка под звон поддужного колокольчика покатит на деляну с боевым полотном пилы. Наклонит лучок, продолжит сиротить Сухую Гриву.

Молоток выгибал подкову. Из всех кузнечных работ руки неизменно любили подковную. Обувать коней Панкратий научился с таборных кочевий. Валерия пока не знала толком — пригодится ли отцовская железная наука. Все же с особым напряжением глаз, запоминая следила за каждым движением проворных рук. Вспомнился цветной сон в розвальнях. Голубое облачко цветущего льна. Сказочная заимка на косогоре. Звучали слова отца: «Смерть всегда ближе рубашки... Все с сошкой, все с ложкой...»

В левой руке дрожали клещи: раны противоборствовали работе, вызывали болезненное напряжение мышц. Дочь взяла клещи с поковкой, молоток. Легонько отстранила мастера от наковальни. Металл успел остыть, плохо смягчился: в нем прибавилось звона. Дочь заправски сунула его в угли, взбодрила снулые мехи. Кузнец обрадовался понятливости ученицы: она безошибочно определила температурную грань, когда поковку необходимо напитать новым огнем. Стоя рядом с Валерией, внушал:

— Запомни: колода карт в руках цыганки — хлеб временный, ненадежный. Предсказывая чужую судьбу по линиям жизни, многие второпях проглядывают свою. Работа самая мудрая гадальщица. Всегда безошибочно определит твою судьбу. Много людей из нашего вольного племени поплатились за воровство, конокрадство, шулерство. Кормиться, дочка, надо не гаданием. Простая, верная разгадка всей жизни — труд.

— За наш потливый, одиноличный труд мы успели поплатиться — раскулачили.

— Придет время, с многих глаз слепоту снимет. Не будут вечно давить крестьян ограничениями, налогами, сселением с насиженных мест, ложью. Да, вырвали нас, как здоровые зубы с корнями. Покровоточат оставленные земли, дерном затянутся. Подождем от новых властей воли. Крик народа — не глас вопиющего в пустыне. Докричимся все равно до большой правды. Меня недавно Меховой Угодник словами пытал: «Тебе хромота и ранения помешали в банду влиться?» Ответил ему напрямик, как гвоздь в копыто вбил: «Пошел бы с радостью в атаманы разбойничьей шайки, чтобы таких подлецов, как ты, на большой дороге ловить да к стенке становить. Ты смотришь в глаза народа и не видишь его. По твоему убеждению люди не из плоти состоят — из планов, выработок, мозолей и пота. Наковырять бы из моего тела осколков, всыпать в патрон да по тебе жакнуть...»

Мягкая неморозная ночь чутким слухом звезд и тонкорогого месяца долго ловила понятные звуки, летящие из тихеевской осевшей в землю кузницы.

Солнце — волшебная лампа небес — с каждым днем сильнее выкручивало ослепительно горящий фитиль. Оплавлялись отглянцованные сугробы, сиял ломкий наст. На речных ярках тепло решетило повислые снега.

Природа начинала увереннее дышать размеренным дыханием окрепнувшей весны. При чистых звуках капли, голосистых птичьих спевках не так ощущалось трудармейцами затяжное тыловое изнурение. Дорога-ледянка, кривоколенные волокнистые все неохотнее подставляли рыхлые колеи, будто и им осточертели бредущие вперевалочку быки, грузные сани, хриплые матерки возчиков. Вальщики часто садились на свежие пни, поваленные сосны, рассуждали о близком сплаве, о короткой передышке перед посевной. Захар Запрудин ловил круглым зеркальцем обрушную свет, посылал Вареньке игривый солнечный зайчик. Каторжный труд на лесных делянках не смог огрубить ни лица, ни плавных, красивых движений председательской дочки. Она расцветала с весной и солнцем, не успев поразиться молодостью и зримой красотой. Светлый зайчик метался меж стволов, весело скользил по веткам, коре, выискивая дорожку к милому лицу. Варя крутила головой, стремясь поймать глазами посылаемый для нее свет.

Павлуня дулся на брата, следил за ним. Ревнивым, насупленным взглядом отгонял девчонку от родни. Не раз показывал ей язык, приставленные к носу растопыренные пальцы. Пел переименованную дразнилку: «Тили-тили тесто, не нужна невеста».

— Мы с Варей дружим, — внушал брат. — Не смей дразнить и обезьянничать.

Тянул плаксиво:

— Да-а-а, а я-я?!

— Что ты?

— За-а-абы-ы-ытый!..

— Нет-нет, — торопился успокоить братец. — Мы все любим Павлика.

У барака, подкараулив Захара, хлопец дергал его за палец.

— Дай овса Пурге. Она совсем отошала.

— Нагреби... незаметно.

Летел вприпрыжку к складу, где хранился фураж.

Тяжело переносил дедушка Платон нашествие зрелой весны. Подолгу отлеживался на барачных нарах, ощущая в сердце глухие, перебойные толчки. Подкормив Пургу выпрошенным овсом, Павлуня на цыпочках подходил к деду, гладил сухую, жесткую руку. Блокадный мальчик быстро перенял сибирское чоканье, занозистые приговорки.

— Де-е-еда, че плохо тебе?

— Годы, внучек, гнут, их груз долго таскаю.

— Почесать тебе спину?

— Уважь старика — почеси. В земле такой лафы не будет.

— Ты давай не помирай. На рыбалку обещал взять.

— Укреплюсь — не умру. На окуней полосатых с тобой поохотимся.

— Порыбачим.

— Все едино — охота.

Бодрится Платоша, не показывает слабость. Не падать духом — тоже наука. Пусть мальчонок перенимает ее.

Сосульки на барачной крыше, на конюшне к ночи превращались в истуканчиков. С пригревом солнышка ледяные часы весны тикали звонкой капелью, отсчитывали секунды недолгого бытия.

Старший Запрудин полководческим взором осматривал на берегу Вадыльги немалое скопление авиасосен. Удовлетворенно потирал руку о заросший затылок. Нашупал склеенные смолой волосы, выдрал клоч, не ощутив боли: ее пересилила радость от увиденных золотых запасов. Незаметно появился Павлуня. Ухватился за полу телогрейки обретенного отца и глядел туда же — на заваленное бревнами отлогое приречье. Яков игриво потербил Павлуню за кончик носа, потер худенькую щеку:

— Смотри, паря, что мы наворочили!

Подстраиваясь под лад и ход мыслей отца, сынишка хлопнул его по спине, поддержал радость:

— Да, паря, славно работнули!

— Напластали сосен с лихвой. Считай — в одну зиму за полторы управились.

— Хорошо управились! — поддакнул самый юный трудармеец.

Просторное плотбище со штабелями прямых чистых сосен напоминало крепко спящий густой бор. Переместили его лесоповальщики на изогнутый берег сплавной реки, убаюкали до ледоломной поры. На материковой гриве деревья долго находились на выстойке, отцентровала их разумная природа ровно по макушке небес. Сейчас они лежали плотно прислоненные друг к другу. Для братской обнимки им не доставало сучков. Кора к коре — тело к телу прижались лесные молчаливники. Коротали тихое времечко перед близкой водной дорогой. По годовым кольцам продолжали ползти стойкие смолы, застывали на гладких макушках: древесные

густые соки подстерегал ровный срез-тупик. Не знали оборонные стволы, но знали люди: для авиасосен наступил не конец жизни — громкое, боевое начало.

— Папа, тепло скоро?

— Скоро, сынок, скоро. Вадыльга лед скинет. Гуси-лебеди прилетят. Баржи сюда причалят. Погрузка начнется... Жарко будет...

Разлепешились лесовозные дороги. Из-под копыт и полозьев брызгала снежная каша. К полудню в разрушенных колеях лежанки скапливалась вода, желтоватая от примеси мочи артельных тягловиков. Победным салютом гремели на Сухой Гриве последние стволы, не достающие до полутора планов. Утренние хваткие заморозки позволяли протащить груженные сани по кривунам волоков и оседающей ломкой лежанке. На вывозке остались самые выносливые кони. Среди них Воронко.

На оживленном катище лошади, быки подтаскивали волоком бревна: их увязывали в крепкие пучки. Пурга была освобождена от береговых работ. Стояла в деннике и нехотя жуевала колкое осошное сено.

Слепая кобыла не знала — ради чего ей выпало послабление. Сводили к проруби на водопой, не обделили сеном и оставили в тихом деннике: ни быков, ни лошадей. Раззвенелись синицы, расчирились воробьи. Смело садились птички на Пургу, теребили клочковатую шерсть, припасали для гнезд. Зудится лошадиное тело, просит скребницу. Корябнут птахи лапками бок — и то приятно. Кобыла развернулась головой к солнышку, ловила прямые, непромашные лучи. Она не разучилась видеть небесный согревающий шар, перехватывать приятное, расслабляющее тепло.

Из барака вышел дедушка Платон, тоже уперся головой в солнце — зашекетало в ноздрях. Чихнув, почувствовал резкую боль в висках. На слабых ногах приковылял к изгороди денника, облокотился на теплую жердину. Пурга перестала жевать. Сенной затычкой торчал из губ пучок осошных стеблей. В них попала тоненькая дудочка дягиля. Шорник дотянулся до нее, вырвал и отбросил в сторону.

— Потерпи, родная, до свежей травушки. Мне ее, Пурженька, видно, не придется косить. Отпокосничал. Ломота одолела. Движок барахлит: на старой крови работать не хочет. Где ее новую возьмешь?

Унылый монолог старика звучал громко. Марья слышала его с крыльца барака. Выгащила проветрить, прожарить на даровом огоньке одеяло, подушку. Крикнула на подходе к городьбе:

— Платон, че кобыле плачешься, настроение портишь? Она и так судьбой обижена, ты свои болячки на нее валишь.

— Смотай язык в трубочку. Вечно он у тебя лентой висит.

— Сейчас вижу — точно больной ты. Раньше на псих реже сбивался.

— С тобой собьешься. Обед вари да поменьше балаболы.

— Не знаешь — че твой однокрылый свататься ко мне перестал?.. Зря. С весной даже щепка щепку давит.

— Не стыдно, дылда?!

— Стыд не копать.

— Непритрогу из себя корчила.

— Такая и есть. Просто забавно на страдающего мужика глядеть.

Водрузила на колья изгороди подушку. Встряхнула несколько раз одеяло, повесила на жерди денника.

Поразмыслила — сняла.

— Еще бычины соплями измажут.

Набросила одеяло на козлы, стоящие возле горки сухих сосновых хлыстов. Прогарцевала мимо старика в игривую раскачку, бросила на ходу:

— Скажи фронтовичку: пусть подъезжает ко мне... причал надежный... заякорю.

Хохотнула, стукнула ладонью по жерди. Идя к бараку, пропела озорно, рассыпчато: «Я стояла на мосту, о перила терлась. Подмигнула одному — семеро приперлось».

— Не слушай, Пурженька, балаболку, — вразумил кобылу Платон и пошагал к плотбищу.

Марья осталась в бараке одна. На плите булькотила похлебка, потрескивали поленья. В углу с потолка срывались крупные капли, смачно шлепались о голые нары. Дальнобойное солнце пробивало барачные окна: в столбах золотого огня плясала неистребимая пыль скученного жилища.

Весна ворвалась в пределы земли и в пределы женского сердца. Скупое апрельское тепло расшевеливало помаленьку снега и приводило в бурливое движение мысли Марьи, брошенной в омут одиночества распрюклятой войной. В незапретных думах она не раз впадала в короткий грех с одноруким фронтовиком. Даже краснела за несовершенную измену мужу, стыдливо отводила от людей виноватые глаза. Часто окатывало знобящей тайной — сможет ли устоять перед натиском мужской наступательной силы. Новая весна произвела мешанину разрозненных дум. Солдатка терзалась от путаницы и новизны преодолевающих чувств.

Изредка в беспамятство сновидений являлись соблазнитель. Приходилось тешиться с ними, отбросив стыдливость и долг замужней женщины. Сперва страшилась таких раскованных снов, умело обрывала их. Со

временем сладострастные обманные встречи стали доставлять наслаждение. Но мираж бесовских тайных вожделений исчезал быстро. Явь рабочего утра ломала снам неокрепшие крылья.

Заугарова сидела на нарах, беспечно болтала ногами. Млела от тепла гудящей печки. Засунув руку под вырез заношенного платья, оттянула тугой лифчик, поцарапала седловину груди. Скоро зайвится с плотбища голодная орава, застучит чашками, ложками. Среди них Яков Запрудин. В последнее время злоглазым стал, так и стружит взглядом. Захар вымоет с мылом руку отца, вытрет насухо серой тряпичкой. Работящая семейка усядется за стол на свои застолбленные места: Платоша рядом с сыном. Павлуня с Захаром. Яков перестал с нежностью глядеть на Марию. Уставится в алюминиевую чашку и неводит в супе овощную гушу. Пережег сердце знатный стахановец, внял наставлениям отца: отступишь от замужней бабы. Заугаровой не по себе — глядел орлом, теперь вороньим пугалом.

На плотбище царит предобеденное оживление. Бригадир руководит раскаткой, сортировкой бревен. Самые статные, гулкие пойдут для баржевой погрузки. Поплоше пустят по Вадыльге до сплотночной запани. Река легко перенесет вынужденное бурлачество, без натуги справится с плавежной древесиной. Гремучие, изнуренные на прежнем сплаве катера с лесовозными баржонками придут по первой напористой воде. Навстречу им будут плыть разрозненные льдины, не успевшие скатиться в низовье с общим колким гуртом.

Председатель большебродского колхоза Тютюнников, счетовод Гаврилин, лесообъездчик Бабинцев ладят ручные лебедки. Подростки оттаивают землю кострами, готовятся долбить ямы под бревна-мертвяки.

На трехъярусном заякоренном плоту приготовлены тросы, толстые веревки, острые багры, плотно насаженные на новые багровища. Поблескивают щеками лесорубовские топоры. Широкой берестой прикрыт сверху бочонок солидола для смазки лебедочных металлических блоков. Под листом старой жести стопки брезентовых рукавичек-верхонок.

По всему необъятному Понарымью даже в невоенное время лесосплав всегда встречался во всеоружии. Ремонтировались надежно катера, конопатились, смолились лодки. В нужном количестве готовились необходимые подручные средства. Проверялась надежность обоновки — укрепленной линии бревен, предотвращающей разбежку сплаваемого леса за пределы реки. На протяженном затопливаемом низкосбережье встречаются протоки, умершие и возрожденные водопольем старые русла, близлежащие озерушки, соединенные с общей водной равниной. Вот и надо отгородиться охранительными бонами, не допустить потери дорогостоящих кубометров леса. Поплывет молем — побревенно деловая древесина, станет биться о боны, искать лазейки в затопленных берегах. Какие-нибудь бревна-блудяги осядут на мелководе, зацепятся за ивняк, улизнут в тихие заводи. Вослед бегущей воде станут спускаться на лодках сплавщици, стаскивать прибитые течением бревна загогулинами багров, выпихивать их на речную стрежь. От майского въедливого солнца побронзовеют лица молевщиков, сделаются похожими на сосновую шелушащуюся кору, что посверкивает над струями Вадыльги, опупевшей от воли и многоводья.

Бойкие нарымские бабоньки по силе и сплавному мастерству не уступают мужикам-молевщикам. В лодках стоят устойчиво, будто на земле, привычно и шустро орудуют баграми. Успевают гортанным ором зубатиться с ехидными говорунами, лихо отсмаркиваться и отплеиваться в мутную забортную воду. Все это придет в черед майского шепутного лесосплава. Настороженная перед ледогоном Вадыльга кое-где успела сточить береговой припай льда: свежо, искристо сияли под солнцем продолговатые чистины-забереги. Упрямая вода острила боковую кромку ледового щита реки. Успевала слизывать плотный песок, нанесенный под кусты волчьей ягоды с прошлого половодья.

Артельный любимец Павлуня, укрепив на дощечке берестяной парус, доверил кораблик сильным струям и ветру. Блестящими, счастливыми глазами мальчик следил за веселым бегом парусника. Глаза артельцев присматривали за юным капитаном. Долгий, иногда горький опыт приреченских жителей убеждал яснее ясного: вода шутить не любит.

К оживленному плотбищу по расквашенной дороге спускались на конях три всадника. Тютюнников сразу узнал милицейский наряд. Облокотясь на ошкуренный стояк лебедки, подждал гостей. За всех поздоровался с артельцами старший — неуклюжий наездник с роскошным сизым носом и красными приплюснутыми ушами. Казалось, под шапкой прижались не уши — пришиты лишние милицейские лычки. Чуть склонившись с седла, спросил:

— Василь Сергеич, дезертиров не слышно?

— Пока спокойно. Откуда путь держите?

— Из Больших Бродов. Всем привет от колхозниц. Надои хорошие. Падеж стороной обошел.

— За добрую весть — спасибо. Можно считать — перебедали зимушку.

— Отсюда до скита можно окоротить дорогу?

— Не суйтесь — вся засугроблена. Кони по насту ноги изрежут. Отдохните. Скоро у нас обед, артельного супа отведаете.

— Не откажемся. Сухоядение осточертело.

Разливая по мятым чашкам нежирную похлебку, Марья улыбочиво поглядывала на черноусого, ладного парня из милицейской троицы. К его волевому, гладкощекому лицу, статной фигуре очень шла новая, добротню подогнанная форма. Открытый, влекущий взгляд, красивая поза, с какой сидел на барачной лавке, простые манеры в обращении с рабочими, Павлуней — все нравилось Марии, охваченной смутной тревогой и робостью.

Сизоносый возглавленец сыскной группы открыто, бесстыдно разглядывал голые колени поварихи, скользил масляными глазками по красивым покатосям бедер. Он раздевал взглядом прилюдно: понятливая солдатка успела возненавидеть самодовольного, сытого служаку.

— Мы, пожалуй, заночуем у вас, Василь Сергеич, — изъявил неоспоримое желание сержант. — Утречком двинемся в скит.

— Оставайтесь. Нары не пролежите.

Обрадованная Марья, боясь выдать волнение, отвернулась к печке, облизнулась словно кошка на молоко.

За столом слышалось сопение, покашливание, стукоток ложек. Повариха оглядела семейку, увеличенную на три лишних едока, выпалила тоном приказа:

— После еды всем на плотбище. Кое-кому даже очень не мешает жирок растрясти.

— Намек понятен, — ухмыльнулся сержант. — Поможем, чем можем. — Он наивно верил: улыбки солдатки предназначаются ему. Повеселев, вздумал позабавить трудармейцев неправдоподобным рассказом. — В обской деревне Дегтяревке под Ильин день парня-гармониста громом стукнуло. Забросали его песком, думали отойдет. Дудки! Пульс не бился. Похоронили колхозничка без медицинского освидетельствования. В новый суконный костюм обрядили. Положили в гроб гармошку-неразлучницу. Дорогой костюм натолкнул пастухов на мысль раскопать могилу, стянуть с покойника одежду. Кладбище в сосняке было. Работали лопатами, обливаясь потом. Вот и гроб. Отодрали крышку. Шевельнулся покойник, чихнул от подземельной сырости и встал. Воры — не к столу будь сказано — шибко затяжелели от страха. Пустились наутек — в сапогах захлюпало. Не добитый громом удалец заявился с гармошкой в клуб. Девки и парни вальс под патефон танцевали. И вдруг знакомая гармонь «Барыню» заиграла. Воскресший гармонист задрал башку и отчитал опешивших колхозничков: «Не отгулял, не отпил свое, а вы меня отпеть поторопились... Эх вы!»

Рассказчик ожидал одобрительные смешки, но был ошарашен занозистым вопросом поварихи:

— Служивый, че у тебя уши вареные?

Насупился, засопел.

Первым из-за стола вылез обескураженный низкорослый сержант. Икнул, рассупонил круглое пузо сразу на две дырки широкого ремня. Походил он на пресс-папье.

— Супец у вас вкусный. Спасибо за обед.

—...Что наелся дармоед, — подхватила Марья и расхохоталась на весь барак. Построжела, безнадежно махнула рукой. — Кормить вас, соколиков, не надо. Шатаетесь по тайге впустую, не можете убийцу изловить.

— Пряткая какая! — напустился сержант. — Излови, коли опыт имеешь.

— Снимай наган, а ты бревна катать будешь. По снегам не можете бандитов настичь. По чернотропу подавно не найдете.

— Найдем!

— Бабка надвое сказала.

— Злыдня же ты.

Артельцы молчали, не вязывались в перебранку. Знали — тронь Заугарову — неделю не отмоешься.

—...Ищите-ищите врагов! — ворчала солдатка. — Тихонький богомолец Остах нес колхозу пушнину. Мы бы кое-какие деньги на трудодни получили. Кошелек без денег — кожа. У артели нищеты навалом. Купили бы сообща вола, да задница гола. Дадут муки на трудодень — хватит раз галушки сварить, поесть от пуза.

Легковесный ломтик хлеба, похожего на оконную замазку, так и остался лежать на столе перед молодым усатым милиционером. Укор поварихи помешал съесть частичку чьей-то пайки.

Насупленный сержант находился в глубоком раздумье: оставить группу на барачный постой или засветло добраться до скита? Ясно: от языкастой бабенки ему ничего не отломится. Отчего такая гордая и смелая?

Наверно, с председателем водит лесную любовь. Припомнилась сержанту нарымская частушка. Прокрутил в голове, поглядывая искоса на суетливую повариху: «Эх, милка моя, шевелилка моя. Сама ходит — шевелит, а мне пощупать не велит». Сейчас одно мое слово — и по коням!

Не торопился отдавать приказ. Дорога под вечер, дальняя, опасная. Можно напороться на засаду. Вспомнил: на последних учебных стрельбах выбил всего шестьдесят два очка из ста. Некоторые пули не в очко — в молочко ушли... Решено: остаемся. Солдатка помогла укрепиться в выборе:

— Ну, чего рты раззявили?! Марш на берег!

До плотных сумерек долетали с катища крики, мычание быков, дробный стук топоров, удары кувалды, забивающей в сваи соединительные скобы. Их саморучно отковала Валерия. У отца от сильного мышечного

напряжения в кузнице лопнул на лопатке шов, вскрылась рана. Дед Аггей пропитал тряпицу пихтовым маслом, наложил на кроваво-гнойный рубец.

Прибавка артельной силы на три случайных работника радовала председателя. Думал: «Скорее бы отмучиться с лесосплавом, отправить водным путем вызволенные из тайги сосны... Впереди новая мука — сев... Там подкатит сенокос... Хлеба запросятся на жатву. Опять почти все зерно попадет не в колхозный амбар — подметет его подчистую колочая метла безоговорочной хлебопоставки... Уберем турнепс, лен, картошку — снова обрушатся долгие снега. Зима покажет медвежью хватку. Придется опять объявлять безропотным тыловикам знакомый клич: на лесоповал!.. Когда разорвется это выкованное стальное кольцо — война — тыл — война?»

Перед ужином мужики сидели на лавках, нарах, курили, вели негромкие разговоры. Павлуня сходил к Пурге, подбросил в кормушку сена. Сержант чистил наган. Завороженные парни не сводили глаз с личного оружия. Осторожно притрагивались к потертой кобуре.

Вечер еще сохранил в пределах земли остатки нехотя убывающего света. Задумчивая Марья без разрешения гостей запрягала в водовозку гнедого сытого жеребца. Упрямылся, не становился в оглобли. Задирая голову, норовил цапнуть за плечо.

— Тпру, скотинка! Не изработалась! Жваркну промеж ушей — до срока полиняешь.

Повариха ждала появления черноусого. Верила: выйдет. Ведь, покидая барак, примагнитила его открытым, зовущим взглядом. Марья выискивала в парне черты, схожие с Григорием Заугаровым: ростом вышел в него, усы, правда, погуще... нижняя губа такая же розоватая и немного отвислая.

И он вышел. Одернув под зеленым бушлатом гимнастерку, потянулся с легким побрякиванием, пошагал к водовозке. Потрогал старую шаткую бочку.

— Не свалится?

— Вода придавит, — ответила с ухмылочкой солдатка. — Ведро держать не разучился?.. Тогда пойдем, поможешь начерпать.

От приречного барака Марья уводила свою злую судьбу, давно задуманную войной и тылом, подстроенную обманными, томительными сновидениями. Шла близко от хлопца, задевала бедром и плечом. Он смело, уверенно вложил тонкие, холеные пальцы в ее грубые, натруженные. Они враз соединились в крепкий желанный спай.

Развернув возле Вадыльги уросливого коня, Марья держала его за холодное кольцо истертых удил. Помощник опрокидывал полные ведра в квадратный зев неустойчивой бочки. Руки дрожали: побрякивала дужка порожнего ведра в просторных дырках измятых ушков.

Кольцо удил быстро нагрелось от горячих пальцев возницы.

— Давно вырядился в форму?

— Первый год ношу. Не нравится?

— Она тебе идет, как корове седло. Шучу. Подходящая одежда. На пузаны плохо сидит.

Марья пыталась играть роль разбитной бабенки, с каждой минутой ощущая скованность голоса. Даже в наступившей темноте она физически ощущала удавий, завораживающий взгляд водоноса. Приятным голосом он сообщил:

— У военкома на фронт трижды просился... Вот в органы угодил.

— Ну и служи.

— Ты... ззамужем?

Солдатка пропихнула воздушный комок в горле. Оглянувшись назад, на взвоз, проговорила заговорщицки:

— Не имеет значения...

На непослушных ногах направилась навстречу оробелому парню.

Вечер был расслабляюще-теплый, малозвездный. От вороха пихтового лапника, заготовленного на веники, сочился смолистый аромат.

Из предночной густеющей синевы нахально воззрилась и подмигивала крупная лукавая звезда...

После ухода на войну Онуфрий часто впадал в тяжелые раздумья. Неужели навсегда покинул тихий благодный мир нарымского скита? Неужели не суждено будет вернуться живым-здоровым? Оторвали от икон и лампадок. Насильно разлучили с родичами. Охальничают над свободой. Когда наступит конец роковому гонению?

Не зря запасался впрок кремневым терпением. В окопах, землянках ратоборцам отвечал сквозь зубы, отделялся кивком, хмыканьем, вялыми жестами. Явь войны предстала жутью артобстрелов, громом танковых колонн, заполосным ревом самолетов. Онуфрий желал скорейшего замирения противостоящих армий, избавления от кровопролития. Тогда сможет отшвырнуть вверенную винтовку, возвратиться на Пельсу. Грезился вождеденный мир и покой земли.

В прифронтовой полосе шла напряженная подготовка. Подтягивались самоходные орудия. За крутыми холмами под маскировочными сетками таились до поры до времени танки. Непрерывными потоками шли пехотинцы, саперы, санбатовцы. Солдат с содроганием рисовал в воображении черную картину первого боя. Скоро предстоит стрелять во врага, колоть штыком, охаживать прикладом. Вокруг идут разговоры: германские чужеземцы первыми напали на нас. В это верится. По твердому убеждению старовера, нет на свете никого миролюбивее россиян. Скитники принадлежали к этой великой спокойной нации. Куцейкин только недоумевал: почему под родными небесами Руси свершается насилие над духом, свободой и верой. Легче, отраднее жилось под покровительством всевышнего, чем под надзором проницательных чиновников. Они проявляли главную заботу не о душах — о подушных налогах. Забирали мед, меха, орехи, ягоду, масло. Тяжкой подачью обкладывали обитель. Староверцы говорили: можете забрать все, но что в нас, то останется с нами навечно.

Любовь и благоговение к отцу небесному возгорались все ярче. Онуфрий не ведал, что на его земле давно наречен свой отец народов. Солдаты и командиры постоянно упоминали звучное библейское имя. Куцейкину ясно предстала страница зачитанного Бытия, имена двенадцати сыновей Иакова, рожденных в Месопотамии. Среди них — Иосиф, Иуда, Иссахар. Приходилось слышать от старцев: русской землей правит Иосиф-грозный, властный, мстительный самозванец. Настоящего, Богом посаженного царя, давно гнусно предали, расстреляли со всей семьей. Разбойничий захват престола, свершение дикого насилия над самодержцем давали полное право презирать Иосифа — на крови. Таежные затворники не упоминали его в молитвах и проповедях во здравие.

По своему стойкому разумению Онуфрий считал: все войны первыми начинают цари, затем втравляют в них неповинный честной народ. Под внешним смирением солдат испытывал негодование к московскому правителю — главному виновнику того положения, в каком оказался угнетенный скитник с речки Пельсы.

С газетных полос, листовок глядел насупленный вождь. На многих фотографиях во рту торчала неразлучная трубка. Онуфрий стал питать в табашнику еще большую неприязнь.

Закрывал глаза, отсекал видения войны. Вставляли иные желанные картины: таежное разнотропье, болотья, усыпанные ядреной клюквой, глухариные, тетеревиные токовища, кедры в два обхвата... Вот идут по охотничьей тропе братья. Худенький Остах замыкает шествие. Первым пробирается сквозь чащу Орефий: чуток и осторожен... Зачем разлучили с ним на сборном пункте? Терзайся теперь за упрямого старшего брата. Убежденно шептал при разлуке, словно твердил давно заученную молитву: «Все равно сбегу из ада. И ты, Онуфрюшка, беги при первой возможности. Нет страшнее грехопадения, чем умерщвление друг друга...»

Куда сейчас сокроешься от взаимного убийства? До передовой рукой подать. Сбежал ли братец? Пугают командиры страшным военно-полевым судом, скорой расправой за неповиновение и дезертирство. Неужели неумного Орефия клонет в лоб своя пуля?.. Храни тебя осподь, брат мой, веры единой, сбереженной веками.

Для Онуфрия дорога к войне была железной. Щелястую теплушку трясло, шатало. Спотыкались на стыках колеса. Листая от скуки иллюстрированный журнал, купленный кем-то на уральской станции, скитник так и впился глазами в репродукцию с картины «Боярыня Морозова». Сначала заворожила не главная фигура, а сидящий на снегу нищий с массивным литым крестом на груди, с головой, повязанной платком. Поднятые на уровне лица два перста красноречивее слов говорили о принадлежности к древней вере. На широких розвальнях восседала гордая женщина, закутанная в черное одеяние. Страдала с цепью на руках вровень с толпой зевак вознесла два пальца — символ приверженности к гонимой, старообрядческой пастве. «Наша», — вымолвил тихо Онуфрий, погладил ноги боярыни, слежалую солому, торчащую над полозьями саней. В знак полной поддержки отверженной мученицы скитник двуперстием поддержал увозимую куда-то особу.

Новобранцы бесцеремонно отрывали от журнала полоски на самокрутки. В теплушке не выветривался стойкий махорочный чад. Куцейкину приходилось держать нос у щели над нарами: в нее струились запахи жнивья, дыма, палой листвы, смоченной затяжными дождями.

Табашники могли изорвать на «козьи ножки» несломленную единоверицу. Онуфрий незаметно вырвал из журнала цветную картинку, спрятал за пазуху.

С таким охранном листом окопная жизнь не казалась докучливой, нудной и беспросветной. Извлекал нагретую телом бумажную иконку, подолгу глядел на закованную в цепь таинственную боярыню. Привычные к постоянной мольбе пальцы сливались воедино. Гонимая на расправу женщина и гонимый войной солдат искренне благословляли друг друга на стойкую непоручную веру, адское терпение и святое подвижничество.

Было время убедиться: между мирской и скитской жизнью глубокая пропасть. Вслушивался в росказни, байки, анекдоты, дивился людскому безверью, озлобленности и равнодушию. Бога поминали, конфузя и унижая. Неужто миряне совсем отбросили стыд, боязнь, почитание своего заступника? Чем живы они? Почему, принимая хлеб насущный, не помянут добрым словом того, кто дал пищу и свет, кто утоляет жажду тела и души? Ведь с такими вероотступниками предстоит идти в бой.

Сводки приносили безрадостные вести. Пехотинцы бодрились, балагурили. Некоторые сидели угрюмые, насупленные, словно недавно оплакали на похоронах родственников.

На стрельбище под Томском братья Куцейкины удивляли командиров высокой точностью выстрелов. Им пророчили снайперское подразделение. Но и кроме староверов было достаточно сибиряков, кто метко решител фанерных фрицев.

К охотничьему ружью, провианту Онуфрий относился заботливо, бережно и любовно. С боевой винтовкой-заступницей подружиться заставила судьба. Поглаживал приклад, вороненый ствол. До блеска вычистил затвор. Частенько трогал пальцем мушку, словно проверял — крепко ли она посажена на обрезе ствола.

Идя заламывать медвежью берлогу, он не испытывал такого сердцебиения, такой накатной тревоги, какую ощущал перед опасностью первого боя. Удручало и другое: слишком мало выдали каждому пехотинцу патронов.

В ясное морозное утро началось невообразимое: с нашей стороны открылась упреждающая артподготовка. Вой снарядов, гвалт орудийных глоток сливались в крутую волну. В хаосе звуков тонули матерки, одобрительные крики бойцов. Вместе с другими кричал и Куцейкин, поднимая кулаки, грозя в сторону затаенного врага. Казалось, после такого шквала огня, такой дружной молотьбы вряд ли останутся боеспособными укрытые силы противника. Канонада длилась долго. К Онуфрию стал даже подкрадываться сон. Мягким и теплым заволакивало память, но руки находились в дозоре и крепко сжимали винтовку за холодный затвор.

Орудия смолкли. Над скованной землей несколько мгновений постояла переливчатая тишина. Из передних окопов покатило дружное, громкораскатное ур-р-ра. Земля проросла серыми ростками пехотинцев. За первыми всходами появились другие. Холмистая Среднерусская равнина отдала себя во власть бегущих защитников. За спинами остались насиженные окопы. С Куцейкина мигом слетела сонливость, улетучилась оторопь. Хайластый клич одноротников торопил вперед. Рябоватый безусый боец в пыли наступления задевал бок староверца отомкнутым штыком. Пришлось отшатнуться вправо, обогнать хиленького рядового. Каска с его головы съезжала набок. Выравнивал и подтягивал дрожащими пальцами непослушный ремешок.

Впереди с обоих флангов вспарывали землю наши танки. Завиднелись силуэты вражеских бронированных машин. В дымной пелене замаячили пятна мотоциклов: из некоторых пулеметчики открыли по нашим бойцам секущий огонь.

Земля терпеливо сносила взрывы снарядов, мин, взметывалась уродливыми фонтанами.

В глубину ушных раковин Куцейкину нашептывали свыше: доверься моей воле... пройди сквозь вражий строй, аки через сухостойник на болоте... Кругом ложило наземь одноротников. В бегущих рядах образовывалась заметная брешь.

Недавно выбежали из окопов разорванными звеньями длинной цепи. По мере наступления солдат невольно сливало в кучки: включалась в действие магнитная сила притяжения, спайки, взаимовыручки. Стремилась почерпнуть друг в друге обменный заряд мужества, отваги, уверенности в благополучном исходе сражения.

Танки били прямой наводкой. Беспощадная дуэль была особенно захватывающей на левом фланге. Онуфрий видел: наш горящий танк повернул на скопление фашистов, произвел заметную прогалину. На полной скорости гонялся и давил врага до тех пор, пока объемное пламя не охватило всю броню и не раздался глухой взрыв.

Подвиг танкистов заставил содрогнуться сердце. Огонь взрыва ослепил дотоле не виденным ярчайшим светом. Мгновенно оборвались чьи-то геройские жизни... за свой народ, за землю, за Москву... за далекий скит в заснеженном Понарыме.

Падали пехотинцы, подкошенные пулями, осколками и судьбой. Куцейкин не зря расслышал глас небесный: заговоренный от вражьего металла и огня продолжал бежать, приглядываясь к спешащему навстречу врагу. В неразберихе боя велась непрерывная стрельба, взрывались гранаты. Впереди разгорались ярые рукопашные схватки.

Мотострелки поливали из пулеметов шквальным огнем. Припав для устойчивости на правое колено, Онуфрий выцелил водителя мотоцикла. Винтовочная мушка прыгала, не желая сливаться с прорезью прицела. Сделав глубокий успокаивающий вдох, медленно выпустил горячий воздух.

Мотоциклет прыгал по исполосованной танками земле. Дюжий широкогрудый фашист лихо вел низкопузую машину. Куцейкин ловил на мушку грудь. Представил на миг: целится под лопатку матерого лося и медленно нажал на спуск. Зверь сник. Несколько секунд мотоцикл удерживался бессознательной силой. Грузная фигура водителя свалилась влево. Колесо коляски, утратив прямизну пути, повисло в воздухе. Вращалось по инерции, сбрасывая с шины куски грязи. Стрелок пытался вернуть машине боевое положение. Вторая, такая же уверенная пуля Онуфрия вмиг уложила пулеметчика.

«Осподи, прости согрешения невольные...» — бормотал в горячах боец, вытаскивая из подсумка свежий патрон. За пазухой в тепле хранилась закованная в цепь двуперстница. Старовер приписал свою первую удачу боярыне и гласу, долетевшему с небес.

Пехотинцы мигом завладели трофеем, превратив в свою огневую точку: безотказный пулемет щедро валил набегающего врага.

После выигранного боя рота не досчиталась многих. Проходя мимо мертвецов, Куцейкин крестился, шептал обрывки молитв. Недавно опрятная холмистая равнина была завалена грудой раскоряченной техники, покрыта трупами, касками, осколками, гильзами, щепой от разнесенных взрывами повозок. Всматриваясь в лица убитых фашистов, солдат с Пельсы не мог найти в них особых отличительных черт. Другая форма. Другие каски. Другое оружие. Вот и все. Скрюченными, распластанными, изуродованными лежали простые смертные простой безгрешной земли. Грехи творили люди. Земля сносила пытки и муки. Она сейчас переживала трагедию битвы, видела самое постыдное человеческое падение.

Староверец вопрошал небеса, посылал туда неистовые слова покаяния: «Осподи, зачем завлек меня в ад — в дикое мерзкое побоище? В чем вина моя? Никогда не был твоим послушником. Никогда не примыкал к стану неверушей... Готов принять любую кару, вымолить прощение за принудительный грех. Творю невольное злодеяние по указу новоявленного насильника Иосифа... Прости меня, осподи, прости ради войны, падшей на русскую землю...»

От подбитого танка со свастикой несло текучим теплом и смрадом. Из распахнутого люка обгоревшими головешками торчали руки. Левую гусеницу разворотило снарядом. Валялись по сторонам покрытые копотью траки. Онуфрий пристально смотрел на странный клюкообразный знак. Оплавленная краска делала крест еще более непонятным и безобразным.

Заметили меткое попадание Куцейкина в пулеметчика и водителя мотоциклета. Удачно захваченный трофеем уложил на русской равнине много врагов. Командир роты похвалил снайпера.

— Грех большой на душу принял, — ответил на благодарность солдат. — Мне ведь только сохатых и медведей мертвить приходилось. Крупнее зверя не знал.

— Грехи и дальше отлично, — разрешил командир. — Этих зверей на твою душеньку еще хватит. Все наши большие и малые грехи победа подчистую спишет.

Линия обороны продвинулась далеко вперед. Бойцы обживали захваченные землянки, блиндажи. Принаравливались к трофейным орудиям, оставленным впопыхах при отступлении. Удивлялись крепости и надежности долговременных огневых точек. На этом сражении наша армия поставила крупную точку.

На воюющие армии русская зима надвигалась не короткими перебежками. В пробном облете закружились нетерпеливые хлопья снега. Лыжные батальоны сибиряков и уральцев томились ожиданием первопутка, сигнала к наступлению. Здоровяк Куцейкин с двумя хантами-зверовщиками вернулись из ночной разведки с важным языком. Полученные от него ценные сведения помогли узнать обстановку в стане врага: с запада подтягивались свежие танковые и стрелковые дивизии, готовилось решительное наступление. Во время разведывательной операции не обошлось без перестрелки. Коренастого охотника-промысловика сильно ранило в локтевой сустав. Плотная ткань необношенного маскировочного халата даже в ночи затемнела кровавым пятном. Уйти от погони помогла группа прикрития.

Понемногу в Онуфрии пробуждалось чувство фронтового братства. На передовой постоянно проповедывалась военная стойкая вера — в разгром врага, в неизбежную победу. С непогрешимой верой в бога легко уживалась многогрешная вера, сеющая несчастья и смерть. Порушен недолговечный мир, покой нарымского скита. Разлучен с братьями, родителями, тайгой. И староверцев достала когтистая лапа войны, вырвала из укромого угла, перенесла в надземное адище.

Приходилось принаравливаться к шумному братству пехотинцев, к непривычной обстановке неустроенного солдатского существования. Отовсюду выпирало суровое Бытие Войны. Были свои апостолы-командиры, безоговорочный армейский устав: он не мог заменить молитвенник.

В землянке Онуфрий выбрал местечко поближе к двери. Холоднее, зато не так разило спертым табачно-портяночным духом. Шумные солдатские тары-бары, лешачий хохот заглушали гудение печурки и скрип дверных шарниров. С бревенчатого накатника осыпались крошки земли, отслаивалась от тепла кора, шлепалась на устланные соломой лежанки. Ночами в промежутках сопения и храпа доносился шорох жуков-древоедов. В землянке мечталось об охотничьей избушке. Захотелось туда, на топчанок, покрытый духмяным пихтовым лапником. Загудела бы весело печурка, радуясь возвращению опытного соболятника и медвежатника. Все прекрасно в том скрытом таежно-болотном мире — лосиные углубные тропы, успокаивающий шум хвойных куполов, перестук дятлов, чистый след за охотничьими лыжами, глухарино-тетеревиные токовища, бордовый разлив брусники по вырубам.

От далеких предков сохранилось предание: род Куцейкиных начался на Соловецких островах. Гонители веры не давали покоя. Сокрылись во лесах псковских. И оттуда встревожили власти. Примкнули к какой-то переселенческой ватаге, захоронились в ските за Уральским хребтом. Принудительно кочующей братии не давали житья и в загорье. Подыскивали новую глухомань, куда бы не добрались любые ищейки. Понарымье

оказалось пригодным краем. Добровольная ссылка в последнее прибежище оказалась самой продолжительной, но и сюда — в далекую, холодную, комариную окраину нагрянули сперва миряне-простолюдины, затем упитанные законохранители при наганах и погонах. Власть от бога староверцы признавали в обязательном порядке. Власть от черта признавать не хотелось. Надоедливая власть попирала свободу, дух и веру. Что ей нужно было от горемычных старообрядцев? Кроме владыки бога ими издавна управлял господарь-труд. Они были привержены к нему крепче пронесенной сквозь века веры. Руки запросили дела раньше, чем душа молитвы. Они учились усердию у пчел, издавна почитали старательных божьих птичек. Бортничество всегда было для скитников самым излюбленным занятием...

О многом думалось Онуфрию во временном скученном жилище.

Никто не ожидал ошеломляющего налета вражеской авиации. Слитным строем эскадрильи тянулись к столице. Несмотря на интенсивный заградительный огонь зенитных батарей, бомбардировщики прорывались в московское небо. Эти самолеты, выполнив хитрый обходной маневр, развернулись и обрушили яростный груз на наши позиции.

Еще не спустилась вечерняя темь. Первые звезды успели заявить о себе скромным переливчатым светом.

Неподалеку от землянки шарахнулась бомба. Тугой, обрушной волной обдало дверь, с треском вдавило вовнутрь. Зашевелился накатник. Густо посыпалась земля. Загремели поверху куски мерзлой земли и осколки бомбы. В зияющий пролом двери потянуло гарью и снежной пылью. Куцейкин отвернулся к земляной стенке, перекрестился. Смелчаки выбежали из землянки разведать обстановку. Наши истребители вели воздушный бой. Чья-то обреченная машина падала наклонно в сторону Волоколамского шоссе: даже в сумерках виднелся клубящийся дымовой шлейф.

В землянке не паниковали. Вновь зажгли потушенную взрывом коптишку. Допивали чай. Обминали высохшие портянки. Поругивались на самолетную облаву. Верили: пронесет и эту напасть, не случится прямого попадания в землянку.

От проема тянуло холодом. Куцейкин натянул сапоги, пошел наладить дверь. Выправил торцом саперной лопатки погнутые шарниры. Вой самолетов и грохот бомбежки не ослабевали. Пехотинец вышел под звезды, завернул на минутку за земляную насыпь. Ее изрядно разворотило взрывом, торчали измахранные торцы соснового накатника.

В небе творилось светопреставление. Казалось, рушилась вся вселенная и смиренная земля принимала на себя страшную ношу глобального разрушения.

Недалече — вроде за самой спиной — полыхнул огнем и смрадом новый разрыв: ловко и скоро увернулась из-под ног земля. Куцейкин шлепнулся ничком в бугристый снег. Сдирая ногти, пополз к узкому зеву землянки. Град осколков лихо испарывал рядом твердый суглинок. Близость смерти заставила в полный притиск прижаться к земле-спасительнице.

В затылок ударила опаляющая боль: ее нельзя было перемочь. Огарком свечи погасло сознание. Отключились от движения ноги. Но скрюченные пальцы рук продолжали цепляться за родную, теперь безучастную земную твердь.

Медсанбатовцы не надеялись вдохнуть жизнь в смертельно раненного бойца. Глубоко проникающее осколочное ранение в затылок не сулило возврата в реальный мир. Спасла дьявольская живучесть сибиряка, его толстая черепная кость. Сутулый рукастый хирург не встречал в личной обширной практике подобного уникама.

Осколок проломил кость и смял, ополовинил память. В госпитальной палате Онуфрий непонимающе тарасил на всех блуждающие глаза, силился восстановить в сознании происшедшее. Наплывали туманные, разрозненные видения. Адская боль в голове не позволяла сосредоточиться. Но по памяти веры двуперстник не забывал накладывать на себя оградительные кресты. Иногда его спаситель вырастал в могучего исполина, подпирающего головой маковку небесного свода. Куцейкин не мог бросить даже тени обиды на него. Тяжело ранило — значит так было угодно ему и судьбе. Остался жив, идет на поправку. Врачи втолковали сразу: отвоевал.

Однажды вспыхнула мысль о боярыне Морозовой. Ощупывал потную застиранную рубашку, мычал, показывая на грудь. Хирург успокаивал: ничего, контузия постепенно пройдет, не будешь бредить.

Долечивался в Томском госпитале. Понемногу возвращалась память. Начал говорить картаво, сбивчиво, но понятно. Не унывал от вынужденного безделья. Из собачины сшил медсестре ладную шапку. Починил растоптанные тапочки. Точил кухонные ножи. Перестелил пол в кастаньянной. Подолгу тюкал в столярной мастерской топором, шурушал рубанком: ремонтировал табуретки, прикроватные тумбочки.

Из других палат тянулись любопытные поглазеть на диковинное дупло в затылке. Бесцеремонно шастали возле крепкоголового мужика. Соседи по палате подговорили Онуфрия брать с ротозеев за погляд ранения

табачку на закрутку. Фронтовик, не терпящий куряк, согласился: коечное братство было сродни скитскому. Тоже отличалось сплоченностью, единоверием в добро и счастливый случай.

Война слегка пошатнула старую веру.

Мирская суетная жизнь теперь не казалась напрочь отверженной, гнилой и порочной. Иная вера нахлынула с самого ухода на фронт, прокрутилась перед глазами назойливыми видениями, обдала стойким духом словоблудной мирщины. Стало закрадываться сомнение в непогрешимую власть спасителя небесного. Не жаловал осподь свою бессчетную паству. Ее зарывали в братских и одиночных могилах. Она тонула на речных переправах. Горела в танках и самолетах. Ее заживо душили в газовых камерах. Да и тут, в палатах, беспрерывно маячили броские язвы войны. Лежали безрукие, безногие. Обезображенные пулевыми и осколочными ранениями. Слепые, обожженные, контуженные, хватившие крупозное воспаление легких.

Не сразу открылись глаза на неисчислимые страдания земли и беззащитных мирян. Неужели вседержитель безучастен и холоден к людям и за хлопотами небесными не торопится снизойти до забот земных.

После тяжелого ранения накатывалось тупое безразличие к происходящему вокруг. По госпитальным коридорам ходил вразвалочку, задевал ногами чьи-то костыли. В столовой вяло ковырялся ложкой в нежирной каше. С пуза скатывались широкие пижамные брюки, края штанин волочились по полу. Из пролома черепа торчал хохолком клочок слежалой ваты.

Стали раздражать смешки, кашель, стук костылей, смачные удары доминошных костяшек. Не выносил мычливых, бессловесных песен, особенно стонов. Глотал на ночь снотворные порошки, но все равно подолгу не приходило желаемое забытье. Сон все же одолевал истерзанного душой и телом человека. Нередко являлись мутными наплывами братья Остах и Орефий. Виделся обжитый мирный скит, старец-долгожитель и лесные тропы. Часто вспоминал бойцов-одноротников и случай, когда впервые пришлось опалить рот водочным питьвом. После рукопашного боя поминали убиенных. На ужине в легкие помятые кружки разлили поминальный пай, положили по дольке хлеба. Не было рядом многих защитников, обреченных на вечный покой. Стояли недвижно широкодонные кружки с водкой и хлебом. Слегка подрагивали кружки в руках пехотинцев. Подчиняясь общему солдатскому порыву, единству и долгу, помимо воли своей неторопко опрокинул в рот огнистый напиток. По горлу будто протянули ежиком для чистки ламповых стекол. Стерпел, задушил кашель пропущенной слюной. Ослушник не казнил себя. Слишком острой была грань между жизнью и смертью. Хотелось хоть немного сточить ее поминальной водкой, погоревать за оконченную судьбу одноротников.

Из скитского захолустья Онуфрий окунулся в кипящий мир. Впервые увидел мосты, паровозы, высокие дома, скопище людей. Гром войны потряс и оглушил. Во взводе внушали: твоя вера, братец, малопригодна для современной житухи. Уповать на небесные силы — значит быть разбитым в пух и прах.

— Бог тоже помогает разить врага, защищать землю русскую, — добавлял Куцейкин. — Осподь ведет незримую битву за нас, дух поддерживает. Если останусь жить — буду предковую веру блюсти да предковое дело длить...

После смерти святого старца Елиферия обитатели скита осиротели. Убийство ангелоподобного Остаха внесло новую тяжелую смуту. Незадолго после ухода скитника сорвалась и разбилась в молельне лампадка из зеленого стекла. Предзнаменование ожидаемой беды свершилось. Маячили по выстуженным комнатам неприкаянные старушки, шамкали беззубыми ртами. Таращили на иконы плохо видящие, слезящиеся глаза. Шепотили несурязицу молитвенных слов: меркла память, не удерживала когда-то знаемые на зубок страницы староверческих книг.

Светлоголовые отроки в длинных холщовых рубахах прогуливали стариц, боязливо держась за ледяные костлявые руки.

Большим хозяйством правил одноглазый послушник. Помогали отроки да Фросюшка-Подайте Ниточку, взятая на попечение в скит.

После полуден она увидела за воротами странного путника в мятой длиннополой шинели. Пугаясь всех начальников, милиционеров и военных, Фросюшка грохнулась оземь, задрыгала ногами. Онуфрий узнал в Больших Бродях о новой обитательнице скита.

— Поднимись, милая...аль, Куцейкина не признала?

— О-нуф-ря, это ты?

— Ну да. Скричи всех — встречайте бойца.

Онуфрий помог встать. Ухватилась за полу шинели, заплакала с подвывом. Так и зашли в скитский мирок вместе: плаксивая тощая баба и списанный с войны по тяжелому ранению солдат.

Во весь пылающий глаз старался разглядеть пришельца обрадованный послушник. От усиленного напряженного взгляда расщеливался поврежденный глаз, обнажая красную, мясистую полоску.

— Господи! Благодать-то какая свалилась! Невмоготу править хозяйством. Помощник явился... У нас горе за горем. Старец Елиферий почил. Братец твой убиенный в землице сырой.

— Знаю. В Больших Бродах поведали.

Сник, поугрюмел солдат. Его даже качнуло от вновь услышанной вести, будто резко бросили на плечи тяжелую ношу.

— За что осподь ниспосылает страдания?

— Про Орефия ничего не слыхивал?

Одноглазый посветлел лицом, наклонился к самому уху солдата. Обдавая крутым запахом редьки и чеснока, прошипел:

— Ту-та он, ту-та. В избушке на Медвежьей гари сокрыт.

Витающий в райцентре слух подтвердился. Загорячило в груди от приятной вести. Не одинок Онуфрий, остался старший брат. Хитрость таежника, охотника помогла сбежать с фронта, миновать военные комендатуры, патрулей. Удалось обойти глазастые власти.

Никого не посвящал одноглазый в глухую тайну о беглом Орефии. Пусть будет неведомо Фросюшке-сиротке и отрокам о ночном посещении скита мучеником войны. Теперь он отсиживается, отлеживается в надежном местечке. Люто возненавидев людскую бойню, бьет тайком лосей, подкармливает отошалуу скитскую братию. Является и уходит в буранивое время: мягкий, колдующий снег хоронит лыжню. Не раз милицейский сыскной наряд кружился вокруг скита, стремясь подрезать следы. Вокруг лежала ровная пышная бель, испятнанная лапами лисиц, зайцев, соболей. Растекалась меж стволов чистина на множество исхоженных верст. Снега не метили тайну. Скоро осподь поддернет повыше солнышко, оно расплавит сугробы, сольет в Пельсу, Вадыльгу, напитает озера и мшистые топи. Не выдали беглеца снега, черные тропы не выдадут и подавно.

Не узнавая Онуфрия, беспамятные старицы глядели на него сощуренными, предмогильными глазами. Отроки, вытерев пальцы подолами рубак, по очереди щупали на затылке солдата глубокую рану. Ввел в нее палец и одноглазый послушник. Вокруг вмятины волосы не росли: она смотрелась небольшим птичьим дуплом.

— Нутро головы знобит, — делился плачевным положением Онуфрий, так я прострел пробочкой затыкаю.

На столе лежала бутылочная пористая пробка и лента противогазной резины, поддерживающая затычку.

Сбереженный судьбой и молитвами боец развязал потертую котомку, высыпал на толстую столешницу дорожные гостинцы. Брякнулись консервные банки, куски рафинада. Выпали новые стельки, мотки ниток, сухари. Сверху лег сложенный рулончиком отрез парашютного шелка. Сияющая полоумка схватила материю. Намотав вокруг себя, закружилась, запрыгала по комнате. Мальцы лизали рафинад, ревниво поглядывая — чей кусочек больше. Скитский батрачок тарачил въедливый глаз на красивую банку трофейной тушенки: с броского рисунка умильно улыбался розовый, толстобокый поросенок.

После смотрин затылка и содержимого котомки Онуфрий ловко вдавил пробку в дуплецо, натянул противогазную резину. Из кармана шинели достал немецкую зажигалку в форме солдатского сапога, высек пламя. Одноглазый перекрестил себя. Отроки отпрыгнули и отгородились руками. Фросюшка-Подайте Ниточку захлопала в ладоши. Только раскосмаченные старицы-истуканши стояли недвижно, неморгающе смотрели на какую-то новую незнакомую лампадку. Остальных скитян огонь поразил мгновенностью появления из ничего. Сверкающей крышечкой Онуфрий потушил бескопотное пламя. Протянул волшебный сапужок одноокому староверцу.

— Возьми — дарю. Спички заменяет.

Работник отказался от дьявольской игрушки.

На зажигалке искусный гравер нанес аккуратной вязью необычный наказ. Дав перевести текст командиру роты, сносно говорящему по-немецки, хозяин трофея узнал суть надписи: Отто, подпали Сталину усы. Не удалось Отто воспользоваться огоньком чьего-то подарка. Лежал у лафета изуродованного взрывом орудия, вокруг валялись фотокарточки голых фрау и блестела среди пустых снарядных гильз эта зажигалка-сапог. Из безобразной раны на виске вражеского артиллериста толчками шла кровь, вздымались и лопались крупные багровые пузыри.

Пугающей могильной немотой веяло от продымленных стен укромной обители. Боец успел отвыкнуть от толстопузых книг, превосходящих давностью петровскую эпоху, от молельни, где каждая вышарканная половица лоснилась даже при сумеречном свете полуживых лампадок, от тесной галереи икон под высоким потолком из колотых прямослойных досок. Возвращение из ада войны не наполнило душу обновляющим светом, словно там истлел ненужным огнем последний фитилек. Пробковая затычка не могла заменить черепную кость и ткань головы: временами обрушивались давящие боли, просекающие все мозговые извилины, туманящие рассудок. Приходилось сдавливать виски, заглушать ладонями лязг и грохот в раненой голове. Война, страдания, госпиталь, мирская поучительная явь помаленьку отлучали от веры, от пользы молитв. Осподь все же незаметно терял владычество над телом и духом. Смутная заповедь: не убий — заволакивалась

туманом отмщения и расправы над врагом. Онуфрий и не заметил, когда сгорел, развеялся прахом на полях сражений соломенный град надежд на упование всевышнего. Изнанка дичайшей войны научила иной заповеди: уповай на себя, на бегущих рядом друзей. Уповай на руки, держащие оружие, на ноги, переставляющие по беспощадным дорогам грузные от грязи сапоги.

Даже не поев с дороги, солдат завалился на ту кровать, где провел последние предсмертные дни старец Елиферий, и заснул глубоким, провальным сном.

Под старость лет Аггей поднаторел в нарымской бойкой словесности. Буквопись учил по ликбезу. Расписывался крупно: фамилия занимала бумажное пространство размером с гороховый стручок. Читал мычливо, медленно — такая тягомотина сердила старуху-спорщицу. Обида накапливалась в Аггее долго, как в бочке вода от сеногнойного дождика. Разрывалась бомба почти всегда от одного и того же запала. За обедом, чаще за ужином, хозяин, смочив языком деревянную ложку, бухал бабку по лбу и выносил давношнее обвинение:

— У-ух, стерва, как вспомню, что не девкой досталась — аппетит рушится.

— Дурень! — давала отпор жена, — нашел время память истязать. Хвачу поварешкой по плешивой башке — забудешь молодость.

— Нетушки, не забуду. С кем в овине щупалась, а-а?.. Молчишь. Нечем крыть.

Аггей садился на массивный, окованный по углам сундук. Раскрывал на заветной странице церковный устав Ярославов. Возглашал серьезным поповским голосом:

— Слушай, старуха, главу из строгого устава. Называется она «О блядни». Аще кум с кумою блуд творит — митрополиту двенадцать гривен... Аще жидовин или бесерменин будет с русскою — митрополиту пятьдесят гривен... Аще кто назовет чужу жену блядию, а будет боярская жена — пять гривен злата, аще отец с дочерью падется — митрополиту сорок гривен... Кто с животною блуд сотворит — двенадцать гривен...

— Бесстыдник! — ополчилась старуха. — Мусолишь одно и то же... Молись, что живу с тобой. Я вожусь, подштанники полощу... Возьми, дубина, прялку почини, чем язык чесать. Экая невидаль не девкой ему досталась. Весь скус, когда лопнет мак, из головки семян натрясешь.

Медленно, деловито читал Аггей ценник взимаемых штрафов за разный блуд. Дочитав до конца, положил на нужной странице матерчатую закладку. Закрыл церковный устав, погладил кожаный золотистый переплет. Встав с сундука, почесав козлиную бородку, забазлал залиvisto и самозабвенно: «Меня сватали за целку добрые родители. В эту целку входит церковь и попы-грабители».

— Мало тебя на полях изводили. Еще одну крутую зиму надо напустить на мово паршивца.

— Погодь чуток. Скоро крутая смерть даванет — места мокрого не останется.

— Об одном прошу заступника: мне бы поперед тебя в землю уйти.

— Не он очередностью правит.

— Наказываю, старик: пусть цыганка Валерия не обмывает. Глаз у бабы дурной. И на мертвую порчу наведет.

— Болтай! Кума хоть и нерусь, но ты ее не забижай. В кузне кует — железо пищит.

— Вот-вот: бабское ли дело подковы, скобы гнуть? Нечистая сила подсобляет.

— Откуда в кузнице чистой силе взяться? Копоть, сажа, окалина. Пойду Панкратия проведаю — плох мужик.

В избе кузнеца гвалт, смех, дым коромыслом, хоть ведра вешай. В простенке висит керосиновая лампа, поливает горницу смурным, дрожащим светом. Сидят за столом в обнимку три фронтвика: цыган, однорукий Запрудин и Онуфрий. У старовеца помимо прочих наград тускло поблескивает медаль «За отвагу». Хмельные мужики потягивают бражку.

— Мы лесу мно-о-ого сокрушили! — гордится бригадир-стахановец. — На, цыган, мой кулак единственный. Попробуй, разожми... Валяй-валяй! Да ты не стесняйся, через колено ломай... Ага, пот прошиб.

— От ран слабота в руках.

— Теперь ты, Онуфрий — древняя душа. Жми!

Могутный старовец без натуги разжимает кулак Якова, сует в ладонь луковицу на закуску.

— Вот черт! — сокрушается Запрудин. — Вытекла сила на полях.

Приходу Аггея рады. На лавке находится местечко возле хозяина. Кума Валерия, остячка Груня услужливо пододвигают капустку, картошку в мундирах. Ставят полнехонькую кружку процеженной бражки.

— Под ночь и на гульбу попал. Какой праздник седня?

—...Лесу-лесу скоолькоо сокрушили! — тянет знакомую арию Запрудин.

— Онуфрий по ранению вернулся, — дополняет хозяин. — Браток, покажи деду ямку... Во, видал какая дырень фрицем просверлена. Кость у тебя, божий человек, лосиная... иначе каюк.

Осоловелый староверец вертел в пальцах пробку со следом штопора. Рассказывал застольникам о первом согрешении на войне:

— Разлил старшина водку по братской норме, приказал: пей! Ослушником быть плохо. Зажмурился, выпил. Сгорчило во рту. Под пупом вскоре зажгло. В голове туманец пополз... Хорошо стало.

— Еще бы! — подзадоривал Панкратий. — Самый ажур после бутылки наступает. Ты и курить стал после фронта?

— Упаси, осподь. Табашную каторгу обошел.

— Заткни затылок — сквозняк в отдушину напустишь.

Онуфрий никак не мог попасть пробкой в пролом — тыкал в мочку уха. Внезапно, швырнув затычку в керосиновую лампу, вылез грузно из-за стола. Заграбастав растерянную приживалку Груню, закружился по горнице. Вскрикивал под топот и ладошечные хлопки:

— Мир-р-ряне! Братики фронтовые! У вас не хуже, чем в скиту.

— Луч-ша! — стараясь переорать скитника, блажил Аггей.

—...Полтора планчика махнули за зиму! Это какво?!

Рыбачка пицала в объятиях крепкорюкого верзилы. Прильнув щекой к холодным медалям, ощущала сильные толчки стесненного под гимнастеркой сердца.

Онуфрий Куцейкин давненько метался между верой в оспода и мирской верой — разрушительной, полной соблазнов и зловещих тайн. Одной из них была тайна убийства брата Остаха. Опыаненный брагой и мстью, староверец оттолкнул испуганную остячку. Вскинув к потолку пудовые кулаки, испустил дикий вопль.

Со слабым рассветом Онуфрий был в пути к Медвежьей гари. Он знал туда тайный, кружной путь.

Ночной заморозок сковал наст. Лыжи почти не продавливали шероховатую корку. Подойдя к оползневому берегу Вадьльги, постоял, полюбовался раскатиистой поймой заречья, утыканного кустами, молодым осинником и вздутиями кочек, вытаянных из-под синеватого снега. После вчерашнего застолья голова не гудела, но по-прежнему знобило затылок стойким, текучим холодком. Пробка торчала в укромном гнезде. Ее отыскала на полу и вставила спящему Груню.

Списанному с войны Онуфрию думалось, что он проживает на страшной земле третью по счету жизнь. Первой были отведены тихие, скитские годы. Вторую заполнило нашествие войны. Атаки, отступление, окопы, перебазирования, тупой страх перед близко летающей смертью. С возвращения в Понарымье началась иная быль, иной отсчет бескалендарных дней. Забыл, когда последний раз крестился, творил молитвы, соблюдал пост. Сердце томилось болью суровой мирской правды. Строевые солдаты были убийцами общего врага. Онуфрий не избежал уставной участи. Помимо церковного, обительского устава существовал, оказывается, строгий армейский. В приказном порядке требовалось колоть штыком, бить прикладом, стрелять, забрасывать гранатами, сечь пулеметными очередями, давить противника бомбами. Уставное *убий* перешибало силой библейское *не убий*.

Кончилась кошмарная вторая жизнь. Началась третья. Но и тут нет заведенного порядка и покоя. И тут правит наследливый закон — смерть. Почему смиренный братец Остах до срока лежит в тяжелой тьме неподалеку от старца Елиферия?

Дымчатое заречье не давало ответа на мучительные вопросы. Природа просто подтверждала доброе, миротворное отношение ко всему, что растворено в ней каплями кочек, сугробами, кустами, человеческим телом, чернеющим возле крутого яра. Стояла знакомая с детства благостная тишина земли. Словно подневольные заторопились ко лбу слитые пальцы. Пока они поднимались, левая рука солдата спешно сорвала шапку и сжала железной хваткой всей пятерни.

В некоторых местах лед на Вадьльге взбугрился, лопнул на синеватых вспучинах. С низинной стороны легким скоком бежали к материковому берегу два зайца. Заблаговременно улепетывали с затопляемой поймы, где будет повсюду рыскать выпущенная на волю вода. Настойчивые дятлы, оседлав сухие сучки, наперебой рассыпали по лесу призывные трели большой весны. Онуфрий тосковал на войне по этой светлой поре всеобщего пробуждения нарымской природы. Все нравилось ему — резкие ветродуи, затяжное мокрогодоье, первые плотные туманы над ливами, возвращение птиц. Война перекалила душу в огне, не позволив ей надломиться. Снилось в землянках, виделась в долгих марш-бросках природа оставленного края. И вот она вновь перед утомленными глазами: живая, царственная, доступная сердцу.

Под вечер второго дня показалась на взгорье Медвежья гарь. Никто, кроме скитян, не знал о далеком зимовье. Летал зимой над урманями юркий самолетик под цвет кузнечика, дважды проревел мотором над кедровым островом, укромной избушкой — не обнаружил никаких следов жилья.

Росомахой крался Онуфрий между матерых стволов, густого повальника и зарослей одичалой малины. Боясь нечаянного выстрела, крикнул на подходе к зимовью:

— Бра-ат Орефий, встре-е-чай го-остя-я!

Никто не отозвался. Прыгал по куполам шаловливый ветер, изредка ронял кедровые плоды, не слетевшие во время массового осеннего шишкопада.

Дверь плоскокрышей избушки отозвалась плачевным скрипом, могущим разжалобить и черта.

Беглый брат с ружьем наизготовку стоял за толстым кедром и зорко следил за пришельцем. По голосу он не признал Онуфрия. По фигуре тоже. Несладкая доля дезертира приучила к дьявольской осторожности. Минуту назад отшельник за избушкой ощипывал глухаря, ловил все звуки чутьем озверелого человека. Слова в убийственной глуши прозвучали неожиданно и дико: от сильного вздрога выронил из рук тяжелую дичину. Никто еще так не пугал с самого бегства с приволжского хутора. Бежали тогда мыши-полевки, искали не тряской от взрывов земли и пропитания. Драпанул и Орефий, уподобился трусливой мыши. Представился отличный случай улизнуть с фронта... Поездка за кошками для землянок стала последним заданием пехотинца Куцейкина.

Вялая краснобровая голова глухаря растянулась на снегу. Из клюва сочилась тонкая струйка крови. Мысли дезертира путались. Дышалось часто и тяжело.

«Неужели выследили меня здесь и где-то на гари притаилась засада?.. Голос вроде братьев... шаги вроде его — ноги немного колесом... Затаюсь, подожду. Лицо бы увидеть...»

Опасливо заглянув в зимовье, Онуфрий втянул застойный, прокисший воздух, облегченно вышептал: живой! Прикрыл дверь, повернулся к избушке спиной. Сняв шапку, благоговейно помолился на сумрачные стволы. Узрев росчерк двуперстной мольбы, Орефий прислонил ружье к кедру, вышел из укрытия. Сутулый, оборванный, окосмаченный новой бородой, он посверкивал недоверчивыми глазами. С каждым шагом признавал в Онуфрии забытые родные черты.

Тиская друг друга в объятиях, наперебой осыпали междометиями, путаницей радостных слов. Ненасытно усталились в лица, признавая за временем и войной неоспоримое право старить и нагонять неизбывную тоску. Онуфрий заметил над бровью брата ползущую вшину. Поморщился, отошел на шаг, будто со стороны старался разглядеть неуклюжего оборванца и отсидника в недоступном зимовье.

С неповоротливого языка Орефия сорвался мучительный вопрос:

— Войну... тоже сам бросил?

— Она меня, брат, самолично бросила. — Повернулся затылком, сдернул шапку вместе с тугой резиной.

Ткнув пальцем в пробку, пояснил: осколок по мозгам жваркнул. Списали с фронта.

Таежный отсидник виновато отвел глаза от глубокой раны.

— Об Остахе знаешь?

— Наплакался на могиле. Кто его?

— Давно убивца ищу. Из банды он, по прозвищу Беспалый. Пушкину нашу на обском селе сбывал.

— Приметы есть?

— На левой руке мизинца недостает. Сталин во всю грудь наколот. Отыщем Беспалого, прибьем, раздавим тварюгу.

— Передадим властям. Пусть закон осудит.

— Братец, осподь с тобой! Своим судилищем обойдемся. Мирщина, война, душегубцы глаза-то раскрыли.

Помню, на фронт ехали. В теплушке занудный мужик Данилка Воронцов рассказывал о деревенском конокраде. Изловили его на Томском базаре, приговорили к самосуду. Привязали голого к оглобле, скачущего коня по стерне и кустам пустили. Таскал он вора до тех пор, пока кожа ключьями не повисла. Сперва я возмущался дикостью мести: люди, аки звери рычащие, сострадать разучились. Ныне говорю: праведное судилище устроили. Око за око. Зуб за зуб.

Зашли в тесное зимовье. На узких нарах слежалый пихтовый лапник. На печурке закопченное ведро без дужки: торчит из него толстая лосиная кость. В углу над нарами теплится лампадка, бросает ломкие блики на задумчивое лицо Спасителя. К стене на крепких укосинах приколот стол. Из пазов сосновых нетолстых бревен куцыми бородами свешивался сухой мох. На полочке зачитанный молитвенник и шелковый, изрядно потертый кисет с довоенной ошельмованной бородой. Не предал ее. Не оставил на грязном полу армейской цирюльни. Пронес через бои и удачное бегство с фронта. Если не погиб, не поймали до сих пор разные выслеживатели — значит хранит и спасает неразлучная борода. И в мертвые волосы проникли назойливые вши, и в живых поседельных космах копошатся. Экая беда. Главное — ходи во все стороны света тайги, промышляй соболей, белок, лисиц. Заваливай одной меткой пулей лося, подкармливай отоцалых скитян. Рад беглый Орефий: упрятан и надежно защищен от посторонних глаз.

— Ты меня, брат Онуфрий, не казнишь за побег с проклятой войны?

— Тебе не дано повелевать поступками. Есть кому думать о нас, править и возглашать слово рекомое.

Оставил адище, значит, был тебе глас свыше.

Тихое, вразумительное истолкование и оправдание побега окончательно прояснили мысли Орефия. Стоял, чесал изъеденное паразитами тело, ловил всепрощающий взгляд насущенного Спасителя.

— Истину, брат, глаголешь: был глас из-под звезды. Стоял в степи волжской, внимал ему. Повелевалось бежать в сторону востока, к Пельсе, к скиту... Сейчас, брат, глухаря будем варить. Крупного певуна на рассвете свалил. Ты огибным путем ко мне шел?

— Огибным. Крюк дал немалый. В скиту тебя караулят. Не ходи туда.

— Не пойду. Мясо ты отнесешь. Убьем Беспалого, дальше в тайгу скитян уведем. Новую молельню поставим.

— Тайга, что жизнь, тоже конец имеет. Власти не успокоятся, пока беглецов не переловят.

— Осподи, осподи, почему мы такие гонимцы?

11

Холодной, ветробойной ночью была подвижка льда. С рассветом повели коней, быков на водопой — не обнаружили широких промоин на Вадыльге. Напористый лед поглотил забереги, взбугрил песок у кустов.

Ночью у Анисима Ивановича ломило ноги, покрытые рубцами сабельных рассечин. Лежал у барачной стены с полуоткрытыми глазами, поневоле вслушивался в назойливую работенку жуков, хрумкающих древесную плоть. К постоянной боли ног и сердца привык. В груди угнездилась иная, более гжучая, томящая боль за судьбу сынишек-огольцов. Меньшому пятый годик, первенцу восемь. Жена Ариша часто болеет — легкие сильно застужены. Зайдется адским надсадным кашлем — слезы наворачиваются от жалости. Раньше мужики-нарымцы завистливо говорили о кряжистом Анисиме Бабинцеве: «Такого ни стужа, ни нужда не берет...» При крепком здоровье любую нужу-нужду одолеешь, мороз и подавно. Чувал лесообъездчик — не окольными путями крадется к нему смерть. Сабельные отметины гражданской войны, пожалуй, до старости можно носить. Ноют в непогоду ноги, разведется — тишеет боль. Подсобляют баня, мурашинные укусы и скипидар, втираемый в колени и лодыжки. Сложнее с болью сердца.

Нередко лесообъездчик укладывался спать с гнетущей мыслью, что наутро не наступит пробуждение. По молодости не задумывался о судьбе. Отмерялись годы жизни, просверкивали весны. Неубывающая энергия сулила в будущем лучезарные дни. Посулы были напрасными. Зримая судьба торопилась произвести поспешный расчет. Человек не мог воспрепятствовать ее грубому, насильственному вторжению. Играя, разговаривая с детьми, отец пылливо всматривался в подростышей, думал о их будущем. Он торопился с врожденной щедростью перелить в них энергию мыслей и духа. Сынишки останутся одни с больной матерью. Их надо поставить на землю с двойным запасом прочности. Лес нашептывал мальчикам древние бессловесные сказки. Смышлелыши внимали сладкопепвному хвойно-лиственному говору, напивывали души небесным светом солнца и звезд, земным светом окружающей природы. Отец, подметив за ними дорогое свойство, радовался счастливой удаче, что сумел заронить в братьев искры любви к миру леса и вод. Это было его духовным завещанием детям. Всего движимого и недвижимого богатства природы отпускалось им с лихвой на все годы отпущенного бытия. Стоящая на бдительном дозоре судьба торопила отца пройти с сыновьями краткий курс науки о глубокой приверженности к лесу...

Не спалось больному человеку. Казалось, жуки-древогрызы вместо бревен начинают точить саднящие ноги. Гневился за барак ветер, прогонял нарымскую неторопкую весну. Она — царица природы — явилась в новой короне солнца, уселась уверенно на нешаткий трон земли. Свергнуть ее могло только лето.

Бабинцев встал, оделся. Перешагивая за порог, легонько толкнул податливую дверь. Раннее утро пробивалось в заречье слабыми ростками света. Ветер с реки сек лицо стремительными струями, плющил неприкаянные купола, поднимал и кружил обронки сена.

Ходьбой Анисим Иванович разминал одеревенелые ноги. Жалким, никчемным мог показаться затерянный тыловой мирок под безупречным небом, если бы мысли постоянно не просекало огнистое слово — война. Все, подчиненное ее власти и силе, крутилось металлообрабатывающими станками на оборонных заводах, гремело отбойными молотками в шахтах, бренькало молочными струями на фермах, шипело паровозами на выносливых магистралях страны. От таежного клоповного барака на Вадыльге до стойкого, недремлющего Кремля столицы растекалось тайгой, степями, горами, реками пространство, заставленное тысячами городов, поселков, деревень, хуторков и заимок. Тяжеленный, с трудом раскрученный маховик тыла денно и ночью вращался от приводного ремня войны. Со светлой гордостью думалось Анисиму Бабинцеву о дюжем, жертвенном народе страны, о трудармейцах холодного Понарымья.

Вездесущий ветер словно разметывал темноту. Поднебесные темно-зеленые купола хвойников соскребали шаткие звезды. Взору открылась настороженная Вадыльга. Исполосованная трещинами, испятнанная синими льдинами река подготовила дерзкую воду для захвата лугов, закустаренного низкобережья. За ночь на всем

пологом загибе произошла отпайка льда от берегов. Вадыльге пока не хватало силы справиться с неимоверным грузом зимы. Разбежке мешали заторы и сдерживающие берега. В нешироких проломах между скрипящих глубин гудела рассерженная вода, скручивала в воронки торопливые струи.

— Поднатужься, реченька, — подбадривал лесообъездчик, — не оплошай. Тебе солнышко силы подбросит.

На бугристом месте просторного катища приготовлены к отправке увязанные пучки ружейной болванки, новенькие бочки, сбондаренные Политурой и его братаном. За самовольную валку лишних кедров лесничество составило акт. Крупный штраф предстоит выплатить самовольщикам.

Со дня на день ждали ледохода.

Марья похорошела лицом. Легкая синева под глазами, вздернутые брови, задумчивость прибавляли красоты. Солдатка часто гуляла по берегу с Павлуней. Перебирая мягкие волосенки над ушами, курлыкала нежные песенки. Недавно ходила пешком в Большие Броды. Попроведала деток, мать. Ждало письмецо с фронта. Григорий писал: жив-здоров, долго сидеть в окопах не приходится — гоним врага... Читала весточку в бане, уединясь. Наревелась до глазной рези. Гладила банный полок: на нем испытана с Гришухой боль и сладость любви. Хлюпала носом, роняла слезины на доски полка, пропитанные березовым, устойчивым духом. Заведомо вымаливала прощение у мужа: «Гриш... что было, то было... лупцуй вожжами, колоти поленом — оправдание есть: бабская зудиха одолела, хоть топись...»

Поплакала, повинилась сквозь тыловые и фронтовые версты — на душеньке полегчало.

Красота на берегу. Река огрузнела, вот-вот разродится ледяными близнецами. Лопочет вербняк под ярком невнятным языком весны и ветра. Дерзкая, безудержная веселость одолела Марьей. Тормошила Павлуню, целовала в лоб, щеки. Запустив под рубашонку шершавые пальцы, теребила животик, щекотала пуп. Артельный сын взвизгивал, льнул к большой, сильной тете. Матерью, нянькой, врачевательницей души была она для общего любимца.

Под дымчатым низинным берегом переливчатым серебром посверкивали разводья. Слева от изволака в смородиннике и кустах волчьей ягоды перезвенькивались неутомимые синицы. По стволу корявой, безжизненной ели ошалело носились возбужденные белки, воинственно распушив поднятые хвосты. Сталкивались, вытесняли друг друга с дерева: шуршали никлые ветки, осыпалась хлипкая кора.

— Тетя, чего они разодрались?

— Весна... гон идет. Вот и гоняются... Тепло, любовь беличья подошла. Бурундуков насмотришься. Они тоже чудники. Иной раз распотешатся — в кино не надо ходить.

Солдатка улыбисто посмотрела на памятный, примятый лапник, наломанный парильщиками с густой пихты. Потянула в приятной затяжной зевоте пухлогубый рот.

Бригадир Запрудин с недавних пор разглядывал повариху и возчицу с ехидным прищуром. Дед Платоша вместо «здравствуй» выпускал бурчливое словечко, похожее на «дратву». Марью забавляла их отчужденность. Ворчала с наигранной беспечностью: «Ну вас к лешему... одна я ответчица перед мужем...»

Лед тронулся под вечер. Делал напрасную попытку зацепиться за берега, прикорнуть на песочке. Страждущая воли Вадыльга упрямо выламывалась из тяжелой решетки зимы. Артельцы гурьбой высыпали на берег. Завороженные захватывающим зрелищем молча любовались недюжиной силой воды. Содеянная природой живая картина панорамно просверкивала в серой рамке набыченных берегов.

Взволнованный Платоша переминался нетерпеливо на сыром песке: подошвы растоптанных чирков прилипали и чавкали. Близехонько проносились сверкающие глубины, позванивая, издавая приятный шорох. В руках, протянутых к Вадыльге, старик держал расшитое полотенце: на нем лежал тонюсенький ломтик хлеба. Лед шел у берега плотным гуртом. Не находилось пока водной чистинки, чтобы бросить в нее артельный поминальный хлебец. Вот речная стрежь стала отторгать от загибистого обреза напирание льдины. На одной из них старательная ворона выдалбливала что-то напористым клювом: разлетались сверкающими светлячками крошки.

На пенистой быстрине свивались гнезда воронок. Дед выследил островок незанятой воды. Ритуально поклонившись работающей реке, стряхнул с полотенца хлебное приношение. Старинным обрядом честно поминали всех утопленников, кого оборота в поединках Вадыльга, кто добровольно ушел на жительство в ее придонную глубину. Ржаную паечку немного пронесло вдоль песка, затянуло в воронку: вода охотно и благодарно приняла скромное поминальное приношение.

Поодаль от старика Запрудина дымил сигаркой молчаливый Аггей. Выжидательно наблюдал за руками Платоши. Только хлебец спорхнул с полотенца в воду, вальщик-тихеевец поспешно вырвал табачную закрутку изо рта. Шумно выдохнув через плечо остатки густого дыма, самозабвенно помолится на неторопливый ледоход. При последнем невезучем царе у Аггея утонула в Катунь сестра. Он слал ей через многие годы с белого света в черный давно припасенный горестный вздох.

Обычно приход долгожданного половодья Анисим Иванович встречал желанно, с ощущением славного праздника в растревоженной душе. Медленно проплывало ледовое убранство реки. Слегка кружилась голова от

невольного ощущения, что и ты подхвачен весенней силой, движешься вместе с берегом, упорной водой. Май остудил чувства. Не таким блеском горели усталые глаза. Не так трепетало сердце. Но сквозь длинную вереницу темных набежных дум прорывались сверкающие мысли о неостановимости жизни, о приходе на землю новых поколений людей. Их появление обуславливалось зримым ходом природы, прямым соучастием неизменно великого солнца... Отмирают микроскопические клетки. Обновляется листва и хвоя. Твердеют и расплавляются воды. Из глухоты миров летят и тают звезды... Загадка земной жизни и недостижимых миров ждала новых истолкователей и провидцев.

Лед тянуло в низовье к другой тиховодной реке пошире и подлиннее, чем Вадыльга. Где-нибудь слабым отголоском зимы торкнется в берег ледовый отколыш, истечет холодными каплями. Природа переведет незримые стрелки, пустит по испытанной колее лето.

Понятна была Анисиму Бабинцеву строгая закономерность, обрывающая сроки весен и зим. Но малопонятным оставалось ломаное очертание судьбы, ее хитросплетенные сети, отлавливающие жизнь.

Вадыльга, тучнеющая с каждым часом, заговорила с берегами на ты. По дерзкой воде бежали потерянные льдины, чешуйчато посверкивая под крепнущими лучами. Луга за рекой успели стать дном. Утром там долго держались курчавые туманы. Из дальних отлетов возвращались утки. Опускались на ливы, озерки, хоронились для отдыха в укромных заводях. Снижаясь с высот над поречьем, радостно узнавая его, с нарымской родиной приятным гоготком здоровались гуси..

Земля и небеса жили необманным предчувствием близких белых ночей. Тепло раскрывало упругую чешую на еловых шишках: в воздухе кружились семена, наделенные полупрозрачным, легчайшим крылышком.

К плотбищу по грязному, ископыченному изволоку медленно спускалась телега. Рядом, похлестывая вожжами, вышагивал Политура. Клешнястой пятерней поддерживал сверкающий комод и привязанные к нему два кресла. Столяр-краснодеревщик упреп от гиблой, тряской дороги. Мука мученская добираться в распутицу от Тихеевки до сплавной реки. Пока тележные колеса пересчитают колдобины, узластые корневища дерев, кочки, пока перещупают лужи, выбоины, заполненные торфяной кашей — лошадь сделается мылкой. Санной дорогой, загодя, Политура побоялся завозить мебель. Злы на него артельцы, пожалуй, изломают нарочно, с зависти похерят долгий домашний труд. В полированном комоде всяких выточек-финтифлюшек дюжины две наберется. Кресла с красивыми выгибными подлокотниками, с резными спинками. Любому начальничку лестно опробовать такой трон, поставленный руками и старанием знатного тихеевского мебельщика.

Сгрузил Политура столярный груз на возвышении возле пучков ружболванки и опрятных дородных бочек. Натянул сверху полинялый брезент от дождя и снега. Скоро катер притащит лесовозную баржу. Найдется на ней местечко для заказных поделок из кедра. Глядя на чистую безледную реку, тихонько рассуждал:

— Если дала мне жизнь кормовое дельце — грешно бросать его. Отвезу заказ в райцентр, мой знакомец-краснобай отблагодарит. Шельмец, однако, знатный этот Меховой Угодник! Ущемляет при расчете. Да за такие вещицы в городе можно озолотиться.

Погладив полировку комода, восхитился:

— Спелой вишенкой цвет сочится!

Черный кособокий катер-буксир, вконец изнуренный былыми навигациями, чудом держался на плаву. Льдины, неприкайные коряги, встречные-поперечные бревна изрядно помяли бока, скособочили широкий нос. Грязная труба катера выпекала синеватые крендели. Пышные, кольчатые дымки перекашивало, разрывало, уносило за низкую корму, заваленную канатами, пустыми крапивными кулями и поплавками сетей. В неглубоких недрах широкодонной сплавной лайбы грохотал гром — старенький натруженный дизель гремел всеми чугунными и стальными суставами. Запуганная невообразимым шумом плоскопалубная баржа, вихляя из стороны в сторону, пробовала оборвать трос, улизнуть от грохота и вони, распускаемой буксиром перед самым носом.

Незамедлительно началась погрузка. Скрипели блоки самодельного бревноподъемника. Пошатывались врытые столбы. Напрягаясь жилами и ногами, взад-вперед ходили по берегу кони: их силой, тросами и канатами поднимались ровнехонькие авиасосны, укладывались на эстакаду. По наклонным лежачкам бревна скатывались на палубу. Мелькали на барже багры: откатчицы Марья, Валерия, приживалка Груня составляли одну упряжку. Багровища заменяли оглобли, которые напрягались в гужах их хватких рук.

Прибывший с буксиром Меховой Угодник козырем ходил по берегу, посверкивая задком синих суконных галифе, отполированных до блеска. Похлопывая по торцам заштабелеванных бревен, гнусаво нудил:

— Бригадир Запрудин, следи за правильной укладкой на барже... Надо больше впахнуть леса... План... Военный завод ждет... Сосны мокра избегут, сухонькими придут... Бригадир, почему вот это бревно скверно откомлевано? Убрать, убрать гнильцу. И немедленно!

— На торце не гниль — крошево коры прилипло.

— Ну да, ну да...

«Ах ты, зануда», — еле сдерживая гнев, пробормотал Яков, всей силой руки упираясь в поднятое бревно и отводя его к эстакаде. В другой край упирался председатель Тютюнников.

Не зная к чему придаться, уполномоченный опять защебетал про план, инструкции, нажимал на быструю отгрузку спецзаказа.

— Стоп! Вот это точно гниль!

Стахановец смахнул с торца налет опилок, язвительно глянул на районщика.

— Лети отсюда, шершень партийный! Не мешай грузить!..

За долгую лесоповальную зимушку накопилась в бригадире мутная злоба на указчика.

—...До коих пор труд наш народный надзирать будешь? Сухотка ты канцелярская! Вошь тельная!..

— Так его, разэтак! — подсобляла с баржи Марья Заугарова. — Хватай, барин, багор! Катай лес!

Побагровел налитым лицом Меховой Угодник. Так позорно, принародно его никто никогда не отчитывал. В душе — на самом ее доньшке — районщик чувствовал правоту тыловиков. Однако въедливое комчанство, выпирающая спесь заставили вскипеть, запузириться, прорваться бурливым словоизлиянием:

— Запрудин, и ты... как тебя на барже... я вас упеку за оскорбление должностного лица... Вы у меня запоете лазаря... Я вам покажу кузькину мать... Отведете лесосплав и марш в район... на суд...

Не переставая принимать сброшенные с эстакады бревна, с напарницами откатывать к стойкам у борта, Марья возликовала:

— В район?! На суд?! Да с великой охотой! В кутузке хоть отоспимся по-людски... да ежели рядом с Яшкой... Эй, галифэшник! Лови!

Заугарова с силой швырнула в уполномоченного запасной багор.

Должностное лицо отскочило в сторону. Поправив авторучку в накладном кармане кителя, поливая берег едким бурчанием, разобиженный страж торопливо пошагал к бараку.

Прибывала вода, подбиралась к лесу, приготовленному для молевого сплава.

Захар Запрудин и Варенька водили под уздцы Пургу и Воронко. Лошади соблюдали дистанцию, одновременность хода. Через систему блоков без перекоса поднимались отгружаемые сосны. Павлуня ходил неподалеку под ярком, любовался золотыми головками расцветающей мать-и-мачехи.

Еще не окрепший здоровьем Платоша, пользуясь солнечным припеком, сидел на принесенном чурбачке, починял хомут. Следил за любимцем-внуком, за спешной, ладной погрузкой. Горько сожалел, что убывающие силы не позволяют вписаться в картину общего артельного труда.

Отбрав уполномоченного, Яков на весь день испортил настроение. Культя вздрагивала в мягком закутке. Тоже нервной стала, не отстает по характеру от живой руки. Не понять бригадиру — отчего трясет ее иногда: от перенапряжения мышц, от смутного возбуждения души? Отчитал вослед чинуху:

— Чего ты норовишь указующим перстом в рабочего тыкать? Нравится ездить верхом на циркулярах — гоняй версты! Сиди на бумагах, если заднице мягко. За полтора плана в ноги нам поклониться надо — ты судом грозишь... Вот тебе! — Сжал до посинения, послал вдогонку шишкастый, намозоленный кулак.

Откатчица Марья после перебранки даже повеселела. Письмо с фронта, солнце, недавнее бабье разговение с черноусым милиционером придали солдатке задора, бесшабашности и энергии. Сильно пульсирующее сердце частыми разрядами пробивало и опаляло грудь. Снимет брезентовые рукавички-верхонки, отсморкается и снова поблескивает металлическая насадка на багровище. Багор на конце напоминает двупалую кисть: палец-крюк согнут, другой, похожий на указательный, нацелен на бревно заостренным и грозным жалом.

Остячка Груня — верткая, хваткая и услужливая — норовит зацепить бревно с комля. Марья и Валерия отгоняют. За ускоренную погрузку баржи ждет полуторная пайка хлеба. Поэтому кости трещат, жилы пищат, блоки скрипят, кони упираются. Привязанные к хомутам канаты натягиваются туго: на них при желании можно подтянуться. Груня заражается веселостью солнца и солдатки, кричит любимую присказульку:

— Га-ни план! Га-ни паек! Курсак пустой, ись просит.

Порхает над соснами ее легкий багор. Поблескивает под лучами деготь, густо намазанный на старые чирки. Голяшки удобной нарымской обуви в крупную морщину приспущены гармошкой. Носки с завертом, словно черевички.

На Заугаровой грубые, растоптанные ботинки. От давности носки кожа растрескалась, сделалась хлипкой. Деготь просачивается, пачкает носки-самовязки.

Зазевалась солдатка, поздно отдернула ногу: Грунин багор, проткнув ботинок и толстый носок, впился в мякоть, скользом задел кость.

Над безразличной рекой прокатился визг.

— Чухонка узкоглазая! Куда... глядела?!

— Прости, милая... нечаянно, — залепетала подруга.

Заугарова занесла кулак, ойкнула от боли и обессиленно опустила.

Валерия сходила на буксир, принесла йод, бинт. Перевязала глубокую рану. Яков участливо посмотрел на солдатку, разрешил по-бригадирски:

— Ступай в барак, отлежись.

— Еще чего?! — криво улыбнулась откатчица, натягивая верхонки. — Как это ки-ки-мора говорит: «Га-ни план! Га-ни паек!» У меня дома три крепких хлебожуя — мать да голопузики. И о личном рте — моя заботушка.

На пятке поковыляла к бревну, опираясь на багор-посох. Груня, закрыв лицо руками, плакала возле шкиперской каморки.

— Эй, товарка! Брось мочу через глаза цедить! Подсобляй!

Взяв у деда починенный хомут, надев на голову шорника, внучок озорно кричал:

— Нно, конька!

— Иг-го-го! — заржал повеселевший Платоша.

Крепко держась за гужи, Павлуня пропел песенку, не раз слышанную от тетки Марьи:

Завтра праздник — воскресенье.

Нам лепешек напекут.

И помажут, и покажут,

А покушать не дадут.

— Дадут! — твердо пообещал дедушка, стаскивая с головы затрепанный хомут. — По окончании сплава артельная застолица. Самая пышная лепешка — тебе.

— Не врешь, паря?

— Крест во все пузо! — не сердчая на постреленка, подтвердил Платоша.

— С Пургой поделюсь, — расщедрился поводирь, поглядывая на растопыренные пальцы, видя в них обещанную лепешку.

Игривый внук повалил деда на прогретый песок, заголил длиннополую серую рубаху-самотканку. Погладив желтоватый вдавленный живот, проиграл на нем ладошками звонкий марш: «Барабан не нужен, бубен — мы играть на пузе будем. Пузо лопнет — наплевать, под рубашкой не видать».

— Ох-хохошеньки... научил тебя песенке на свое горе, — незлобиво сокрушался Платоша. — Все кишки взбулькал.

— Я же тихонько.

— За зиму силенкой-то обзавелся. Пожалуй, Илью Муромца оборешь.

— Иди ты! — разулыбался польщенный барабанщик.

— Верненько. Хлебушко да тишь тыловая укрепили тебя. Почеши-ка спину... лопатки-лопаточки задень — там вся зудь скопилась... потише, потише ногтями гвозди — экая силища в руки впиталась... Скоро, чай, с девками щупаться станешь...

— Иди ты! — ухмыльнулся довольный Павлуня, усердно царапая сморщенную, рыхлую спину, острые крыльца.

— Я уйду, ты останешься. Вспоминать-то будешь? Или сразу забудешь хрыча?

— Не говори так, дедушка, — заплачу.

Мимо них осторожно вышагивали Политура с братаном. Несли громоздкий комод. Солнце ударялось в застекленные дверцы, прыгало зайчиком по угору. Поодаль с генеральской важностью следовал уполномоченный, читая на ходу какую-то, видать, нужную бумагу. И великолепный сияющий комод, и простынной белизны стандартный канцелярский лист на фоне штабелей трудного леса, ископыченного изволака представлялись лишней обузой земли. Каким ветром занесло их в накаленную обстановку натужного артельного труда?

Речники услужливо сбросили с кормы баржи широкий трап. Помогли принять на борт почетный груз, умастить возле облезлой помпы для откачки трюмной воды.

Откатчица Марья Заугарова, кривясь лицом, презрительно смотрела на мебель, на рабскую позу Политуры, униженно стоящего перед крутогрудым начальничком. Послала в их сторону громкий, смачный плевок, замеченный набыченным районщиком. Сделав мертвую стойку кобры, он мгновенно пригвоздил солдатку острым взглядом, вколотив его по самые шляпки стальных неподвижных глаз. Марья какое-то время находилась под странным гипнозом этого застывшего взгляда. Затем уверенно двинулась к Меховому Угоднику, не выпуская из утомленных рук посверкивающий багор. Покалеченная, пылающая нога мешала передвижению по бревнам. Приковыляла, подперла бок свободной рукой. Ошпарила должностное лицо крутым кипятком вопроса:

— Чего шары тарацишь?

Начальник вздрогнул от неожиданной грубости: возле накладного кармана качнулся подвешенный на цепочке значок. Поборов смущение, рывкнул;

— Твоя ффаммиля?!

— Манда кобыля!.. Затащили сюда полированный гроб, — Марья ненавистно воткнула багор в дверцу комода — брызнули стекла, — ружболванку некуда будет грузить... Не теши меня глазами — нисколько не боюсь. Мужики в окопах, в трудармии, ты квартирки мебелью обставляешь, районным мадамам меха преподносишь... Мал-чуть! Не перебивай ранетую бабу. Гляди — вон кобыла слепая вместо крана подъемного ломит. Ты — кобель зрячий — багром покрутить не изволишь. Как же! Ваше бумажное благородие оскорбится от мужичьего труда. Милиция и то бревна здесь катала. Паек у тебя, надо полагать, не весовой. Всякие дорожные-блудежные получаешь...

— Уматывай с баржи, калека! Не гневи меня!

Меховой Угодник стоял на краю борта, не выпуская из рук белый циркуляр. Солдатка сжалась тигрицей перед прыжком на жертву. Крякнув, резким взмахом багровища смела галифэшника в воду. Следом полетело мягкое кресло.

— Огрех плешивый! Садись поудобнее, правь рекой!

Помощница Валерия, задрав подол, звучно шлепала ладошкой по передку и взвизгивала рьяно от обуявшего безрассудства:

— Э-гей, бриллиантовый! Хватайся за ботву, тяни-тяги репку!

Приживалка Груня вовремя вспомнила доброе обхождение уполномоченного. Посетил на рыбалке, был приветлив, ласков и охотно взял предложенную рыбачкой крупную икряную щуку. Остячка швырнула забортнику спасательный круг.

Покрашенный киноварью круг накрыл мелованный циркуляр, который плыл следом за барахтающимся человеком. Бумага имела вес и силу на суше, но для Вадыльги ровным счетом ничего не значила. Вода перечеркивала все знаки внимания к инструкциям и решениям. Бумага не хотела спасения, разбухла, тяжелела и желанно уходила ко дну.

Страшась, что разгневанная баба зашвырнет за борт второе кресло, Политура отчаянно загородил его саженой спиной. Заугарова поднесла к носу мебельщика крепкую фигу, посверлила грязным отросшим ногтем...

Поздним вечером, лежа на нарах, Марья боялась шевельнуть распухшей ногой. Бригадир, отвернув в сторону культу, сидел бочком возле солдатки, гладил ее теплые пальцы.

— Все, Яшенька, отпрыгалась. Вишь, ступню разбарабанило — даже лодыжки утонули. Заражение скоренько тело съедает.

— Не хнычь. Сама виновата. Паек, паек...

— Ты что ли моих зубатиков кормить будешь?

— Не обделили бы тебя хлебом. Завтра с баржой и лесом в больницу поедешь. Врачи ногу чин-чинарём поправят.

— Прости меня, фронтовичок, ежели че... Грубой была... за нос водила... Думала любовь наизнанку не выверну... да видно, нечистый душеньку попутал... Прими совет, не побрезгуй: сосватай тихеевскую Валерию. Баба в соку, не закисло еще. Чего одному нары давить.

Построжел Запрудин, легонько шелкнул советчицу в горячий лоб.

— Без сопливых обойдемся!

Ушли в низовье груженные баржи.

Разгонистая Вадыльга скоренько прибрала к рукам-струям лежачий артельный лес. Дозорили за ним молевщики на обласках, весельных лодках, шпыняли баграми ленивые сосны. Нигде не разорвалась оградительная обоновка. Нигде плавежный гурт не отклонился от выдержанного курса быстрой воды.

Залитое по взгорье плотбище плескалось на резком ветру гребешками темных волн.

Назавтра намечался отъезд в Большие Броды. Павлуня вывел Пургу на мелкую свежую травку. Отощала кобыла хватала сослепу и пожухлые прошлогодние стебли, уголяя накопленную жажду по корму вольных выпасов. Из сырой низинки тянуло запахом разомлевшего багульника и черемши. Поводырь вслушивался в неумолчную трескотню дроздов-рябинников. Поблизости раздался громовой выстрел. Павлуня от страха и резкой боли в ушах присел на мох. Схватился за голову, не выпуская пучок мягонькой травы: ее собирался скормить лошадке.

Мальчик оглянулся: Пурга лежала на боку. Судорожно вздрагивали мосластные ноги. Подбежал к слепой, упал на колени. В самое ухо кобылы летел горячий лепет детской мольбы:

— Пурженька, вставай! Чего ты?! Ну, вставай же.

Стал поднимать лошадь за голову. Повернутый к солнцу радужный глаз смаргивал часто-часто. Из-под вялого уха нехотя вытекала светлая кровь, словно она давно, с начала колхозного тяглового срока, разбавлялась потом непрерывного труда. Углядев этот тихий жуткий ручеек, Павлуня в припадке повалился на теплую шерсть. Руки судорожно цеплялись за косматую гриву мертвой Пурги.

Поводырь пришел в сознание на барачных нарах. Рядом сидели Захар и Варенька. Мальчик неузнаваемо смотрел на них, пошевеливая распухшими, искусанными губами.

— Пур-га... Пур-га...

Захар стиснул зубы, еле сдерживаясь от давящих слез.

— Не волнуйся, Павлик. Пургу отправили на неводнике в район. Рана не смертельная.

Юноша искоса наблюдал за мальцом: верит ли простительной выдумке? Поверил. Засветились глазенки. Встрепенулся, приподнялся на локтях.

— Братец... родненький... Будет жить Пурга?

— Обязательно, — подтвердила Варя и отвернулась к двери.

Кобылу обдирали ночью, когда ее поводырь спал беспокойным сном, часто вздрагивая, взбрыкивая длинными ногами. Охотничий нож легко подрезал сухие жилы, похожие на истлевшие, сыромятные ремешки. Мясо тайком от Павлуни раздали артелям в погашение нескольких трудодней. Шкуру оприходовала заготовительная контора. Требуху закопали на песчаной круче, откуда далеко просматривался темный плес сплавной реки.

Опустели, обезлюдели бараки. По голым нарам, по шербатому полу носились осмелевшие крысы. Подбирали крошки, грызли картофельные очистки, кусочки оброненного жмыха. За долгую лесоповальную зиму от дыма печи, чада керосиновых ламп подернулся копотью забытый портрет Сталина. Укоризненные глаза потускнели, прищурились: не было перед ними верных подданных нарымского тыла, не за кем было дозорить неусыпным взглядом. Жоркие древесные жуки хрустко протачивали осиротелые стены.

К Беспалому в банде относились настороженно: частенько бредил по ночам, отчетливо выбалтывал спросонья фамилии дезертиров. Убив старовеца Остаха, отдав связку белчих шкурок, — золотые монеты и ценные меха утаил — Беспалый не стал ближе к верховодам разношерстной шайки. За выстрел в артельную лошадь над ним стали даже насмехаться, презрительно дразнить кобылятником. Нутром предчувствуя скорую расправу одичалых, завшивленных оборванцев, трусоватый мазурик сбежал. Навертывались мыслишки явиться в органы с повинной, выдать поголовно ораву крохоборов, бездельников, спасающих шкуры под сенью всезащитной тайги.

В октябре сорок первого, попав в окружение врага, пехотинец Бзыкин незаметно улизнул из роты. Надеялся: одному будет легче избежать плена. Не давала покоя наколка на груди: лицо нового вождя занимало место широко — не под всякое сито спрячешь. В Красную Армию просачивались жуткие слухи: с убитых и плененных бойцов, татуированных ликом Сталина, Ленина, сдирается кожа и подвергается обработке опытными германскими мастерами по дублению. Выделанные кожи-портреты сшиваются в толстые альбомы. Якобы, такие подарочные фолианты-коллекции успели преподнести Гитлеру и Гимmlеру. Теперь набирались разрисованные кожи остальным «Г» из свастиковой вертушки — Геббельсу и Герингу.

С содроганием и ужасом представлял Бзыкин картину жестокой казни: с него заживо сдирают вместе с мясом синюшную от туши голову отца родного. Ее нанес на грудь перед самой войной опытный накольщик, затребовав за художество треть заводской получки. Пехотинцу в полном смысле приходилось дрожать за свою татуированную шкуру. Такой дельный портрет наверняка привлечет внимание немецких кожедеров: под пышными усами красивая трубка, подбородок литой, шевелюра густая, взгляд этакого всеобщего добрячка.

Окруженец пробирался к своим. Убегал от погони, имея в стволе винтовки последний патрон. Добежав до безымянной речки, забрел по пояс, жадно хватал пригоршнями холодную, замутненную дождями воду.

За густым дубнячком раздался шорох. Резко обернулся. На солдата в стремительном прыжке летела черная поджарая овчарка. Блестели оскаленные клыки. Бзыкин успел отшатнуться — рядом взметнулся фонтан крупных брызг. Стукнув прикладом по рычащему зверю, ухватился за густую шерсть на горле, окунул пса. Он и под водой яро грыз руки, царапал когтями тело. Солдат волок овчарку по броду: она захлебывалась и теряла силу. На поверхности неглубокой речки лопались красные пузыри.

Схватив проплывающий мимо сучок, пехотинец приподнял над водой песью башку, остервенело вдавил утолщенный конец глубоко в пасть. Затащив полуживую жертву в камышовые заросли, Бзыкин распластался над шаткими кочками и замер. Ему для спасения нужны были тихие, нешевелиющиеся камыши.

На противоположном берегу послышались крики. Кто-то из немецкого оцепления звал силенным запыханным голосом: «Бэрлин! Бэрлин!»

Длинная автоматная очередь срезала над притаившимся солдатом кучу камышовых дудок. Берлин хрипел у ног красноармейца. Потихоньку вдавил окровавленную морду кобеля в густую тину. Посмотрев на искусанные руки, пощупав разодранный когтями бок, Бзыкин поморщился, сжал винтовочный ствол. На тонкой коже левой кисти болтался мизинец. Машинально приставив к красному гнезду уже охолоделый обкусок, окруженец выматерился про себя и, стиснув зубы, оторвал его.

В камышах отсиживался до темноты. Берлин с сучком в горле сдох, осел в вонючую жижу.

Беспалый на третьи сутки вышел из окружения. Подлечив в госпитале располосованный бок, искусанные руки, он прямо с бинтовыми намотками отглывовался на восток. Подвергать ценную шкуру новым страхам Бзыкин не хотел.

Отсиживался и отлеживался в городских трущобах, добывая пропитание грабежом. В северное потаежье дезертир попал через полтора года, надеясь основательно упрятаться в глуши, прохарчиться охотой и рыбалкой. Золотые монеты убитого старовера прибавили духу. Спрятал их под замшелый выворотень на берегу Вадыльги. Сбежав из банды, пробирался к золоту. Весна торопила. Выберется в древний город на Томи-реке, обзаведется подложными документами и... вольный казак, поминай как звали.

Выворотень широко разбросил в стороны сухие корни, словно собрался заграбастать беглого армейца. Остановился у потайного места, тревожно огляделся. Засунул в дыру руку, нащупал заветный узелок. Екнуло сердце. Потянув клад, взвизгнул, отшатнулся: не менее напуганный бурундук пушистым снарядом вылетел из тайной отсидки, с писком шлепнулся на влажный мох.

— Тварина! Напугал до смерти!

В трясущейся руке подпрыгивал узелок, брякали монеты. Недалеко находилось токовище. Обалделые от возбуждения тетерева исповедовались весне и жизни страстной скороговоркой.

Всего боялся Беспалый: покинутой банды, рыскающей по тайге милиции, сурового возмездия за убийство Остаха и артельной клячи. До сих пор не знает — зачем истратил заряд. Желания разрядить ствол и гадкую, заплесневелую душонку слились тогда в одну омерзительную потребность. Она заставила взвести и опустить курок. Дымный порох образовал тучу, она скрыла мальчика и лошадь. Удирал, даже не оглянулся.

Бзыкина постоянно преследовала неотвратимость расплаты. Такой впрыскиваемый в сознание яд медленно отравлял его, хмелил башку до дурноты, толкал к необдуманному, глупым действиям. Таежная свобода была для него потяжелее передовой и любой тюремной решетки. Отверженный землей и людьми, петлял трусливым зайцем, побывавшим в лапах лисицы и чудом выскользнувшим из них. Пугался рук бандитского отребья, позорного клейма тыловиков, пули милицейского нагана.

Оживленный тетеревиный ток раздражал Беспалого. Не мог прослушивать лес всеохватно, ловить посторонние звуки. Развязал сырую тряпицу, вывалил на ладонь золотишко. Вертел перед глазами монету, прищурно разглядывая лик какого-то царя. Двуглавый орел на другой стороне охранял золотой покой державного владыки. Пересыпал с руки на руку тяжелые кругляши. Желтый звон не взбудрил, не разметал гнетущие мысли. Точно так же переливал когда-то монеты Остах Куцейкин, вслушиваясь в говорок золотого ручейка. Бзыкин вспомнил тот роковой выстрел, тряхнул обросшей башкой — отогнал гадкое видение. Побрел к сплавной реке, слыша за спиной бесперебойное бульбуканье косачей, истомленных жаждой пробужденной любви.

Семь тягучих нарымских зим удалось отберложить густошерстному нарымскому медведю. Вольготно жилось ему на клюквенных болотах, на светлых вырубках, в кедровниках и малинниках, у озер и речек, изобилующих рыбой. Владения простирались до облюбованных пределов. Высокие отметины крупных когтей на деревьях настораживали лохматых соседей, заставляли с почтением и боязнью огибать занятую территорию.

Долгая берложья спячка изрядно истощила подкожный жировой запас. Приходилось довольствоваться любым, самым скромным подношением весны — слизняками, личинками под приречными колодинами, муравьиными яйцами у разворошенных кишаших холмиков. В пасть натекала слюна, скапливалась под языком. По забывчивости, давнему инстинкту утолял голод лапой, посасывая, причмокивая на коротких привалах. Затяжное зимнее бескормье гнало вперед. Поворошив неплохую медвежью память, припомнил лакомое болотце: на нем с прошлой осени в плотную лежку ушла под снег крепкая кислая ягода. До клюквенной базы было недалеко. Слабые, нестойкие ноги слушались плохо. Иногда подушки лап к стыду и страху таежного блюдяги нечаянно ломали сухие ветки. По урману летели нежелательные звуки.

Опустив черный влажный нос до самого моха, владыка приречья легонько посапывал, вдыхая позабытые запахи багульника, папоротника, коры и хвои. Примятые тяжелыми лапами стебли черемши из-за терпкой пахучести мешали обонянию. Задирали голову, продувал маленькие ноздри влажным чистым воздухом.

В редком сосняке верхним чутьем подсек приятный душок: его тянуло от берега знакомой извилистой реки. За годы медвежьего блуждания по застолбленной земле случалось много раз выбредать на продуваемое место, спастись от дьявольского гнуса.

Обнаруженный запах тухлятины дразнил, заставлял живее переставлять одеревенелые от долгой лежки ноги. Остановился неподалеку от кромки леса, поднялся черным кряжем, утопив в мох задние лапы. Через макушки подростковых сосен осмотрел тихую округу. Постоял, побрел дальше. Наслеженные людьми тропы, свежий раскоп песка на берегу, брошенная на белый мох махорочная пачка насторожили, остопорили. Но бьющий в нос плотный запах чего-то мясного, упрятанного от глаз, неутоленный голод заглушали страх и толкали к берегу. Сделав круг, по кромке яра осторожно прикосолопил к яме. Жадно втянул из подземелья туманящий голову дух. Потрогав лапой сырой песок, пугливо отдернул ногу. Принялся раскапывать найденный клад, не сводя вертких глаз с низкорослого сосняка, чутко прислушиваясь к общей тишине земли. Доносились приятные звуки слаженных птичьих хоров. У приболотья тараторили тетерева.

Медведь успел вытянуть из песка скользкую кишку и уловил шаги. Они раздавались по беломошнику. Приготовился рывкнуть, отпугнуть человека, мешающего завладеть обнаруженным кормом, честно отпировать над речной высотой. Отнятые зимней голодовкой силы напомнили о том, что бегство — не худший способ спасения. Заторопился наискосок от ямы, грубо нарушив правило: выходи по старым, проверенным следам.

Вдруг взорвался мох и мгновенно закрылась страшная пасть дюжего двухпружинного капкана. Передняя лапа словно угодила в котел с кипящей смолой. Со всей медвежьей хваткой дернул ногу, вызволил адскую штуковину вместе с цепью и потаском — колодой-тормозом. Взреветь помешал все тот же животный страх перед двуногим врагом, который редко ходит по тайге без грозной палки, полыхающей коротким огнем. За годы медвежьего жития палка дважды высекала видимое пламя и низовым раскатистым громом повергала в бегство и трепет. После вздрагивал даже от небесных громов и отводил глаза от кривоколенных ослепительных молний.

Застигнутый бедой пленник попытался всадить острые клыки в распроклятую пружину. Раздался скрежет, челюсти свело от резкой, давящей боли. Толстая цепь задевала за полуторапудовый зубастый капкан, гремела. Зверь затаился, лег брюхом на дернину, усыпанную сосновыми шишками и рыжей хвоей. Надо выждать. Пусть замрут шаги в сосняке. Тогда без опасения можно разделаться с грубой, мерзкой ловушкой, перехватившей ногу.

Утомленный переходом, Беспалый вразвалку выбрел из леска, безнадежно устался на дымчатое заречье. Все — лежащее впереди небо, река, залитая лива, широкая пойма — обладало вечной свободой жизни. И только он, сутулый, взъерошенный Бзыкин — жалкий узник земли — был придавлен гнетом неотвратимых мук и страхов. Он, словно заочно приговоренный к казни, не знал — зачем существовал, дышал, думал, давил изодранными сапогами покорные мхи и мочажины. Острое, верное чутье давно подсказывало, сердце не раз предрекало: никогда теперь не выбраться из гибельных нарымских мест. Кольцо судьбы сжималось с каждым днем и часом. С самого первого дня бегства из пехотной роты бзыкинская душонка была отправлена на вечное поселение в край страха и дикого отчаяния. То было начало беспощадного судного дня.

Разливная Вадыльга, занимаясь тихим извечным делом, легко несла поднятые воды, довольствуясь приверженностью к изгибистым берегам.

Переведа тусклый, рассеянный взгляд в сторону, Беспалый вскрикнул, подбросив руки, пытаясь защититься от наваждения. Но перед ним стояла явь тайги: живая, шерстистая глыба о четырех ногах. Обнаруженный зверь вскочил на дыбы с заякоренным капканом, выдав безвыходное состояние железного плена.

— Эг-ге! Вляпался, голубчик! — возликовал дезертир, ощущая противную сухость во рту, спазмы в горле.

Двигался вдоль обрыва с опаской, точно по минному полю, держа наизготовку взведенную плохонькую курковушку. Не осталось ни одного пулевого патрона.

— Ни хрена, — успокаивал себя Беспалый, — картечь тоже уложит... Куда бы ему ловчее шархнуть? В башку? Под лопатку?

Довольный выгодным превосходством ситуации, Бзыкин осклабился, открыто наслаждаясь страданием хищника. Облизал запекшиеся губы. Нестерпимо хотелось пить. Близость холодной речной водицы невольно заставляла сглатывать густую слюну.

В нос ударил резкий запах душины. Растерянно остановился, впился недоуменным взглядом в свежий раскоп. Медведь взрычал во всю разверстую пасть. Побелев лицом, Беспалый отпрыгнул назад. Смирив противное колотье сердца, выдавил незнакомым, хрипящим голосом:

— Ти-ша, падла! Ти-ша!.. Бог припас мяса на дорогу... ты бунтуешь... Зря! Подкопчу окорок — до Томска хватит грызть...

В потных руках дрожало ружье, мелким бесом прыгала мушка. Жертва остервенело рыла дерн. Под яр летели ошметки, песок, сосновые шишки.

— Ти-ша, миша, ти-ша!

Пленник ревел, крутился вокруг цепи: волочился тяжелый потаск, испарывал торцом ярный песок. Беспалый прицелился в голову. Почуввав смертный миг, бедолага юльнул, развернулся спиной, приподняв над землей грузный капканище.

— Сука! Посиди спокойно! По бегущим целям я на войне настролялся.

Сдвинув на затылок ондатровую шапку, снятую с убитого староверца, Бзыкин стоял в раздумье, соображая, с какой стороны подступиться. Сделав от яра несколько крупных шагов, он внезапно продавил ногой податливую землю. Взметнулся дерн. Внизу клацнула могучая челюсть. Ногоу ожгло огнем дикой боли. Будто сквозь жуткий сон услышал над головой грохот выстрела.

«Мина... мина... — бормотал в обмороке Беспалый, оседая расслабленным телом на капканий горб. Мина... подорвался... все... конец...»

Перед вытарашенными глазами, заведенными под лоб, дробились радужные круги, мельтешил близкий лесок, куда неторопко уплывала вонючая, пороховая гарь.

Придя в сознание, ужаснулся. Рядом, возле искусанного потаска, распластался медведь и торопливо зализывал перебитую ногу, поднимая языком содранную до мяса кожу. К большим дугам капкана налипла ключьями шерсть, пропитанная запекшейся кровью.

Поискав глазами ружье, дезертир страшно удивился, увидев его метрах в трех от себя. Рядом валялась скомканная шапка. Правая нога утонула в яме. Ее невозможно было пошевелить в надежно сомкнутой пасти второго капкана.

— Осел! Выблядок! — обрушил на себя гнев Беспалый. — Ведь знал: на медведя ставят по два-три капкана... треугольником... один возле падали, другие подальше. Вот и сиди, кукуй, падаль, нос к носу со зверюгой.

Нарочно сбивался на горловой крик, шумом утрашая лохматого соседа. Показалось, что он подползает ближе и ближе.

Нога в металлических зубьях омертвела. Она будто была отъята от туловища и заживо похоронена в сыром песке.

Шансы двух зверей уравнились. Видя поверженного врага, медведь вел себя спокойно, продолжая слизывать выступающую из ноги кровь.

Гадливо, обозленно Бзыкин ухватился за сомкнутые дуги капкана, потянул вверх вместе с ногой. Раздробленная зубьями кость затрещала в голенище кирзового сапога. Полетел такой жалостливый, сильный стон, что даже первый пленник прекратил зализывать рану и недоуменно посмотрел на страдальца.

— Вот, мишенька, и окорок поспел... вдоволь накушался...

Силы рук не хватило утопить одновременно тугие пружины, разжать крутые дуги: их хватка была мертвой. Пристроился к левой пружине коленкой здоровой ноги. Ладонями надавил противоположную изогнутую полосу. Самоковочный капкан стал слабеть пастью, дуги слегка расщелились, но хилая коленка соскользнула с покатой пружины. Зажатую ногу окатило новой резучей болью.

Опасная близость к медведю поднимала на голове Беспалого жидкие, рыжие волосы, морозила спину. С оглядкой, боком пополз к ружью, волоча капкан, гремучую цепь и колодину. Сметливый сосед, заметив маневр, поднялся на три дюжих лапы, рыкнул, показав плотные, окровавленные клыки.

— Гад! Да ты стережешь меня!...

Списанный солдат Онуфрий уговорил кузнеца Панкратия поставить возле зарытой требухи Пурги медвежьих капканы. Фронтвики сдружились, частенько бражничали, вспоминая эпизоды жутких боев. Валерия упрямо сватала приживалку Груню. Уверяла: живя со староверцем, она не будет знать горюшка и заботы.

Охотники заглубили два капкана, искусно упрятали под тонким слоем дерна. Поверху набросали сосновых шишек, осыпали хвоей и палыми листьями. Даже вблизи не обнаруживались следы умелой маскировки колодин, цепей и двухпружинных зубастых насторожек.

Фронтвики-охотники надеялись: миша обязательно заявится на запах привады. Харч в берлоге известный — лапа. Отощавешь с долгой пососки, захочется по весне иного лакомства.

Панкратия ежедневно допекали раны. Все чаще повторял дочери и жене старую присказку: смерть всегда ближе рубашки. Не смог пойти к месту привады, проверить стальные ловушки, откованные еще до тюрьмы. По чернотропью, напрямиком Онуфрий сбегал к брату-отсиднику. Уговорил вместе сходить на знакомый яр, осмотреть ловище. С отъездом сыскного милицейского наряда, лесоповальщиков Орефий осмелел. Шатался по тайге везде, куда тянули не знающие устали ноги. Не раз навещал скит, приносил боровую дичь, лосятину, кузова дикого чеснока.

Старший брат нередко ругал возвращенного войной Онуфрия: он незаметно пристрастился к мирскому чернокнижью. Греха было немного: кузнец дал почитать затрепанный букварь.

Они шли к Вадыльге по сухому болотцу, вслушиваясь в знакомые песни весны. Со старых вырубов, где всегда плодилась обильная брусника, долетал далекий зов токующего глухаря. Слева и справа от тропы почти без передышки подсобляли косачи. Поречье жило обособленным недремным птичьим миром.

Здоровяки подходили к открытому ловищу. Орефий первым заметил добычу, взъерошенного мужичка. Протер глаза, встряхнул головой. Перекрестился.

— Господи! Человеке в капкане!

Увидав людей, Беспалый вознес к ним руки, заплакал от радости. Скорбным голосом запричитал:

— Милые мои, да родные... убейте его скорее, вызволите меня.

Медведь вскочил на дыбы, хищно оскалился и взревел. Цепь стучалась о громоздкий капкан. С лапы на песок срывались темные капли крови. В безнадежном реве обреченного зверя прорывались жалостливые стенания. Онуфрий приготовился оборвать жуткий, назойливый плач.

— Кореша! Спасители мои! Выручайте! — Бзыкин рванул исжультканную рубаху, обнажил веснушчатую грудь. — Вы, родненькие, не меня одного освободите — Сталина тоже.

Остолбенелый Орефий разинул рот, вытаращил диковатые глаза.

— Да не Беспалый ли ты?

— Верна! Он самый. Во — немецкая овчарка оттяпала. — Дезертир, будто гордясь обкуском мизинца, высоко задрал растопыренные пальцы. — Под самый корень псина откусила... Разжимайте живее капкан! Чего медлите?!

Старший Куцейкин, ехидно скривив губы, злобно сверкнул ненавидящими глазами.

— Брат Онуфрий, ведь сподобил осподь послать крепкую удачу. На ловца матерый волчина прибежал. Что, попался убивец Остаха?!

— Ты что?! Ты что?! Никого я не убивал.

Хмурый Онуфрий благоговейно поднял с земли старенькую ондатровую шапку, прижал к груди и выдавил глубокий стон. Сразу по покрою узнал ладную работу старца Елиферия. Лучше него никто в скиту не шил меховые ушанки. Стоял, бормотал запальчиво:

— Остах, единовец наш меньшей. Мы отыскали убивца... настал судный день...

— Братики! Родненькие! Не убивал!.. Это не я...

— Молись, антихрист, своему богу, если он у тебя есть.

— В вождя верую. Кровь за него проливал. Сталина пощадите!.. Весь мой грех — деньгам поклонялся. — Беспалый с горячей надеждой вспомнил о золотых монетах. Торопливо полез за пазуху. — Вот они большие денежки... все ваши... Берите!

На капкан брызнул короткий золотой дождь.

Староверцы презрительно посмотрели на отзвевшие капли. Золоту — алчному богу наживы — они не молились никогда.

— Набей себе этими железками зоб, покормись перед смертью.

Дезертир Орефий возвышался кряжистой фигурой перед дезертиром Бзыкиным и гневно смотрел на открытую татуировку. Все, что с начала проклятой войны накапливалось обидного, злого, ненужного, ущемляющего затаенную душу и ранее безгневное сердце, сейчас ужалось до ненавистного плевка: он пулей полетел в самодовольный татуированный лик.

— Вонючая борода! Ты ответишь за это издевательство! — Беспалый запахнул рваную пропотелую рубаху.

Онуфрий вскинул ружье, прицелился в убивца.

— Побереги, браток, порох. Хватай за потаск. Отнесем сатану на расправу михайле. Пусть потешится перед гибелью. — Он яро заграбастал легковесного мужичонку вместе с капканом.

Насупленный Онуфрий подхватил колоду. Силачи двинулись к медведю. Два диких рева неслись в небеса, катились за Вадыльгу и лес. Бзыкин отбивался. Закрутили за спину руки, сунули в рот ухо шапки: меховой кляп сократил оглашенный рев.

Дезертиру удалось освободить руку. Снова распахнул рубаху. Мыча, тыкал пальцами в усы и глаза Сталина, призывая синюю голову во свидетели столь дикой расправы.

Раскачав двуного зверя, швырнули четвероногому. Медведь испуганно шархнул в сторону, не пожелав исполнить позорную роль палача.

— Брезгует! — Старший Куцейкин укоризненно покачал головой. — Уложи, брат Онуфрий, ревуна.

Надоел.

За коротким накатным громом наступила тишина, нарушаемая утробным мычанием убивца, брэнчанием капканной цепи. Орефию хотелось полного успокоения сердца. Махом подхватил Бзыкина, потащил к обрыву.

— Орефьюшка... братик разумный... отступись! Бог покарал его.

— Наша кара особая.

Пропасть обрывалась через шаг.

— Да будут прощены грехи наши...
Под яр загремел весь живой и мертвый груз.
Куцейкины размашисто перекрестились на голубое заречье. Высокая вода, подтопив берег, слизывала с крути белый песок. Братья отрешенно глянули вниз: поплавок-потаск перестал кивать Вадыльге, мирно плыл в крепкую обнимку с темными струями.
Забросали сушняком желтые монеты. Запалили ярый огонь.

На косачиных токовищах в полную страсть бурлил дерзкий, захлебистый клёкот.

Томск — Пицунда — Исlochь. 1988 год.